

Дружба народов

5'90



ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

орган
Союза
писателей
СССР

Дружба народов 5'90



Э. НАСИБУЛИН.

Из иллюстраций к произведениям А. С. Пушкина.

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

Дружба 5'90 народов

Редакционная коллегия

**ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ СССР**

**Основан в марте
1939 года**

Адрес редакции:
121827 ГСП
Москва, Г-69,
ул. Воровского, 52.
Телефоны:
главный редактор
и первый заместитель
главного редактора —
291-62-27,
заместитель
главного редактора
и зав. редакцией —
291-62-49,
ответственный секретарь —
202-52-03,
отдел прозы
291-63-63,
отдел поэзии — 291-85-10,
отдел публицистики —
291-63-54, 291-64-50,
отдел критики
и библиографии — 291-05-09,
редактор приложений —
291-64-50.

Художественный редактор
Николай ПШЕНЕЦКИЙ

Технический редактор
Анна СЕЛИВЕРСТОВА

Сдано в набор 05.02.90.
Подписано в печать
20.07.90
А 02485.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆.
Бумага кн.-журн.
Гарнитура «Балтика».
Печать высокая.
Усл. печ. л. 23,8
Усл. кр.-отт. 26,25.
Уч.-изд. л. 28,04.
Тираж 815 000 экз.
(1-й завод 1—415 000 экз.)
Зак. 668.
Цена 1 р. 10 к.

Издательство
«Известия Советов
народных депутатов СССР»
103798, ГСП, Москва, К-6,
Пушкинская пл., 5.

Ордена
Трудового Красного
Знамени
типография «Известий»
Советов народных
депутатов СССР»
имени
И. И. Скворцова-Степанова,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Главный редактор

**Первый заместитель
главного редактора**

Ответственный секретарь

Сергей
БАРУЗДИН

Леонид
ТЕРАКОПЯН

Акрам
АЙЛИСЛИ

Ануар
АЛИМЖАНОВ

Лев
АННИНСКИЙ

Альгимантас
БУЧИС

Василь
БЫКОВ

Игорь
ЗАХОРОШКО

Наталья
ИВАНОВА

Анатолий
ИВАЩЕНКО

Наталья
ИГРУНОВА

Юрий
КАЛЕЩУК

Николай
КАРЦОВ

Алим
КЕШОКОВ

Юрий
КИРШИН

Григорий
КОРАБЕЛЬНИКОВ

Георгий
ЛОМИДЗЕ

Елена
МОВЧАН

Рафаэль
МУСТАФИН

Леонид
НОВИЧЕНКО

Борис
ПАНКИН

Вардгес
ПЕТРОСЯН

Тимур
ПУЛАТОВ

Александр
РУДЕНКО-ДЕСНЯК

Юрий
СУРОВЦЕВ

Бронислав
ХОЛОПОВ

Константин
ЦЕРБАКОВ

Зам. главного редактора

**Читайте в ближайших номерах
новый роман Анатолия Рыбакова
«Страх».**

**Это вторая книга дилогии
«35-й и другие годы»,
продолжение «Детей Арбата».**

Ольга Постникова

Четыре стихотворения



* * *

Она одна на все века —
Накормит и спасет.
И два мешка, два рюкзака
Наперевес несет.

В одном она несет еду,
Еду на всю семью,
В другом чугунным комом дум
Несет беду свою.

Она не может сбросить их,
Запуганная мать,
За четверых, за пятерых
Привычная пахоть.

Обрубками везут парней,
Им раны шелком шьют.
В который раз из глаз у ней
Не слезы — искры бьют.

А старшему-то в этот год...
И груз ей спину гнет.
А младшему-то в свой черед.
И страх ей сердце мнет.

Меж двух мешков, меж двух
С едою для сынков. ВЬЮКОВ
Несет любовь меж двух горбов
Над пропастью веков.

* * *

Тех ангелы вели,
тех классики питали,
А тем дворянская судьба
платила свой оброк,
Тех за язык тянул расчет,
тем славки щебетали,
А этим цвет и силу дал
изысканный порок.

А мне о чем сказать?
Мне никуда не деться
От мата мерзлой шоферни,
похмельной похвальбы,
От детской бледности тупой,
от ясельных младенцев,—
И старым хлебом сизарям
распучило зобы.

Картофельный комбайн
меж клубней и камней
Идет, гремя —
до неба шум, вибрация цепей.

Не колокольный звон во мне,
а скрежет ржавых звеньев,
Меня хватают за подол
кровавник и репей.

И я бы жить могла
для пения и смеха,
Но вновь столица, не доспав,
надышит мне в лицо...
Здесь вонь, и сажа, и жара
резинового цеха,
Где душу вплавят в черноту,
протащат меж вальцов.

О небесах бы петь —
сапфира лучезарней,
О тайнах византийских смальт
и беотийских ваз,
Но где-то вновь приказа ждет
безмолвство хмурых армий
И отблеск выстрелов ночных
в зрачках сыновних глаз.

* * *

Над рекой у перил Новоспасского моста,
У коллектора сточных вод,
Радостно раздавливая рот,
Двое целуются долго и просто
На ветру в весенний солнцеворот.

А в стране уже столько склепано танков,
Заготовлено столько бомб,
Столько касок сдавило лоб...
Я люблю худосочную грацию панков
И хиппозную резкость любовей и злоб.

Я кричу человеком почти довоенным,
Я клянусь человеческий труд:
Наши дети под взрывом умрут!
Не плодитесь, не надо двоений.
Это мы размножились бездумным делением,
Миллионы разнеженно прут.

Эту юность, которую мы родили,
Этих отроков-полусирот,
Завершающих человеческий род,
Мы железным наследством тоски наградили.
Пусть не внемлют нам, делают наоборот.

Этот бунт металлистов, разлад поколений
Мы еще не постигли вполне,
О своей забывая вине.
Пусть они не исполнят безумных велений,
Не идут на поденку к войне.

* * *

Российскому беженцу так умирать:
Чужим не согретый светом,
Не может в трехперстие пальцы собрать,
Забыв, что он звался поэтом,

Но помнит, ложась в безмятежность песков,
Мирожский бугор и колодец.
Куда же мы денемся, охряный Псков,
От грозных твоих богородиц?

Вновь утки летят на загаженный пруд —
Родимый! — и пред магазином
Играют вдвоем, а птенцы их помрут,
Прогорклым давясь маргарином.

А родина грязи досыта дала,
Скормивши потомство воронам,
Но как она снова их в мае ждала,
Всем пенем жерлянок нескромным,

Стараясь свой долг материнский отбыть,
А пруд раздавала по трубам...
Попробуй-попробуй такую любить,
Но как же мы до смерти любим!

Владимир Корнилов

Девочки и дамочки

ПОВЕСТЬ



КИРКИ, ЛОМЫ И ДВА МЕТРА

Шанцевый инструмент привезли перед самым рассветом. Три грузовика, шурша по шлаку, вползли на станционный двор, и худой военный со шпалой в петлице, устало поеживаясь, вылез на подножку первой полуторки.

— Скидывай! — махнул он красноармейцам, сторбившимся в кузовах машин. — Отыми борта!

И тут из бараков посыпались женщины.

— Айда, девчонки! — орали на бегу. — Ломы! Ломы одни останутся.

— Давай, куры! Лопат не хватит!

— Кончай ночевать! Кирки-и тяжелые!

Полуторки враз облепили, как автолавки с мануфактурой.

«Вот те на!» — подумал военный. За ночь он продрог, и прострененное тело не удерживало тепла от выпитого второпях портвейна. Эту ночь он не прилег, а ездить ему еще конца не видно.

— Женщины! — пробовал он перекричать толпу. — Женщины, подвиньтесь струмент скинуть!

Но голос пропадал в реве, в гоготе, в этом «айда», «валяй», «о-гой» кричавших женщин, для которых он никакого не начальство, не полначальства, и военный, давясь от стыда и ярости, полез на крышу кабины.

— А ну цыц! Соблюдай сознательность! Раз-зойдись! — гаркнул оттуда, но станционный двор гудел, как в начале века во время забастовки. И женщины все сыпались из бараков, гулко, как картошка из бункера.

Это была железнодорожная окраина Москвы, однажды и навеки окрещенная «пересылкой». Круглый год она отправляла завербованных по найму и набранных другим путем на разные, все больше северные и сибирские стройки. Осенью отсюда уходила на действительную стриженная ребятня. А с этого лета пересылка уже трудилась для фронта. Сейчас, октябрьским знобким предрассветом, ее забили, лежа вповал, мобилизованные на окопы.

— Лопаты... Лопаты привезли! — разнеслось по бараку, где спала Ганя. Тотчас захлопали двери. По доскам пола застучали башмаки, зашлепали ботинки и галоши. Из щелястых окон потянуло нешуточным ветром, и Ганя проснулась.

— Да ну их, поспим лучше, — ворчали иные женщины, переваливаясь на другой бок и натягивая на голову кто мешок, кто полушалок. Тоже добро — лопаты!

— Лежи, тетка, — промычала гладкая деваха, о которую Ганя грелась ночью. — Холодно... — и, зевнув, уснула снова. Ее подружка, рыжая лядящая евреечка, что грела Ганю с другого боку, вовсе не просыпалась.

«Сознательные!» — сердито подумала Ганя. С недосыпу она была зла на весь свет, а особо на этих двух, гладкую и еврейку, которые ее вчера сманули.

— Сглазили, у проклятые! — скулила она, копошась на грязном холодном полу.

Вчера днем, когда Ганя обозвала хозяйку «ксплотаторшей» и швырнула ей в лошадиный мордovorот хлебные талоны, эти двое ее и подцепили. Ганя, зареванная, выбежала в колодец двора, а там была уже куча мала баб с рюкзаками, кошелками, ведрами, и эти две из квартир напротив тоже.

— Не плачь, тетка, — сказала вчера гладкая Санька, подходя к Гане и вроде жалея ее.

— С нами пойдемте, — улыбнулась рыжая. («У, ведьма!» — нарочно толкнула ее сейчас Ганя. Еврейка спала, как пьяная). — У нас весело, — неуверенно сказала вчера эта самая «ведьма», и раскисшая от слез Ганя затесалась в их кучу, а потом одна баба (какаясь старшая, собой чистый грузчик!) гаркнула:

— Смирна! Равняйсь! Ша-агом... — и повела их на Ногина, а оттуда вверх и сама же первая заорала:

А ну-ка, девушки,
А ну, красавицы...

И Ганя пошла между толстухой и лядяценькой и, размазывая по тощему немытому лицу слезы, подтянула:

Пускай поет про нас страна,
И звонкой песнею пускай прославятся...

Потом, когда дошли до Ильинских, гора кончилась, идти стало ловчее и запели другую, развеселую, из кино, какое бесплатно крутили на май в агитпункте:

Нам нет преград
На море и на суше,
Нам не страшны
Ни льды, ни облака...

И Ганя маршировала, довольная, пела со всеми и в мыслях еще успевала унижать хозяйку:

«Ты, ксплотаторша, драпаешь, а я иду и пою. Я пролетарка, а ты, сивая кобыла, сдохнешь по дороге. А ну, а ну, достань воробышка (хозяйка была высокого роста)! Хрен тебе, а не воробышка. Кончишься в вагоне. Ворону жрать будешь», — улыбалась Ганя, и ее мягко подталкивали с обеих сторон евреечка и гладкая.

— Молодец, тетя! Видишь, как здорово...

Так вчера прошли через центр сюда на пересылку. Тут Ганю записали вместе со всеми в толстую школьную тетрадь, и все было в полном ажуре: повели в столовку, дали горячего ужину по армейской норме — кашу с мясом и чай в кружке с двумя камушками рафинада («Граммов сорок», — прикидывали бабы). Кружки и миски выдавали через окна в перегородке, туда же сдавали грязные, и Ганя, может, впервые за жизнь, поев, посуды за собой не мыла и, гордая, легла посреди барака между двух новых товаров. От толстой было тепло, а рыжая прижималась доверчиво — ну, прямо кошка! — и Ганя засыпала счастливая.

«Ехай, ахай... — грозилась сна хозяйке. — Колбасой катись, жандарма! У, верста — сивая красота!» — и с удовольствием вспоминала, как хозяйка выдирала из своей русой косы седые нитки волос. И сон пришел к Гане хороший, с кавказскими горами, какие видела в двадцать втором году в Ессентуках. Снилось, что едет она со своим чернявым хахалем Серегой, Сергей Еремычем, на линейке, а у лошади в гриве бумажные ленты, будто взаправду свадьба. А потом они задаром пьют

лекарскую воду гранеными стаканами. Сергей Еремыч лениво и великодушно лапает Ганю и плюется на ее сестру, полудурку Кланьку, лярву-разлучницу, которую Ганя по дурости и доброты взяла с собой. От больших рук Сергей Еремыча Гане тепло, только ноги немного мерзнут и в животе малость нехорошо, наверно, от дармовой воды.

И вот теперь ночная побудка, как приبلудная собачонка, разом слизнула сладкий навар сна. Ганя больно потянула шею, дернулась и очнулась в мерзлом бараке на пыльном полу, который больно стучал в ухо.

— Беги, тетка,— крикнул ей малец. (Среди женщин случайно затесался этот недомерок, не то доброволец, не то допризывник.)— Одни ломы останутся...

Ганя отряхнулась, как вспугнутая курица, и, подхватив кошелку, поспешила к дверям. Хотя ей было под пятьдесят, ступала она вприпрыжку, точно тощая клуша или плакса-девчонка, которая до смерти боится мальчишек и водится с одними малявками. Со спины Ганя была еще молодой, но лицо у нее сморщилось и одлинноносело. «Курица!» — не сговариваясь, обзывали ее во всех домах, где она перебивалась приходящей прислужгой.

«А вдруг — лом!.. Руки отвертит. Кирка половчей...» — чуть не плача, решала она на ходу.

На дворе было светлее, чем в бараке. Горело больше синего электричества, и от маневровых паровозов летели искры и пламя. Красноармейцы, стоя в кузовах, нерасторопно раздавали инструмент. Лопаты были жирно смазаны какой-то липкой гадостью. «Солидол», — ругались в толпе.

— Не толкотись, не толкотись,— кричал на женщин худой военный. Он торчал по-прежнему на крыше кабины, и когда замолкал и не размахивал руками, то в шинели и фуражке при полутьме низкого неба напоминал статую. Но тут же снова драл глотку и рубил воздух рукавами шинели. В нем не было никакой державности, как внизу не было порядка.

«Разберут...» — слезно подумала Ганя и кинулась в толчею, гребя локтями, как в трамвае, когда просыпала остановку.

— Хучь кирку! — голосила она. — Лом рук не оставит!

Но те, кто вылез этой ночью из барakov, тоже были не ангелицы. Раза два Гане съездили по шее, разок сунули в ребро, и, прорывав:

— У, жилы! — она незаметно для себя перепорхнула от врагов порядка к вернейшим его слугам. Этих, как в любой очереди, было куда больше. Впрочем, с основания человечества слабые всегда в большем числе. — Куда прешь? — через минуту орала Ганя на бойкую деваху в ватной фуфайке. — Чего людям ноги давишь? — кричала на другую. — А ну, паника, охолонь! — вразумляла еще кого-то. — Вот все мы так... — вздыхала тут же для общего сведения. — Все возимся, все носимся. А чего?.. Все там будем.

— Будем! Будем, — смеялись вокруг. — Только рот, тетка, заткни.

— Лови, хохлатка, — заметил ее с машины боец и протянул лопату. Ганя, неловко подпрыгнув, ухватилась за склизкую холодную железяку, готовая к чужой зависти, а может, и к мордобойю. Но никто ее не тронул. Вокруг машин как-то сразу поредело. Оказалось, лопат хватало на всех доброволок. Даже остались лишние, и их вместе с остальным инструментом сбросили в угол двора. Худой военный сел в кабину, и полуторки, развернувшись, выползли за ворота.

Светало медленно. Время было самое неловкое — ни спать, ни про жизнь переговариваться. Гане опять стало тоскливо. И еще от вчерашней каши жгло в животе.

— Снова печенка, — покорно вздохнула она, стоя посреди опустевшего двора и упирая черный ботик в штык лопаты.

— Ты чего... картофлю копать? — спросила, проходя мимо, какая-то женщина.

«Могилу», — хотела ответить Ганя, но окопница ушла в барак.

«Чего забыла? На дармовщину схотела, а? — подумала Ганя с ехидцей, словно говорила не с собой, а с невидимой дурой подружкой, самой распоследней горемычкой. — Бесплатное, армейское, оно всегда втридорога. Тьфу! На машинном готовят! Людей не жалеют», — скривилась она, отвечая боли в желудке.

И ей вспомнились племяши-близнята, ее любимцы, которых летом застригли в армию. Парни были красавцы, в залетку-зятя Сергей Еремыча. Наворачивали за обе щеки — и второе, и первое. Особо уважали холодное мясо из супа. Ганя им в бидоне от хозяйки возила, они его жевали ночью после гулянок. Хозяйка супу не признавала. Может, этой, как ее, подагры боялась. И хозяйкина дочка-очкаричка — чудо природы! — тоже от Ганиной стряпни нос воротила. Так что Ганя варила суп справный, густой, а мясо из него половинила и свой кусок, завернув в марлю, прятала на дно кошелки. Уже потом, в поезде, запускала его в бидон, и он плюхался туда весело, как карась в реку. Сама она супу тоже не ела, а уважала сыр голландский, постную ветчину и какаву, но не из сои — с той какая сыть! — а всамделишную, в железных коробках.

Светало медленно, неохотно, словно солнце задолжало, а отдавать ему было нечем. Так, бывало, в коммуналке соседи возвращали Ганиной хозяйке долги. Возьмут сотню-полторы, а приносят по трешнице. Хозяйка, гордая, не скажет и напомнить не даст. И у Гани вся душа изводилась: и кто чего не вернул, и кто на кухне керосину ихнего взял или примус закоптил — не продуеть! — или общие дрова на ванну извел — не в очередь мылся. Все помнила Ганя и за хозяйское болела, как за свое. Оно и было свое. Чего сами не дарили, увозила потом Ганя втихую. А хозяйка когда заметит, когда нет. Да и заметит, сказать постесняется. Не боялась Ганя хозяйки. Та, как со службы придет, сразу за свой «дервуд» и стрекочет, стрекочет, вроде пулеметчицы Анки из «Чапаева». Соседки говорят, до двух, до трех стрекочет... Ганя у них не ночует. Не лакейка. Хоть и без договору, а приходит, как на производство, и каждый выходной зарплата (раньше по шестым — двенадцатым, а с прошлого года по воскресным). Но соседки жаловались, ходили даже в квартиру напротив — к управдому, и пришлось хозяйке обить дверь дерматином с ватой снаружи и изнутри. Теперь она сто пудов весит. Ганя в сердцах ее футболит, когда с чайником или сковородкой из кухни мчится.

Нет, служба у хозяйки подходящая. И Ганя на ней сама себе вроде командующего. А если хозяйке вожжа под хвост ударит и придумает хозяйка: «Хорошо бы, Ганя, простыни постирать. Давно не меняли», — Ганя вскочь за тазом не побежит, станет посреди комнаты (а лучше кухни: при соседках справнее!), подопрет кулаком щеку и толково рассудит: «Да когда ж нам стирать? Да вить сейчас не постираешь как следует. Вот уж к празднику, Елена Федотовна, и будем...» — и — на-кась, выкуси! — съест хозяйка и опять начнет тарыхтеть на своей машинке, как в магазине на кассе. Да и вправду касса. С нее главный доход. А днем она в школе что? Учителька...

Нет, бога обижать не надо. Вот уже три года Ганя у Елены Федотовны, и свет увидела. А раньше нигде не держалась. Как что пропадет, сразу в шею. И пропасть не успеет — за грязь гонят. Неряха, мол. А тут догляду никакого. Малого ребенка нету, и мужика тоже не бывает. Носок ему не штопай, кальсон не споласкивай. Одна дочка-очкаричка. Так той уже пятнадцатый год. Она ниже Гане не доверяет — сама простирнет. А дел всех — натри полы. У хозяйки, чтоб полы блестящие — это первым делом. А полов-то всего ничего. В комнате шестнадцать метров, так под мебелью половина. И второе дело — сосиски свари или котлеты там сготовь, а лучше отбивную — шмяк на сковороду, пусть себе горит. Самое главное — вовремя подать-убрать. Хозяйка это любит. Так, чтоб с виду был порядок. А за шкафы она не

лазит, времени у нее нет лишнего. Если б не война, ездила бы к ним Ганя и ездила. Война все перевернула.

Еще только налеты первые пошли, хозяйка к ней подкатываться начала:

— Поезжайте, Ганя, с Кариночкой в Куйбышев. Я вам деньги высылаю буду.

— Да что вы, Елена Федотовна? Вы того... с работы совсем счумели. Куда я поеду? Кубышев! И надумали тоже! У меня хозяйство.

— Да какое там «хозяйство»? — рассердилась хозяйка.

Раньше смиренная была, голос прятала. По квартире ходила, сжималась, хоть сама под потолок. А тут позволила.

— Полсарая со скворешней — хозяйство...

— Какое ни есть, Елена Федотовна. Не вы наживали. У вас и этого нету. Одна тарахтелка, так и ту на неделе мастер два раза ковыряет.

Ну, «тарахтелку» хозяйка стерпела, но со своим «Кубышевым» не отлежала. Хорошо хоть школу на лето прикрыли и поступила Елена Федотовна куда-то, где до ночи сидят. Так что теперь ее и не увидишь. Но по воскресным опять за свое:

— Поезжайте, Ганя, да поезжайте! Я вам всю зарплату высылаю буду. Мне для себя ничего не надо.

И правда, для себя она не старается. Все для очкарички, для чуда природы. Для нее и Ганю держит, чтоб по часам горячее ела. А для себя хозяйка и платья не справит. Старое носит. И мужчин не водит. Правда, был один интересный случай перед войной за неделю. Очкаричку в пионерлагерь спроводила, Гане на две недели отгул дала, а сама перед зеркалом села из косы седые нитки дергать. Потом соседки ввали — три дня не ночевала. Что ж, еще не старая, срока нету. Может, и нашла кого, каб не война. Война... Она для всех не сахар... Племяшей враз в армию. А Кланьку, сестру, лярву-разлучницу — надо же! — в больницу положили. Помрет, видно. Кровь у ней, как вода. А в больнице кормежка известная. Передачу вози. Какие-то продуктовые бумаги — карточки выдумали. Всем дали, а Гане нет: ни рабочая, ни ждивенка. Договору, видишь, нету. А где концы сыщешь? Гоняли по райотделам с Москвы на Икшу, с Икши опять сюда. Неделю бегала, плюнула и бегать не стала. Перебывалась при Елене Федотовне. Та с Ринкой всего не съедала. А вчера вдруг эвакуацию надумала. Теперь сама едет, Ганю не зовет.

— Стирайте, — говорит, — на дорогу!

— Хрен тебе, а не «стирайте»! Не лакейка! — и кинула Ганя хозяйке деньги — мелочи больше было, а карточки — те особо! — смяла в кулаке и комом в лицо.

Теперь на станционном дворе, как бага-яга на клюку, припадая на лопату, Ганя глядела в землю, а видела свою жизнь, такую же мерзлую, продутую. Ничего в ней не было, кроме Ессентуков, да и те чем скончились? Выскоблили из нее потом Ессентуки. А Кланька, лярва. Испугалась, не схотела... У, гадючка... А теперь все равно помрет. Кровь у нее никуда стала...

Ничего не было в Ганиной жизни. А теперь без хозяйки и вовсе клин. Одни окопы остались. Вот выкопает их Ганя и себе заодно два метра.

ЛЯДАЩЕНЬКАЯ

Утром, еще затемно, давали в окошки горох с мясом. Ганя ковырять его не стала. Пила только чай вприкус. А евреечка горох ела, но Ганя заметила, что давилась без аппетита — больше от сознательности, чтоб не выделяться. А гладкая Санька — раз-раз, обструтала миску.

— Добавка полагается? — гаркнула весело на весь длинный стол и еще на два соседних.

— Как же! Чтоб громче стреляла! — подхватили бабы.

— Тебе, девка, мужика надо, а не гороха. Растряс бы тебя, а то лопнешь!

— Ха-ха,— залилась Санька. Она не обижалась. Серым мерзлым утром перед неясной дорогой посмеяться было в самый раз. Ганя тоже встрять собралась, но опередила евреечка:

— Ты, Санюра, у тети Гани возьми. Она не ест.

— Правда, тетка, не хочешь? — спросила Санька.— Тогда давай. Зябко, вот и есца,— и она потянулась к Ганиной миске.

— Тпру-тпру,— зашипела Ганя.— Ты кувалды не тяни. Не твое. А ты не зырь,— напустилась на евреечку.— А то глаза-завидки, все зырют, зырют, где чего хватануть... Знаю вашу нацию...

За столом сразу стало холодно и неловко, как будто и не смеялись. Толстая Санюра злобно звякнула черенком ложки — мешала в кружке сахар. Евреечка покраснела, но смолчала. Она дала себе слово быть, как все, не выделяться и прятать любую обиду. Она уже три года решила быть, как все, и даже, если это возможно, лучше. Она старалась изо всех своих тощих сил не краснеть, но ничего не выходило.

Со всем смирилась комсомолка Лия. Сначала было две комнаты, здоровая мать, отцовский распределитель. Отец вечером возвращался домой на машине, веселый, в мягких шевровых сапогах, в зауженных синих галифе и в такой же гимнастерке с широким ремнем. Он кивал матери и целовал Лию. Он был полноват, но строен. К нему, директору завода, удивительно шло полувоенное...

И вдруг — одно за другим: мать заболела, отца сняли и отобрали одну комнату. (Туда въехала толстая Санюра с отцом-выпивохой и неуживчивой, шумной дворничихой-матерью.) Жить стало трудно. Что могли, снесли в коммиссионный, а остальное Лия с Санюрой (которая оказалась удивительно отзывчивым человеком) в выходные дни возили на толкучку. Мать после того, как упала в туалете в обморок, требовала подсов. И отец все чаще издевался над ней и нехорошо обзывал. Он абсолютно не умел ходить за больными. У него совсем сдали нервы. Он не приучился сидеть без дела. Ему надо было вечно куда-то ездить, проверять, браковать, песочить, объявлять выговора, приказывать, вскрывать чужие ошибки, исправлять упущенное, затыкать дыры и громко и радостно рапортовать в наркомате. Он был рожден командиром производства, красным директором. А тут, сидя взаперти, он как-то сразу стал жалким, склочным, недобрым человеком. Ужасно озлобился на соседей за то, что отняли кабинет. Но при встрече с Санюриным отцом, пьяницей управдомом, первым здоровался и еще угощал «Пальмирой». А потом жаловался, что этот мерзавец вечно стреляет у него курево: «Никаких денег не хватит!» — и поэтому курил при больной. А мать не позволяла открывать форточку, потому что температурила. Она росла в богатой семье и, как говорили родичи, была очень музыкальна. И раньше у нее шалили нервы, случались даже припадки, но тогда попадало домработницам, теперь отцу. А он курил при больной. Лия ничего не могла с ним поделать. Папиросы были очень дорогими, мать совсем плоха, а отец до того жалок и обидчив, что вскипал от каждого незначительного замечания. Он не сразу похудел, но как-то посерел, обмяк. Носить полувоенное ему теперь было стыдно, а беспартийная, времен нэпа тройка была так тесна и так старомодна, что отец выглядел в ней подозрительно, как переодетый преступник. И вправду ждал тюрьмы все полтора года, пока умирала мать. Уже докатилось и до Линой школы, что он исключен, и кое-кто из ребят предлагал разобрать Лию на бюро. Но она, не дожидаясь конца четверти, поступила в библиотеку, где работали одни опрятные старушечки и не было никакого комсомольского учета. Все эти полтора года отец был совершенно невыносим. Но Лия его любила. Она гордилась им и жалея,

его. И, если бы ее заставили отречься от отца, она бы скорей положила билет. Она знала, что он ни в чем не виноват, что он талантливый — просто природный! — руководитель. Самородок. Он вышел из самых бедных, самых голодных слоев местечкового еврейства. Ему просто завидуют. Сын какого-нибудь недорезанного буржуа или сам бывший буржуй, который каким-нибудь обманом пробрался в партию. Он ненавидит отца. потому что отец — талант! И еще из животного антисемитизма. Он выгнал отца с работы и грозит посадить. Но Советская власть никогда этого не допустит. Отец подал в комиссию МК и в комиссию ЦК, и в партконтроль. И написал лично товарищу Сталину.

Она сама просила его писать, сама правила ошибки (он был не очень грамотен, потому что учился не в гимназии) и сама относила письма. Он держался только ее уверенностью. Недаром она была его дочь, она была вся в него, а эти полтора года даже сильнее его.

— Ты настоящий коммунист. Ты большевик, — доказывала она ему, словно он уже себе не верил. — Если тебя не вернут в партию, значит, нет больше Советской власти, значит, Сталина нет в живых или он тайно арестован, — шептала она за полночь, сидя на краешке его дивана. Он благодарно целовал толстыми липкими губами ее руки, и она, счастливая и гордая, мечтала, что, если у нее когда-нибудь будет муж, пусть хоть немного походит на отца. — Ты жди, — твердила она. — Сейчас очень трудно доверять. Сейчас много вредительства. Ты же знаешь... Все сейчас недоверчивы. Но тебя обязательно разберут. Надо только немножко подождать.

И она вставала с дивана, стелила себе на полу, а потом шла в другой угол комнаты, к матери, меняла ей рубашку (мать не выносила спать в мокром, даже во влажном), поила ее, ставила градусник, а потом показывала другой, на котором температура никогда не подымалась выше тридцати семи и двух.

— С папой будет все хорошо, — успокаивала ее Лия, стараясь не замечать, что мать давно и бесповоротно возненавидела отца и даже близкая смерть не может загасить этой ненависти.

Так было целых полтора года, пока умирала мать. А потом наступила справедливость. Отцу вернули билет и назначили снабженцем уральского стройтреста. Он снова надел галифе и гимнастерку, которые теперь ему были велики, и, не дожидаясь материнской смерти, уехал в Челябинск. А мать ложиться в больницу ни за что не хотела. Лия работала посменно, и часто за мамой приглядывала толстая Санюра.

Словом, свылась, стерпелась со всем Лия — с незаконченной десятилеткой, с материнскими подсовами, тяжким духом в комнате, с отцовской нервозностью, материнскими истериками, а потом с отъездом отца и материнской смертью.

Только краснеть от хамства не разучилась.

— На тетку плюнь, — сказала толстая Санюра и обняла Лию, — а ты давься, — крикнула она Гане через стол. — Мне не надо. Я сытая. И тогда, дергая длинным носом, захныкала Ганя.

— Фью-ить, вью-ить-уить, — сопела она.

Издали могло показаться, что Ганя шепчет молитву, потому что голова ее вскидывалась, а руки были сцеплены на столе у миски.

— Тебя не поймешь, — сказала женщина рядом.

— На нашу сестру нету профессора, — вздохнула вторая.

— Да, бабья душа, как аптека! Без пол-литры не разберешься! — добавил еще кто-то, и разговор чуть не ушел в сторону, пока Ганя шмыгала носом и пускала слезы по грязным желобкам морщин.

— Фью-ить, вью-ить-уить... Да ить мне не жалко, — вытолкнула она наконец через глотку. Раньше почему-то слова попадали в длин-

ный, забитый полипами нос.— Ешь, Санька. Мне такого дерьма и нельзя. Печень...— объяснила она, как бы доверяя себя всем и подымая всех до себя.— Малая была, ох наворачивала! А теперь — печень. Рак в ней или жаба. Кто знает?.. Какие сейчас врачи!.. Мне бы сыр-ку... А ты жри,— она крунула миску через стол к Саньке.— И ты, Лийка, не стесняйся. Хучь давься, а принимай. Завтра и того не дадут.

— Не каркай, ворона! — цыкнули рядом.

— Пораженка!

— Кура!

— Кончай жратву! — заорала старшая.— Вагоны счас подадут.

Опять началась толкотня, как ночью, когда прибыл шанцевый инструмент. Опять Ганя вскочь понеслась в барак, продралась сквозь толпу у входа, ухватила кошелку с лопатой и, не зная, чего делать дальше, на всякий случай опустила на пол.

«Может, сбежать? — подумала она.— Снова пойти в райдел? Сжалься. Карточку дадут. Что я тут забыла? Ну, в тетрадь записали. А на кой мне их тетрадь?»

Барак опять набивался женщинами. Хватали сумки, мешки, лопаты, ведра, потом нерешительно топтались на месте. Порядка, прямо скажем, было маловато.

— А ну, не загорай! Выходи строиться! — закричал из дверей тот самый военный, тот, что ночью приезжал на грузовиках.

На дворе совсем посветлело, но небо было серым от туч.

— Хоть самолетов не будет,— переговаривались женщины, позевывая от холода.

— Стан-но-вись! — закричал военный. Он опять неловко взобрался на крышу кабины. Вместо трех ночных полуторок теперь на станционном дворе стояла только одна. «И чего ездит?» — подумала Ганя.

— Рукавицы привез! — как будто услыша ее, объяснил оказавшийся неподалеку допризывник.

— Для интеллигенции,— засмеялись бабы.

— Раз-говорчики! Ста-новиись! Равняй-сь! — заорал военный с верхотуры.

Строились неумело.

— Старшие команд, давай порядок! — орал худой капитан.— Ну, ну, подравняйсь! Смир-ирна! А, хрен с вами. Стойте хоть так...— Он махнул рукавом шинели.— Тихо чтоб!.. Слушай меня. Товарищи женщины! Положение очень тяжелое. Враг рвется в самое сердце нашего государства.

Он хотел сказать им что-то необыкновенно душевное и доброе, потому что очень жалел их, измученных кроме нелегкой жизни еще и этой полубессонной ночью в холодном станционном бараке. Ему хотелось если их не подбодрить, то хотя бы рассмешить. Но, как только он взобрался на крышу кабины, ему почему-то вспомнилась частушка из фашистской листовки, прочитанной вчера на инструктаже:

Девочки и дамочки,
Не роите ваши ямочки,
Проедут наши таночки,
Зарюют ваши ямочки.

Вчера в первую минуту частушка показалась ему вполне складной. И человек двенадцать командиров, сидевших в тесной комнате у штатского Тожанова, тоже удивленно переглянулись.

Но сегодня, когда перед ним стояли свои, родимые дамочки и девчонки, которых посылали туда, вперед, за Москву, поближе к хорошо знакомым ему танкам, капитану стало не по себе, и он оборвал речь.

— В общем, разобрать кирки-ломы. Старшим разбить людей по десять. Каждые десять — отделение. Ясно-понятно?

— Ясна,— нестройно ответили женщины.

— Не распускать строй! Я вас скоро проверю,— добавил капитан и слез с крыши.— Давай,— сказал водителю, пристраиваясь рядом, и грузовик выполз за ворота.

— Стой на местах! На десять рассчайсь! И тише вы,— цыкнула на своих старшая.— Немцев приманите.

На станционном дворе стоял рев, как по воскресеньям на всех московских рынках разом.

— Не прилетит. Тучи! — засмеялся недомерок в Ганином ряду. Теперь при свете Ганя даже удивилась, как она его раньше не признала. Это был Гошка, друг-приятель чуда природы.

— Считайсь,— приказала старшая.

— Перьвая, вторая...

— Не «ая», а «ый»... Ты теперь вроде как боец.

— Первый! Второй!

— Третья...— крикнул недомерок Гошка.

Женщины засмеялись, и старшая не удержалась, но тут же напустилась на паренька:

— А ты, сцикун, не выскакивай! — и, засерьезничав, крикнула: — Давай, раз-раз, а то вагон прозеваем, а на платформе ду-ет!

Рыжая и толстуха вышли восьмой и девятой, а Ганя десятой, последней. Еще чуть — и была бы с чужими. «Все ж есть бог», — подумала, смиряясь и успокаиваясь.

— Ну, ты самая тут просторная,— сказала старшая Саньке.— Будешь за отделенную. Держи их — во! — она сжала пальцы в основательный кулак.— Получишь десять рукавиц и гляди, чтоб кирки и лома прихватили. А то иждивенцев — одни лопаты хватать — много. Ясно-понятно?!

— Ясно! — весело откликнулась Санька и уточкой притянула ладонь к полushалку.

ПАРА ХРОМОВЫХ САПОГ

Не платформа и не теплушка — достался им нормальный вагон с двумя полками и третьей для вещей. Ганя подгадала, где стоять, и, когда подходил состав, первой уцепилась за поручень, вскочила внутрь и одно место у окна взяла себе, а другое, напротив, придержала для старшой.

— Э,— махнула та,— некогда мне рассиживаться!

И как в воду глядела. Враз загудело, завизжало — у-у-у! — на весь город и еще, может, на область.

— Граждане, воздушная тревога! — передразнивая радио, забасила какая-то деваха из соседнего отсека.

«Вот тебе и тучи», — подумала Ганя и глянула в окно, но ничего не увидела. Впритык стоял товарный.

— Ой, мамоньки! — кричали в вагоне.

— Ой, сюда! Прямо сюда даст! — накаляя страсти, вопила заходящая какая-то из самых нервных.

— Тише, стерва!

— Пусти, воздуху нет!

— Помираю!

— Ой, до ветру надо!

— Потерпишь!

— Ой-ой! — кричали в вагоне.

Вообще-то с июля женщины успели привыкнуть к тревогам. Москву хоть и бомбили, но была она чересчур велика. К тому же из метро или убежища, как падают бомбы, не видно. А ездить глядеть, где чего разрушено, не у каждой есть охота или лишнее время. Зато самолет немецкий, что сняли с неба, поставили в самом центре, на площади имени Революции — смотри, любуйся! Поэтому в октябре

уже такого страха перед налетами не было. Но сейчас, вырванные из своей ежедневности, запертые в вагоне на двух полках и даже на третьей, для узлов и чемоданов, многие запаниковали. Теснота сжимала не только бока и ребра, но и саму душу, а сверху выло, и, хоть взрывов еще не было, даже грохот зениток не доносился, все равно казалось, попадет сюда — в вагон, в это купе, в спину, в шею.

— У-у-у-ууу! — ревело над Москвой, а казалось — над самой крышей, и те, кто пристроился на третью, хотели хоть на вторую полку, а со второй — на первую, а на первой казалось: взорвет путь и вдавит снизу. И они ринулись к дверям, забивая проход.

— А ну назад! — заорала от дверей старшая. — По местам! Соберешь вас потом! Как же! Эй, трогай скорей! — закричала на перронную платформу, наверно, кому-то из поездной бригады. — А то один кисель доведу. А ну назад! Кому говорю? — заорала снова в вагон, хватаясь за широкий армейский ремень, что стягивал зеленую, длинную даже ей стеганку.

— Осторожней, женщины! У нее под клифтом был наган! — запел допризывник Гошка на мотив «Мурки». Он сидел рядом с Ганей, явно забавлялся паникой, и во рту у него уже дымилась папироска.

— А ну загаси, ирод! Дыхнуть нечем, а он курит, — завохотала Ганя. — От сцикун, — добавила, подлаживаясь к старшей, а та меж тем, свернув ремень, готова была стегать каждую, пусть только полезет к дверям.

«И вправду, с наганом вернее, — думалось ей. — Ответственность, а нагана не дали. С оружием уважения больше...»

— Дай прикурить, — крикнула она Гошке. — А сам загаси. Мал еще.

— Я и говорю, а он дымит, — снова ввязалась Ганя. — Сгаси. Духота. Тебе не положено. Вот солдатом станешь, кури, пока не убьют.

— Чего к человеку пристали? — сказала Санька. — Иди сюда. — Она отодвинулась от окна и пустила Гошку. — Раму только стяни. Вот так. Как раз будет.

— Дует, — заныла Ганя. — А ты не приманивай. Я тебя пустила временно. Это вон их место, — она почтительно повернулась к старшей, которая с ремнем, как казак с нагайкой, закрывала выход.

— Заткнись, тетка, а то, честное слово, врежу, — зевнула толстая Санька. — Двигались бы, что ли. Может, закуришь, подруга? — она ласково обняла Лию. Та, мотнув головой, прижалась к ней. И тут поезд тронулся.

— Господи, пронесло бы! — то ли вздыхали, то ли вправду молились на верхних полках.

— Фу ты, — успокоилась старшая и, застегнув ремень, села на край лавки.

Поезд набирал скорость. Сверху выло. Уже стреляли зенитки и вроде где-то ухали взрывы, но на ходу, под ровный стук колес было не так тоскливо.

— Я вам у окна заняла, — снова заулыбалась Ганя начальству. — Встань, — строго сказала Гошке.

— Пусть. Тут не купленные, — отозвалась старшая. — Может, ему скоро ать-два. Стрелять умеешь?

— Угу, — кивнул Гошка, не вынимая папироски.

— Годишься. Напомни мне. Должны оружие выдать, — прикрыла зевком вранье. Хотя она была со всем районным начальством на «ты» и за руку, никто ей оружия не обещал, да и стрелять она не умела. Но как с женщинами без нагана? Хорошо, в вагоне две двери, да и замкнута одна. А там, как высадутся, ищи-свищи. Они без присяги. Бабы!.. В трибунал их не потащишь. И опять же не овцы — ремнем в одну кучу не сгонишь.

— И нам с Лийкой дайте, — сказала толстая Санюра. — Мы ворошиловские!

— Ладно, поглядим. И тебе, хохлатка, тоже?

— На кой мне? — ответила Ганя. — Мне черпак дай. Я сготовить могу.

— Редкая профессия, — засмеялись в отсеке. Поезд уже вымахнул за окраину, и паника поутихла.

— В столовке служишь? — поглядела на Ганю старшая. — Я тебя чего-то в лицо не признаю. Еще записывала, хотела спросить. Ты с дробь?..

— Ага, с дробь, с дробь... с двадцать седьмой, — закивала Ганя, не упоминая про столовку.

— Так то ж напротив вас, — вспомнила старшая, кивая Лии и Санюре. — Так, значит, в прислугах? Непрописанная.

— Она приходящая, — тихо сказала Лия.

— А сама откуда?

— Загородняя, загородняя. Меня Рыжова, Елена Федотовна, просила... Мы с нею старые знакомки. Подруги... За Ринкой, дочкой, глядеть уговорила. Зренье у нее никуда...

— Это которая длинная? На машинке грохочет? Неясная семья.

— Чего же неясного? — заступился Гошка. — Учительница и квалифицированная машинистка.

— Тебя не спросили, — оборвала его старшая. — Значит, подруги, говоришь? — она выпустила дым Гане в лицо. — Давно подруги?

— Давно, давно, — поддакнула Ганя. — У меня свое хозяйство. Но Ринку жалко. Она вить должна по часам принимать еду. Зрение ни в какуюю.

— А муж у Рыжовой где? — спросила старшая и даже рот открыла от удовольствия, будто целилась и попала.

— Нету мужа, — удивилась Ганя, — зачем ей муж? Она женщина серьезная. Мужиков не водит.

— А девку ветром задуло? — засмеялись на верхних полках.

— Вы чего? — задрала голову Ганя. — Людям поговорить дайте. Нет у ней мужа, — повернулась Ганя к начальству. — Был один армян... Мы с ней двое на Кавказ ездили... Ну, случился грех, — стала складно, сама не зная зачем, врать Ганя. — Я ей говорила: скоблись. А она спугалась, как сестра моя Кланька. Спугалась и родила...

— А-а, — зевнула старшая. — А то было другое мнение. Хороший у вас дом. Чистый дом у вас. Не надо, чтоб в нем враги жили. Когда твоя Рыжова менялась, я была «за». Выезжали эти, ну, как их... Бабка еще с детьми... Цуккерманы. Отца и мать разоблачили у них... Ну, и дала я «добро». Не надо нам врагов народа в передовом доме. А потом доводят мне, что и Рыжова того же поля фрукт. Ввали, значит?

— Ага, ага, — угодливо, к Гошкиному удовольствию, повторяла Ганя. — Нет, она женщина серьезная. Машинистка.

«И чего меня понесло? — подумала про себя. — У, жандарма! Скрыла... Да я б сроду к тебе не пошла. Ничего, все о тебе узнают! Бон как про Лийкиного отца. Но Лийкиного простили, а тебя не простят... Врать не надо людям. И что я твоей подругой назвалась?»

Лия вжалась в стенку вагона, и в груди у нее все замерло. Бедная Елена Федотовна. Такая сердечная, интеллигентная женщина. И Рина, хотя еще девочка и большая эгоистка, тоже интересный человечек. Хорошо, что их здесь нет... Но как все всё знают! Все обо всех все знают! Как же иначе? Нужна бдительность. Капиталистическое окружение... А теперь еще и война... И Лия незаметно перешла к своим собственным переживаниям.

«Дура дурой, — думал допризывник Гошка, сидя напротив Гани. — Дура, а вывернулась... Что-то есть в прислугах собачье... Нет, не собачье, а рабье. Захар-обломовское. Костерят хозяек, а другим костерить не дают. Ловко она с Кавказом придумала. А эта Домна (так он окрестил старшую, хотя звали ту очень просто — Марья Ивановна). Вот головастая! Государственная баба! Мускулистая рука рабочего

класса!— и он с неудовольствием вспомнил, как вчера эта самая рука не дала ему отдельно идти по тротуару. Пришлось залезть в самую серединку колонны и давиться стыдом под бабье вытье.— Вот люди,— думал он.— Просился на фронт, сунули на траншеи. Ну, ничего... Там сбежать легче...» — и сразу же повеселел, правым плечом вминаясь в уютную Санюру.

— Так ты, выходит, прислуга?— спросила старшая.— Домраба, значит? А договор небось не оформляла?

— Не успела,— униженно кивнула Ганя.

— Она шпионка,— сказал Гошка.— Вы за ней в два глаза глядите.

Наверху опять засмеялись.

— Шпионка, пшенка! Шиш тебе!— завелась Ганя.

— Ладно, смейтесь без меня. Проверю, как настроение.

Марья Ивановна пошла по вагону, и в первом отсеке сразу стало просторней.

— Сдвинься, Санька,— хихикнула Ганя.— А то парень как свекла стал.

— А чего? Пусть греется. Давай руку, Гошенька!— засмеялась Санька и впрямь сунула Гошкину ладонь себе за телогрейку.

— Ха-ха!— заржали сверху.

— Хи, — фальшиво визгнула Лия.

— Пусти,— смутился Гошка, выдирая руку.

— Не стесняйся. Я добрая,— веселилась Санька.— Если замерзнешь, пожалуйста. И сразу действуй, а не жмись, как карманщик. Дело житейское.

— Да ну тебя,— буркнул Гошка, не зная, то ли обижаться, то ли смеяться со всеми. Складная Санюра ему нравилась.

— Он к Ринке наметился,— сказала Ганя.— Ты для него «широка страна моя родная». Ему деликатного надо, вумственного...

Поезд меж тем выскочил из Москвы. Сирен не было слышно, только дружно хлопали зенитки.

— Ого дают!— сказал Гошка.

— Да ну их! Насмотришься еще,— сказала Санька.

— Авиации у нас маловато,— вздохнула женщина, крайняя на Ганиной лавке.— С земли стрелять — это как мертвому капли...

— Капли! Ничего себе капли,— рассердился Гошка.— С одного осколка — нет самолета. Особенно если в бензобак.

— Воробью в глаз,— ответил сверху голос поглуше.— Где его попадешь? Он на месте не ждет.

— Стреляют заградительными,— хрипло, будто ей сжали горло, объяснила Лия.

— А, ну тогда другое дело.— отозвались сверху.— Заградительными я понимаю. У меня племяшка в зенитных. Приезжала на той неделе. Говорит, один снаряд по деньгам — пара хромовых сапог. Слышишь? Вон уже три «Скорохода» в небо пустили.

— А ты не жалея! Мы богатые,— сказала Санька и сунула под лавку ноги в мужских латаных башмаках. Все засмеялись.

— Не может так быть, чтобы одну хромовую...— рассудила Ганя.— Это ж убийство. У меня двоих ребят, тоже племяшей, забрали, так ботинки выдали и к ним бинты толстые. А сапог, ответили, нету...

— На твоих и лаптей жалко,— сказал Гошка.

— У, паразит! Санька! Хайлу ему заткни!— запыла Ганя.— Лаптей!.. Они не жмутся, как ты. Всех девок на Икше испортили.

— Вояки!— хохотнул Гошка.

— У немцев большая сила,— сказали с полки над Ганей.— Что им твоими зенитными сапогами сделаешь? Они с умом воюют.

— Чего мелешь?— отозвались с полки напротив.

— Ничего. Мелю, значит, знаю. А ты рта не затыкай. Сама видишь, куда едем...

— Куда? Куда... Военная тайна, куда...

— Тайна? Не в Берлин. Сто верст — не дальше.

— Версты?! Не в верстах дело! Дурни твои немцы. Их обмануть — раз плюнуть.

— Поплывйся, поплывйся, подруга. Христом-богом прошу, — под общий смех сказала Санька.

— Да не в том дело, — повторил тот же голос. — Они дурные. Их обмануть легко. У нас беженцы два дня жили. Немцы, рассказывали, глупые. Обдурить их пара пустяков. И украсть у них всегда украдешь.

— Так чего ж бежали? — съехидничал Гошка.

— Ты, сопливый, молчи. Бежали потому, что советские. Кому охота под врагом жить. Это другое дело. А я о том, что немцы дурные. Их перехитрить можно. Паренек у беженцев, сын. Так каску украл, наган или винтовку короткую и еще две плитки шоколада. И ничего — отвертелся, поверили. А дочка у них такая из себя, подходящая. Офицер сильничать хотел, сказала, что сифилис, и не стал, поверил. А один немец молоко пил, так за кринку две конфеты дал. И еще платить деньгами хотел, когда старуха нательное простирнула.

— А чего ж сбежали? — спросила Ганя. — Может, еврей?

— Да никакие не евреи. Просто советские. Я говорю, немца всегда обдурить можно. Он только вперед глядит, а сбоку у него глаз নে-ту — одни уши, а они по-нашему не кумекают...

— Ну и не бегли бы, — сказала Ганя.

— Пораженка, — разозлился Гошка. — С такими не победишь.

— Заткнись, погань.

— От погани слышу. Вон как уловителями повела. У Рыжовых тащила, теперь у немцев надеешься.

— У, подлюка! — взвилась Ганя. — Да я тебе...

— Не волнуйся, тетка, — вмешалась Санюра. — Немцам ты не потребуешься. Они чистых любят. А ты небось с Рождества в бане не была?!

— А ты мне спину не терла.

— Нет, — согласилась Санька. — Я в детсаду малышей купаю. А таких, как ты, обмывают в море.

— Съела?! — захохотал Гошка.

«Как им не стыдно, — подумала Лия. — Ведь они хорошие. В каждом что-то настоящее есть. Даже в тете Гане. Как она вчера со всеми пела! Даже в самых плохих есть мужество и самоотверженность. Надо только открыть это во всех. Тогда победим. И не надо ссориться. Нужны хорошие организаторы. Марья Ивановна — она хорошая. Но она не может увлечь. Она для приказов. Надо душевную, такую, как Санюра. Вот из Санюры вышел бы организатор! Если б я умела так разговаривать с людьми. Но я не могу. Я некрасивая и неловкая. Меня слушать не будут».

— Не грусти, касатка, — сказали Гане сверху. — Вымоешься, бант повяжешь и неси поднос. Немцы лапать не будут. Только мяса у них не тащи. Они жирное любят.

— Да чего вы на меня? Да у меня племяши на фронте! — заплакала Ганя.

— Что за шум, а драки нет? — весело гаркнула Марья Ивановна, возвращаясь с инспекции. — А ну, подвинься, — толкнула она Лию. — Хоть посижу, вдруг не скоро придется.

ЭХ, КАРТОШЕЧКА, КАРТОШКА

Их высадили посреди поля, километра за три от разбитой станции.

— Давай, давай! — орали старшие команд.

— Скорей, скорей!— нервничала, мечась по насыпи, поездная бригада.

— Да неловко же,— оправдывались женщины, прыгая на насыпь.

— Ловко? Вон станцию ловко прямыми попаданиями... Как не было!

Бренчали ведра, стучали, падая, лопаты. Только и слышалось:

— Ой, ногу подвернула!

— Ой, мамочки, пятка!

— Аж по зубам... Боль-на!..

— Раз! Раз!— кричали железнодорожники, машинист с кочегаром.— И живо, живо в поле. А то опять прилетят!— и опасно по-матривали в сизое небо.

Было не очень ветрено, но как-то сиротливо. Окопницы пошли напрямик через неубранную картошку.

— Разберись по десяткам!— кричали старшие, но женщины шли кто как, идти строем мешала ботва. Нога то проваливалась в мягкую оттаявшую землю, то скользила по клубням.

— Пропадает!— вздыхали одни.

— Кланяйся да в подол! Потом напечем,— покрикивали другие.

— Сладкая небось, морозком прихватило...— останавливали их третьи.

Многие все равно нагибались, пытаясь на ходу подобрать вывернутые ногами картофелины.

— Левой! Левой!— орали старшие.— Некогда.

— Все вскочь! Все вскочь!— сердилась Ганя, хотя картошку не так уж уважала. Просто идти по неровному полю с киркой и лопатой радости было мало да еще ее затравили в поезде.

«Грамотные,— сердилась она.— А как землю ковырять, так враз вся грамота мозолей выйдет. Ладно, шагай, шагай»,— и она топтала ботиками мерзлую ботву.

Солнца не было. Только сквозь тучи что-то просвечивало, словно выйти стеснялось или тоже побаивалось немецких самолетов. Впереди за полем белела церковь, и возле нее загибалась асфальтовая дорога. «Хорошо бы на церкви артиллерийский наблюдательный пункт... Можно с телефоном или лучше с рацией. Вместо креста — антенна! Вот сила будет!— думал допризывник Гошка; он шагал поодаль от женщин.— Первая — огонь! Вторая — огонь!— командовал про себя, ковыряя полуботинками липкую землю.— Как займут красноармейцы окопы, останусь,— и он уже видел выкопанные траншеи, колючую проволоку и танковые ежи на дороге, которая пока еще одиноко змеилась мимо сельского храма.— Дальше, наверно, река,— думал Гошка.— Где это я читал, что церкви всегда над рекой ставили? Религиозники умели выбрать место. На реке хорошо оборону держать. Там и останусь. Каринка ведь все равно уехала...» И он вспомнил, как они с Каринкой лазили на крышу тушить зажигалки. Но им не везло. В их дом ничего не падало. Но все равно Каринкина мать закатила ему форменную истерику. Белая, валерианку пила, а потом, когда успокоилась, извиняться стала: «Поймите, Гоша. Ведь Карина у меня одна. У меня, вы знаете, больше никого нет». И он обещал больше не брать Ринку на крышу, даже на другой вечер пошел с ней в бомбоубежище. «Елена Федотовна еще ничего,— думал он.— А Каринка просто замечательная. Близорукость у нее пройдет. Как только зрение окрепнет, Каринка очки снимет. Но зачем, чудачка, читает лежа?..»

Лия еле плелась в своих желтых шнурованных, высоких до колена ботинках, несла на лопате ведро с кошелкой. Каблуки то и дело застревали в вязкой земле. Она уже устала их выдирать. Эти материнские ботинки ужасно раздражали. Лучше бы их продали тогда на толкучем. Но мама упиралась, требовала меньше, чем за пятьсот, не отдавать. «Какая кожа! Это в Австрии, на курорте в девятьсот две-

надцатом покупали... Что ты, девочка!» Мама все надеялась, что вернется настоящая мода и она сама их наденет, когда перестанут опухать ноги. Мама была бесконечно упрямой. И теперь Лия сердилась на Санюру, что та посоветовала ей влезть в эти чудовищные сапоги. «Да я бы сама с радостью, когда бы вместились!» — уверяла ее вчера Санька. «А вдруг она назло мне? Вдруг нарочно? — с отчаянием думала Лия. — Вдруг она только сверху такая хорошая, веселая и добрая... Ведь они у меня чуть комнату не отобрали...»

И Лия вспомнила предвоенное воскресенье в центральном парке. Это было через полгода после маминой смерти. Санюра просто силой потащила ее в парк. Она уже спала в Лиинной комнате (убедила Лию, что той почевать одной страшно), перетащила на мамину кровать свою постель и даже повесила в Лиин шкаф свой сарафан и два платья.

«Пойдем да пойдем!» — приставала к ней Санюра в тот воскресный вечер. Лия даже не приоделась. Да и не во что было. (Деньги, которые стал присылать отец, тратить на тряпки Лия жалела. Клала на сберкнижку. Рассчитывала: сдаст экстерном за школу, поступит в институт — пригодятся. Теперь эти деньги до конца войны будут лежать в сберкассе.) Словом, пошла в парк только из-за Санюры, потому что девушке одной ходить по парку неприлично. А Санюра, хоть была годом моложе, уж очень томила без молодых людей. А тут еще такой случай: комната свободная. «Из-за комнаты она меня позвала, — подумала Лия, глядя в спину весело шагнувшей по картофельному полю Саньке. — Что ж, она видная, бойкая!..»

«Нас не трогай, мы не тронем», — улыбнулась против воли Лия, вспомнив, как в тот вечер в парке Санька отваживала этой строкой из песни настоящих, по ее мнению, кавалеров. Некоторые мальчики были даже очень ничего, но Санюра только отмахивалась. Она говорила им очевидные глупости, а получалось смешно и к месту. Ее шести классов вполне хватало на то, чтобы не уронить себя, а Лия со своими без одной четверти девятью слова выдать не могла.

После недолгого дождя ходить по рыжим дорожкам было даже приятно, но Санюра все дергала Лию, тащила то к эстраде, вокруг которой все в один голос, как маленькие, противно пели, то на пятачок, где фокстротили, словом, к людям и яркому электричеству, где заметней были старенькие Лиины тенниски и худые незагорелые руки.

Мальчики тоже ходили по двое, по трое. Так им было удобней знакомиться: один ухарствовал перед другим. Но, увидев Лию, все они, как ей казалось, тотчас скисали, на третьем слове подымали ладошку и похлопывали воздух:

— Ауфидерзеен! — или еще как-нибудь.

— Я пойду, — канючила Лия. — Я тебе только все порчу.

— Ничего, ничего. Другие будут, — обнимала ее Санюра и, похоже, не бодрилась, а совершенно была в том уверена. И действительно нашла, чего хотела. — Вон гляди... — она толкнула Лию в бок. — Годаются? Тебе какого — Крюкова или Абрикосова?

Вдоль пруда лениво шли два парня — один кряжистый, с русым чубом, другой темноватый, высокий. Этим, собственно, и кончалось сходство со знаменитыми артистами.

— Ты шутишь! — сжалась Лия. «Это не для тебя!» — хотела она крикнуть, но сдержалась. Нет, это, конечно, были мальчики даже не для Санюры. Во-первых, у них были удивительно приятные интеллигентные лица. Светловолосый, видимо, учился в техническом вузе, шатен, скорее всего, в университете. У него в глазах была какая-то ленивая грусть, словно он знал о жизни больше других и даже как бы отстранялся от нее. И одеты они были даже чересчур прилично — оба в хорошо отутюженных брюках, в шелкового полотна рубашках

и на ногах у них были не тенниски, а настоящие туфли: у блондина белые парусиновые, у высокого — темно-коричневые, кожаные. — Не надо, Санюра! — Лия схватила ее за руку, боясь конфуза и жалея подругу.

— Да не робей ты, — отмахнулась та. — Главное, виду не давай, что тушуешься. Что мы, не москвички, что ли?

Ребята как раз остановились у тележки с газированной водой.

— Ну, как, студенты, аш-два-о? Подходяще? — спросила Санюра покровительственно и небрежно, словно это были не молодые люди, а ее детсадовские писюки. Господи, у Лии щеки, наверно, стали рыжей дорожки. — Стесняется, — улыбнулась Санюра, хлопав Лию по плечу. — Пить хочет, а фигуру бережет. Больше стакана в день нельзя. Вот и смотрим, где вода получше.

— Напои их, Витька, и пошли, — буркнул физкультурник. — Это не Рио-де-Жанейро. — Он отошел от тележки.

— Чего? Чего? Крем-брюле не советуете? — защебетала Санька.

— Глупая, тебя оскорбили, — готова была заплакать Лия.

— Торопятся, — засмеялась Санюра. — Студенты, они от харчей легкие... Ветром уносит.

— Глупая, тебя презирают, — горлом выдохнула Лия.

— Да не шипи, как змея...

— Извините, он не в настроении, — сказал темноволосый. — Жорка, иди сюда! — Но физкультурник куда-то исчез.

«Если бы не я, Виктор бы тоже ушел», — думала Лия.

Женщины шли, устало растянувшись от насыпи до шоссе, размахивая кошелками, позванивая ведрами.

— На церкву держи, антирелигиозницы! — кричала Марья Ивановна.

«Все-таки я ему по духу ближе, но Санюра больше женщина, — рассуждала Лия, помимо воли любуясь ладной Санькой, которая в короткой поверх лыжных брюк юбке и в телогрейке лихо топтала отцовскими башмаками неубранную картошку. — Словно по парку гуляет. Даже лом с лопатой ей не в тягость. Нет, странная вещь наша жизнь и все мы в ней странные».

— Так что милости просим. Вот телефончик. Мы одни живем, — сказала Санюра Виктору, когда он довел их до метро «Парк культуры». Целых два часа они бродили втроем по аллеям, причем Санька сразу взяла студента под руку, а Лие пришлось идти с Санюриной стороны, и разговаривать ей с Виктором было неудобно. Да и Санька больше двух слов сказать не давала. — Да бросьте вы о серьезном. Литература, литература! Сохнут с нее. Или без глаз ходят, как соседка наша Ринка. Замерзнешь тут с вами, — нарочно зевала она и прижималась к Виктору. Лия мешалась и краснела и все порывалась оставить их одних, но Санька не пускала ее, держала под руку. Прямо висла на них, веселая, разухабистая, хитрая и зоркая, такая, что зря не обидит, но своего не упустит. А студент (Лия уже разглядела, что он не только грустный, но еще и застенчивый) никак не догадывался их расцепить и пойти посередине. — Так что звоните, миленький, — сказала у метро Санюра голосом, полным обещания. — Ну ты подруга — первый сорт! — обняла она на эскалаторе Лию. — Без тебя бы враз упустила! Молодец, что при книжках служишь. Дай и мне поглядеть про эту самую Рину-Женеву.

Меж тем самые расторопные женщины уже добрались до церкви. Почти все они тащили ведра, и Ганя, запыхавшись, не отпускала их от себя, догадываясь, что они и будут поварихами.

— Давай, давай сюда, голубушки! — кричал им худой военный, указывая на распахнутые двери храма. За спиной капитана темнел полуторатонный грузовик «Газ-АА».

«Вот оборотены!— подумала Ганя.— Как краснофлотец: нынче здесь, завтра там. И старика какого-сь пымал».

Рядом с худым капитаном крутился очкастый кругленький старичок в длинном брезентовом плаще, какие носят конвоиры или заготовители, и, на чем-то, видимо, настаивая, размахивал ручками. Доберись допризывник Гошка до полуторки, он услышал бы, как старичок повторяет его собственные рассуждения.

— Я представляю себе, товарищ командир, на церкви наблюдательный пункт,— восторгался старичок.— Обзор исключительный!

Капитан не отвечал. Его занимало другое.

— По берегу мы все перероем. Мосты, гужевой и железнодорожный, видимо, придется взорвать. А на шоссе поставим ежи. Рельсы автогеном нарежем и сварим.

— Ну-ну, только без самодеятельности. Да и на хрен тут ежи нужны. Не город ведь...— процедил капитан.

— ...Мы узкоколейку на это дело пустим. Тут неподалеку ржавеет без надобности.

— Ну, узкоколейку — хрен с ней,— согласился капитан.— Только без самодеятельности. Вы что, в гражданской участвовали?— спросил из вежливости, на минуту отрываясь от своих невеселых мыслей.

— Нет, скорее изучал,— неопределенно хмыкнул старичок. Но капитану уточнять было некогда.

— Сюда давайте!— кричал он женщинам, подходившим с ведрами и лопатами к шоссе.— Я вам, бабочки, продукт привез. Там разберите в кузове, только чтоб без паники. Или нет! Отставить. Пусть старшие распределят.

«Я вроде как сам не свой,— думал он.— Были б вагоны, честное слово, запихнул бы в них окопниц и погнал бы назад в столицу. Нечего им тут делать...» Он жалел женщин, суеверно надеясь, что хорошие люди там, за линией фронта, тоже пожалеют его жену и детей.

Старичок меж тем потрусил в церковь, где, как видно, была ремонтная мастерская, потому что оттуда выскочили пацаны с двумя тачками — на каждой по баллону — и с гиканьем повезли их через шоссе к редкому леску.

«А, черт с ними!— подумал капитан.— Лишь бы были заняты. Безделье — мать паники. А за делом и страха поменьше... Кто знает, может, и пронесет...»

Но тоска грызла его отчаянная.

ДВА ТУЗА, ИЛИ ПЕРЕБОР?

Все началось с того, что утром на пересылке продуктов ему не отпустили. Сунули по буханке хлеба на каждую окопницу и еще каких-то комбижиров, но и то не на все триста душ.

— Бюрократы,— пробовал он качать права.— Что ж, машину за сто верст гонять?!

— Нету, капитан,— отрезал завстоловой, пожилой коротышка сверхсрочник. Четыре треугольничка высывалось из-за накрахмаленного ворота его халата.— У нас кроме ваших баб народ есть. Мы не склад. Кормить кормим, а отоваривать в военторг дуйте.

— Так раньше ж давали...

— То раньше, а то теперь...

— Ничего не теперь... Войну никто не отменил. Слышь, старшина, я тебе говорю: крупу давай. И комбижир не жми.

— Нету,— повторил старшина.

— Выполняй приказ, сверхсрочник. Точка!

— Нет.— Старшина мотнул седым ежиком.

— Невыполнение?! Пристрелю, сверхсволочь!

— Катись-ка ты, капитан, к едрене-фене. Навидался я нервных...

«У, зараза...— думал капитан, выходя на станционный двор.— Попался бы ты мне за Днепром. Так таких ведь в тылу сберегают. Нечего тебе, Гаврилов, тут глотку драть. Был ты человек, а теперь бабий придаток...»

— Где отовариться можно, не знаешь?— спросил молодого водителя и закашлялся, потому что в кабине вдруг запахло гарью. Видно, где-то что-то жгли — по улице навстречу полуторке летело густое серое облако, похожее не то на снег, не то на тополиный пух.

— Разузнаем,— ответил боец.

Голос у него был уверенный, а лицо чистое и тонкое, городское. Но продсклад искать не пришлось.

На узкой булыжной, летящей под уклон улочке наперерез их «газику» выскочил пожилой еврей и, вздымая руки, запричитал:

— Товарищи военные! Товарищи военные! Спасите!.. Грабят!

— Тыфу ты...— водитель отчаянно затормозил и крутанул на тротуар.

— Грабят, товарищ командир! — крикнул еврей, разглядев в кабине капитана.— Больше полмагазина вынесли!

...В маленький продмаг, как в бесплацкартный вагон, натолкался всяческий народ. Единственная витрина была напрочь выбита, и через нее совали мешки с крупой и сахаром. Гул стоял невообразимый, вполне вокзальный.

Неловко припадая на простреленную ногу, капитан, не раздумывая, опустил рукуятку «ТТ» на затылок какому-то старику в зимнем пальто, принимавшему через витрину заколоченный ящик.

«Хорошо, не женщина!» — успел подумать и жажнул в воздух.

— Прекратить! Застрелю! — он затрясся, как контуженный.

Все в ларьке и снаружи разом отвалили от витрины, замерев, как перед фотоаппаратом. Только старик в зимнем пальто шарил на тротуаре — искал кепку. Она валялась рядом.

«Не насмерть,— подумал капитан,— хотя вообще такого не жалко...»

— Как допустил? — накинулся он на завмага.— Чего милицию не звал? Или заодно с ними?

— Да что вы, товарищ командир?! Зачем обижаете? Я же не бежал, не бросил, как другие...

— Еще чего!.. Милицию звать надо.

— Так нет ее, милиции. Сегодня прямо как под землю...

— Звонил бы.

— Так не заслужили телефона. У нас мелкая точка...

— Интересное кино выходит,— вздохнул капитан.— А ну назад! Я тебе убегу...— пригрозил он пистолетом парнишке. Тот норовил выскочить через витрину.— В другие двери не уйдет?

— Нет. Там замки на петлях.

— Ну, беги, торгаш. Звони мильтонам. Только раз-раз. Две минуты отпускаю.

— Ой, спасибо! Спасибо, что сразу остановили безобразие! — крикнул завмаг уже на бегу.— Телефон испорчен,— закричал он из будки.— И этот тоже...— чуть не зарыдал из соседней.

— Е-ке-ле-мэ-нэ! — выругался капитан.— Не могу я с тобой загорать. Женщины у меня не кормлены. Случаем, не знаешь, где армейский продсклад?

— Не уезжайте, товарищ командир! — взмолился завмаг.— Побудьте еще минуточку. Без вас опять начнется. Или езжайте! Езжайте на здоровье. Только стрельните меня сначала!

— Что, опсихел?! Где тут у вас продбаза военная?

— Зачем база, товарищ военный? Вам продукты нужны? Берите. Сахар? Берите! Масло? Ящик? Пожалуйста! Крупа? Забирайте! Разве я для себя держу? Я для победы стараюсь. А они тащат! Берите все, то-

варищ командир! Пусть лучше ваши жены и дочери будут сыты, чем это хулиганье.

— Да ты что? Какие жены? Жена моя и пацаны у немцев. Свихнулся, папаша. Хотя стоп. Требование у меня по форме. Отпустишь? Три сотни женщин жратвой не обеспечены.

— Конечно, что за вопрос?! — завмаг засуетился. — А ты лежи, лежи, — цыкнул на старика в зимнем пальто; тот наконец отыскал свою кепку. — Не стыдно тебе, Прохор Степанович? Ты же пожилой человек!

— Знакомый? — удивился капитан. — Или они тут все друзья-знакомые? А ты вот что, товарищ заведующий, организуй-ка их, пусть грузят. Правильно, боец? — Он повернулся к водителю, который с незаavisимым видом курил, привалясь к борту полуторки.

— Точно, товарищ капитан. Пусть потрудятся.

— А ну выходи, носи. На первый раз прощаю, хотя трибунал по вас плачет...

— А что, немцам оставлять лучше? — злобно спросил старик, поднявшись с тротуара.

— Каким немцам? Пули захотел?

— Каким-каким? Обыкновенным. Радио слушать надо.

— Ты мне не верещи. Бери мешок и в кузов, не то передумаю и не так вдарю! — рассердился капитан. — Ишь, паникер. Носите, носите... А ты, отец, — кивнул завмагу, — бумаги давай. Подпишу, где надо... Тоже вздумали — немцам!.. Из-за таких гавриков и отходим. Стрелять вас надо.

— Вот бы на фронте и стрелял, — буркнула какая-то тетка из-под мешка, который тащила втроем с девками, возможно, дочерьми. — Все вы с женщинами героини. Снизу заносите, — прикрикнула на девочек. — Не мы вздумали грабить. Приказ был не оставлять ничего.

— Ну и пораженцы у вас! — Капитан поглядел на завмага. — Сердце, можно сказать, родины, а такой, прости за выражение, бардак. Нигде похожего не видел. — «Это потому, что бежал быстро», — подумал про себя. — Что они несут про сообщение? — спросил завмага.

— Передавали: «ждите важное», а какое, не сказали... — ответил завмаг. — Вчера им расчет на фабрике произвели, а зарплату задержали. А тут еще это сообщение... Видимо, волнуются... Говорят, Москву будут...

— Враки, — перебил капитан, боясь, что завмаг назовет вслух то страшное слово. — Фашистское вранье, — добавил, успокаивая самого себя. — И ты веришь? — строго поглядел он на завмага. Но строгость была напускная.

«Черт его разберет!.. — подумал он. — Важное сообщение. А у меня там триста душ женского полу. Вот порезвятся фрицы».

— Конечно, не верю, — твердо сказал завмаг. — Товарищ Сталин не допустит.

— Правильно, папаша. Спасибо, продуктами выручил. Теперь прямо на окопы махану.

— Вам спасибо! Тут вот подпишите и тут. Все, как в требованиях. Два ящика — масло, лапша. Восемь мешков — пшено, песок, гречка.

— Ладно, верю. Прощай, отец! — крикнул капитан из кабины. — Теперь дуй сюда. — Он повернулся к шоферу, вытягивая из-под шинели планшетку с картой. — Вот где крестом черкнуто, разберешь?

«Триста женщин, — не шло у него из головы. — У меня одна, и то спать не могу, а тут целых триста!» — и он опять увидел перед собой так близко, что того и гляди дотронешься, свою Серафиму, солидную женщину, вдвое шириной и весом против него, суховатого и легкого. «Давала она мне политарозда, — улыбнулся он. Как все, несколько забытые семьей люди, бывший политрук любил иногда промочить горло. — Знал бы второй батальон, какие кувалды у Серафимы

Сергеевны! А может, и знал. Красноармейцы — народ дотошный, все поразведают... А ведь ходок ты был, политрук,— сказал он себе.— То есть не политрук, а когда еще в помкомвзводах ходил. А политруком уже мало: разок на маневрах и два раза в санатории. А больше не было. Заливаешь, парень? — подмигнул самому себе.— Да нет. Правда. С Райской ведь не стал...— Райска, Райса Васильевна, была сестрой-хозяйкой госпиталя. Очень самостоятельный товарищ, не замужем.— Можно сказать, на самом краю удержался,— улыбнулся капитан, вспомнив, как в бельевой он ее в шутку обнял, когда менял госпитальное белье на армейское, а она укусила его в грудь.— Показался я ей. Это точно. Все искали, где прижать, а я с ней вежливо, по имени-отчеству, как, мол, самочувствие и настроение. Вот она и глаз положила. Только что ж мне в закутке напоследок? Симка небось сейчас морду сажей мажет. Господи, хорошо хоть не первой юности (и красоты, согласись, политрук!..). И красоты,— не стал спорить он.— А на кой? Красота не миска. С нее не позавтракаешь. Зато пацанов — первый сорт! — родила... Нет, незачем и пустое...— подумал он.— Тут чужую прижмешь, там немцы твою. У них тоже голодуха на это дело. Хотя, говорят, походные бардаки за собой возят. Но бардак — он как кухня... Когда подвезут, когда нет... Да чего это с тобой?! — оборвал он себя.— Чего про похабель мусолишь? Симки, может, в живых нет. Жена командира. А до прошлого года политрука. Бей жида-политрука, морда просит кирпича,— криво улыбнулся он, вспомнив принесенную ему бойцами листовку.— Еще спасибо, что сам я русак и Серафима — природная кацапка...»

И его отчаянно потянуло к Симке, крупной Серафиме Сергеевне, что была вовсе не мед и не сахар, а одни окрики и подзатыльники. К той самой Симке, которую он шесть лет назад по пьянке обрюхатил и женился лишь силком, когда сам комполка чуть у него в ногах не валялся.

«Ну, женись, Гаврилов! Не демобилизовывать же за ерунду. Ты же прирожденный краском. Ну, Щорс прямо. Только бороды не хватает. Женись, и хрен с ней. Все они на один чертеж: две ноги и глупость между... А возраст (Симка была на семь лет старше), так оно еще лучше. Гулять не будет».

— Ты женат? — спросил Гаврилов шофера. Они уже оставили Москву и два КПП за ней и неслись почти пустой магистралью.

— Нет,— мотнул головой шофер, не вынимая изо рта папироски.

«Не поймет,— подумал Гаврилов.— А объяснить — у меня слов таких нету. Тут Лебедев-Кумач нужен, чтоб понятно стало, как от всей этой неразберихи домой к Симке охота... Домой?! Скажешь тоже!..— рассердился он.— Дом-то тю-тю...» Но ему все равно хотелось домой, куда угодно, но в ту комнату, где уже все по-Симкиному, хоть въехали они в нее только вчера или даже сегодня на рассвете. Какие у политрука вещи?.. А Симка умела: раз-раз и жилье у нее. И уже вечером зовет: «Заходите, товарищи командиры, чай с вареньем пить».

«Везет Гаврилову!» — завидовали неженатые, выскребывая по три раза чайные блюдечки, и бежали не упустить девах, крутившихся вокруг разместившегося полка. А Гаврилов, завидуя им, покорно стоял с полотенцем у плиты или примуса. Симка мыла посуду, он вытирал.

Но сейчас, когда все наперекосяк и старый уже — тридцать первый год, и сивость в волосах имеется,— понимал: не в девках счастье. А сидела бы рядом вместо этого курца-водителя Симка, страх бы вчетверо убавился. Она и баранку крутит — выучил. Вообще способная. Такой бы в институт и командиром производства. На блюминг. Говорят, на всю страну одна женщина есть на блюминге... А что такое блюминг, а? Знал да забыл...

«Тут, Сима, сейчас такой поворот,— начал он жаловаться жене,— что без тебя, как без чекушки, не разберешься. Женщин мне придали. Триста душ. Все равно как помещику. А я над ними сроду не коман-

довал. Вот бы тебе как женсоветчице. Ты бы их раз-раз в норму привела. А я с крыши «газа» глотку драл — никакого впечатления».

С мыслями о Симке даже сидеть было удобно.

— Хороша дорожка? — спросил водителя. Они уже свернули с главной магистрали на другое шоссе, тоже асфальтированное, но поуже.

— Тормозить не надо,— кивнул водитель. И правда, шоссе было совсем пустое. Никого они не обгоняли, и навстречу никто не ехал. Только ветер свистел да уже совсем редко и глухо ухали где-то зенитки.

— Бомбежки не боишься? — спросил Гаврилов.

— Нет. У нас скорость хорошая.

— Может, женщин догоним.

— Вполне возможно,— согласился водитель.

«Такие вот дела, Сима»,— подумал Гаврилов, но тут у молчаливого водителя голос стал по-мальчишьи ломким, лицо покраснело и он выпалил:

— Товарищ капитан, разрешите обратиться! Вы здешний?

— Нет.

— Понимаете, я хотел узнать. Только не подумайте, что...

— Валяй, чего там...

«Погоди, Сима,— мысленно сказал жене.— Боец что-то нервничает...»

— Выкладывай.— Он повернулся к водителю.

— Понимаете, я москвич. То есть харьковский. Но уже здесь два года — после первого курса забрали. Так вот, никогда не было такого: «Ждите важное сообщение».

— Ну и что?..

— Когда война началась, было «работают все радиостанции Советского Союза»...

— Не вижу вопроса,— сказал Гаврилов.— Ты вон целый курс института кончил, а обстановки, можно сказать, ситуации не понимаешь. А в чем ситуация? Ну, в чем?

— Немцы к Москве идут...

— Это не ситуация, а частность,— сказал Гаврилов.— Ты, может, и грамотнее меня, а главного не соображаешь. А оно, скажу тебе по секрету, в том, чтобы головы себе не ломать и выполнять приказание. Вот дорога хорошая, пустая, жми себе и радуйся, что скорость давать можешь. И я вон радуюсь, что женщинам продукт везу высшей качества. А не комбужир какой-то. А если за всех голову ломать, то на личную обязанность, на долг свой священный, можно сказать, сил не останется. Сталин пусть Москву защищает, а ты руль держи. Ясно?

— Ясно-то ясно, товарищ капитан... Но шоссе уж очень пустое...

— Это не твоя печаль. Ты что, дорожная инспекция?!

«А он с мозгами, как думаешь, Сима? — вернулся к жене Гаврилов.— Головастая у нас молодежь! Из вузов берут. А вообще-то по шоссе и правда хоть шаром кати... Вдруг они того... Москву, как Наполеону?.. Тебя-то ведь отдали...»

— А, сволочи! — выругался вслух и дернулся так, будто получил кулаком в челюсть.

— Зубы болят, товарищ капитан? — спросил водитель.

— Ага,— кивнул Гаврилов, который видел дантистов только на медицинских комиссиях.

— Закурите. Помогает!

— Нельзя мне. Легкое прострелено,— на этот раз не соврал капитан.

— А как вас?.. — спросил водитель, который еще не видел войны.

— Пулеметом из танка. Нервы не выдержали — вперед полез...

Да ну его, не в этом беда, парень. У меня баба с пацанами под немцами осталась.

— Да, я слышал. Вы завмагу говорили.

— Вот что плохо, товарищ боец.

— Да, понимаю...

— Ну, этого ты, положим, не поймешь. Но спасибо за сочувствие.

А пусто и вправду, как на том свете!..

— Зато скорость! Может, догоним эшелон и повернем его назад. «Головастый!» — подумал капитан.

— Еще чего! — сказал сердито. — Ты, что ли, поворачивать будешь?

На месте есть фортификационное («Смотри, выговорил!» — обрадовался Гаврилов про себя) начальство! Оно пусть командует. А поворачивать будешь руль, и то если я тебе прикажу. Так вот... Понял? — но тут же почувствовал, что был лишне груб, а с водителем пережимать никогда не надо, Гаврилов положил ему руку на плечо, что могло означать: «Не скидай, парень. Не пропадем!» — или что-нибудь в этом роде. — Инженерное начальство, — сказал капитан, не надеясь второй раз выговорить сложное слово, — само соображает. Да у них там телефон или даже рация есть, — неуверенно добавил он. — Твое «важное сообщение» они еще, может, вчера слышали. Если только оно не вранье, — добавил для собственного ободрения. — Нет, Москву не сдадут. Москва — это, брат, политика! Москва — это, можно сказать, все, хоть мы с тобой и не оттуда. Слышал, когда надо сказать: тьма народа, говорят: прямо Москва?

— Слышал, — неловко усмехнулся водитель. — И когда в очко два туза выходит, тоже говорят: Москва.

— Ну ты мне не улыбаясь, — помрачнел капитан. — Перебора не будет.

ДЕД-НЕПОСЕДА

Но перебор, кажется, получался. У переезда почти перед самым носом пронесся в обратную сторону порожний разномастный состав с паровозом на хвосте, и вскоре стало видно, как женщины с ведрами ползут через картошку.

— К церкви, товарищ капитан? — спросил водитель.

— К ней. Может, оно там...

Но фортификационного, или, проще, инженерного начальства так и не отыскали.

— Не было здесь таких, — вежливо, словно оправдываясь, отвечал старичок в балахоне. — Тут два дня никаких отрядов не было. Во вторник днем шли туда, за реку... Точнее, на запад... Очень быстро прошли.

— А стрельбу слышно?

— Простите, я глуховат несколько, — смутился старичок. — Но как будто бы нет. А смена моя, — он показал на парнишек, которые крутились рядом, — спит за троих.

— Понятно, — неуверенно сказал капитан.

— Да, извините, вспомнил, — сказал старичок. — Наверно, стреляют, только далеко. Стекла у нас в доме чуть-чуть ноют, и, знаете, посуда в буфете тоненько-тоненько поет, словно тоскует.

— Ясно, — сказал капитан, хотя ясности как раз и не было.

— А это, простите, ваши, как бы это сказать, бойцы? — полюбопытствовал старичок, тыча рукой в растянувшихся по полю женщин.

— Да, окопы рыть будут, — ответил Гаврилов. — Иди в кабину, — сердито кинул он шоферу, жалея, что не погнал его раньше и тот слышал разговор. «Хотя куда ее, правду, спрячешь?» — тут же подумал про себя. — Эй, товарищ старшая! — крикнул вылезавшей на шоссе Марье Ивановне. Крупная, как Симка, она запомнилась ему еще с утра. — Я тут шамовки привез. Прикажи своим грузить. Питание — первый класс.

— Ясна-а! — Она подплыла к полуторке.

— Помоги им, — сказал Гаврилов шоферу.

Машину стали разгружать, но не так споро, как на рассвете полуторки с инструментом. Видно, допек женщин бросок через картофельное поле.

— Мне их разместить надо, — Гаврилов повернулся к почтительно ожидавшему старичку. — Тут у вас как, село-поселок близко?

— Километра два будет.

— Не годится. Окопы не танцы.

«Бегай потом их собирай...» — подумал он.

— А в церкви что? Ремонтная? Вот пускай в церкви ночуют. А вас уж не знаю куда...

— Да, конечно, — засуетился старичок. — Мы понимаем: все для фронта. Мы и сами рады работать для фронта. Оборона здесь выйдет просто превосходная.

«Слава богу, отсюда не уйдут, — обрадовался старичок. — Куда мне отступать с Клавдией Тимофеевной? А в подвале на случай обстрела я ей уголок оборудую...» — и он стал излагать Гаврилову преимущества обороны на реке.

— Ладно. Но без самостоятельности, — отрезал Гаврилов, однако старичка не остановил.

— Ну, ребятки, — крикнул старичок, чуть не как бородинский полковник, только не добавил: «Не Москва ль за нами». — Везите баллы. Настоящая работа будет. Рельсы начнем резать, ежи сваривать!

— Вот что, отец! — вслед ему крикнул капитан. — Простите, не знаю, как вас по имени-отчеству. Так вот, Михаил Федорович. Вы человек, видно, грамотный, даже бывалый. Наверно, инженер? Так вот, поручаю вам тут пока возглавить строительство.

— Я, собственно, только Самарское техническое... вместе с Сергеем Миронычем Кировым, то есть гораздо раньше, — запутался от волнения старичок. — Но закончил, слава богу, закончил... Так что, получается, инженер не полный и другого профиля. Но примусь. С удовольствием примусь... Только женщин, простите, несколько побаиваюсь...

— Ничего. Над ними свои командирши есть. Вы только им нарисуйте, где рыть. Пусть ковыряются.

«Эх, нельзя расхолаживать энтузиазм», — сказал он себе.

— Чего-нибудь да нароют, — добавил вслух. — И еще, Михаил Федорович, покажите водителю, где тут отделение связи. Слышишь? — капитан подошел к Марии Ивановне, которая руководила разгрузкой. — Останешься за меня. Порядок держи. Пусть кашу варят. Масло не экономьте. Накорми людей как следует. И еще за сеном-соломой отправь. Пусть накидают в церкви, а то застудят нужные места — ни рожать, ни утешать не смогут.

— Ясна-а! — засмеялась старшая. — Поняла! Езжай, начальник! — подмигнула ему со значением.

— Да. И еще пусть вкалывают в меру. До темноты, не дольше.

— Костры можно будет разжечь, — подал голос подошедший Михаил Федорович.

— Отставить костры! — раздраженно оборвал капитан. «И что это на мою голову активистов сегодня подвалило». — Самолеты, — объяснил, — налетят.

— Я полагал, дело экстренной спешности...

— Спешности оно, конечно, спешности, но спешность надо с головой делать, — отрезал капитан и тут же, передумав, потрепал старичка по балахону: мол, не мне вас учить, Михаил Федорович, да обстановка нынче особая.

«А что как связи нет? Как я их буду отсюда уводить, когда на кирках и ломах выложатся? — спросил он себя. — Вот так всю дорогу:

одних подгоняй, других за руки держи, активистов этих, а на немцев уже сил не остается».

— Крути на почту,— сказал он шоферу.

В церкви было темновато, почти все стрельчатые окна забраны фанерой. Неприятно пахло горячим железом и соляжкой, но Лия радовалась этим запахам. Она бочком, будто в щель, вошла в двери, через которые свободно проезжали трактора.

— Помолимся, что ли! — засмеялись за ее спиной.

— Ой, сто лет не была.

— Не храм, а пакость одна,— проскрипел чей-то немолодой голос.

— Лийка, загородь меня,— прошамкала Ганя и приподняла юбку, но на нее напустились женщины:

— Креста на тебе нет!

— Господь попомнит!

— Нету его,— осклабилась Ганя. Лицо у нее было, как у школьной кошки.— А крест, оно правда, я в торгсине сменяла.

— Да пес с ним, с богом. Спать тут — твое нюхаты! — рассердилась Санька.— Вот сейчас врежу...— и запуганная Ганя выбежала из церкви.

«Все-таки это ужасно,— подумала Лия.— Есть ведь, совсем немного, но есть религиозные. И для них это оскорбительно. Надо уважать чужие чувства. Правда, тут уже мастерская. Но как мы еще страшно невоспитанны». И она зарделась, вспомнив, как Санюрин отец, управдом, за день до войны ввалился к ней в комнату отбирать жилплощадь.

— Да пропиши ты Саньку! Чего там! Куда одной столько?! — кричал он, изрядно пьяный, и вдруг начал ее обнимать. И, когда она, вне себя от брезгливости и ужаса, толкнула его к двери, он бессмысленно и дико, как полный идиот, распустил губы и захохотал.— Лийка, Лийка! Хочешь, птичку покажу? Вот гляди, птичка, птичка!

Это было ужасно, хотя она ничего не разглядела, потому что была почти что в обмороке. Но тут из коридора влетела Санька, треснула отца кулаком по голове и стала отпайвать Лию. И потом, обнявшись, они проплакали до утра.

— Кончай загорать! — расплескалось по церкви и повторилось, отдаваясь от стен.

— Работай, бабочки!

— Выходи вкалывать! — кричали старшие команд.

Перед храмом круглолицый толстенький старичок размахивал руками, распределяя по участкам.

— Впереди бугра, ниже по склону ройте одиночные. Пожалуйста, друг от друга не меньше тридцати шагов. И в шахматном порядке, чтобы не в затылок один другому. А сам бугор прсрежьте канавами, ну, шагов что-нибудь на пятьдесят, и не в полный рост, а по плечи. Бруствер уложим — как раз будет. И, пожалуйста, извилисто. Я сейчас вам покажу.

Он попросил у Гани лопату и побежал на бугор чертить линию траншеи.

— От дед-непосед! — шамкнула Ганя.— Старый, а лётает! Колобок чистый.

И впрямь Михаил Федорович будто парил на крыльях. Только на седьмом десятке ему, сельскому учителю алгебры и физики, а в сезонное время также и технику МТС, привелось командовать чуть ли не батальоном. Раньше его слава простиралась не дальше трех верст в радиусе, да и то ребята все с меньшим терпением выслушивали его радостную бормотню о теле, погруженном в жидкость, или о корнях и возвышениях в степень. И вот, когда уже не ждал, вдруг как с неба свалилось и оказалось: нужен, просто необходим. И еще такая удача, что рядом с домом и все увидят, как Михаил Федорович,

немолодой, но бодрый мужчина, себя не жалея, личным своим примером заражает других.

— А ты чего мух ловишь? — напустилась на Ганю старшая. — Лопата твоя где?

— Да старикан одолжил!.. Мне с ведрами справнее, Марь Ивановна. Я — раз-раз за водой...

— Ничего, без тебя обернутся. Бери инструмент и шагом марш!

И Ганя полезла на бугор, завистливо оглядываясь на женщин у церкви. Одни тащили с реки воду, другие копошились у костров, пристраивая над ними закопченные ведра, третьи уносили мешки в храм — как бы не полил дождь. Две женщины, разживясь в мастерской топорами, нещадно раскурочивали деревянный сарай на церковном подворье.

— Тише, девки! — прикрикнула на них старшая. — Закуток капитану оставьте. А то ему в храме спать неприлично: дух от вас тот еще...

— Ха! — откликнулись лесорубки и эхом отозвались возле костра поварихи. Настроение тут было вполне боевое, и Марья Ивановна пошла глядеть, как идут дела на траншеях.

— Роешь? Молодец! — похвалила Ганю. — А каша не убежит. Все получают. Капитан маслом разжился. И ты, управдомово племя, даешь?! Давай, красавица! — похвалила Саньку. — А ты как лопату держишь? — напустилась на Лию. — Жидкая ты кость! Не приучена? Не все тебе книжки читать! На тетку гляди, учись. Ишь, как ворочает, — кивнула она на Ганю. — Молодец, хохлатка! Две миски получишь. А ты учись, рыжая! Ботинки у тебя какие-то не нашенские. Каблук зачем? Каблук срежь, мешает.

— Научится, — негромко сказала Санька, смущаясь за подругу. Но старшая, не расслышав, пошла вдоль намечающихся траншей.

По бугристому берегу от моста до моста женщины долбили землю. Непохоже было, что это они перед рассветом отворачивались от ломов и кирок и толкались в очереди за лопатами. Теперь, когда и поезд и бросок через картошку остались позади, наступила бодрая ясность и все досадовали только на темень, которая незаметно слезала с серого неба, забирая под себя дорогу за мостом и лес на горизонте.

— Давай, давай!

— Наяривай!

— Тёмно... — только и слышалось по берегу.

«Как муравьи, — на минуту остановившись, оглядела Ганя бугор. — Нет, кроты — так верней будет».

— Давай, давай, Лийка! Курочь землю! — напустилась она на лядещенькую. Получив похвалу начальства, Ганя как-то незаметно для себя поднялась над другими и чувствовала, что уже может прикрикивать на тех, кто рядом. Впрочем, все старались. На вершине бугра четыре женщины — видно, там пошло каменьё — дружно, в один дых подымали ломы.

И железная лопата
В каменную грудь... —

напевал про себя допризывник Гошка. Перед бугром, почти напротив автомобильного моста, уже по полу коротковатого пальто уйдя в глину берега, он вырубал свой отдельный окоп.

— Как для себя стараешься, — крикнула ему сверху Санька.

— Ага, — недовольно отмахнулся он, швыряя вперед желтую землю. Санька сбила его. Копая, он представлял, что с бугра на него смотрит Каринка, и под ее ободрающим взглядом низкорослый Гошка чувствовал себя чуть ли не экскаватором. Он и вправду рыл для себя. «Тут и останусь! Только бы винтовку дали, а еще лучше «дегтярев». Вот отсюда — та-та-та-та-та!» Он опустился на колено, целясь из невидимого ручного пулемета в деревья другого берега.

«Порядок!» — меж тем ободряла себя Марья Ивановна, старшая, а теперь и заместитель капитана, обгоняя кругленького старичка, — тот пытался объяснить ей, как он тут обеспечит оборону.

— Ну что ж, двигай, — милостиво зевнула она, не дослушав его чересчур быстрой, мудреной и слишком вежливой — на ее вкус — речи. — Шуруй. Я проверю.

«Да, фронт работы обеспечен! — размышляла она. — Вот, командир, как надо командовать! Не смылся бы только, леший! — на мгновение обеспокоилась, вспоминая худого и невеселого капитана. — Да нет, непохоже. Из себя аккуратный. Продукт хороший привез!» — и, улыбаясь, она поплыла к кострам.

Тут уже давно кипело, снизу трещало, в двух десятках ведер переливалось через край.

— Сымай пробу, кума! — крикнула старшей чумазая повариха. — Ну как? Даем угля? Мелкого да много?

— Даете! — весело отозвалась Марья Ивановна, принимая черпак и важно притягивая его к губам, словно в нем была не каша, а водка. — Соли, кажись, в меру, — сказала вместо похвалы, чтобы не ронять командирского достоинства. — Сейчас кормить пригоню. Всего огня не гасите, горяченького капитану оставьте, — добавила отходя.

ЦАРЬ ГОРОХ С ТЕЛЕФОНОМ

Гаврилов с водителем тряслись по разбитой мощенке, на которую они свернули сразу за железнодорожным переездом. Водитель, слава богу, молчал — сверялся с картой, боясь пропустить следующий поворот. Быстро темнело.

— Сколько женщин в кузов возмешь? — спросил вдруг Гаврилов.

— Двадцать пять, если тихо лежать будут. А что?

— Да ничего.

«Если двадцать пять, то двенадцать ездов. Клади тринадцать, потому как продукт, лопаты и еще кирки-лома. Ну, километров на двадцать, не дальше... Тринадцать на двадцать — двести шестьдесят километров да еще на два, пятьсот двадцать. Да тут на полтора дня работы...»

— Не получится, товарищ капитан. Бензина не хватит, — сказал водитель. Видно, занимался про себя той же арифметикой.

— Знаю. Смотри не прогляди поворот, — помрачнел Гаврилов. — Скоро уже?

— Сейчас будет. Больных и самых старых вывезу... — водитель хотел оставить за собой последнее слово.

— Ладно, увидим, — отрезал Гаврилов. «Опять активничаешь!» — устало подумал он.

Меж тем «ГАЗ», два раза качнувшись на холме, въехал в деревню. Было уже совсем темно. В избах свет не горел то ли из-за маскировки, то ли из-за отсутствия тока или керосина.

— Е-ка-ле, — выругался капитан. — Где это шарашкино отделение? А ну, стучи, студент, в первую избу.

— По проводам увидим, — не скрывая удовольствия от собственной сообразительности, отозвался водитель. — Вот оно! — он притормозил у кособокой халупы, в окнах которой тоже не было огня.

— Порядочки, — вздохнул капитан, выбираясь из кабины и снова припадая на недолеченную ногу. — Так твою!.. Заперто! — закричал с крыльца. — Чтoб они, — нещадно заколотил в дверь. Никто не отвечал. — Вымерли, что ли? Стучи к соседям!

— Ктой-то? — донеслось из темноты.

— Связисты где?

— Скаженные! Дня мало!.. Где? Дома — где ишшо! Рули на край села. Третья изба от конца.

— Спасибо! — ответил за капитана водитель.

— Порядки, мать их дери, — усмехнулся Гаврилов, забираясь на подножку грузовика. — Как при царе Горохе...

— Или крепостном праве, — не удержался водитель.

В третью хату капитан вошел не стучась. В комнате тускло светила керосиновая лампа. За столом напротив дверей сидел худой старик с трепаной бородой и совсем голым узким черепом. Видимо, был под сильным газом, потому что бутылка перед ним опустела и лез он в блюдо с квашеной капустой уже не ложкой, а всей ручищей.

— Ты, твою мать, связист? — накинулся на него капитан.

— Не... — старик мотнул узкой головой. В тусклом свете керосинки она сияла, как захватанная колодезная рукоять. — Вот она, жадюга! — погрозил кулаком с налипшей капустой в угол комнаты, где сидела (Гаврилов теперь разглядел) женщина в пальто, в платке и в очках. — Прикажи ей, служивый! Пусть первача отцу даст! А то я знаю: на почтамте держит... Так я ее почтаamt к свиньям собачьим разнесу.

— Идемте, — сказал Гаврилов женщине. — Мне звонить надо.

— Идем, идем! — обрадовался старик, пытаясь выбраться из-за стола. — Сейчас ее ларь раскомиссарим! Выпьем с тобою, солдат!

— Заприте его, — брезгливо сказал капитан, выходя на темную улицу.

— Да он уже хорош. Дальше порога не уйдет. Вы тут осторожно идите, товарищ военный. У нас ямы под столбы весной рыли...

— Ехай за нами! — крикнул в темноту Гаврилов. — Что, принимает отец? — он пропустил женщину вперед.

— Ужас, товарищ военный. Не приведи господи. Перед воскресеньем мачеху схоронили, а еще сухой не был.

— Ясно, — вздохнул капитан. «Кому-то и кроме войны хватает, — подумал он. — Вот так, политрук, отъедешь от магистрали, и сразу тебе вместо военного положения и суровой обстановки сплошное безобразие и Царь-горох». — Москву сразу дадут? — спросил, поднимаясь вслед за женщиной на крыльцо почты.

— Попробую. — Женщина нашарила ключ под перильцем и звякнула навесным замком. — Погодите, я свет прилажу.

Здесь тоже не было электричества, но две «летучие мыши» позволили Гаврилову разглядеть комнату и связистку. Комната была самая обыкновенная, по-учрежденчески перегороженная невысоким барьером, за которым стоял стол с полевым телефоном, топчанчик, застеленный серым суконным одеялом, конторский шкаф и рядом печка, но не русская, а голландка. А связистка была совсем еще не старая, щуплая и сухая, собою не видная и заметная только очками. На минуту Гаврилова просквозила жалость: «Тебе и без войны бы вековухить, а теперь-то и вообще...» Но дела для долгой жалости времени не давали и он, расстегнув под шинелью карман гимнастерки, протянул девушке листок с номером. Военно-полевой телефон работал от сухой батареи. Для вызова надо было крутить ручку. Но вид даже этой допотопной техники придал капитану уверенности, а когда после бесконечных, томительных, надрывающих душу: «Алле!», «Жду!», «Давай!», «Дежуренькая!» — и так далее очкастая девушка протянула Гаврилову нагретую ее ухом трубку, он, наверно, впервые за день поверил, что враг вправду будет разбит и победа останется за Советской властью.

Трещало немилосердно, и слышно было, как на том свете, но все-таки на другом конце провода была столица, и, надрывая голос и кашляя, он закричал:

— Кто у телефона? Кто? Не слышу! Говорит Гаврилов... Говорит капитан Гаврилов из квадрата...

— Да какого тебе еще квадрата!..— прорезалось вдруг в телефоне.— Место назови... А? Ну, ясно. Чего надо? — спросил усталый голос.

— Тожанова. Товарища Тожанова.

— Тожанова нету.

— Товарищ, не кидай трубки! — прямо-таки плача, молил Гаврилов.— У меня триста женщин... Окопных. На копку посланных. А тут никакого командования. Никаких инженеров!

— Так,— голос на другом краю стал тверже.— А ты какого черта их привез? Послала?.. А начальство сбежало?.. Ну, и гнал бы эшелонном назад... Ах, не был! Продукты возил? Фрукты-овощи... Ну, постой. Сейчас узнаю.

Минут пять в трубке слышался один треск без голоса. Гаврилова была лихорадка.

— Сядьте, товарищ капитан,— сказала девушка.— Хотите, налью?

— Нет,— помотал он головой, не отпуская трубки и прижимая другой рукой руку связистки к спинке стула. Рука была шершавая, рабочая, но теплая, людская.

— Сядьте,— еще тише сказала девушка.

— Эй, Гаврилов! Так, что ли, тебя? — снова пробилось сквозь треск.— Как там у вас обстановка? Роете? Ну и правильно! Ройте. А вокруг как? По шоссе никого?..— на полминуты треск опять забил слова.— Ну, а на хрен тебе шоссе? Оно тебя не касается,— снова прорвался далекий голос.— Ты мне панику брось... И беспечность тоже! Ясна? У нас? А что у нас? У нас порядок! Важное сообщение?.. Какое тебе сообщение? А, это... Не было еще. Скоро будет. Будет, не беспокойся. Узнаешь, узнаешь. Так вот чего: пошлют за тобой платформы. Платформы либо инженеров. Что-нибудь одно, по обстановке. Звонил — обещали... Жди, так, ну,— замялся голос,— ну, хоть до пятнадцати, нет, до шестнадцати ноль-ноль. А пока рубай землю на полный профиль! До шестнадцати жди, а там, сам знаешь, в случае чего пешкодралом... Дойдут, не маленькие. Понял?

— Понял! Есть до шестнадцати! — выдохнул капитан, от радости забыв узнать фамилию говорившего.

— Налить вам, товарищ капитан? — снова спросила почтовая девушка.

— Лей, голубка,— закричал Гаврилов и оттого, что не мог обнять того, на другом конце провода, не опуская трубки, обхватил связистку и чмокнул ее куда-то возле очков.— Лей, голубка! Лей! Да, сколько я тебе за разговор должен? Червонца хватит? — он отпустил девушку и сунул руку под шинель в карман гимнастерки.

— Я вам так проведу,— смутилась связистка.— Ой, какой вы...

— Какой-какой? — спросил он, протягивая деньги.

— Такой...— ответила она неуверенно.— Вот, лучше вышейте.— Она достала из железного конторского ящика бутылку с марлевой пробкой и граненый стакан.— Вам и квитанцию писать? — спросила с робкой издевкой.

— Все пиши, голубка! — выдохнул он, начисто забывая о ней и видя только женщин, которые ковыряли землю за сельским храмом.— По всей форме,— добавил вслух, хотя уже думал об обратной дороге.— Выпить?.. Нет, сглазишь еще... Эй, студент! — крикнул он, распахивая дверь почты.— Дуй сюда! Озяб? — И, когда водитель, несмело стянув пилотку, ввалился в комнату, он сунул ему полный стакан.— Пей. Разрешаю. Обратно сам поведу.

— Спасибо,— кивнул водитель.

— Три восемьдесят,— сказала девушка.

— Сдачу на духи возьми,— крикнул Гаврилов и сбежал с крыльца, от радости забыв забрать квитанцию.

..Ни соломой, ни сеном они так и не разжились. Самые догадливые оккупировали ризницу, где пол был деревянный, потолок низкий и дуло меньше. Десятка на два женщин хватило брезента, который на ночь стащили с продуктов. А остальные легли прямо на каменном полу. Под низ стлали пальто и поверх клали пальто, а сами вжимались одна в другую, одна в другую, как все равно в мужиков после долгой разлуки.

- Ничего, защитницы! Капитан завтра сена добудет!
- Сегодня по-армейски!
- Грейся кашею и Машею!
- Ватник скинь, не зажимай, подруга! — гудело под сводами.
- Только б мышей не было!..
- А крыс не хочешь?..
- Шоферка бы сюда!..
- И капитана можно.
- Капитан для Маньки.
- Начальство начальство греет...

— Да тихо вы! — с удовольствием отвечала Марья Ивановна. — Вам бы только языки чесать. Вон парнишку бы пригрели, — кивнула она на Гошку. Тот стоял в дверях, не зная, куда пристроиться. «Может быть, машина вернется, поговорю с капитаном или с бойцом. Что мне тут одному делать?» — думал он.

— Иди сюда, Гош, — громко зевнула Санька. Она укладывалась у самой стены. Ганя и Лийка мостились тут же.

— Ну вас, — буркнул Гошка и вышел на паперть.

Было совсем темно. но сверху, над церковью ветром проредило тучи и кое-где мигали звезды. Москва была далеко. И тетка, незамужняя сестра отца, которая растила и жучила его вместо родителей-полярников, тоже была далеко. И оттого, что и Каринка была далеко, где-нибудь — он толком не знал где — на Казанке или Нижегородке, было тоскливо, но одновременно свободно, по-военному тревожно и радостно. Перед церковью было так же просторно. как на крыше московского дома, но еще необычней и потому во сто раз лучше. И свободы для выдумки было больше. Шум в церкви слабел, треск досок, догорающих в кострах, тоже слабел, навевал мечты, как тихая музыка. И Гошка, согретый двумя мисками каши, весь таял, таял, становился легким и большим, как облако, и уже, казалось, был ростом с церковь, мог одним собой — без всякого оружия! — перегородить мост и прикрыть берег. А Каринка, что сейчас ехала по Казанке, была маленькая-маленькая, и он уже не жалел, что на прощание только пожал ей руку, а не обнял и не поцеловал, потому что как же ему, такому громадине, целовать пятнадцатилетнюю девчонку?

— Эй, парень, картошки печеной не хочешь? — крикнул женский голос.

— А? — вздрогнул Гошка и очнулся. Но что-то от мечты еще в нем оставалось и он, понизив голос, ответил: — Хочу! — и, важно вдавливая каблучки туфель, подошел к ближнему краю костра. Поварихи все-таки отличались от остальных женщин, и сидеть возле них в темноте, есть картошку, когда другие спят, было не так стыдно.

— Макай! — ему пододвинули миску с растопленным маслом.

В лица он не вглядывался. Женщины и женщины. А на их месте могли быть и красноармейцы — и он возвращался в мечту. Эта мечта была хорошо упакована в шинель, галифе и кирзовые сапоги. Рядом лежала невидимая винтовка, трехлинейная (самая надежная в обращении!), и он, обжигая пальцы, снимал кожуру, потому что завтра продукты не подвезут, весь отряд отрежут у моста и три дня никто подойти сюда не сможет. Но белые, то есть немцы, своих положат несметно...

— Не сладкая? — спросила женщина, которая протягивала миску с маслом. — Правда, подходящая? Давай теперь ведра в церкву сне-сем. Все ж тепло хоть какое.

— Куда? Куда? Кто приказывал? — зашипела Марья Ивановна. Она сидела у токарного станка на табуретке, ждала капитана.

— Сдвигайсь, сестра. Тепло несем! — засмеялись поварихи.

— Людей будить, — недовольно буркнула старшая, но останавли-вать их не стала.

— Не скучай, Марь Иванна! С нами ложись, — крикнула Санька. — Капитан небось уже связистку клеит.

— Не трогай ее, — тихо шепнула Лия. Она еще не легла и в на-кинутом на плечи пальто сидела у стены на корточках.

— Давай польту, — сказала ей Ганя, доедая кашу. Из всего от-ряда у нее одной не было посуды, и она заправлялась после всех. — За орудиво спасибо! — она протянула Лие липкие миску и ложку.

— Вымыла б, хавронья, — брезгливо скривилась Санька.

— Ничего. Молодая — к реке слётаёт, — хихикнула Ганя — уже почувяла, что Лийка тут поплоше всех и поездить на ней самое милое дело.

— Слётаёт, — передразнила Санька.

— Ты чего, мужиком балованная? — спросила какая-то женщина поблизости. На всю церковь светилось всего две «летучие мыши» — одна с верстака, другая с токарного, и через темень и надышанный пар Ганя женщину не разглядела.

«Балованная», — не успела ответить, ее опередила Санька:

— Да не было у нее мужика. Возле чужих побирается.

— А ты почему знаешь? — рассердилась Ганя. — Не возле чу-жих... у меня и свое было.

— Да сплыло, — отрезала бойкая Санька.

— Нет, было... Я в Эссентуки ездила... — и, отвернувшись от Сань-ки, Ганя заплакала.

Нет, не вечно жила она возле чужих. Было у нее и свое. В самом начале нэпа в Липецке пекили они с матерью и сестрой пироги и прода-вали у вокзала. И вправду ездила она в Эссентуки с земляком-полю-бовником Сергеем Еремычем (он извозчиком был в Москве) и с Клань-кой, сестрой, совсем еще девчонкой. И там, на водах, Сергей Еремыч спьяну или по дурости испортил Кланьку; и та убежала в прислуги, а вернулась, когда подошло время, и родила разом двух племянников. Тогда в Липецке снова появился Сергей Еремыч и объявил, что увозит Кланьку под Москву. Дом там купил. Раньше он так и спал при лошади.

— Как же Кланька одна управится? — спросили маманя; они уже почти что и не вставали.

— Ангелину возьмем, — как отрубил Еремыч.

— А меня куда? — спросили маманя.

— И одна помрете, — ответил (бесстыжие его глаза!) Серега, и Ганя поехала с сестрой и племяншами.

Нет, не врал Серега Шлыков, он и впрямь купил полсарая на Ик-ше и чего-то к нему пристроил, жить можно не хуже, чем в Липецке. Теперь они с Кланькой по очереди носили на Савеловский пироги. Только без маманиного замеса торговлишка пошла гиблая, а выписы-вать старую, хворую Еремыч не хотел.

Так и жили, пока Серега не продал (или, может, пропил!) лошадь, стал учиться на водителя грузовика и завербовался куда-то подальше, где рубль длинней, и заявлялся на Икшу раз в два года, а то и реже.

Вот так было, и Ганя могла бы рассказать, да что толку: девахи все равно не поняли бы, да и ночь уже. Церковь наполовину спала-храпела, а которые не уснули, переговаривались:

— Спи!

— Ухайдакаешься завтра!

— Отбой! — звонко крикнули в дальнем углу.

— А ну тихо! Вроде машина едет! — зычно сказала Марья Ивановна и поднялась с табурета.

НОЧКА ТЕМНАЯ

Минут через пять капитан со студентом в темноте кабины по-братски работали ложками еще теплую кашу.

— Ну, как мой повара? — хвалилась старшая. — Ты, капитан, заварки забыл, так я своей кинула.

— Спасибо, — хмуро сказал Гаврилов. Он чуял, что старшая нацелилась на него, стеснялся красноармейца, да и не время было.

— Может, по второй? — спросила Марья Ивановна.

— Мне — спасибо, — сказал капитан. — А водителю повтори. Ему надо! — намекая то ли на долгую дорогу, то ли на выпитый студентом стакан первача.

— Да, пожалуйста, если осталось, — попросил студент.

— Навалом! — ответила старшая и поплыла в храм. — А ну, марш спать! — шикнула на паренька, который курил у дверей.

— Сейчас пойду, — буркнул Гошка.

Ему не то чтобы не спалось, а просто спать было жалко. И еще хотелось переговорить с капитаном или, на крайний случай, с водителем. Мечта подошла уже совсем близко, и дураком надо было быть, чтобы ее проворонить. Он чувствовал, что ночью, в тишине, среди трех сотен женщин трем мужчинам (четвертый, старичок, верно, ушел в село к старухе) легче договориться, и потешаться над ним не будут, как позавчера в военкомате.

— Вот, горяченький, пальцы не обожгите! — Марья Ивановна вернулась с двумя кружками и миской каши. — Заправляйся, боец, и на боковую... — она протянула студенту миску.

«Да у тебя все распланировано, — подумал Гаврилов. — Вот чертяка! И чего они, матери-командирши, ко мне липнут? Или слабину какую находят?»

— Опять спасибо! — сказал он, возвращая кружку, и спрыгнул на землю.

— Боец в кабине ляжет, — шепнула, беря его под руку, старшая. — А тебе с бабами неудобно. Я закуток в сарае приберегла. Брезента, правда, не укараулила, девки под себя подложили. Но там не сыро. Доски есть.

— Иди, Марья Ивановна. Старые мы уже, — тоже тихо ответил Гаврилов, снова думая о телефонном разговоре, который теперь не казался ему таким веселым.

— Ну да, скажешь тоже! — с шутливой обидой обняла его старшая. «Гордится армеец или робеет? — решала про себя. — Наш брат, милиционер, попроще, не теряется!» — Какая же, — не сдавалась, — старая? Мне тридцать второй только. Да и тебе много ли больше?

— Ровесники, — сказал Гаврилов, набавляя себе год.

— Ты серьезней глядишься. Да все равно не старость! Самая спелость, говорю тебе, капитан.

— Раненый я, — решил прекратить ненужный разговор, надеясь отвадить разом, но так, чтоб не обидеть, потому что вместе с ней командовать ему еще завтрашний день, а может, и дольше.

— Дела! — присвистнула старшая. — А ты женатый?!

— Женатый, — отрезал он и подумал: «Вот липучка — клей резиновый!»

— Намучается с тобой баба, — теперь уже не жалея Гаврилова, развивала свои соображения старшая.

— Похоже. Ну, иди спать, Марья Ивановна.

— Отдыхай, бедолага, — сказала старшая, подымаясь по сбитым ступеням в храм. — Спать! Кому я сказала? — напустилась на Гошку,

срывая на нем досаду.— Чего полуночищаете? — спросила в церкви Лию и Саньку.— Ложись, пухлявая. Я к тебе прижмусь. Вот надо же, как людей калечат! — вздохнула она, укладываясь между Ганей и Санькой. Ганя уже похрапывала.— Смехота, девки,— не дождавшись вопроса и не в силах держать в себе такую новость, стала она откровенничать.

— Ого! — прыснула Санька.

«Какой ужас! А она смеется!» — подумала Лия, и нехорошее чувство к подруге вместе с воспоминанием об ее отце-управдоме вернулось к ней. Она поднялась с пола и, осторожно пробираясь между спящими, двинулась к дверям.

— Куда ты? Ложись! — зашипела Санька.

— А ну, какой с нее сугрев? — зевнула старшая, вминаясь спиной в пухлую Саньку. «Вот не повезло! Ну да ладно, где наша не пропадала!..» Она зевнула и приняла сон.

Перед церковью ветер разгуливался, и как-то по-бесовски бренчало кровельное железо. Гаврилов, словно на физзарядке, быстро махал руками, задирав голову, и ему казалось, что звезда с каждым разом высыпает все больше и больше.

— О бомбежке думаете, товарищ капитан? — звонко спросил Гошка, который все не уходил спать.

— Е-ка,— проглотил Гаврилов на половине привычное ругательство, потому что из храма вышла какая-то женщина.— Ну что, много наавтогенили? — спросил чуть погодя, когда женщина зашла за церковь.

— Да я не местный. Я окоп рыл.

— К женщинам приписали?

— Да. На фронт просился, а меня сюда,— выпрашивая сочувствие, занял Гошка.

— Ну, пойдём поглядим, чего нарыл,— сказал Гаврилов, догадываясь, о чем пойдет речь дальше. Он и сам, когда б не простреленное легкое, предпочел бы передовую.— Эй, подневаль полчаса! — крикнул в темноту водителю.— Погляжу, как там чего... Пошли,— кивнул Гошке.

За церковью ветра было еще больше, он дул из-за реки, просвистывая храм, выдувая оттуда женский храп и относя его подальше, в сторону столицы. Так что на бугре, кроме ветра и лязга железа, ничего не было слышно.

«Вот малец,— думал Гаврилов.— Лет четырнадцать верных. И уже туда же... Хорошо хоть моим меньше...» За четыре последних месяца он, может быть, тыщу раз размышлял, хорошо ли, что его сыновья еще малыши. То ему казалось, будь они постарше, жене было бы с ними половчей, а то, наоборот, хотелось, чтоб они остались вовсе грудными — тогда бы немцы их меньше обижали и жену бы не тронули. Но сейчас, глядя в спину Гошке, Гаврилов считал, что ему еще повезло. «Слава богу, не курят и к партизанам в леса не сбегут», — утешался, забывая, что у него, тридцатилетнего человека, никак не могло быть детей Гошкиных лет.

— Ну, не больно ты накопал, начальник! — сказал Гаврилов, когда, перескочив начатую женщинами траншею, они подошли к Гошкиному окопчику.— А земля здесь, между прочим, не трудная,— добавил он, упирая правую здоровую ногу в край лопаты.

— Времени мало было,— обиделся Гошка.— Но я сейчас закончу. Вон луна выходит.

И вправду прямо над черным лесом другого берега вылез нижний рог молодой луны. Тучи вокруг него клубились, как пар.

— Самолетам самая лафа! — воскликнул Гошка и протянул руку за лопатой.

— Спать иди,— рассердился капитан.— Завтра дороешься.

«Недалеко от пацана ушел, если о том же думаешь»,— сказал он себе, спускаясь к мосту.

— Чтоб духа твоего тут до утра не было! — крикнул он, оборачиваясь. Гошка понуро поплелся назад.

Мост был старый, сделанный, видно, на совесть, потому что перила не качались, настил не прыгал и нога ступала спокойно. Второй мост, железнодорожный, точно как по карте, чернел на полтора километра левее, а впереди уходила в лесок уже не асфальтовая, а мощеная дорога. На карте Гаврилова она и железнодорожная линия, больше не пересекаясь, каждая своим ходом упиралась километров через пять в срез, а что там дальше, ему не было ясно ни на бумаге, ни в действительности. Стояла тишина, а значит, немцы находились еще черт-те где, может, за сто, а может, километров за сто пятьдесят, но по тому, что станция была разворочена и пути не чинили, и по тому, что инженерного начальства на месте не оказалось, можно было ожидать всего самого непредвиденного.

До ранения Гаврилов почти полмесяца отступал от Слуцка и на опыте знал, что расстояние для немцев не помеха. Да и потом, в госпитале, вчитываясь в сводки Информбюро, убеждался, что немцы почти всегда появлялись там, где их не ждали, и забирали города, которые еще два дня назад никто не считал фронтовыми. Правда, за месяцы, что он провалялся в московском госпитале, положение стало кое-где выправляться, под Ельней, например. Но об этой Ельне столько трещали по радио и писали в газетах, что он уже начинал прикидывать: не одна ли эта Ельня на весь фронт от Балтики до Одессы?..

Отсутствие инженерного начальства тревожило его не так, как разбомбленная железная дорога. «Инженера, они разгильдяи известные,— вспомнил он инженера их полка, прыщавого, плохо выбритого, никудышного парня, от которого вечно несло потом и перегаром.— Только что пишутся — образованные, а вообще-то одни сачки... Не знаю, правда, как на гражданке...» — перебил себя, стараясь сохранять справедливость.

Но то, что станцию не чинили, то есть не гнали через нее снаряды и резервы, словом, то, что она была не нужна, само по себе наводило на мысль, что впереди то ли никого нет, то ли кто-то есть, но до него уже не добраться. И телефонный разговор, который два часа назад так обрадовал, выворачивался сейчас изнанкой, вовсе не веселой.

«Трепач! — вдруг разозлился Гаврилов, с резкой ночной четкостью слыша голос из трубки: — «Пошлют за тобой платформы! Платформы либо инженеров!..» Балабон! — сплюнул капитан, углубляясь на том берегу в лес.— Насажают на нашу голову всяких... Ни хрена не знает, а бубнит. Сюда бы тебя, обещальщика».

И вдруг он с печалью вспомнил, что тот, на московском конце провода, не назвал ему своей фамилии.

«И квитанции не взял,— думал Гаврилов, шагая через пустой лес.— Вот не повезло!..»

— Заберите женщин, дайте хоть взвод, хоть отделение,— бормотал он, забывая о простреленном легком и раненой ноге.

«А женщин куда, если вдруг немцы?!» И он вспомнил, что под шинелью на нем старая, еще политруковских времен гимнастерка, на которой ясно видны следы споротых звездочек. (Командирскую гимнастерку распорол в медсанбате, куда его притащили на закорках, чтоб не затекло легкое.)

«Симка всякое барахло берегла! — впервые за время разлуки подумал о жене злобно.— Ну, а капитану в плен можно? — перебил себя, как бы выгораживая Серафиму.— Капитану тоже нельзя. Даже студенту нельзя... Вот и выходит: бросать женщин — трус, а не бросать — изменник родины. Нет большей беды, чем бабами командовать! — сплюнул он в сердцах.— Нет есть... Ранеными. Ранеными тя-

жельше»,— и, представив себе, что вместо женщин в церкви сейчас лежат ребята из отделения тяжелораненых, понемногу начал успокаиваться.

— Всегда найдется, кому хуже тебя,— сказал тихо, чувствуя, что уже берет себя в руки.— У меня две обоймы, и у студента на поясе подсумки. Вот и хватит,— закончил, чтобы не возвращаться к этой теме.

«Только женщинам надо сразу уходить, вроде они к нам отношения не имеют. При немцах мы женщинам помеха. Только как бы намекнуть попонятней. У этой Марьи не то на уме... Ну, не паникуй,— снова оборвал себя.— Может, и нужны траншеи. Раз послали, значит, нужны. А с инженерами просто напутали. И брось думать про «семь врагу — себе восьмую»... Может, они и знают чего...» — уже без прежней злобы подумал про московских начальников. Ведь прикрикнули на него: «Тут тоже передовая!» — когда после госпиталя направили в Моссовет. Тогда он обиделся, подумав, что слово «передовая» штатский Тожанов употребил в смысле — ударная или стахановская, как обычно называли бригады или стройки. Но теперь капитан уже склонялся к мысли, что Тожанов чего-то знал, когда три дня назад сказал ему, что Москва тоже фронт.

Однако уж фамилию говорившего спросить надо было и квитанцию за разговор забывать не стоило. «Ну что ж...— подумал он.— Сейчас авось — главное твое начальство»,— и ему стало горько, но как-то одновременно и спокойно.

Поглядев на часы, он увидел, что шагает уже восемнадцать минут, прошел не меньше двух километров, а в лесу все так же тихо, даже тише, чем возле церкви.

— Всей страны не облазишь, так пусть хоть студент покемарит,— вздохнул Гаврилов и повернул назад. Сам он решил прилечь перед рассветом, когда женщины начнут копку и чуть потеплеет.

Гошка, обиженный капитаном, в церковь не вернулся, а, выждав, пока тот перейдет мост, спустился к реке. Тут, зацепившись в темноте за камень, он упал, ушибся и, набрав воды в левый полуботинок, нематерно выругался.

— Ой! — В реке плеснуло что-то белое.

— Стой! Кто идет?! — не успев испугаться, крикнул в темноту Гошка.

— Отвернитесь, пожалуйста,— жалобно пропел голос, и Гошка догадался, что это рыжая Лия.

— Извините,— промычал он и пошел к церкви.

«Бедная, барахтаться в осенней воде... Надо будет завтра взять ее на свой окоп. Пусть бруствер подравнивает»,— важно думал Гошка, чувствуя себя заботливым командиром.

Он вернулся к церкви. Водитель, распахнув дверцу, курил, высунув из кабины длинные ноги.

— Разрешите прикурить,— сказал Гошка не затем, чтоб сэкономить спички, а ради разговора.

— Мал еще — расти не будешь,— наставительно произнес водитель, но прикурить дал. Ему тоже было тревожно, прямо сказать, страшновато одному, без капитана с тремя сотнями спавших без задних ног женщин. Без них он бы не боялся. Один он бы запросто переехал мост и летел бы по той стороне, пока не уперся бы в наших или в немцев. В руках — баранка, к задней стенке привешен карабин, в подсумках обоймы. Он уже два года был в армии, но ни дня на фронте и, не видя смерти, не боялся ее. Но сейчас, оставшись один с храпевшими в церкви женщинами, он испугался так же, как капитан за рекой, не за себя и не за них (все-таки немцы с женщинами не воюют!), а испугался той неясности, какая может случиться, если на-

грянут немецкие танки: женщин не защитишь и бросать их тоже нельзя. А если поймут, что женщины с тобой, сочтут их уже не бабами, а мобилизованными и могут поступить по-всякому.— Садись, раз уж дымишь,— милостиво разрешил он Гошке, подвигаясь внутрь кабины,— с какой улицы будешь?

Как все недавние москвичи, водитель любил поражать коренных жителей знанием столицы. Это хоть немного глушило тоску по дому и транспортному институту, где ему дали проучиться всего два месяца, но позволяло считать, что еще повезло, потому что шоферить — это скорее работа, чем армейская служба, которую, как все городские ребята, он до 41-го не слишком уважал.

— Возле Ногина, знаете? — ответил Гошка.

— Знаю. ЦК рядом. А мой Харьков сдали. Слышал небось?

— Да,— понимающе кивнул Гошка и, сколько нужно помедлив, вежливо спросил: — Родные остались?

— Нет, двоюродные только. Родные все выехали. Но все равно жалко. Город жалко. В Харькове был?

— Не приходилось,— скромно ответил Гошка, который не выезжал дальше Клязьмы.

— Хороший город, а сдали,— и вдруг, намолчавшись за день, водитель в темноте кабины выговорил то, чего никогда бы не посмел днем: — Ну, как, пустите немца?

— На турецкую пасху! — бодро ответил Гошка.

— Да,— хмыкнул студент.— А как ты его непустишь?

«Пораженец какой-то»,— подумал Гошка, не зная, вылезать ему из кабины или оставаться и ждать капитана.

— У нас вечно, как глотку драть, так «на чужой земле и малой кровью», а как до дела... Да что там?! Я не про тебя. Обстановка очень тревожная,— сказал водитель печально.

— Это понятно,— согласился Гошка.

— Ничего тебе не понятно.— Водитель вдруг его обнял, и Гошка не знал, радоваться ли этой ласке красноармейца или отпихнуть его от себя как труса и паникера.— Ничего тебе, пацан, не понятно. И мне не понятно, и капитану тоже. Ну, много нарыл? — вдруг оборвал он свою нудянку.

— Вот до сих пор...— Гошка рубанул по колену.

— Ты не очень вкалывай. Силенки завтра пригодятся.

— Оружие привезут?!

— Какое еще оружие? Вагоны придут за вами — в Москву увозить. А скорей, не придут и придется пешком уходить. Так что копать копай, да не укапывайся.

— Неправда! — Гошка тотчас отодвинулся.— За это, знаете, что полагается!

— Тыфу, дурак... Два тычка от толчка, а уже трусом считает.

— Ничего не считаю... Только Москву не сдадим.

— Я не про Москву, я про тебя...— водитель сплюнул.— Привезли вас, а начальство где? Где фортификаторы? Этот колобок в брезенте, что ли, фортификатор? Так он последний раз при Потемкине землю копал, и то, наверно, под гальюн. Ты зачем, думаешь, мы с капитаном за двадцать километров сейчас жарили? В Москву звонили! Вас по дураости сюда пригнали. Ничего, не тоскуй. Я тебе завтра помогу. Тебе в плен попадать нельзя, не женщина.

— А вам?

— А мне что? У меня карабин, у капитана «ТТ». Нас не возьмешь,— сказал водитель, и Гошка сразу вернул ему доверие.— Только ты... это, ну, в общем, держи при себе. Я тебе по-мужски... Понятно? — тут же смутился водитель.

— Могила,— сказал Гошка. «А он, кажется, ничего. Нервный только. Но положение действительно тревожное».

— Кемаришь? — донесся голос Гаврилова. — Можешь на боковую.

— Ну, как, товарищ капитан? — бодро крикнул водитель. — Сыпь отсюда, — прошипел он Гошке.

— Тихо. Полный порядок. А ты чего не спишь? — спросил Гаврилов паренька. Как все командиры, он не выносил слоняющихся без дела бойцов. — Думаешь, здесь «Артек»?

— В «Артеке» их брата жучат! — поддакнул водитель, сразу как бы отрубая от себя допризывника, хотя только минуту назад выкладывал ему ночные страхи. — А вы когда поспите, товарищ капитан?

— Утром, — сказал Гаврилов. — Утром сны лучше.

ЛЕДЯНАЯ ВОДА И ГИМНАСТИКА

Лия сидела под мостом, никак не решаясь раздеться и залезть в страшную воду. Перед ужином она, как большинство окопниц, только наспех вымыла руки и сполоснула лицо, надеясь замотать обряд вечернего обтирания. «Нехорошо выделяться», — отговаривалась она. «Пропадете, девочка», — спорил с ней печальный голос Елены Федотовны, рослой дамы из квартиры напротив. «Нет, нельзя мне выделяться...» — снова повторила перед ужином Лия, и Елена Федотовна ничего тогда не сказала.

Но сейчас на пустом берегу она, невидимо склоняясь над Лией, резким и горьким (как тогда в лифте!) голосом прошептала:

— Больше нам надеяться не на кого!

И Лия сняла пальто и стала расшнуровывать ненавистные мамини ботинки.

Тогда в лифте, в пору папиных неприятностей, Лия, вся обвязанная платками, в гриппу, кашляя и сморкаясь, не успела вовремя отвернуться и обрызгала эту длинную и нескладную, недавно переехавшую в их дом женщину.

— Ой, извините, извините! — Лия отворачивалась к стенке и снова чихала.

— Ничего, девочка, — ответила женщина. — Я вас знаю, — добавила со значением. — Вам надо умыться ледяной водой. Ледяная вода и гимнастика. Больше нам надеяться не на кого, — сказала эта странная женщина и первой вышла из лифта.

Потом, когда Лия не раз обдумывала эти слова, они часто казались ей оскорбительными, потому что папа был все-таки с ней, а муж несурзной дамы известно где, но в первый момент Лию обдало такой симпатией к Елене Федотовне, что она еще долго стояла на площадке и смотрела на соседскую дверь таким взглядом, словно за ней скрылся принц или народный артист Лемешев. И это «нам», которое потом больше всего коробило, в первый момент растрогало Лию. В нем чудились ей печаль и ласка, упрямая гордость взрослой женщины и ее уважение к шестнадцатилетней девчонке и даже, если хотите, обещание дружбы. И за это Лия всегда прощала Елене Федотовне все, что та подразумевала под этим «нам»: наши родные несправедливо страдают и (это особенно было обидно после того, как у папы дела уладились) хоть у вас, девочка, и есть отец, но все равно «нам» (то есть вам!) надеяться не на кого... И, встречая теперь Елену Федотовну, Лия всегда радостно краснела, и Елена Федотовна дружески ей улыбалась, и это было значительнее слов. Да и что они могли сказать друг другу, когда через болтливую Ганю Елена Федотовна знала все о Линой семье, и Лия тоже кое-что знала о несчастной женщине, но не хотела быть назойливой и беречь незажившую рану. Дочке Елены Федотовны, очкастенькой Карине, Лия тоже сначала улыбалась, но та в ответ кивала как-то надменно, а однажды в лифте, думая, что Лия не видит ее в боковое зеркало, высунула язык. Но Лия почти не обиделась, понимая, что Карина еще ребенок

и что, несмотря на все старания Елены Федотовны, у нее очень нелегкое детство.

— Бр-р-р! — Лия ступила в ледяную воду, только силой отчаяния не выскочила обратно. — Бр-рр! — тряслась она. Казалось, острые ледышки разрезают ноги у щиколоток. — Иначе нельзя, — вздохнула она, заходя в речку по колено и стаскивая через голову свитер и юбку.

Плечам и спине было уже не так холодно, как ногам, и Лия, с неприкрытой злобой глядя на свои ключицы и маленькие груди, стала нещадно их растирать.

— Так вам! Так вам!

— А мне действительно очень помогло, — робея, сказала она год назад Елене Федотовне, когда они снова столкнулись в лифте.

— Я вас поздравляю, — кивнула та, полагая, что речь идет о восстановлении в партии главы семьи. — Теперь вы сможете учиться.

— Не знаю... Мама очень нездорова...

— Простите, — резко сказала соседка, и Лия поняла, что та считает Лииного отца бесчувственным человеком.

«Конечно, ей обидно, — подумала тогда Лия. — У такой хорошей женщины оказался такой муж... Но, может быть, он просто очень нестойкий человек и воспользовались его бесхарактерностью... Мужчины часто бывают такими слабыми...»

— Ой! — вскрикнула она, увидев на берегу Гошку.

Тот скромно ушел.

«Деликатный», — подумала Лия, но уже не о Гошке, а о красавце Викторе, с которым Санька познакомилась летом в Парке культуры.

— Вот тебе, вот тебе! — снова стала она тереть, теперь уже полотенцем, свое тощее тело. — Да, не Рио-де-Жанейро! — повторила с горечью.

И опять вспомнила последний предвоенный понедельник, точнее, вечер его, с той самой минуты, когда зазвонил телефон.

— Меня! — выпорхнула Санька из комнаты. — Лию?! — удивился в коридоре ее голос. — А кто требует? — Санькино сопрано, казалось, вспархивало до потолка и оттуда тройным сальто или ястребом в мертвой петле опускалось в телефонную трубку. — Так это я, Александра. Не признали? — разливалась Санька в коридоре, вовсе не собираясь звать Лию. — Ждите на Дзержинского. Я в две минуты! — крикнула Санька и тут же влетела в комнату. — Подруга, дай «летчика»¹. — Она порылась в Лином кошельке. — На белое у меня хватит, а вдруг он портвейн пьет? Ты пока приберись тут маленько! — и, схватив Лиину сумку (вот эту самую, общую сейчас на двоих, где были хлеб, документы и полотенца), выскочила из квартиры.

Через сорок минут Виктор позвонил три раза и Лия, пугаясь Санькиной матери-дворничихи и Гани, которая чаще околачивалась в их квартире, чем у соседей, открыла дверь.

— Простите, что я так... — студент развел пустыми руками. — Но я действительно не собирался в гости.

Лия стояла перед ним, нерешительная и маленькая, и ее робость передавалась ему.

— Вот сюда, — наконец выдавила она и повела Виктора в комнату, но двери за собой прикрыла не до конца. — Санюра сейчас вернется.

Она это сказала просто потому, что надо было что-то сказать, но тут же покраснела. Выходило, что она сама понимает и заранее согласна, что молодой человек пришел не к ним обеим, а только к Саньке.

¹ Пятирублевая купюра.

— Да, она мне сказала, — тоже краснея, кивнул Виктор. Он еще сам не решил, к кому пришел, и ему было неловко.

Санька влетела хлопотливая, шумная, смущение в ней не ночевало.

— Чайник не ставила?.. Сейчас, в один момент, — щебетала она, словно не впервые, а всю жизнь угощала у себя молодых людей.

— Да я не голоден, — смутился Виктор.

— При чем тут голод?! Со знакомством надо! — шумела Санька, выставляя на стол из сумки четвертинку, пол-литра портвейна, коробку килек и свертки по двести граммов колбасы и сыра.

Лия покорно пошла кипятить чайник.

— Во дает! Матерь схоронить не успела, — встретила ее на кухне Ганя, которая по случаю интересного гостя не торопилась на свою Икшу.

— Лександру гони, — буркнула Санькина мать.

— Мать зовет, — сказала Лия, возвращаясь в комнату.

— Вот на мою голову! — хохотнула Санька. — Вы не скучайте, я разом!

— Шумная она у вас, — улыбнулся Виктор.

— Хорошая, — поправила его Лия, стараясь не сердиться и не завидовать подруге.

— Вместе живете?

— Нет. То есть да... Санюра у меня. Временно... Она очень много за мамой ухаживала... — сказала Лия и, вспыхнув, добавила: — Мама уже умерла, — чтобы молодой человек не подумал, что Санька что-то вроде сиделки или домработницы.

Он кивнул. У него было хорошее лицо, не только красивое, но еще и очень интеллигентное. Лие захотелось просто с ним посидеть, побеседовать, но она не знала, как начать разговор, боялась быть назойливой и, понимая, что сейчас вбежит подруга, глупо повторила:

— Санюра сейчас вернется.

— Ой, беда со старыми! — Санька влетела в комнату. — А ты чего? Хлеб не нарезан, консерв не вскрыт. Ой, подруга! Да не робей, не съест он тебя. Наш ведь, московский.

— Я из Саратова, — сказал Виктор.

— Ой, а непохоже, не окаете. Ну, раз в Москве, все равно что московский. Нате, орудуйте! Мужское занятие... — Она протянула ему консервный нож.

Лия трижды чокалась с ними, но себе в рюмку доливать вина не позволяла и все порывалась уйти.

— Погоди, мамаша ляжет, тогда... — каждый раз шептала Санька.

Наконец радио договорило свои известия, включило Красную площадь с боем часов и Лия, взяв с этажерки толстую тетрадь и учебник физики, тихо вышла на кухню. Тетя Ганя, слава богу, уже отправилась на Икшу, и квартира спала. Лия прикрыла дверь, зажгла щедрый кухонный свет и села к своему столу. «Правило правой руки — стержень и обмотка...» — пыталась она сосредоточиться, но законы магнитной индукции никак не шли в голову, потому что мысли волей-неволей отрывались от учебника и на цыпочках пробирались назад, в комнату, где сейчас должно было произойти что-то тайное и великое.

«Если правую руку повернуть вдоль стержня, то четыре пальца укажут направление электрического тока в обмотке катушки...» Ничего не понимаю, — глушила Лия себя физикой. — А если будет ребенок?»

— Очень красивый будет ребенок, — сказала она совсем громко, и тогда открылась дверь и Санькина мать стала ругать Лию, что та жжет «общее лектричество».

— На чужое, на дармовщинку хотишь? А ну, спать иди!

— Не пойду, — зло сказала Лия.

— Как так? Да я тебя силком поведу! Думаешь, по-твоему будет! — и дворничиха потащила Лию в коридор. — Ой, да тут заперто! Санька, чего заперлась? Открой! — она забарабанила в дверь.

Скандал вышел невообразимый. Соседи немедленно высунулись из комнат. Пьяный Санькин родитель, оправдом, открыв рот, бессмысленно глядел, как Санька оттесняла мать, пропуская испуганного студента к входной двери.

— Спортил девку! — кричала дворничиха, дубася Саньку.

— Тихо, мамаша! Людей постесняйтесь! — шипела Санька.

— Спать надо, — ворчали соседи, но почему-то не расходились.

— А ты тоже хороша, — напустилась Санька на Лию. — На кухню пошла!.. Я за твоей каргой сколько ходила, а ты уж ночки не могла посидеть на Курском! Сволочь, вот ты кто. — И забрала свою постель и тряпки из шифоньера.

Лия проплакала до рассвета, понимая, что Санюра в чем-то права, но эта «карга» не позволяла ей мириться первой. А через четыре дня пьяный оправдом, который уже привык, что дочь живет отдельно, поругавшись с Санькой, устроил Лие безобразный скандал. Грозился отнять комнату, а потом стал хулиганить и лезть, и Санька два раза нешуточно съездила ему по шее, помирилась с Лией и простила ей. И Лия тоже простила. Они всхлипывали, обнявшись, и разомлевшая Лия наконец спросила:

— А не боишься, что будет ребенок?

На что Санька шутливо махнула рукой: мол, волков бояться... и улыбка у нее была лукавой и гордой, хотя Виктор (Лия это знала) больше не звонил.

НЕПОБЕДИМЫХ НЕТ

— Да, жизнь — это борьба! — вздохнула Лия, подымаясь на бугор. Эту фразу часто повторял отец и почти всегда не к месту. И, повторив ее сейчас тоже не к месту, Лия улыбнулась и вошла в церковь. Все спали, один лишь допризывник Гошка сидел на табурете возле верстака.

— Садитесь, — сказал он, вставая.

«Очень симпатичный мальчик. Как бы эгоистка Карина его не испортила», — подумала Лия, забывая, что Гошка здесь, на окопах, а Карина с матерью уже далеко за Москвой. Ведь вчера, нет, уже позавчера утром Лия, преодолевая свою несокрушимую застенчивость, пришла к ним прощаться.

— Вы едете, и я тоже, — сказала она. — Меня берут на окопы.

— Как я вам завидую, девочка! — Елена Федотовна поднялась с пола, где тщетно пыталась обвязать двумя шарфами расползающийся чемодан.

— Мама хочет сказать, что я мешаю ее героизму, — съязвила Карина.

— Что ты, Карик? — смутилась огромная Елена Федотовна и снова повернулась к Лие. — Я вас люблю и уважаю. Берегите себя, пожалуйста.

— Я хотела на фронт... Не взяли... Может быть, с окопов удастся...

— Да, я вас понимаю, девочка... Только берегите себя, пожалуйста. Дайте я вас перекрещу.

— Мама! — крикнула Карина.

— Я неверующая, — тихо сказала Лия. Ей было неловко.

— Да. Я знаю. Я тоже неверующая. Но на кого еще надеяться? — Она неумело, видимо, забыв, как это делается, перекрестила Лию. — Не бойтесь, — шепнула. — Христос для всех. Только, пожалуйста, оставайтесь живы...

— Вам не холодно? — спросил Гошка, с любопытством глядя на рыжую девушку.

— Нет, что вы! Это так взбадривает. Мне Елена Федотовна посоветовала, — как бы извиняясь, что полезла в октябрьскую воду, ответила Лия. — Рина, наверно, уже в дороге, — поторопилась перевести разговор.

— Наверно, — согласился Гошка. — А вы спать не будете?

— Не знаю. Боюсь, не засну...

«Бедная», — подумал он, а вслух сказал:

— У меня тоже бессонница.

— Это потому, что очень много впечатлений, — ответила Лия. — Как вы думаете, завтра мы много выроем?

— Посмотрим. Положение очень тревожное.

— Представляю.

— Вы умеете хранить военную тайну? — вдруг спросил Гошка, весь переполненный новостями.

— Не знаю, — испугалась Лия. — Мне ее никогда еще не доверяли.

— А слово дать можете? — спросил раздраженно, боясь, что, еще немного, и он выложит ей военные секреты, не получив никаких гарантий.

— Могу, — улыбнулась Лия. — Могу комсомольское. Хотите?

— Хорошо, — обрадовался он. — Положение очень тяжелое. Так что вы завтра особенно много не роите. Нам отсюда уходить придется.

— Как? — недоуменно вскрикнула Лия.

— Скорее всего, пешком. — не дал он ей договорить. — Обещали вагоны, но они вряд ли придут.

— Это неправда. Не сердитесь, но я не верю. Откуда вы знаете?

— Знаю.

— Вам капитан сказал?

— Это неважно. Только не думайте, что я трус.

— Бедный, я ничего не думаю. Я только не могу верить. И почему это он вам сказал? Почему он всем не сказал? Или все уже спали? Простите, я ничего не понимаю. Зачем же нас сюда привезли? Гоша, ради бога, скажите? Это шутка, да?

— Нет. — Он мотнул головой. — Но помните, вы дали слово. Нас привезли копать оборону. Но фортификаторы, подлецы, бежали, потому что немцы близко. Понимаете?

Они говорили шепотом в огромной, наполненной храпом церкви, но Лие казалось, что допризывник кричит ей в ухо через рупор.

— Вам нельзя в плен попадать! — шепотом орал Гошка.

— Да, да... Я понимаю. Спасибо... Я хотела пойти на фронт. Меня не взяли. Разрешили только в госпиталь, санитаркой. Но я уже была санитаркой. Дома... — она потупилась, словно боялась обидеть покойную маму. — Я умею стрелять из винтовки. — И она с надеждой посмотрела на Гошку, будто он был начальником арсенала.

— Шофер сказал, никакого оружия не будет. Эта Домна просто врала. Удирать будем. А дали бы винтовку, никуда бы не ушел.

— И я, — вздохнула Лия.

Гошка посмотрел на нее с сомнением, но промолчал. Ему не хотелось портить такой хороший ночной разговор. В заброшенной церкви среди спящих женщин только они двое бодрствуют. Горят две керосиновые лампы. В разбитое стрельчатое окно виден край освещенного луной облака. Ночь стоит тихая, может быть, первая бессонная ночь за всю его жизнь, если не считать нескольких ночей на крыше во время налетов. Но тогда на чердаках было полно народа, а сейчас они одни.

«Она ничего... Мужественная, — наконец подобрал он подходящее слово. — Ледяной водой обливалась. Бр-р... — задрожал от во-

ображаемого холода. — Стрелять — не копать. Может, и вправду умеет... Я тут один среди оравы женщин. И она тоже одна», — подумал он и проникся к Лие добрым чувством то ли из-за ее одинокости и заброшенности, то ли оттого, что она разговаривала с ним, как со взрослым, и не гнала спать.

— Обстановка очень тяжелая, — снова повторил, вовсе не придавая этим словам того значения, которое они имели для всех, в том числе для Лии. Несмотря на то, что немцы шли по его земле и он, вполне сносно зная географию, по сводкам Информбюро с недельным или полуторанедельным запозданием узнавал, где сейчас проходит линия фронта, общее положение его как-то мало тревожило. Война вообще казалась ему личной удачей, и теперь, когда он на нее почти попал, ему не терпелось подойти к ней еще ближе, впритык, получить винтовку, ручной пулемет или «максим» (об автомате ППШ он и не мечтал) и делать то, что делают настоящие парни в кинофильмах. Он был неглупый мальчик и на многие вопросы мог бы ответить толково, но само его существо было пока глупее его разума и он весь рвался туда, вперед, за реку и тишину, где весь мир в его представлении стреляет, тархтит, рвется, горит, вспыхивает и кричит «ура»!

— Но как же это вышло?.. — спросила Лия, как-никак она была старше Гошки. Она сейчас чувствовала его таким близким, почти родным, что, пугаясь собственной смелости, выдавила: — Как это допустили?

— Внезапность нападения! — отмахнулся он, пребывая еще в приподнятом состоянии: ему слышалась пулеметная стрельба и виделись падающие немцы с задирающимися вверх стволами винтовок.

— Я, знаете, плохой политик, — шептала Лия, — но мне очень не нравился договор с Гитлером. Меня это оскорбляло: с такими людоедами здороваться за руку. Нет, это было очень неприятно...

— Дипломатическая хитрость. Нам нужно было спасти украинцев и белорусов, — небрежно сказал он, хотя два года назад ему самому этот пакт был не по душе. Белорусы и украинцы были какие-то абстрактные, а сражения, которые он рисовал цветными карандашами (а еще чаще представлял их себе перед сном или во сне), были реальными и понятными. После заключения пакта он уже не знал, можно ли рисовать на вражеских касках свастику. На касках англичан можно было писать фунт стерлингов «£», но это не так впечатляло. Свастика же была привычной, и по ней он бы ни за что не промахнулся.

— Нет, не говорите... Я все-таки ничего не понимаю, — не унималась расхрабравшаяся Лия. — Я хочу чем-то помочь. Даже не помочь. Я просто обязана что-то делать. Ну, хорошо, пусть окопы. Но теперь вы говорите, что окопы не нужны.

— Вы не волнуйтесь. Немцев мы разобьем...

— Да. Я понимаю... Но нельзя же сидеть без дела. Вы знаете, — она приглушила шепот. — У моего папы были неприятности. Так я его не только утешала. Я заставляла его писать и писать заявления и жалобы, просьбы и объяснения — во все, какие можно, инстанции. Я ему не давала сидеть без дела. Тормошила его. Если ничего не делать, можно с ума сойти. Опуститься. Можно даже перестать умищаться...

— Да, конечно, — не совсем уверенно кивнул Гошка.

— Вы знаете... Я все время думаю: ведь нас больше... Нас в два, нет, в три раза больше, чем фашистов. Пусть один наш убьет одного фашиста и даже сам погибнет. Ведь тогда мы победим. Я сама готова погибнуть, но сначала я хочу убить одного гитлеровца.

— Они в бронетранспортерах едут. Пуля броню не пробивает...

— Так что же делать? А где наши броневики? Помните, перед праздниками нас ночью будили танки?.. Помните?

— Да! Ведь мы с вами из одного дома! — вдруг неизвестно почему обрадовался Гошка.

— Правда, — улыбнулась Лия, не понимая, что же тут удивительного, — и Санюра из того же дома, и еще многие женщины.

— А вы пять любите? — спросил он, будто о самом главном.

— Люблю. Только про себя. У меня ни слуха, ни голоса.

— Правда? — обрадовался он. — И у меня тоже. Я только в уме пою. Я вам сейчас спою свою любимую, а вы по глазам догадайтесь.

— Я не сумею, — улыбнулась польщенная Лия. — Я очень неспособная.

— Да нет! Вы обязательно догадаетесь. Вот смотрите! — Он сжал губы, ноздри у него растопырились и зрачки остановились. Он почти не дышал. — Ну? — наконец спросил он, побагровев, словно тащил четырехпудовый мешок.

— Не знаю, боюсь ошибиться, — смутилась Лия. — Мне показалось под конец вроде:

Там, где кони по трупам шагают...

— Правильно! — воскликнул он. — А говорите, неспособная. Да вы просто ясновидец!..

Гаврилов, гоня сон, бродил вокруг храма, спускался к речке, споласкивал лицо и снова, поднимаясь на бугор, обходил церковь. Шофер, не помещаясь в кабине, спал, вытянув из нее свои огромные ноги. Сапоги на них были поновей гавриловских. Ветер то унимался, то задувал снова. и кровельное железо на церкви бормотало что-то грустное, схожее с вальсом «На сопках Маньчжурии». Гаврилов все песни пел на один мотив, выбирая слова по настроению.

«На немцев работает!» — думал сейчас он про все сразу — и про ветер, и про погоду, и про положение, в которое не по своей воле попали и он, и его страна. И вдруг, в который уже раз со злобой и огорчением глянув вверх, он увидел скользнувшее по краешку луны самолетное крыло и тут же сквозь ветер угадал гудение бомбардировщиков. Их, похоже, было немало, потому что спустя минуту еще один прикрыл лезвие луны. Шли они высоко, и угадать их он не мог, но летели они прямо над шоссе и он понимал, что на Москву. С начала войны он так мало видел своих боевых машин, что каждую летящую, пока ясно не различал на ней звезды, принимал за чужую. Так было проще. Не надо было потом ругать себя за дурость. Зато редкие исключения были как подарок. Даже в московском госпитале, когда над головой вертелись «Яки» и «Миги», Гаврилов и то всякий раз ожидал от них подвоха, пока при свете солнца или при снижении ярко не вспыхивала на крыльях родная звезда.

«Все туда, все на него! — думал капитан, боясь даже себе назвать то великое имя. — И мы все стараемся ради него, — и тут Гаврилов со скорбью вспомнил все покинутые виденные и не виденные им города и в первую голову Слуцк, где осталась Сима с детьми. — Все его охраняем, — злобно добавил, забывая на миг, что Москва — это не только место, где живет тот человек, а еще, между прочим, и столица. — Охраняют, не пустят, — повторил, когда вдалеке почудились частые, как удары нервного пульса, выстрелы зениток. — А может, не знает, где сейчас немцы? — пришла в голову нелепая мысль. — Может, ему не докладывают? А как же речь третьего июля? Нет, знает. Знает, да не все».

Его отношения с тем знающим или не все знающим человеком были на самом деле не так просты, как считали сослуживцы Гаврилова и как считал он сам. Сначала для него, красноармейца срочной службы, главным был нарком Клим, луганский слесарь, свой, русак, ясный и понятный, а тот, с трубкой, тоже вроде был, но его как бы

и не было. И для отделенного Гаврилова Клим еще оставался главным, но потом все сменилось, и, хоть Клим нацепил маршальские здоровенные звезды, а тот по-прежнему носил красноармейскую шинель, не приведи бог было теперь поставить его позади Клина. И, ломая язык, твердо и навсегда запомнил старшина Гаврилов его трудное отчество и уже никогда не путал. Так — помалу да потиху — стал трубокур из поставленного впереди взаправду впереди, и лицо его, поначалу некрасивое и чужое, стало привычным, своим, таким, как будто он был с нами всегда, с самого рождения. И уже младший политрук, бойко излагая своими словами газетные статьи, не кривя душой, хвалил Сталина. «Вот это политрук, не то что ты, — говорил себе Гаврилов. — Ты толкаешь бойцам новости, а они в кресты-нолики играют. А он слово скажет — все рот раскроют и еще полгода потом учат-переписывают».

Как человек, всю жизнь работающий с людьми, Гаврилов не мог не уважать авторитет, завоеванный у всего народа. И после, когда потихоньку, а потом и в открытую в их полку и в соседних стали хватать по ночам командиров, от комполка до ротных, а комиссаров так вообще чуть не сплось, он, жалея их детей и жен, кивал при женских всхлипах: «Сталин не знает!» — но про себя считал — знает и, бессонно копаясь в памяти, пытался найти вину каждого взятого. И, когда найти было нечего и разговоров никаких не вспоминалось, все равно считал, что тому наверху виднее.

— Да не гуртись ты, Ваня, при начальниках, — пела ему по ночам мудрая Сима. — Ты при бойцах, при бойцах держись. От начальства вред один! — и она звала теперь на чай только старшин да помкомзводов и, изворачиваясь, угощала их чем бог послал. Тем, может, и спасла Гаврилова в те непонятные годы. А когда ему прошлой весной вместо трех кубарей навесили шпалу и назвали капитаном, рада была до небес не столько большому окладу, как тому, что должность теперь командирская и трепать языком можно поменьше. Все беды от длинных речей, считала Сима. А о Главном политруке она думать не хотела и ему не советовала. — Ты мой Сталин, — пела ему ночью. — Мне тебя с пацанами вон как хватает, — и проводила ладонью по шее.

«Да. Ему с верхотуры виднее», — считал Гаврилов до того расвета, когда их в лагере подняли по тревоге, в Слуцк к семьям не пустили, а маршем двинули назад, ближе к Москве. И десять дней, видя немцев больше над собой, чем перед собой, ждал приказа Гаврилов от того, кто все знает и насквозь видит, а тот молчал. И только за Днепром пришел этот приказ, занявший собой обе стороны дивизионки, и все кругом вздохнули, а Гаврилов насупился.

Нет, не того он ждал от Главного политрука, а теперь и Председателя Обороны. И хоть нутром понимал, что в этой речи больше правды, чем во всех прежних, сложенных вместе, не понравилась ему речь; не понравилось в ней три слова: «Непобедимых армий нет». Кто-то, а Сталин спроста ничего не говорил. Даже шесть годов назад, когда сказанул знаменитое «жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи», и то нельзя было это прямо понимать. Кому-то, да и не одному кому-то, может, не стало лучше, да и другим не так уж оно веселее стало. Но эти слова надо было понимать в общем виде и не на сегодня, а как бы наперед, то есть так, что пройдет время и действительно будет и получше и посчастливей. И, привыкнув понимать каждое верховное слово как знак на дальнее, Гаврилов прочитал фразу о непобедимых армиях, рассчитанную на душевный подъем и уверенность в разгроме немцев, как намек на то, что можно и не победить.

«Трусишь! — впервые даже в мыслях сорвался на «ты». — Страхуешь себя?! Обмазал тебя Гитлер с головы до сапог. Ну и хрен с тобой. Не маленькие. Хватит молиться... Самим расхлебывать надо...»

Это было поздним вечером. Он вышел из избы, кликнул командира первой роты и приказал окапываться.

— Люди устали... Да и место такое — обойдут сразу, — попросил отговорить Гаврилова старший лейтенант.

— Пули захотел? — гробовым шепотом спросил капитан, и комроты-один, не узнав своего комбата, пошел отдавать приказание. — Построй людей, — сказал Гаврилов на рассвете, но, вспомнив, что они ночь не спали, отменил построение. — И так поймут. В общем, надеяться, друг, нам не на кого... — и по его печальному голосу старший лейтенант понял меру отчаяния комбата и по-другому увидел себя, страну и армию.

Оборона и впрямь была никакая. Танки их смяли в первые четверть часа, а Гаврилову, который забыл в самом начале боя, что он уже не политрук, а комбат и выскочил на бруствер с пистолетом и привычным еще с маневров криком «За Сталина!», очередь из немецкого танка прострелили легкое и два раза левую ногу.

«Его зенитками берегут, — думал Гаврилов. — А мне моих женщин этим прикажешь? — Он хлопнул себя по кобуре. — Больше вроде и нечем. А Симке чем прикажешь обороняться?»

Ему стало тоскливо и холодно, он пошел в церковь наскрести в каком-нибудь ведре кашу, вдруг не вовсе остыла. У верстака спиной к капитану сидела какая-то деваха в пальто, а напротив нее, привалясь к верстаку, стоял парнишка, тот, что рыл окоп. Парнишка глядел на девку и капитана не заметил. Сначала Гаврилов подумал, что они играют в гляделки, потому что лицо у паренька так напряглось, что казалось, он вот-вот лопнет. Но потом девка сказала какие-то стихи про лошадей и мертвых, и капитан, догадавшись, что у них не любовь, а одно баловство, погнал их спать.

ГНЕДЫХ ЛЮБЯТ

Утром женщины вынесли из церкви ведра, отскребли их от вчерашней каши и начали варить новую. Из деревни пришел чисто выбритый (как новенький, подумал капитан, пробуя свою, второго дня щетину) старичок Михаил Федорович.

— Какие будут указания? Вы в Москву дозвонились? — Он торжественно замер перед капитаном, только что руку не прижал к картузу.

— Указание одно — рыть. Ночью два раза самолеты пролетали, — сбавил голос Гаврилов. — Рыть надо, отец: женщины хоть себя спрячут.

Голос капитана как-то не вязался с настроением старичка, и тот, не сдаваясь, напомнил про ежи.

— Мои помощники вчера нарезали немного. Сейчас сваривать начнут. Откуда прикажете первые ставить?

— Это напоследки. Не убегут, — отмахнулся Гаврилов. — Рельса вообще не того... Балка нужна. Ну да ладно. Все будет хорошо, отец, — сказал он, чтоб хоть как-нибудь закончить разговор. — А меня простите. Две ночи не спал.

Водитель, оставшись за капитана, побаловался печеной картошкой, похлебал из ведра кипящей каши и до следующей кормежки изнывал от безделья. Он уже три раза обошел всю будущую позицию, держась на дистанции от женщин, которые, отрываясь от копки, то и дело задирали его:

— Давай подмогни.

— Иди погреемся!

— Не холостуй парень! — или в том же духе. Будь их две или, на крайний случай, три, он бы нашел, как отшутиться, но такая прорва не манила, а скорей отпугивала. Поэтому с серьезным и мрачным

лицом вышагивал он рядом с маленьким Михаилом Федоровичем, который с утра сиял, как жених или именинник.

— Мы потом соединим окопы. Получатся хорошие хода сообщения. А завтра можно будет и землянок нарыть. Шпалы теперь без дела остались. Накатом их уложим.

— Шпалы коротки, — отрезал водитель. Суется старичок порядком его раздражал.

— А ежи вы не видели? — хвалился тот через минуту. — Вот извольте, — и тащил водителя через дорогу, где в кювете лежали сваренные двухметровые обрезки рельс. — Мы по три соединяли. Думаете, достаточно? По четыре ребятам трудновато везти на тачке, — радостно оправдывался старичок.

— Сойдет, — зевнул водитель.

— Балка, бы, конечно, лучше против танков. Но где ее взять? Приходится ограничиваться подручными средствами.

— Угу, — кивнул водитель. «Может, сказать ему, чтоб не очень заводился? — подумал, глядя на кругленького старичка. — Да нет. Пусть порезвится. Вон какой веселый».

— Я уже докладывал товарищу капитану, — не унимался Михаил Федорович, — что считаю необходимым взорвать железнодорожный мост. Станция все равно разбита, и движение на запад не производится. А при наличии моста немцы нам могут зайти с фланга.

— Женщинам, что ли? — съязвил водитель. — На женщин они с передка пойдут, — сострил и сам же смешался, но старичок согласно захихикал:

— Простите, оговорился. Я имел в виду красноармейцев, которые займут наши позиции.

Михаил Федорович не хотел терять ни капли воодушевления.

— Они сами и подорвут, — ответил водитель, вовсе не думая о том, что кто-то будет занимать эти траншеи, а тем более взрывать на их левом фланге железнодорожный мост.

«Может, капитана разбудить? Пусть поест...» — убеждал он себя, прекрасно понимая, что будить две ночи не спавшего человека даже ради жратвы не стоит.

— Прикажете им лучше, пусть гальюны себе откроют, — сказал он старичку.

— Да что с ними делать будешь? Сначала стеснялись, за мост в лесок бегали... Устали, наверно. Не знаю, как вы, товарищ боец, а я их, прямо сказать, побаиваюсь... Уж очень их много. Вот разве что эти утихомирят, — и старичок ткнул рукой в сторону леса, высоко над которым летело три звена самолетов.

— Эти не для них, — отрезал водитель.

— Наши? — обрадовался старичок, но водитель не ответил. Молодым зрением он сразу угадал в летящих машинах «юнкерсов-87». Точно такие летели в ту же сторону два часа назад, когда он, наворачивая каму, случайно задрал голову. Те шли очень высоко и возвращались, видимо, на той же высоте, потому что возвращение их он прозевал, а в то, что их всех сбили, верить при всем желании не мог. Нынешние шли ниже, так что даже были видны очкастому старичку, но крестов на их крыльях он, слава богу, не разглядел. Женщины тоже не обратили на них особого внимания, только две или три, прикрывшись ладонью от неяркого солнца, на минуту задрали головы, а потом опять взялись за лопаты.

— Денек, а? — вздохнул Михаил Федорович. — Прямо бабье лето с опозданием!

— Фрицевское, скорей.

— Не волнуйтесь, товарищ военный, — успокоил старичок. — После такой случайной теплоты сразу крупа начинается, а то и нешуточным снежком посыпет. Померзнут немчики.

— И женщины не согреются, — ответил водитель и пошел к церкви.

«Может, проснулся уже?» — надеялся он, но капитан спал, наглухо закрыв дверцы кабины. Через спущенное всего на два пальца, заляпанное грязью стекло было видно, как ему неловко: португеза была не расстегнута, а только ослаблена на три дырки и глаза от света прикрыты фуражкой.

Водитель снова пошел к костру и попил с поварами чаю. Они почти все были пожилые, годились ему в матери, и он их не так сторонился. У некоторых на фронте были сыновья.

— От моего третью неделю ничего... — вздыхала одна.

— И от моего...

— И мой не пишет.

— А ты такого не встречал? — снова называя имена и фамилии, приставали к водителю, и, когда он в который раз объяснял, что на фронте еще не был, потому что прикреплен к московской обороне, они как будто не завидовали, а радовались за него, что он не в «самом пекле».

— Еще попей, парены!

— Чай не водка, много не выпьет.

— Непьющий. Лицо чистое.

— Спасибо, — сказал водитель и после третьей кружки, осмелев и махнув рукой на хаханьки окопниц, поплелся на бугор к допризывнику Гошке.

«Зря я ему вчера напел. Протрепется, сопляк».

Гошка уже с головой торчал в своем окопчике, а над ним, на бруствере сгребала землю рыжеволосая девушка в куцем пальто и рыжих высоких ботинках, на которые из-под юбки были спущены синие лыжные шаровары.

— Хороший отгрохали? — крикнул из глубины Гошка, и водитель, чтоб не обижать рыженькую, согласно кивнул. Уж больно она была некрасивой, с ржаными ресницами и огромными веснушками, но и была в ней такая забитость или растерянность, что говорить с ней жестко было бы не уважать себя.

— Чего засмотрелся? — крикнула ему в спину Санька. — Мы тут тоже даем угля.

— Вас зовут, — смущенно сказала Лия.

— Потерпят, — отмахнулся он. — Давайте покажу вам, как... — Он взял у нее лопату. — А вы не стесняйтесь, рукавицы наденьте, — сказал тише, словно сразу разгадал Лию. Она, понятно, вся вспыхнула и с ненавистью поглядела на свои маленькие ладони с большими белыми волдырями.

— Эй, шофер, я тоже не знаю! Покажь! — кричала Санька из траншеи.

— И чего они гнедых любят? — вздыхала рядом Ганя. — И Кланька моя с гнедком. Правда, не такая. У этой рыжина сплошь.

«Ну, попал! — заливаясь краской, водитель подраививал бруствер. — И не уйдешь теперь — девчонку жалко. Совсем закрывают».

— Понимаю, понимаю. Теперь я сама, — извинялась Лия.

— Ничего, — басил водитель. — Еще нароетесь.

— Значит, останемся здесь?! — поднял голову Гошка. — Я ж вам говорил!

— Тихо! — вскипел водитель и показал Гошке из-за спины кулак.

— Ясно! Могила! — пролепетал Гошка и тут же глянул на Лию зверскими глазами. Но водитель перехватил взгляд и понял, что сопляк проговорился.

Девушка тоже подняла голову и кивнула водителю: дескать, знаю, но больше никому не скажу; и он, как бы каясь в своей болтливости, словно друга, хлопнул рыженькую по плечу, и она это поняла.

«Эх, не поговоришь тут!» — водитель досадливо оглядел берег и склон бугра. От моста до моста и чуть дальше за шоссе шла спорая работа. Женщины, как в трясине, тонули в земле, и некоторые уже ушли в нее по плечи и шею.

— Этот окоп хватит! — сказал водитель. — Давайте другой.

— Давайте, — сказала Лия.

Она тоскливо глядела на молодого человека, не решаясь верить, что чем-то ему приглянулась. «Просто нужно где-нибудь рыть. Вот и помогает. Тем более я тут самая безрукая, — ответила своим горячим от волдырей ладоням, которые ныли под жесткими рукавицами. — Но он очень милый. Понятливый. Наверно, душевно тонкий. Даже чем-то похож на Виктора. Только Виктор...» — и она, не додумав, вспомнила то, чего не знала махавшая сейчас киркой подруга. На шестой день войны, когда Санька с матерью пошли провожать мобилизованного отца, в коридоре снова зазвонил телефон.

— Лия, это злополучный Виктор.

— Санюры нет дома, — сухо ответила она.

— Лия, мне надо в а с... Вы знаете клуб камвольной фабрики? Это на «букашке»... Только приходите о д н а.

— Хорошо, — сказала Лия, поняв, что его взяли в армию.

И, когда назавтра он, странно преобразившийся в непригнанных гимнастерке, галифе и в ботинках с обмотками, хватая ее за руки и жадно глядя ей в лицо, цептал, что она сразу произвела на него впечатление и что он ее смущался, а Саня такая разбитная и ловкая, а он выпил, Лия слушала его, не отводя лица, слушала и не верила ему. И, когда на прощание он стал ее целовать, она не отворачивала головы, но все равно ему не верила. Все мужчины такие слабые; и этот тоже слабый, хоть и честный мальчик. Он был виноват перед ней, чувствовал это, желал оправдаться и поэтому, несмотря на свою честность, врал еще больше. Нет, она не была нужна ему. Просто из суеверия он хотел, чтобы кто-то его проводил туда, где бомбы, пули, снаряды, где смерть... А Санюру он позвать не мог, ему было перед ней совсем стыдно.

— Я тебе буду писать, — сказал Виктор.

— Хорошо, — кивнула она, надеясь, что тоскливая минута прощания быстро позабудется и он не напишет. Потому что если Санюра найдет в ящике письмо, могут начаться новые неприятности. Тем более ее отец, которому Лия после повестки все простила, ушел на войну, а Лиин папа, хоть и не жалеет себя на ответственном строительстве, все-таки не подвергается каждое мгновение смерти.

И теперь, глядя на бойца, она скорее огорчалась, чем радовалась его вниманию и заботливости.

— Стоп! Без меня тут... — вдруг крикнул тот и, выпрыгнув из неглубокого, только начатого окопа, побежал по склону к мосту. — Откуда?! — кричал он.

Лия увидела, что на том берегу из леса выскочили навстречу водителю два бойца в ужасно грязных, прямо-таки черных шинелях. «А вдруг переодетые немцы!» — со страхом подумала она, глядя на их запачканные и натянутые на уши пилотки. Но первый из бежавших бойцов уже обнимал водителя. Потом его обнял второй боец, и они трое, привалясь к перилам моста, стали весело размахивать руками. Водитель в давно не новой, вспотевшей под мышками гимнастерке казался щеголем рядом с измученными, небритыми, грязными красноармейцами. Но было видно, что они ему ужасно рады. Потом бойцы побежали на ту сторону в лес, а водитель назад по мосту, взлетел к ним на бугор, схватил шинель и, на ходу застегиваясь и не отвечая на молчаливый Гошкин взгляд, помчался к церкви, наверно, будить капитана.

СУКНО И ХРОМ

Спросонья Гаврилову почудилось, что его арестовывают. Над ним нависло перекошенное злобой лицо, к тому же перевернутое так, что звездочка на меховой шапке оказалась ниже высунувшихся из-под кожанки синих петлиц.

«Где я промахнулся? — звенело в полусонном мозгу. — По телефону открыто сказал? Грузовик не вернул? Так не себе, а женщинам вез! Ларечник? Нет. Накладные в порядке были!» Он, не торопясь, выбрался наружу. Перед ним стоял в новенькой зимней кожанке, с новым автоматом на хромо́вой груди лейтенант внутренних войск. Кубари, правда, успели спрятаться под мех, но Гаврилов, еще лежа, заметил, что их на каждой петлице всего по два.

— Спишь? — спросил лейтенант.

— А что, нельзя?! — злобно ответил Гаврилов. Теперь он видел, что лейтенант один — за его спиной прислонился к церкви мотоцикл «Иж-8» без коляски.

«От чертяка хромо́вый! Удобства любит! — подумал капитан, завидуя сразу кожанке, ушанке, новенькому ППШ, а всего больше мотоциклу. — Тебе бы еще перину! Ага, и она есть», — усмехнулся Гаврилов: шагах в пяти от лейтенанта, осклабясь, стояла Марья Ивановна.

«Унюхала», — подумал капитан.

— Ну, — сказал вслух.

— Что — ну? — разозлился кожаный. — Немцы где?

— Это ты мне доложи, — нарочно зевнул Гаврилов, твердо уже понимая, что лейтенант приехал не за ним. — Ты бы ему сказала, а то будит зря, — повернулся к Марье Ивановне.

— А мне что?! — огрызнулась та.

«Нешто так хреново, что уже этих посыла́ть стали?» — со злорадством и одновременно с печалью подумал Гаврилов.

— Где противник, капитан? — медленно процедил кожаный.

— Я тебе не капитан, а товарищ капитан! Понял? — побледнел Гаврилов, ловя, как в прицеле, брезгливую ухмылку Марьи Ивановны. — А ну руки по швам и стать, как положено...

— Ладно, не психуй, — сбавил гонор кожаный.

— Откуда едешь?

— Откуда надо. Я вам не подчиненный.

— А не подчиненный, так дуй отсюда к едрене-Матрене, — снова зевнул Гаврилов, считая, что кожаный пены сбавил, а особо нажимать не стоит, потому что связываться с их народом себе же хуже!

— Давно вы здесь? — теперь уже по-людски спросил кожаный.

— Вчера прибыли, — ответила вместо Гаврилова старшая.

— И ничего такого не было?..

— Ничего, товарищ начальник.

— Ни немцев, ни наших?..

— Нет.

— Вот пироги, — вздохнул кожаный.

— Ничего, жив будешь — привыкнешь, — издевался Гаврилов. — А ну, заводи колеса — начальство разведки ждет.

Он уже понял, что кожаного послали вперед выяснить обстановку. Хотелось Гаврилову еще узнать, кто послал и много ли у того начальства бойцов и техники, и прийдет ли оно их сюда, в эти окопы, а лучше еще дальше, за реку, но понимал, что кожаный ему, армейскому капитану, ни черта не скажет.

— Давай газуй, — сказал Гаврилов, давая понять кожаному, что видит насквозь его растерянность, а может, и трусость.

«Это тебе не ночью людей будить», — хотел добавить, но сдержался.

— Поели бы,— сердобольно протянула Марья Ивановна.— Горяченькая! — и пошла к костру.

— Пожалуй,— пробормотал кожаный. Он неловко топтался перед храмом, растеряв половину форсу.

— Ну? — Гаврилов с презрением снова посмотрел на кожаного, но тут капитана отвлек бегущий водитель.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан,— кричал тот, задыхаясь.— Там наши!

— Где? — вскрикнули разом Гаврилов и кожаный.

— Сразу за речкой... Раненые у них... Сейчас принесут...

Кинувшись к мосту, Гаврилов и кожаный увидели на той стороне бойцов, с виду больше похожих на беглых каторжников. Шинели на них были черно-рыжие, словно они ползали в них по болотам, а потом терлись о кору или опавшую листву. Обмоток ни у кого не было, а пилотки были у всех вывернуты и натянуты на уши. Сначала появились трое, точнее, двое, которые несли на каком-то куске брезента, обрывке палатки или оружейного чехла третьего красноармейца. Правая нога раненого была обмотана тоже брезентом, цветом почернее, видно, запеклась кровь. Женщины с криком бросились на мост, опережая командиров.

— Подождем,— сурово сказал кожаный. Капитан ничего не ответил. «Пусть командует,— решил про себя.— Чего высовываться? Мне женщин во как хватает... А теперь и раненых, как пить дать, подкинут».

Из лесу вышли еще трое бойцов, тоже больше смахивающих на леших. Двое, видимо, легкораненые. У одного рука была подвязана, у другого висела вдоль тела. Третий боец, обнимая их за плечи, прыгал на одной ноге. Вторая была укутана в надрезанный шинельный рукав, обмотанный телефонной проволокой. За ними еще двое красноармейцев несли тяжелораненого на самодельных носилках. Женщины на мосту обнимали бойцов, принимали раненых и с криком и плачем несли дальше.

— Как бы тебе, студент, не пришлось газовать в госпиталь,— тихо сказал Гаврилов.

— Платформы ж обещали...— тоже тихо отозвался водитель, словно объясняя, что своей волей не хочет бросать капитана с такой прорвой женщин.

— Обещанного, знаешь, три года...— вздохнул Гаврилов.— Ладно, подождем чуть. Погрей пока мотор.

— Ой, господи, молоденькие...

— Надо же!

— Ироды, народ губят! — причитали женщины, не столько помогая, сколько мешая тем, кто ухватился за носилки или за край брезента, нести раненых. Некоторые крестились сами и крестили бойцов.

Красноармеец, тот, что минут пять назад выбегал навстречу водителю, еле пробился через толпу женщин и у самого края моста, забывая вывернуть пилотку, но притягивая к ней ладонь, лихо закричал:

— Товарищ майор! Старший штурмовой группы красноармеец Шкавро и восемь бойцов прибыли.

Кубари у лейтенанта были под меховым воротом, и потому, глядя на обтрепанную гавриловскую шинель, боец решил, что моложавый командир в кожаном должен быть хоть на ранг, а все ж постарше.

— Докладывайте обстановку,— хмуро сказал кожаный.— А вы ждите пока,— крикнул остальным красноармейцам, которые, отдав женщинам раненых, хотели перейти на этот берег.

Красноармеец Шкавро замаялся: видно, ожидал другой встречи.

— Командиры где? — спросил кожаный.

— Нету,— потупился боец.

— Как? Бежали? — вскипел кожаный.

«Умеешь права качать»,— вздохнул про себя Гаврилов, но пока сдержался.

— Убитые,— сказал красноармеец.

— Откуда вы? — зло спросил кожаный.

— Оттуда... — боец махнул рукой в сторону леса.

— В церкви положите пока,— сказал Гаврилов женщинам, которые проносили мимо него раненых.

— Вижу, что не из Москвы! — съязвил кожаный.— Из лесу? Из окружения?!

— Мы не окруженцы,— с обидой и страхом ответил красноармеец. Видимо, это слово равнялось для него словам «враг» или «предатель».

— Дезертиры?!

— Да погоди ты! — перебил кожаного Гаврилов. «И чего я лезу?» — подумал про себя, но терпение уже вышло.— Товарищ боец, вы давно из боя?

— Три дня,— поднял красноармеец голову.

— Три дня лесом шли?

— Лесом только ночью.

— А днем — полем? — ощерился кожаный.

— Нет, днем пережидали,— поправился красноармеец, понимая, что против начальства не попрешь и надо сносить все, даже насмешку.— У нас раненых пятеро. Трое не ходят,— добавил он.

— Я видел,— кивнул Гаврилов.— Как шли? Дай карту,— повернулся к кожаному.

— Не могу. Секретная.

— Эх, черт! А моя как раз тут срезана... На восток все время шли? — спросил бойца.

— Вроде...

— Володи,— незло усмехнулся Гаврилов.— Ну, а немцев видели?

— Нет. Мы деревни обходили.

— Я же сказал: дезертиры! — обрадовался кожаный.

— Да погоди ты! — снова отмахнулся Гаврилов.— Оружие есть?

— Есть... Только немного. «Детярев» один, ну и винтовки...

— И гранаты? — подсказал Гаврилов, как экзаменатор растерявшемуся первому ученику.

— И гранаты,— кивнул боец,— только мало...

— Дезертиры,— мрачно повторил кожаный.

— С «детяревым» не дезертируют,— оборвал его Гаврилов.— Ты вон с этой цацкой и на колесах, один, без раненых, не очень вперед лезешь! А они герои! Герои! — твердо повторил он.

— Товарищ капитан, при младшем дискредитировать...

— Брось, лейтенант,— отмахнулся Гаврилов, снимая с кожаного всю его тайную важность.— Молодцы, ребята! — повернулся он к бойцу.— Молодцы! Сейчас вас покормят. Жалко только, что немцев не видели. Может, хоть танки слышали?

— Нет, врать не буду, товарищ капитан. Не слышали. Нас штурмовая группа была — полтора взвода, а всего девять осталось. Лейтенантов двоих убило. Мы к своим, к окруженным пробивались вперед. Два раза немцы нас отбили. Тогда мы в лес и больше не высовывались...

— Значит, впереди бой?.. — обрадовался Гаврилов.

— Ага, товарищ капитан. Там нашего брата сосчитать невозможно. Вроде две армии окружены...

— Ну, вы мне панику не сейте! — рассвирепел кожаный.

— Ладно. Пока помолчи,— снова обрезал его Гаврилов.— Значит, танков, говорите, не видели?

— Нет, только самолеты.

— Ну, этого добра и тут хватает,— усмехнулся капитан.— Вон снова летят.

Над лесом вовсе не так высоко, метрах на восьмистах, не больше, летели три «юнкерса» и чуть сзади и выше их два «мессершмитта».

— Отойдем, капитан,— тихо сказал кожаный.

Красноармеец покорно остался ждать у моста. Женщины все сбежались к церкви. Оттуда доносилось:

— Ваньку Сизова видел?

— А Евтеева Сергея?..

— Слушай, милый, Шлыковых, Шлыковых Вальку с Валеркой встречал? — надрывалась Ганя.

— Ну? — сказал Гаврилов, когда они с кожаным поднялись на бугор.

— Ты командовать останешься? — спросил кожаный.

— Куда мне... Не видишь, что ли?.. — Он кивнул на женщин.

— Тогда не мешай. Боец, ко мне! — крикнул кожаный в сторону моста.

— Только помни, люди все-таки,— вздохнул Гаврилов, понимая, что говорит впустую.

— Не учи,— огрызнулся кожаный.— Вот что, товарищ боец,— сказал он подбегавшему красноармейцу.— По лесам погуляли, теперь и повоевать надо. Приказ такой. За мостом отроете ячейки и займете оборону. Наши подойдут — вас сменят. А теперь — кругом! Обед вам туда доставят.

— Так, товарищ капитан? — Боец глянул с надеждой на Гаврилова, вдруг тот снова обрежет командира в кожаном.

Но Гаврилов только спросил:

— Лопат не требуется?

— И девушек бы заодно... — усмехнулся боец.

— А что! Это можно,— развеселился кожаный.— Этого добра тут хватает.

— Не дам,— мрачно сказал Гаврилов.

— Ты что? — удивился кожаный.

— Не дам, и все. Забирай, боец, лопаты, присылай за кашей,— и, повернувшись, Гаврилов пошел к церкви.

— Тебе чего, гарему своего жалко? — спросила вертевшаяся неподалеку Марья Ивановна, когда он проходил мимо.— Так тебе вроде и ни к чему.

— Мне еще как сказать, а женщинам действительно ни к чему на тот берег... Там сейчас, может, бой будет.

— Да не паникуй, капитан,— сказала, догнав его, старшая.— Или у тебя заодно командирскую храбрость оттяпало?

— Дура,— печально улыбнулся он.— А тебя, между прочим, немцы тоже не пожалеют...

— Ты чего это?

— А ничего, Маруся... Слушай меня, только тихо. Мы с тобой накрылись... Впереди войск нету. Пусто... Все равно, как там,— он показал на небо, по которому недавно пролетели немецкие машины.— Напугал кто-то, не туда нас послали. Вчера по телефону обещали мне платформы. Но сама знаешь: верить верь, а надейся на одного себя. Так вот, если,— он поглядел на большие, переделанные из карманных ручные часы,— через сорок минут платформ не будет или приказа нового не пришлют, снимайся отсюда и дуй назад.

— Врешь,— уже по инерции сказала старшая.— А этот на что? — вдруг вспомнила она про кожаного, который следом за бойцом шел сейчас по мосту на тот берег.

— На мотоцикл сядь! — с издевкой крикнул ему Гаврилов, но тот только рукой махнул.

— Раненых стесняется,— сказала старшая.

— Да нет. Ему далеко ехать страшно,— засмеялся капитан и хлопнул Марию Ивановну по заду.

— Ты чего? Или заиграло? — улыбнулась она.

— Заиграло. Да играть, Маруся, нет времени,— подмигнул Гаврилов, зная, что теперь им ссориться никак нельзя.

— Врал, значит?

— Ну, как сказать... Может, малость присочинил с устатку.

— Ну и ну,— покачала она головой.— Артист же ты... Ой, да погоди! Вон они, твои платформы.

И вправду на горизонте запыхтел серый дымок и почти внятно слышались небыстрые перестуки колес.

ТРАНСПОРТ НАЗЕМНЫЙ И ВОЗДУШНЫЙ

— Там оружия полно,— зашептал Гошка, возвращаясь от моста к Лие. У них не было на фронте родных, и они не побежали к раненым, а присели у своего окопа.

— Хорошо бы удалось...— кивнула Лия.

— Капитан не пустит. Парень с автоматом просил подкинуть женщин на тот берег, а капитан уперся,— покраснел Гошка, потому что утаил, для чего кожаный просил у Гаврилова женщин.

— Ну, зачем же он так?..— спросила Лия, хотя хмурый усталый капитан внушал ей больше доверия, чем бравый мотоциклист в кожанке.

— Знаешь что? В крайнем случае, ночью под мостом переберемся! — по-заговорщицки переходя на «ты», зашептал Гошка.— Вода ведь не такая холодная?

— Нет,— улыбнулась Лия.

— О чем шепчетесь? — крикнула с бугра Санька.— Не попадался им мой алкоголик,— засмеялась она.— Авось жив папая. Пьяного пуля боится.

— Скажем ей? — нерешительно спросил Гошка.

Ему нравилась пухлая и смешливая Санюра.

— Давай спросим,— согласилась Лия.

— А чего? Можно! — бодро зевнула Санька, когда они, перебивая друг друга, шепотом стали излагать ей свой план.— Только одного фрица мало. Я меньше, чем за пятерых, не согласная!..

Веселой Саньке умирать не хотелось, да и все это пока было только разговорами.

— Да, ой, ребяташки! — крикнула она вдруг.— Гляньте, поезд идет.

— Я их, капитан, собирать не буду. Сам скликай,— ворчала Марья Ивановна.— Все равно, как в опере: «Фига — тут, фига — там». Только людей мучить.

— Ладно, сам скажу. Погоди,— отмахивался Гаврилов.

Поезд шел медленно, кроме дыма, ничего пока не было видно.

— Порядок! — взбодрился за спиной Гаврилова кожаный.— Подкиньте, бабочки, товарищу бойцу шесть мисок.

За спиной кожаного стоял красноармеец в грязной шинели, но в уже приведенной в порядок пилотке. «Это другой,— подумал Гаврилов.— Не тот, что докладывал».

— Быстро ты обернулся,— кинул он с насмешкой кожаному.

— А что? Людей расставил. Уже окапываются.

— Орден получишь!

— Брось...

— А чего? Дезертиров остановил. Панику, можно сказать, ликвидировал. Оборону поставил. Вполне дать могут,— издевался Гаврилов.— Вырви лист, напишу представление.

— А что, и остановил ведь,— не очень уверенно защищался кожаный.

— А я что? Дай-ка бинокль, если не секретный.

В шестикратном увеличении дым полз не быстрее, зато было видно, что паровоз-«овечка» опять прицеплен не по-людски, позади трех платформ. Людей на них не было.

Ты плешь моряков на тонущий крейсер,
туда, где забытый мяукал котенок...—

вдруг вспомнился Гаврилову ошметок стиха, который на двадцать вторую годовщину задумал было читать с трибуны салажонок из карантина.

— Не пойдет,— сказал тогда политрук Гаврилов.

Вся Ленкомната, набитая этими ротными сачками-артистами, разом повернула к Гаврилову свои тридцать с лишком голов. В стихотворении были еще строчки: «Шестидюймовок тупорылые боровы взрывают тысячелетия Кремля»,— но Гаврилов, не касаясь их, ответил:

— Не для того революция была, чтоб кошек спасать.

— А вы сами, товарищ политрук, участвовали? — наведя невинно-ехидные глаза, спросил читальщик.

— Я нет, да и Маяковский твой нет.

— Он «Окна РОСТА» рисовал.

— Это что? Картинки? — притворился темной деревней Гаврилов.

Хоть он и был политруком и как бы родным отцом и покровителем самодеятельности, но самозванных артистов терпеть не мог и считал их всех до одного лодырями. «Настоящий боец,— считал Гаврилов,— тот, кто от службы не бежит и товарища за себя в караул или в кухонный наряд не гоняет. А все эти сборы, проверки-репетиции, простые и генеральные,— одна мура и безделье. Повод командирских жен за сценой потискать. Настоящий боец, да и парень настоящий, он тебе без всяких репетиций на марше такое к месту отмочит, что рота живот надорвет. А со сцены да по бумажке или на память выучить — это каждый дурак сумеет».

Но вслух он этих мыслей не высказывал, потому что самодеятельность считалась надежным помощником командиров и политработников в деле укрепления воинской дисциплины, и, пока ходил в политруках, он соглашался с этой формулой, стараясь только пореже ее повторять.

— А вы знаете,— взвился тогда в Ленкомнате новенький боец,— что «Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом»? Знаете, кто это сказал?

— Знаю,— ответил Гаврилов.

— То-то,— сказал боец под одобрение всех этих самонадеянных сачков. Видно было, что они ни в грош не ставят политрука.

«Вот крючки на мою голову! За кого, смельчаки, хоронитесь?!» — обиделся он тогда не столько за себя, сколько за весь политсостав РККА.

— А ну, дай-ка книгу. Других, что ли, стихов нету? Вот про паспорт можно или про город-сквер, или как там его...

Он взял толстый большой том, раскрытый на первых страницах, глянул на вытянутое глистой стихотворение и, еще не разобрав всего, заметил под ним цифру: 1918.

— Не пойдет,— повеселел, возвращая книгу.

— Разрешите обратиться к комиссару полка! — звонко крикнул салага.

— Обращайтесь,— усмехнулся Гаврилов. — Только он тоже не позволит. Твой Маяковский советской эпохи, а стихи-то военного коммунизма. Неувязочка? А? — и салага не то чтобы был посрамлен, но закрылся.

«А может, и прав был Маяковский? — думал сейчас Гаврилов, разглядывая в бинокль три платформы и паровоз.— Хоть и не кошки, а все же шлют транспорт, спасают, хотя его сейчас полный дефицит.

Хрен бы где в другой стране спасли!» — и, вспомнив заодно челюскинцев и папанинцев, он примирился сразу с тем бойцом-декламатором, которого ранило во время бомбежки, и заодно с автором стихотворения, который застрелил себя сам.

— На, забирай,— протянул он лейтенанту бинокль и тут же пристальным глазом увидел над медленным составом быстро растущий «мессершмитт».

Железнодорожная насыпь вильнула вправо, и теперь состав со стороны церкви был виден весь. Он пятился от самолета, а самолет пер на него. С первого захода «мессершмитт» только дал пулеметную очередь и круто пошел вверх. Скорость у истребителя была велика, а поезд еле тащился.

«Сейчас из пушки жажнет»,— подумал Гаврилов.

По всему бугру стояли женщины, они остолбенело глядели на паровоз и истребитель.

— Ложись! — закричал Гаврилов.— Раненые где? — Он обернулся, но бойцов еще раньше отнесли в церковь. Кожаный уже лежал на земле, и боец, который пришел за кашей, тоже лежал подальше, возле костра. На бугре женщины прыгали в траншеи.

«Сейчас в котел даст,— подумал Гаврилов, глядя с земли, как самолет заходит издали, чтобы вырулить поближе к отползающему паровозу и расстрелять его из пушки.— Двадцать миллиметров калибр, пробьет...» И тут истребитель, летя почти по прямой, жажнул два раза в «овечку», но то ли не попал, то ли срикошетило, а только паровоз продолжал пятиться к разбитой станции.

— Ага! — обрадовался Гаврилов и повел взглядом за истребителем, который, полоснув по паровозу из пулемета, взрулил не очень высоко и закачал крыльями над картофельным полем. «Вроде хвалится? Так ведь не убил машиниста...— Капитан повернул голову к паровозу. Тот все так же медленно отползал к развороченной станции.— Нет, зовет своих»,— решил Гаврилов и тут же услышал винтовочный выстрел. Из кабины «ГАЗа», приоткрыв дверцу и уложив на нее карабин, студент целился в истребитель.

«Пустое! — подумал капитан.— Не попасть. Да вреда тоже нет: за мотором не услышит...»

И действительно, «мессершмитт», помахивая крыльями, как ни в чем не бывало покачивался над картофельным полем.

«Улетит или нет? Улетит или нет? — нервно гадал Гаврилов, подпирая пальцами небритый подбородок.— Улетай! Смерть мне лежать на земле, хоть и сухо сейчас. Ну, лети отсюда!» — чуть не просил он, словно это был свой самолет, а не немецкий.

И тут за спиной, за церковью завизжало, заревело заводской сиреной — раз-раз-раз, пошли взрывы, и сразу завывало кровельное железо, а над самим Гавриловым взмыл огромный желтый, с красным носом и красными колесами бомбардировщик «юнкерс-87».

Этот не играл с паровозом, как сытый кот с мышью. Косо, под самым малым углом, перелетев рельсы, он кинул две бомбы, и Гаврилов, уткнув голову в землю, даже не успел понять, что железнодорожная эвакуация отменяется. Опять от свиста, рева и новых взрывов заложило уши, и второй, точно такой же огромный и желтый бомбардировщик взмыл над Гавриловым поближе к железнодорожной насыпи. Визг сжимал голову и сдавливал затылок, не давая оглянуться, а надо было, ох как надо было поглядеть, что там на бугре сзади.

«Хоть бы в женщин не попало!» — уже не думал, а скорее мечтал капитан, потому что тяжелая голова мыслей не принимала.

За церковью взорвалось еще два раза, а потом началась пулеметная стрельба. Она прошивала вой сирен и грохот кровельного железа.

— У-у-у! — неслось над всем полем, то глуша, то чуть отпуская, чтобы снова еще сильнее оглушить.

«Да что им, воевать не с кем? — тоскливо пронеслось в голове. Тут же рядом проскочили земляные брызги от пулеметной очереди. — Это они по тому берегу», — вспомнил он, слыша новые взрывы, идущие со стороны церкви.

— Твою оборону бомбят! — шепотом крикнул он кожаному, но тот лежал, не поднимая головы. — Привыкай! — крикнул капитан, но кожаный, видно, не услышал, потому что снова начал нарастать вой снижающихся «юнкерсов». Теперь они пролетали над бугром и картошкой, чуть сторонясь церкви, а «мессершмитт», как меньшой брат, висел над ними, радостно покачивая крыльями.

«Воем берут, — соображал Гаврилов, постепенно привыкая к надрыву сирен. — На патроны не щедрятся». И тут опять (словно сглазил!) полоснуло очередь по земле и вслед уходящему гулу зазвенело стекло...

«По ГАЗу», — понял он и из-под прижатой руки глянул на полуторку. Лобовое стекло из нее вылетело, но студент был жив и ствол карабина медленно полз по верхнему краю дверцы.

— Ишь ты! — попробовал усмехнуться капитан. — А что? Так и надо! Эй, учись у наших, — крикнул он кожаному, но тот все еще лежал, вдаваясь в серую землю.

С бугра железнодорожную насыпь было видно хуже, но женщины и оттуда во все глаза следили за самолетом и поездом. Никто не знал, что состав послан за ними, и его просто жалели, потому что с рельс ему некуда было деться — не грузовик. Паровоз отступал все ближе к бугру, а самолет спускался на него, и, когда в первый раз не рассчитал и промахнулся, на бугре обрадовались, но тут же поняли, что станция разбита и деваться поезду все равно некуда. Самолет ушел в небо, потом снова вернулся, ударил из пушки, а паровоз все отползал и отползал к разбитой станции. На бугре обрадовались и стали кричать и махать руками:

— Назад! Назад крути!

Но машинист то ли не слышал, то ли боялся остановиться, и паровоз медленно полз к развороченным рельсам. Теперь уже с бугра было видно хорошо, но тут заревели «юнкерсы», а что было дальше, никто уже глядеть не стал. Начали сыпаться бомбы, и женщины кинулись на дно траншей, а кто не успел, уткнули головы и на бугре, и на склоне в твердую или копаную землю.

Бомбы падали сначала на насыпь, потом на тот берег, а две упало в реку, и вода фонтаном плеснула в Гошку, который лежал над своим первым окопом; он так и не успел прыгнуть в него. «А-а-а!» — заревело над пареньком медленно и тягуче, и так заболели кости и ключицы, будто по спине проехал танк или гусеничный трактор. «А-а-а!» — нехорошо стало в животе, и пища, горячая, пшенная, кислая, долбанув в нос и в уши, стала выталкиваться изо рта в сыроватую мягкую землю бруствера, а Гошка не мог поднять головы, и жижа, мешаясь с землей, ползла по щекам.

— Жык-жык-жык, — строчило, как на швейной машинке, по склону сначала вдоль тела, а потом поперек, словно сверху метили только в одного Гошку, хотели навсегда пришить, пристрочить к земле, но каждый раз промахивались. И снова накрывало гулом и тянуло болью, как будто рвали зуб без наркоза, но не зуб, а его всего откуда-то вырывали, а он не давался.

— Кхе-кхе, — вываливалось из него и залепляло глаза, а он лежал, ненавистный самому себе, и, теряя силы, кричал:

— Мамочка! Мама! — но за ревом бомбардировщиков, слава богу, никто не слышал. — Ой, — стонал он, чувствуя, что еще немного и вырвет вместе с последней кашей сердце и легкие. — Ой! Да что же я? Надо... Надо... — шептал он, тут же забывая, что надо, а потом рев

слабел и он вспоминал, что по самолетам надо стрелять. Но стрелять было не из чего.

«У, капитан!» — вспомнил Гошка, но тут его снова накрыло гулом и ревом и опять забрызгало фонтанчиками земли.

— Капитан за оружием не пустил... Капитан не пустил... — повторял Гошка, как молитву, не раскрывая залепленных пищей глаз. Весь берег прошивало пулеметными очередями, а в ответ с земли неслись только слабые стоны. Ручной «дегтярев» с того берега тоже не отвечал. Видно, там уже не было живых.

Лия лежала двадцатью шагами выше Гошки в недовырытом окопчике. Ей некуда было спрятать голову, и, на мгновение открывая глаза, она видела самолеты, два больших и один маленький, которые летали над ней, над бугром, полем и другим берегом.

«Господи! — она закрывала руками голову. — Так погибнуть ни за что?! Ни за что, ни за что, ни за что... Ничего не сделать. Но где же наши? Где наши? Сейчас меня убьют. Сейчас всех нас убьют!..» — стучало сердце в груди, и снова ревели самолеты.

— Ва-ва-ва! — ревели самолеты, или это ревели в самой Лии. Ее не рвало, только что-то очень противное, кислое текло изо рта и из носа, и некуда было приткнуть вдруг ставшую совсем чужой, страшно огромной, тяжелой и неповоротливой голову.

— Нам надеяться не на кого, — сквозь вой самолетов донесся скорбный голос Елены Федотовны.

— Не сходи с ума! — одернула себя Лия и открыла глаза.

Церковь стояла на месте, а за церковью был наполовину виден грузовик, из дверцы которого выглядывал край винтовочного ствола. Ствол двигался, двигался по дверце, вздрагивал и опять медленно двигался, уже в обратную сторону.

«Это тот мальчик! Какой молодец!.. — сообразила Лия сквозь рев накрывающих ее самолетов. — А я ничего... Я ничего...» — корила она себя.

«Ничего, ничего», — уговаривал ее какой-то тихий, но настойчивый голос, который шел издали-издали, из самого затылка и стучал, как колеса приближающегося поезда.

«Поезда нет, — подумала она, но тут же увидела неподалеку от линии траншей неподвижный паровоз с тремя платформами. Пар лениво и редко выбивался из трубы. — Машиниста, наверно, убило...» — подумала она. Но тут снова заревели самолетные сирены и Лию на мгновение оглушило разрывной волной с другого берега.

«Ничего, ничего», — стучало в голове, приближаясь от затылка к ушам и вискам, а сверху выли самолеты, в которые никак не мог попасть водитель автомашины «ГАЗ-АА».

Санька с Ганей успели раньше других прыгнуть в траншею и теперь лежали на самом дне. От взрыва бомб стенки канавы осыпались и земля забивалась под платок, в уши и волосы. Общим было страшно, но каждой по-своему. Ганю бил ужас, а Саньке было тоскливо-тоскливо, так тоскливо, что здоровое и веселое тело вдруг стало больным и затекшим. «Как у Лийкиной карги», — скорее почувствовала, чем подумала Санька.

«Сейчас убьют, и ничего не узнаешь. Тут и зароят», — представляла она, как ее зачем-то разденут и засыпят этой мокроватой землей, в которой ползают склизкие черви, и ее взял такой страх, что она уже готова была выпрыгнуть из траншеи наверх, где ревели и стреляли немецкие самолеты. Эта склизкая земля была страшней, чем желтые драконы в небе. Но на ней еще лежали две женщины, и она не то что их скинуть, а рукой пошевелить не смела...

— Витечка, Витечка!— визжала Санька неслышным голосом, не зная, кого еще звать на помощь. «Один ты у меня...» — стонало в голове, которую придавили осыпающаяся земля, бабы и самолетный рев.

А Ганя, пока не улетели самолеты, лежала в столбняке, как курица, уставшая трепыхаться в руках поймавшей ее перед обедом хозяйки.

ОДНОФАМИЛЬЦЫ

— Вставай,— сказал Гаврилов кожаному.— Улетели. Ну, кому горю?— Издеваться уже не было сил.— Вставай. Начальству доложишь.

Кожаный все лежал. Гаврилов наклонился над ним, тронул за плечо. Кожаный лежал, как мертвый.

— Ну,— Гаврилов приподнял ему голову. Глаза были закрыты, а голова медленно поползла по гавриловской ладони и стукнулась о кожух автомата.

«Готов!» — подумал капитан и тут только заметил на хромовой куртке две аккуратные дырки, чуть больше тех, какие оставляет конторский дырокол, когда подшиваешь бумаги.

— Докомандовался парень!— вздохнул капитан, ничего не чувствуя, потому что голова все еще тряслась от взрывов, воя, рева и пулеметного треска. Он оставил мертвого и пошел к церкви.— Студент! Жив?!— крикнул, вздрагивая от собственного голоса, так отдало болью в затылок.

— Жив. Все промазал,— хмуро ответил тот, словно он был на полковом стрельбище.

«Молодец»,— хотел сказать Гаврилов, но горло почему-то забило ком.

— Молодец,— сказал потише и подошел к грузовику. Борта были сплошь покорежены, словно орава пацанов ковыряла их гвоздями, ножами или осколками стекол: стенки кабины были где пробиты, где поцарапаны пулями. Но радиатор был цел и мотор уже работал.

— Кажется, обошлось,— улыбнулся водитель.— Раненых повезете?

— Да!— Гаврилов смахнул со лба землю. Боль уже прошла.— Повезем. Ты повезешь. Молодец, студент! Не то что...— он хотел сказать про кожаного, но вспомнил, что того убили.— Раненых надо забирать. Организуй там...— и, махнув рукой, пошел к костру.

Возле погасшего костра и дальше на бугре все начало понемногу шевелиться, подниматься, отряхиваться, даже разговаривать, но доходило до глаз и слуха будто через какую-то пелену или воду.

«И впрямь как утопленники»,— подумал Гаврилов и тут же увидел старшую. Она стояла над двумя скорчившимися на земле женщинами.

— Живая, Марь Ивановна?! А вашего намертво.

— И твоего тоже,— кивнула она на бойца, который, уткнувшись в землю, лежал шагах в десяти от убитых женщин. Рядом валялись миски с остывшей кашей.— Не пожрамши...— вздохнула Марья Ивановна.

— Книжку красноармейскую у него возьми. Шофер передаст,— сказал Гаврилов, стараясь поскорей отвернуться от мертвых женщин.— Собирайтесь вам надо, родная моя,— вдруг обнял он ее при всех, спрятал на ее плече лицо, но тут же отпихнул ее и пошел на бугор.— Раненые есть?— кричал там, пробегая вдоль траншей.— Есть раненые?!

— Дальше, кажись...— отвечали женщины, выбираясь из окопов.

— Иди проверь!— крикнул он попавшейся на глаза Саньке.— Жива?— спросил сидящую в окопчике Лию.

Та, не поднимаясь, кивнула головой.

— А пацан твой жив?— вспомнил капитан.

Лия мотнула головой в сторону реки. Там Гошка, присев на корточки, отмывал лицо.

— Так,— вздохнул капитан.— Собирайте всех. К церкви идите. Уходить будем,— и он быстрым шагом вернулся к кожаному.— Придется побеспокоить, парень,— склонился над ним, ничего не испытывая к убитому, и снял с него автомат и бинокль.— Да, еще планшет и документы,— вспомнил он и, расстегнув кожанку, достал из кармана командирской гимнастерки партбилет и удостоверение.— Гаврилов Алексей Степанович!.. Тыфу ты, однофамилец,— покосился капитан на мертвого, пряча документы и цепляя к портупее второй планшет.— Прости,— неловко пробормотал он, потому что мысли были заняты живыми.— Да, еще колеса у тебя были...

Мотоцикл, рогатый, как баран, по-прежнему жался к стене храма.

«Значит, пешая эвакуация?.. Выходит, что так»,— соображал Гаврилов возвращаясь к траншеям.

— Раненых помогите выносить! — кричал он. — И живо, живо! Документ шоферу отдай,— кивнул Марье Ивановне, которая склонилась над мертвым красноармейцем.— Эй, пацан,— крикнул Гошке с бугра.— Давай сюда.

Гошка медленно побежал вверх по склону.

— Автомат бери! В Москву поедешь,— усмехнулся Гаврилов, уже решив, что мотоцикл и автомат для одного человека чересчур жирно.— Давай бери, чего там...— добавил он, принимая Гошкину ословелость за стеснительность.— Цепляй и дуй к шоферу.

«Пусть хоть этот жив будет. Ему еще воевать»,— устало подумал Гаврилов.

— Раненые есть?— снова кричал он, шагая вдоль бугра.

— Есть,— отозвались из траншей.

— В кузов тащите.

Ему не хотелось глядеть на раненых женщин.

— Сколько у тебя?— вернулся он к старшей.

— Пока две. Поварихи.

— Запиши фамилии и вели зарыть. И быстро. Уходить надо. А то еще танки двинут.

— А те защитники на что?! — спросила Марья Ивановна, кивая на тот берег.— Или их уже «ть-у-у! ть-и-и-и-у-у»?— пропела, подражая вою падающих бомб.

— Не знаю,— нахмурился он.— Ты своими занимайся.

Тех, на другом берегу, Гаврилов уже давно отделил от себя. За ним были только женщины и раненые в церкви.

— Говори всем, чтоб уходили. Лопаты пусть берут, а кирок не надо. И продукты, крупу-сахар, пусть в кошелки сыплют. И смотри, чтоб на дороге не гуртились, как овцы. А то опять прилетят...

Он глянул в небо, но там уже было много туч, словно их нагнали самолеты. Быстро темнело.

— Ой, мамоньки! Не уроните!— стонала женщина. Три другие несли ее с бугра.

— В кузов несите,— сказал, отворачиваясь, капитан.— Много раненых?— крикнул он в сторону траншей.

Ему не ответили.

— Ладно... Вот что, Марь Ивановна! Ты гони всех в Москву, а я сам проверю,— он пошел к мотоциклу. Тот завелся сразу.

— Бак полный. Я смотрел,— кивнул водитель.

— Проверю, может, кто еще есть в окопах,— сказал Гаврилов, как бы извиняясь перед студентом за все: бомбежку, раненых женщин, покореженную автомашину и еще за этот неожиданно доставшийся ему трофей.— Мы теперь женищинам не нужны. От нас только горе,— добавил он печально.

— Понятно,— сказал водитель.

— Вырули на дорогу. Туда донесут. А то еще...— он снова глянул на небо. Тучи быстро чернели.— В общем, счастливо тебе! — Он протянул водителю руку.— Пацана довези,— кивнул на сидевшего в кабине с автоматом на шее Гошку.— Да, вот книжки возьми. Однофамилец мой оказался. Отдашь первому, кого встретишь из ихних или наших. И вообще доложи, все как было...

— А вы?— спросил водитель.

— Я уж как-нибудь...— Гаврилов похлопал по баку мотоцикла.— Ну, а в крайнем случае, и тут хватит.— Он поправил кобуру «ТТ».

Женщины уже стали тянуться по шоссе от церкви. Они шли угрюмо, как на похороны или с похорон. Кошелки раскачивались на перекинутых на плечи лопатах, тяжелые ведра почти не бренчали. Он проехал мимо них и свернул к мосту. От мотоцикла было тепло, и дрожь педали на малой скорости не мешала раненой ноге. Даже как будто снимала боль.

«Освоюсь»,— чуть повеселел Гаврилов.

— Товарищ командир!— вдруг донеслось до него справа от дороги. Он притормозил как раз над валявшимися в кювете самодельными ежами. Из недокопанной траншеи выкарабкался старичок в мягкой фуражке с матерчатым козырьком, закутанный в длинный плащ. «Вот ты где! А я и забыл про тебя»,— усмехнулся Гаврилов.

— Чего, отец?

— Значит, насколько понимаю, ежи уже не требуются? — сказал старичок. За его спиной на бруствере сидели три паренька.

— Все целы?— спросил Гаврилов.

— Целы,— процедил старичок.— А ежи, выходит, больше не требуются? Так понимать надо?— Он махнул рукой на уходивших в другую сторону женщин.

— Да брось ты, отец,— вздохнул Гаврилов.— Ежи и раньше ни к чему были.

— Мне бросать нечего,— разнервничался старичок.— Вы меня бросаете, а не я вас,— и, взглянув через подвязанные веревочками очки на измученного небритого капитана, зло прибавил:— А финны, между прочим, лучше вас воевали.

— Зима у них была,— тихо сказал Гаврилов и повел «Иж» за рога, стесняясь при старичке влезать в седло.

— Так что же, и мне зимы ждоть?!— закричал ему в спину старичок.— Вот она, зима!— показал на низкие, войсе черные тучи.

Гаврилов, не оглядываясь, свел мотоцикл с дороги на берег и там вдоль самой воды поехал в сторону железнодорожного моста.

— Раненые есть?— кричал он.

Последние женщины покидали траншеи и уходили к шоссе. Некоторые наспех ополаскивали в реке лица.

— Быстрей! Быстрей!— отгонял он их от воды.

Они покорно поднимались и брели вслед ушедшим. Гаврилов доехал берегом до железнодорожной насыпи, потом метров двадцать вдоль нее, а затем, повернув, поехал по этой стороне бугра к церкви. О паровозе, который намертво, уже не пыхтя, прирос к рельсам, и о машинисте с кочегаром он старался не думать. До них было километра полтора, и приказывать усталым женщинам тащить из паровоза убитых было свыше его сил.

— Раненые есть?— снова кричал он.

Старшая и еще три женщины спешно зарывали недалеко от церкви убитых поварих.

— Иди, Марь Ивановна... Я dokonчу. Иди,— сказал капитан.

— Еще этих надо,— кивнула старшая на бойца и кожного, лежавших на бруствере: она не решилась похоронить их рядом с поварихами.— Кожанка у него хорошая,— мотнула головой на убитого.

— Иди,— сказал Гаврилов.— Догоняй народ. И смотри, если танки... лопаты пусть сразу кидают.

— А ты как?

— Я на колесах.

— Догонишь?..

— Нет. Я теперь для вас хуже чумы... Если, конечно, танки появятся,— поправился он.— Прощай, не побаловались...

— Ничего, авось свидимся. Айда, девушки,— крикнула старшая женщина и повела их с бугра.

Гаврилов спустился в траншею и начал за плечи бережно стягивать туда мертвых, сначала бойца, потом лейтенанта, стараясь уложить их поаккуратней.

«Вот какие пироги!» — вспомнились слова кожаного.

— Не пироги, а синяки! — сказал вслух.— Точней, на орехи достанется! — и, выкарабкавшись из траншеи, стал сбрасывать землю с бруствера на убитых.— Пусть хоть женщины до переезда дойдут. Тогда уж вильну в сторону на почту... — Ему не хотелось живому и с виду целому проезжать на мотоцикле мимо бредущих по шоссе, измученных рытвем и бомбежкой окопниц.

«Чего я для них сделал? Ну, спекли бы картошки вместо твоей каши! — продолжал он спорить с собой, а голова от всего перевиженного опять начинала гудеть в висках и ныть в затылке.— Сто двадцать верст за пять мешков пшена. Вон какая каша из-за твоей каши... — попробовал отшутиться, но шутки не выходило.— Не нашли б начальства, ушли бы пешком, и все дела. Этот, в балахоне, их не удержал бы... — с раздражением вспомнил он кругленького старикашку.— Финны дрались лучше. Ну и что, что лучше? Без тебя знаю, что лучше. Смотри, отец! Добрешешься!.. А немцы придут и узнают, что ты рытвем заправлял, тоже по голове не погладят... — непонятно зачем грозился он очкастому старичку.— Да и мне, напаша, трибунал светит. Пора, видно, за квитанцией ехать...»

Он быстро забросал мертвых землею. Потом достал из планшета чернильный карандаш и, послунив, у самого черенка лопаты вывел:

ДВЕ МОСКВИЧКИ

А-Т ГАВРИЛОВ

«А черт, как же его звали?» Фамилии бойца он вовсе не знал и потому, чуть повернув лопату, написал:

БОЕЦ... (РККА)

И, помедлив немного, добавил рядом с фамилией кожаного род войск (НКВД).

— Чтоб со мной не спутали! — сказал он и воткнул лопату в землю по самую надпись.

И тут до него донеслось еле слышное не то нытье, не то плач.

— Кто там? — крикнул он.

Всхлипы усилились.

— Где ты? — тревожно закричал капитан.

— В церкви... — донесся бабий голос.

Гаврилов бросился в храм. В темном закутке у ризницы жалась какая-то женщина в ватнике и в лыжных шароварах.

— Что, раненая? — со страхом спросил Гаврилов, потому что машина уже ушла.

— Нет, — продолжая выть, мотнула головой Санька.

РАНЕНЫЕ ЕСТЬ?

Водитель вывел машину на дорогу и стал ждать. Женщин больше не несли.

— Все, что ли?— крикнул он в темноту, закрывая задний борт. Всех раненых было девятнадцать — пятеро бойцов и четырнадцать женщин.

— Возьми меня, парень. Я все равно как раненая, даже хуже,— ныла крутившаяся возле грузовика Ганя.

— Ну, черт с тобой, лезь, бабка,— согласился водитель.— На колесо заднее встань и перемахивай. И по-быстрому...

Он боялся, что попросится еще кто-нибудь из проходивших мимо женщин, но они шли молча, вовсе не похожие на тех вчерашних, на пересылке.

«Хорошо бы рыженькую подсадить. Совсем доходила...» Водитель огляделся, но Лии нигде не было.

— Патроны у кого остались?— крикнул он бойцам в кузов.— Я все в небо пустил.

— Бери,— ответил сверху раненый и протянул ремень с двумя кожаными подсумками.

— Ну, все. Поехали!— Водитель полез в кабину.— Цапку только перевесь,— сказал Гошка, кивая на автомат.— Пусть в окно смотрит. Или дай диск вытащу.

Он оттянул защелку и, к Гошкиному неудовольствию, положил магазин на сиденье рядом. «ГАЗ» тронулся, сразу забило ветром в кабину и стало холодно.

— Пронимает?— подмигнул водитель.— Зато сектор обстрела какой!— и показал на пустую раму.— Ты теперь стреляный!

— Что?— крикнул Гошка. Из-за ветра ничего не было слышно.

— Страшно было?— крикнул водитель.

Гошка неопределенно пожал плечами. «ГАЗ» прибавил скорости, в пору было закрывать лицо рукавом.

— Мне тоже!— кричал водитель.— Руки аж дрожали. Ни разу не попал.

Гошка ничего не расслышал и не понял, но согласно кивнул.

— А рыженькая где? — снова крикнул водитель.

Гошка опять кивнул. Он не слышал.

— Рыжая где?— больно дунул ему в ухо водитель.

— Там!— крикнул Гошка, закрывая от ветра ладонью голос.

— Живая?

— Да, да,— закивал Гошка.

Он не знал, как сказать про Лию. Отчаянно било ветром, а сразу за переездом посыпался какой-то снег, твердый, вроде мелкого града. «Кажется, он называется крупой»,— вспомнил Гошка.

Лию он последний раз видел, когда бежал с автоматом к машине. Она как будто позвала его, но ему было некогда и неловко разговаривать с ней при капитане, да и позабыл он тогда о всех их дневных разговорах. После бомбежки они сразу вылетели из головы. Тогда на бугре он уже думал о раненых. «Ее там все равно не оставят»,— успокаивал себя, стараясь из солидарности с водителем не прикрываться от бившей в лицо крупы, и гладил правой рукой автомат, а левой лежащий на сиденье диск. Крупа барабанила по лицу, и нельзя было попросить водителя, чтобы ехал помедленней. О том, что с ним было во время бомбежки, Гошка старался не думать.

Лия видела, как Гошка побежал на бугор к капитану, и, поняв, что он не вернется, даже не огорчилась. Разговоры до бомбежки были далеким детством, а сейчас наступал последний и решительный момент, и нельзя было его пропустить. «Гошенька — мальчик, совсем еще мальчишечка,— усмехнулась она, вспомнив его позеленевшее, недомытое, страдальчески счастливое, измученное лицо и тоненькую шейку, на которой болтался автомат.— Спрошу Санюру. Не захочет — одна останусь».

— Жива,— снова кивнула она мрачному капитану, который второй раз прошел мимо ее окопчика. «Слава богу, не ранена. Но и раненая бы осталась... Если ранили друга, перевяжет... Ах, это не то... Это песня... За рекой много оружия... Там, наверно, и раненые. Но раненых должен забрать капитан. А я возьму только оружие. Винтовку. Жалко, что мы не изучали ручной пулемет...»

Она посмотрела вслед капитану, тот к мосту не пошел, а вернулся к церкви.

«Надо от него спрятаться, не заметит. А вдруг за мостом раненые?.. Может, старичка попросить? Он увезет их к себе в деревню на тачке, спрячет на чердаке или в погребке. Нет, это безобразие, что капитан не забирает тех раненых!»

Она хотела подняться, но ноги были словно не свои.

«Ничего, еще подожду... Пусть пока женщины уходят. Капитан должен все-таки забрать с того берега красноармейцев. Наверно, туда поедет шофер. Какой он молодец! Не испугался. Стрелял. Хорошо бы он остался, а раненых повез в госпиталь капитан...»

— Ты чего?— склонилась над ней Санька.— Чего лежишь? Простудишься!

— Ничего,— слабо улыбнулась Лия.— Просто жду. Мы же договорились... забыла?

— А это... про винтовки. Пустое.

— Как хочешь,— холодно сказала Лия.

— Брось и не думай. Давай поднимайся. Совсем чокнулась, по-друга.

— Как хочешь,— повторила, поднимаясь, Лия.

— Пошли в церковь. Сумку нашу заберем и ведро. Сахарку насыпем.

— Иди,— сказала Лия. Она еле передвигала ноги.

Женщины быстро уходили с бугра. Некоторые несли раненых. Те стонали. Возле стены храма, где обрывалась задняя траншея, лежали две убитые поварахи. Сюда же, таща неловко, словно бревна, принесли командира в кожанке и бойца, что прибежал с того берега за кашей.

— Хороша курточка,— на миг отвлеклась Санька.— Неужли закопают? Никуда тебя не пушу,— снова обернулась к Лие.

— Иди, иди,— сказала Лия.— В Москве убивая своих пять немцев.

— Вот врежу сейчас,— рассердилась Санька.— Марь Ивановна,— прибавила она голосу, но не так, чтоб та услышала.— Вот сдам тебя сейчас, будешь тогда...

— Так ты еще и предатель?! — прошипела Лия. Они стояли друг против друга, одна ладная, рослая, другая тощая, маленькая, готовые вцепиться одна в другую.

— Дура,— первой остыла Санька.— Да глянь на себя. Чего ты им сделаешь? На хвост соли насыпешь? Не видела, чего сейчас было?

— За рекой есть оружие,— повторила Лия.

— Оружье, оружие... Дура! Да ты что, храбрее меня? С умом надо. Видишь, тут оборона никуда...

— Я пошла. Прощай,— надменно кивнула Лия и, с трудом волоча ноги, спустилась к реке.

— Стой! — Санька схватила ее за плечо.

— Раненые есть? Марш, марш... Быстрее уходите,— кричал капитан — он ехал на мотоцикле вдоль самой воды, отгоняя от нее женщин, которые ополаскивались на дорогу.

— Уйди,— сказала Лия.

Капитан проехал дальше к железнодорожному мосту. Быстро темнело, становилось одиноко.

— Не пушу тебя,— вдруг заняла Санька.

— Тогда идем...

— Не, там мертвяки,— тянула Санька...— Я их боюсь...— теперь она была, как ее детсадовские малолетки.

— Иди в Москву,— сказала Лия беззлобно и устало.

— Нет.— Санька мотала головой.

— Уходи.

Снова приблизился стрекот мотоцикла. Капитан возвращался с другой стороны бугра.

— Заметит! — обрадовалась Санька.

— Пригнись,— выдохнула Лия и неловко кинулась к мосту.

— Вернешься? — спросила Санька.— Я тебя в церкви подожду.

— Можешь не ждать,— крикнула Лия, почти уверенная, что подруга останется.

Она потащилась через мост. Было темно и жутковато. Направо от моста берегом шли старичок в балахоне и трое мальчишек.

«Надо бы окликнуть их,— подумала Лия.— Вдруг там раненые...» — но побоялась, что услышит капитан.

Первого убитого она увидела сразу за мостом на развороченной взрывом булыжной дороге. Он выглядывал по грудь из воронки, сжимая в руке обломанный черенок лопаты.

— Товарищ,— она нагнулась над ним и тронула за плечо. Он покорно, как-то чересчур легко повернулся, и Лия вдруг увидела, что он не засыпан, а обрублен по пояс.— Ва-ва-ва!..— завизжала она, но тут же, собравшись с духом, до крови закусила губы.

«Ва-ва!» — тряслось, надрывалось в ней, как будто снова началась бомбежка.

Не оглядываясь, она оббежала воронку и кинулась в лес. Тут было еще темней.

— Ра... Раненые есть? — задыхалась Лия, а сердце выбивало барабанную дробь.— Ра... Ра...

Ее начало рвать. Она покачнулась, ударилась лбом о березу, обняла ее, прижалась, и уже рвать было нечем, а Лия все никак не могла оторваться от березового ствола.

— Раненые есть? — наконец спросила она шепотом. Никто не отвечал. Только с того берега еле слышно доносилось Санькино:

— Лийка! Лийка! — но отвечать не было сил.

В ТЕПЛЕ И НА ХОЛОДЕ

— Чего таишься? — строго спросил Гаврилов.— Немцев ждешь?

— Немцев?! Скажете тоже... Подругу,— всхлипывала Санька.— За винтовками побежала.

— Чего? — не понял он.— Какие винтовки?

— Обыкновенные. На тот берег за ними побежала.

— А ну вылазь,— разозлился Гаврилов. «И что они все заладили про тот берег?» — Вылазь, вылазь. Нету там никого. Я от речки всех шуганул.

— Врете! — обрадовалась Санька.

— Я тебе не Геббельс. А ну выходи. Где она, подруга? — спросил, когда Санька, подхватив кошелку, вышла за ним из церкви. Было совсем темно, холодно, и с неба быстро сеялась колючая крупа.— Никого нету, видишь.

— Лийка! — крикнула Санька.— Нет, она на тот берег побегла! Лийка! — завывала снова.— Лийка! Документы ее у меня. Сумка у нас на двоих одна. Лийка!

Гудел только ветер. В пустом черно-белом поле становилось страшновато.

— К немцам пошла,— зло отрубил Гаврилов.

— Нет, она комсомолка, еврейка,— захныкала Санька.

— Ну, тогда снова кричи!

— Лийка! Лий-ий-ка! — неслось над берегом. — Ой, как же я? — заныла Санька.

— Беги за ней. Пять минут дам.

— Не, боюсь... — испуганно шептала Санька. — Я туда боюсь. Лийка! Ли-ий-ка! — в голос выла она.

— Да нет ее там, — как мог уверенней сказал Гаврилов. — Я никого за мост не пускал. Лийка! — крикнул он сам.

— Вместе пойдемте, — схватила его за руку Санька.

— Нет, — твердо сказал он и вырвал руку. — Нет.

А сам вслушивался в темноту: вдруг там раненные? Но никто не стонал или стонал, но тихо. «Как их брошу? И девать мне их некуда. По мне уже трибунал плачет».

— Нет, — сказал он жестко. — Не пойду. Ее там нет. Со всеми ушла.

— А я? — канючила Санька.

— За мной садись. До переезда подкину. — «Хоть спину мне прикроешь, — подумал он. — Эх, мародерствовать так мародерствовать. Надо было уже заодно кожан и ушанку у однофамильца одолжить. А то теперь крышка тебе, Ваня», — впервые назвал он себя по имени. — Садись, — приказал Саньке. — Вот бинокль повесь пока. И кошелку подложь, а то набьет нужное место.

— Ли-и-ий-ка! — крикнула уже с мотоцикла. Никто не отзывался.

— Держись, — сказал капитан, и «Иж» запрыгал вниз к дороге.

Теперь мело как следует. Снег летел прямо на мотоцикл, на его засиненную фару, и кроме холода и резкого ветра прохватывало еще и жутью.

«Как на том свете, — подумал Гаврилов. — И вправду бы туда не загреть. — Теперь он уже не помнил о немцах, словно его от них со спины прикрывала теплая Санька, а глядел только на дорогу. — Поворот бы не проскочить. Ничего не видно. Все белое». Но будка со шлагбаумом, задраным, как журавль, была на месте.

— Слезешь? — притормозил капитан. — Твои где-нибудь впереди. Далеко не ушли.

— Нет, нет! — уткнулась в него Санька, не разжимая на его груди крепких рук.

— А не набило?..

— Обойдется.

— Ну, тогда терпи. Сейчас серьезней потрясет.

— Надо было вам кожанку с него снять, — дыхла в ухо, словно услышала его мысли, Санька.

— Ему холодней, — нехорошо пошутил Гаврилов, а Санька еще крепче вжалась в него, повисла на нем, сводя рукавицы на его замерзшей груди.

«Вот и устроился, — подумал он. — Отлично провел операцию. Благодарность в приказе с занесением в личное дело. Натрясется девка, — вдруг переменил мысли и улыбнулся, сколько позволял ветер и колючий твердый снег. — Только бы квитанцию не потеряла очкастенькая. А может, опять дозвоню, объясню... Тепло от девахи, — благодарно подумал он. — Нет, не вывелась еще баба на земле советской!..»

— Замерзла? — Он повернул к ней щеку, перерезанную ремешком фуражки.

— Не... — Она повела грудями за его спиной, и он это остро почувствовал через свою шинель и ее ватник.

— Терпишь? Скоро доберемся. Нам на почту надо.

Ему хотелось с ней разговаривать. Снег теперь не так мешал, бил с правого бока. На холме при въезде в деревню мотоцикл два раза тряхануло, как вчера «ГАЗ», но капитан не выпустил руля и, глядя на слабо черневшие в белом летящем снегу провода, отыскал почту.

Было опять заперто, и в окне не светило. Гаврилов ударил в дверь, чертыхнулся, потом, взглянув на навесной замок, вспомнил, что

под перильцем должен быть ключ. Ключ действительно нашелся, и Гаврилов открыл дверь. Мело по-прежнему. Через летящую крупу Санька на краешке мотоцикла казалась сиротливой и заброшенной.

— Прошу, пани! — крикнул он ей с крыльца. — Заворачивай. Я скоро вернусь. Тут близко.

«Только в яму не загреми, — сказал себе, забираясь в седло. — Тут вроде под столбы рыли».

В третьей от края избе тоже было темно. Гаврилов толкнул дверь в сени, потом еще одну, ударился в темноте о стол и выругался как следует.

— Живой кто есть?! — закричал в темной, как шахта, хате.

— Чего тебе? — засопел в углу пьяный недовольный голос.

— Связистку, мать вашу...

— Нет ее. В районе она. Провод оборвали. В район Глашка потопала.

— А, черт, — вздохнул Гаврилов, вышел к мотоциклу и поехал назад по своему следу. У почты он слез, постоял немного на крыльце, поглядел на летящую крупу, а потом махнул рукой, снова завел мотоцикл и потащил его вверх по ступенькам. — Стучит, как примус. Теплей с ним будет, — сказал он Саньке, но тут же приглушил мотор, вспомнив, что от выхлопных газов можно намертво отравиться.

Санька сидела на корточках перед голландкой.

— А, да ты уже затопила? — то ли удивился, то ли обрадовался Гаврилов и оглядел комнату. В печке трещало, лампа горела, уходить отсюда не хотелось. «Да и куда в такую ночь? — сказал он себе. — Немцы небось тоже живые: до утра не сунутся... Смотри, — перебил себя. — А чего смотреть? В крайнем разе, девка ни при чем, а я отобьюсь. Или что, пропадать мне по такой погоде с продырявленной дышалкой? Слышал, что докторша про простуду объясняла?..» — Займемся техникой, — сказал вслух, чтобы отбиться от разных мыслей, и три раза крутнул ручку. В телефонной трубке молчало. Тогда он крутнула ручку, не кладя трубки на рычаг. В ухо пошел треск, и снова стало тихо. — Где-то тут был сейф. Придется распатронить... Греешься? — Он обернулся к Саньке. — Ноги не сожги.

Санька, скинув ботинки и подтянув повыше лыжные брюки, сидела у печки, сунув ноги в чулках чуть не в самую топку.

— Заботливый вы! — отозвалась она, не оборачиваясь.

— Был, девка, был. Вот сейчас позабочусь об этой сберкассе, — хлопнул он по боку конторского ящика. — Эх, без привычки, но где наша не пропадала.

Он достал из мотоциклетного подсумка гаечный ключ. Замок не поддавался. Ящик ерзал по полу.

— Иди сюда, — крикнул Саньке. — Пусть и тебя привлекут за участие. Сядь на кассу. Так. Теперь вроде лучше, — он взял полешко, поставил на висячий замок ключ, а сверху ударил полешком. С первого раза не получилось. — Теплая ты, девка. С тобой отвлекаешься, — сказал и ударил второй раз по ключу. Замок отскочил, а с ним и ушко ящика.

В кассе деревенской почты кроме вчерашнего червонца лежали еще несколько трешек и рублевок и несколько длинных узких не то книг, не то тетрадей, от которых отрывают квитанции. Кроме того, в ящике стояли две бутылки, заткнутые марлей. Одна полная, другая споловиненная вчера шофером.

— Чудом не разбил, — удивился Гаврилов и поднес книги к керосиновой лампе. Его квитанция была акуратно подколота булавкой. — Везет тебе, политрук, — присвистнул он. — Семь бед — одна холера! Согреться хочешь? — обернулся к девушке.

— Могу, — откликнулась Санька.

— Закусить только нет. Или погляди, может, в шкафу есть? За все сразу и заплатим.

«На хрена тебе деньги, политрук,— горько сказал он себе.— Аттестат посылать все равно некому. Почта туда так же ходит, как этот работает...» — он кивнул на телефон.

— Алло! Алло! — снова крикнул в трубку. — Ну и молчи, не больно надо!

— Веселый вы,— засмеялась Санька. — Тут квашеная капуста одна. Нет, картошка еще есть. Спец можно.

— Ну, и порядок,— повеселел он, словно забывая, что между этой деревенской почтой и немецким передним краем никаких нету войск, а только один снег да ветер. Но печка трещала, крупа в лицо не била, квитанция за разговор была в кармане и девушка уже собирала на стол.

«Надо будет — немцы разбудят», — сказал он себе, присев на топчан, покрытый серым, шинельного сукна одеялом. И, глядя на хозяйничающую Саньку, он уже видел, как по доминошным камням, когда вся игра у тебя на руках, чем сейчас у них обернется.

— Раненые есть?! — снова закричала Лия, и тут задуло, замело и с черного толстого неба повалил холодный колючий снег.

«Я винтовок не увижу,— испугалась она и, пересиливая себя, заковыляла к воронке. — Его закопать надо,— вспомнила с ужасом о красноармейце, но, вспомнив, уже не могла отступить и стала искать лопату. Лопат нигде не было. Она обошла воронку справа и тут же поскользнулась и упала во вторую воронку, уже не на дороге, а когда стала выбираться из этой второй воронки, больно ударились коленом о сошку перевернутого ручного пулемета. — Нет, тут должны быть винтовки,— чуть не плача от боли в ноге, успокаивала она себя. — Я сначала найду винтовку, а потом вернусь и закопаю красноармейца».

«Не вернешься», — твердил кто-то внутри нее.

«Честное слово, честное комсомольское!» — плакала Лия, пробираясь на ощупь между леском и берегом. На дереве что-то чернело. Лия вздрогнула, застыла, потом увидела, что это повисла на ветках развернутая, как парус, красноармейская шинель.

— Наверно, взрывом подняло, — сказала она громко. — Им неудобно было рыть в верхнем... — и тут, вспомнив, что тот, обрубленный боец тоже был в гимнастерке, чуть не задохнулась от вновь подступившей тошноты. — Раненые есть?! — закричала она истошно. Никто не отзывался. Она силой заставила себя снять с дерева шинель и набросила на плечи. Тошнота прошла, и сразу стало теплее. «Надо вторую найти, для Санюры, — подумала Лия. — И оружие... Самое главное — оружие...»

— А я про вас секрет знаю, — глотнув второй раз первача, вспомнила Санька, но тут же прикрыла рот рукой. Ей стало стыдно и как-то жалко капитана, а еще больше себя. Она в первый раз осталась почти впотьмах с мужчиной, если не считать Витечки и папаши одного ребенка из детсада. Тот, последним придя за своим дошколенком, которого еще раньше забрала жена, прижал Саньку в раздевалке и начал нешутливо лапать и вообще себе позволять. У него были бесовские ясные глаза и, главное, властные руки. От этих рук она сразу сдурела и никак не могла отбиться. Но и он ничего не мог с ней поделать, потому что в других группах еще были дети и воспитатели и сама директорша не ушла домой.

Два дня потом она его боялась встретить, но ребенка водила жена, а когда он опять стал водить, то к Саньке больше не приставал. Сперва это ее обижало, после злило, и она даже стала к случаю и не к случаю вертеться в раздевалке и однажды нарочно мазнула его животом, а он только засмеялся, и все...

А Витечка оказался телком. И теперь, глядя на капитана и вспоминая, чего про него говорила Марья Ивановна, Санька и верила ей и не верила, а сама чувала, что-то будет, и ей было страшно, жутковато, но любопытно, как никогда в жизни. И все тело, а всего больше живот и ноги, растревоженные мотоциклом, ждали, ждали, а капитан макал в соль печеную картошку, пил из стакана самогона, заедал квашеной капустой и все медлил и медлил.

«Может, и вправду инвалид?» — думала Санька и опять с ужасом вспомнила даже не бомбежку, а то, что она видела в ту минуту: как ее, Саньку, всю белую, голую, кладут в мокрую липкую землю. Ее груди, плечи, живот засыпают червивой землей; плечи, груди, которыми она так любовалась, крутятся нагишом перед зеркалом, на зависть и назло Лийке, которая сама-то, верно, себя стеснялась.

Хороша я, хороша,
Когда вся раздета,—

распевала Санька, подбирая живот и нахально крутя перед Лийкой пышными бедрами.

И вот теперь вроде сама судьба так повернула, он привез ее сюда на мотоцикле одну из трех сотен баб, и надо же.

— Какие еще там секреты? — устало сказал Гаврилов. — Скинь вон брюки. В земле они. Спать будем.

Он сейчас глядел на себя словно со стороны, и неохота и стыдно было ему заводить всякие игры и уговоры. Настроение, да и время было не такое. Он знал, что и без всего этого под одеялом и шинелью все уладится.

Триста без малого женщин, растянувшись по шоссе больше чем на два километра, восьмой час брели под ледяной острой крупой, которая среди ночи вдруг обернулась дождем. Они сами толком не знали, куда идут, то ли в самую Москву, то ли просто поближе к ней, на другие окопы, и несли на плечах лопаты, а на них кошелки с пшеном или сахаром, а некоторые еще и ведра, тоже полные продуктов.

Было тихо. Поезда не стучали, самолеты не выли, никто не стрелял. Старшая шагала среди последних, не подбадривая никого и не ругая. Она чувала сейчас в себе, да и в других такую безотказность, что, приказали бы повернуть всех, она бы их повернула, да они бы и без команды повернули. А дали бы винтовки и приказали лечь в грязь, которая сейчас распозлалась по всей земле, легли бы и даже, не умея, стреляли. Потому что усталость, покорность и злоба были уже в них такого накала, что этого добра могло хватить (и хватило ведь!) на годы и годы и еще бы детям осталось.

Но никто не приказывал им поворачивать, и винтовок им тоже не дали, и они плелись по шоссе, тащили кошелки и ведра, пока верстах в тридцати от брошенной церкви их не остановили молодые парни на мотоциклах и в таких же кожаных куртках, какая была на убитом лейтенанте. Эти приказали им сложить вещи в придорожном бараке, а с рассвета, который пришел почти сразу, одним назначили рыть противотанковые рвы вправо и влево от дороги, а другим тоже рыть землю и насыпать ее в мешки. И женщины стали ковырять грязь так, будто только сюда и шли и не было никакой вчерашней бомбежки, ни колючего снега, ни тридцати верст ходу под снегом и дождем, а была одна земля, сверху липкая, а внизу точно кирпич, и они жалели, что не ухватили с собой кирок и ломов, от которых давным-давно, на пересылке, убегали, как черти от лаdana. Все было, как в позапрошлый вечер и во вчерашний день, только вот земля оказалась сверху помягче, а снизу потверже и уже не крутились рядом худой капитан и стеснительный шофер, а вместо чудного старичка в балахоне теперь всем заправлял толстый и мордастый инженер третьего ранга.

МЫТЬЕ И СТРИЖКА

— Ты что? Девка? — удивленно спросил Гаврилов. Он уже обнимал ее всю, открытую, радостную, покорную, нетерпеливую, поборовшую вдвоем с первачом его отчаяние, усталость, страх за семью и родину, и вдруг — на тебе...

— Нет... Не бойся,— соврала она и жадно прижала его к себе, притянула за плечи, а там, внутри боль ожила, но была небольшая, зато сладкая, такая живая, родная боль, что сразу сняла всю тоску, все томление, что собирались в ней почти два года. Она изнутри поборолась Саньку; Санька думала, что помрет, и с радостью готова была умереть, но вдруг не померла, а, усталая и веселая, осталась на топчане, и с ней был капитан, и она целовала его в кислые от капусты губы.

«Ох, девки, я баба уже! — радостно кричалось в Саньке, и хотелось вот так, голяком выбежать на улицу и кричать на весь свет: женщина я! Я женщина! И плевать было, если скажут: «Так он тебе не муж!» Ну и пусть. А чего с их, с мужей?! Вон маманя как со своим алкоголиком мучалась. А я баба! И мужа мне не надо. Вот какое счастье во мне. А не муж, так все равно мой. Вот захочу, обниму, прижму и не пушу от себя. А? И глядите, зырьте, завидуйте!»

— Капитан, капитан, улыбнитесь,— вдруг пропела Санька неожиданно для самой себя, и Гаврилов не узнал ее голос, такой он был другой, веселый, будто его долго долго прятали, таили, а он вырвался и хлынул, как весенняя вода с гор, и впервые за четыре почти месяца, с самого 22 июня, капитан Гаврилов тихо и счастливо засмеялся.

И гордая Санька не засыпала с ним до утра и ненасытно любила его, как взрослая баба, не тревожась и не чуя, что уже приняла в себя пацана-безотцовщину... которого призовут на действительную ровно через двадцать лет, в год, когда полетит первый космонавт Юрий Гагарин.

А километров по прямой за двенадцать, на том берегу, кутаясь в шинель, Лия ползла вдоль леса, искала лопату и винтовку.

— Санюра! — вдруг крикнула она, но при таком ветре вряд ли голос мог долететь до церкви. Надо было одной искать, и она искала и искала, но ни лопат, ни винтовок не было.

«Нужно взять пулемет,— решила Лия.— Кажется, он для двоих. Я видела его в Осоавиахите. Может быть, разберусь». Она вернулась во вторую воронку и подняла тяжелый «дегтярев», закинув за плечо противную сошку — двуногу. Так, пошатываясь, она перешла мост и, обессиленная, закричала:

— Са-ню-ра!

— Ю-у-ра! — разнеслось по берегу, и больше никто не откликнулся. Лия опустила пулемет на землю и кинулась к церкви.

— Санька! Санька! — надрывалась она.— Да не прячься, Санька! Санька, черт тебя побери! — Но Санюры нигде не было. На верстаке стояла керосиновая лампа, которую забыли погасить, но керосин, видно, в ней кончился, фитиль коптил, и свету от нее было мало.— Санька! — крикнула Лия, и только гулкие своды передразнили: — Ань-ка-а.

«А сумка где?» — вспомнила Лия и, схватив лампу, стала шарить в церкви. Сумки не было. На полу валялись только пустые мешки из-под крупы и сахарного песка.

«Я схожу с ума,— подумала Лия.— Нет, я просто так долго там копалась, что она не выдержала и ушла. Ведь звала же она меня «Лийка! Лийка!». Надо посмотреть на дороге».

Но на дороге, кроме ветра и колючего снега, никого не было. Лия возвратилась назад и, хоть мело и холод стоял отчаянный, в церковь вошла только на минуту — взять два пустых мешка — и тут же побре-

да мимо траншей, ища лопату. Лопату она нашла и спустилась с ней к мосту, подняла ручной пулемет и с мешками, лопатой и пулеметом побрела на тот берег. Глаза ее уже успели привыкнуть к темноте. Она нашла обрубленного взрывом красноармейца и стала засыпать его землей. Теперь он не внушал ей такого ужаса. Все-таки он еще недавно был живым и, наверно, добрым и отважным человеком. Он не бросил своих товарищей, и она тоже не бросит. Она засыпала его землей, думая о том, что утром, когда рассветет, она найдет и похоронит еще двух красноармейцев.

Чуть выше воронки, левой от дороги Лия разглядела начатый окоп и стала неумело его углублять, чтобы спрятаться в нем вместе с ручным пулеметом. Ведь немцы могли появиться каждую минуту. Думая об убитых красноармейцах и где-то спрятавшихся немцах, она работала без роздыху, наверно, часа два, пока крупа не растаяла и не полилась дождем. Тогда, тревожась за непонятный и, наверно, такой капризный, но необходимый ей ручной пулемет, она отбросила лопату, села на край окопа и, как ребенка, прикрыв пулемет шинелью, стала его разглядывать. Сверху был круг, она знала, что это магазин и в нем патроны и, кажется, когда патроны кончатся, магазин снимают и ставят другой. Поэтому при пулемете два красноармейца: один стреляет, а другой меняет диски. Но бывает так, что остается всего один пулеметчик и все равно как-то ухитрится вести огонь. Вот здесь, кажется, надо нажимать. Это похоже, как в обыкновенной винтовке. Но сначала надо установить эту двуногую сошку. Был такой плакат про испанскую войну. Мужчину убили, он лежит мертвым лицом к небу, а черноволосая девушка припала к пулемету. Но там, кажется, другой пулемет, с лентами, «максим».

Она стала на колени в своем окопчике, вмяла сошку в землю бруствера, прижалась к прикладу и надела на спуск. Больно и радостно толкая ее в плечо, пулемет поливал огнем мокрую ночь.

— Какое счастье! Какое счастье! — тихо улыбалась Лия. Она снова укутала пулемет и села на край окопа. Ноги, чтоб окончательно не замерзли, она укрыла мешками.

Машина шла быстро. Останавливать ее начали только возле Москвы и в самой Москве, а потом она намертво встала у госпиталя, и тут Ганя с нее соскочила и побежала с кошелкой к трамваю.

— Ты откуда такая, шахтерка? — спросила кондукторша, но Ганя только рукой махнула. Ей все еще взрывами закладывало уши, так-такало пулеметными очередями и пугало стонами раненых бойцов и женщин. «Антихрист», — вспомнила она слышанное в давней молодости или даже в детстве что-то страшное и непонятное, не иначе вроде сегодняшнего, когда сверху тарахтело и выло и ты сама билась, как куленок, пойманный для бульона.

Она ехала точно во сне, хотя остановки не проглядела и пересела, где надо, на другой трамвай, а потом шла от Ильинских тоже точно во сне, но опять же парадного не перепутала и пешком поднялась на хозяйкин этаж, отперла дверь общую, а потом ихнюю, обитую дерматином, села в комнате на натертый пол и тогда уж во всю глотку захлебнулась криком и слезами за всю свою разнесчастную жизнь.

— Ой, — голосила она, будто сама умерла и сама же над собой заходила плачем. — Ой, ой, — и все время одно «ой», потому что других слов уже не помнила. А устав кричать, заснула на натертом паркетном полу и спала в пустой квартире до утра как мертвая, а утром пришла в себя, затопила ванну и долго скребла свое уже ни на что не годное тело. Но скребла его и скребла, потому что твердо усвоила, что говорили бабы про немцев в поезде. А потом отперла гардероб, надела Ринкину рубашу и Ринкино платье — почти враз были — и села к окну подшивать старое хозяйкино демисезонное пальто. Надо было побы-

стрей управиться, чтобы успеть похлопотать о карточках и еще съездить на Икшу, может, есть письма от племяншей, и опять же надо было поехать в Кланькину больницу, узнать, жива ли. Словом, дел было много, а уши надо было держать торчком и на всякий случай ходить мытой.

— Ехать пора,— сказал Гаврилов.

За мутным серым окном лил дождь, но в комнате уже что-то можно было разобрать и он сел писать записку связистке.

— Посмотри, прогорело ли. Трубу закрыть надо,— кинул он Саньке через плечо.

Она, большая, белая, вылезла из-под шинели, босиком поплыла к голландке и стала шуровать в топке черные головешки.

— Ух ты,— он повернул голову, глядя на рослую, здоровенную деваху и не веря, что это он всю ночь вбивал в нее свои печали, тоску по жене и детям, позор отступления и вообще горечь этих четырех страшных месяцев, такая она была ладная, все равно как нарисованная или слепленная, но не из глины, а из чего-то живого, мягкого и гладкого. Она обвила его сзади руками, он ткнулся ей затылком в крепкую грудь, но писать записки не бросил и только вслух сказал: — Одевайся. А то немцы голой увидят.

Она разняла руки, а он достал из кармана сложенной на столе гимнастерки две красные тридцатки и булавкой подколол их к записке, потом вздохнул и подколол еще червонец.

— Быстро, быстро! — повторил, но еще раз обнял Саньку, хотя уже небрежно, без той, ночной ласки, и она почуяла, что радость выходит из ее большого молодого тела, как все равно воздух из проколотой волейбольной камеры. И тогда назло себе и ему, потому что стало обидно и тоскливо, она завывала в голос:

— Лийку забыли!

— Кого? — не сразу понял он, спешно, как по тревоге, накручивая на ноги теплые портянки и надевая сапоги.

— Лийку! Подругу... Вот кого! — кричала Санька. — Обманул меня, обманул. Лийку бросил.

— Ох, черт! — вздохнул он. — Да одевайся ты скорей. Чего ты мелешь?..

Но Санька, завернувшись в его шинель, навзрыд голосила:

— Лийка! Лийка! Одна осталась! А ты меня увез. А нельзя ей в плен... Она еврейка...

— Да брось ты,— он растерянно потрепал ее по щеке. — Давай одевайся. Ну, съездим, поглядим, где она. Чего уж там... Снова — семь бед, одна холера.

— Ой, да ты жаркий весь! — вскрикнула Санька, снова припав к нему.

«Простудился,— подумал Гаврилов. — Так и есть...»

— Одевайся, одевайся,— повторил устало. Теперь его всего ломало. «Спасибо за мотоцикл, кожаный», — зачем-то вспомнил он.

— Я в момент! — крикнула Санька и бросилась к печке, где сушилась вся ее одежда, а он вытолкнул из избы мотоцикл, прогрел мотор, подождал Саньку, навесил замок и сунул ключ назад под перильце. Улицу от долгого дождя всю развезло, колеса сперва буксовали, но он, вырулив, выскочил из этой богом и чертом забытой деревни за бугор, где их снова трянуло, и поехал через поле на второй скорости, то и дело застревая в разбухшей колее. — Успеем?! Успеем?! — задыхалась за спиной Санька, теперь уже как своего обнимаемая капитана, а он покорно сжимал мотоцикл, который плохо слушался ослабших, трясущихся, словно не своих рук.

Но километра за полтора до переезда, где колея, петляя, лезла последний раз вверх, они увидели, как по асфальтовой дороге гусь-

ком, издали похожие на утят, тянулись в сторону Москвы танки. Первые два уже миновали переезд.

— Все. Вопросов не имеется,— выдохнул Гаврилов и развернул мотоцикл.

— А как же Лийка? Как Лийка? — скулила за его спиной Санька.— Ей же в плен нельзя.

— Рыжая она, и документ у тебя... может, не сообразят,— брякнул Гаврилов, как и Санька, забывая, что рыжая Лия осталась за церковью не для того, чтобы сдаваться в плен.

Но они знать не знали, что, вымерзнув и вымокнув, Лия только что увидела немецкого танкиста — он по грудь стоял в башне головной машины, — но выстрелить не смогла, потому что заело пулемет. Лия колотила кулаком по диску, а танкист захлопнул люк, танк сполз с дороги и растер правой гусеницей рыжую Лиину голову по диску ручного пулемета. Это у него отняло не больше минуты, но другие танки успели проехать мост (словно знали, что его не заминировали) и теперь первая машина шла по шоссе последней.

Раненых подвезли к госпиталю (бывшей школе), который водителю указали на КПП. Тетка Ганя куда-то испарилась, а Гошка, хоть весь закоченел, не снимая с шеи автомата, стал вместе с госпитальными санитарками таскать носилки. Потом их с водителем напоили горячим какао и они поехали на улицу Горького в Моссовет. Там в бюро пропусков водитель долго дозванивался по телефону, а Гошка сидел рядом, но, когда водителя наконец пустили наверх, какой-то сержант с петлицами внутренних войск ввалился в помещение и, ни слова не говоря, отобрал у Гошки автомат.

Гошка рыдал, как маленький, пока через час не пришел водитель и, усадив его в ледяную кабину, по дороге в гараж закинул домой. Дома тетка ахала до утра над Гошкой, а утром потащила его на Казанский вокзал, где полным ходом шла эвакуация.

Почти до вечера, выбиваясь из сил, Санька и капитан крутились по раскисшим полям, не решаясь свернуть на шоссе, пока, озверев и изматерив мотоцикл и друг друга, выбрались наконец на шоссе, а оно было перегорожено противотанковым рвом и мешками, набитыми под завязку землей и глиной.

— Вот тебе «девочки и дамочки», вот тебе «не ройте ямочки»! — на минуту перебарывая жар, обрадованно сказал Гаврилов.

— Что? — не поняла Санька.

— Да так, частушка одна, — шепнул он, а она не расслышала.

Кожаный на мотоцикле, лицом постарше убитого, проверил документы и пропустил их, но тут из-за мешков кинулись к ним несколько женщин, и впереди Марья Ивановна, старшая.

— Вон вы где?!

Санька спрыгнула с багажника и бросилась ее обнимать так, словно были родными сестрами, а Гаврилов поехал дальше, но тут же притормозил и подождал, подбежит ли Санька попрощаться. Но Санька, несчастная и пришибленная, стояла среди женщин и не могла двинуться с места.

— Рыжая где? — спросила ее старшая, но Санька не ответила и уже хотела кинуться к мотоциклу, но капитан, видно, устал ждать и поехал в Москву. Он снова вспомнил, что не простился с детьми, с Симой, и от злобы выжал педаль до отказа. Мотоцикл взбрыкнул, как необъезженная лошадь, и помчался по шоссе. Жар ломал Гаврилова и грызла обида оттого, что не он командует тут. Без него полным ходом идет работа, канавы роют, мешки, как на Малаховом кургане, набивают землей. А он, сердобольный армейский капитан, гонял ради

пшенной каши «газик» за сто верст с гаком, и вот что оно получилось.

Понимая, что хуже уже не простудишься, он ехал быстро, а на встречу вместе со старой песней «От голубых уральских вод» шла рота курсантов. Гаврилов притормозил на обочине, глядел на них. Они шли в чистых шинелях, не обросшие, молодые, но какие-то чересчур тощие, будто заморенные, и он тут же представил, что будет с ними завтра.

«Да что я — собес, что ли! — оборвал себя. — Жалость, жалость! А что жалостью можно? Тут сила на силу. У той силы жалости нету, и у этой быть не должно. Я вон мертвого пожалел, кожана не снял; а тут живых не больно жалеют», — вспомнил он своих женщин, которые сейчас долбили землю.

«Да, для Москвы стараемся! А для меня, между прочим, Слуцк, как Москва, был. Да и другому свое родное село или город, как Москва!.. И только под самой Москвой вспомнили, что отступать некуда... Эх, гром не грянет, мужик не перекрестится, — злобно подумал он, перескакивая в жару с одной мысли на другую. — Так то мужик... А ты ведь не мужик, да и не русский вовсе! Все трубку курил, а чтобы тебе раньше почесаться! — обратился он опять на «ты» к человеку, с которым спорил позапрошлой ночью. — Эх, Гаврилов, ты уже спеся. Можно сказать, готов!..»

И оттого, что тревога за Москву спала, стала еще сильнее болеть душа за семью, Симу и детей, которым он ничем помочь не может.

У заставы у него опять спросили документы. Он вытащил их вместе с накладной и вспомнил, как отоваривался пшеном, разгонял грабителей.

— Эй, младшй, — спросил возвращавшего ему бумагу дежурного, — что позавчера за важное сообщение передать грозилась?

— Какое? — недоуменно поглядел на него младший лейтенант.

— Ну, такое... С утра обещались, а потом вроде отложили...

— А! Мура... — засмеялся дежурный. — Про то, как теперь работают эти самые, ну, бани-парикмахерские, в общем, мыться-стричься, — и он провел ладонью по своим молодым красным щекам, как бы приглашая небритого капитана потрогать свои.

— В госпитале побреют, а то и обмоют. — Гаврилов махнул рукой и поехал дальше. Он почувствовал, что температура в нем уже перевалила за сорок.

Абдулла Арипов

П у т ь



С узбекского.

Перевод

И. Бальского

Как пишет в сводках Гидромет,
местами камнепад.
Булыги праведных обид
несутся невпопад.
Вот камень подлости — крылат,
совсем как серафим.
И камень лести свой маршрут
осуществляет с ним.
И зависти — из темноты,
прицельнейший, а вот
взмывают камни клеветы
в свой групповой полет.
О нескончаемый поток
свистящих каменюг,
грозящих гибелью, и так —
берущих на испуг.
Ты ненавистен им как вид, —
других забот им нет.
Их траектории блестят
вперед на много лет.
По баллистической кривой
и напрямик, в упор.
Из-под нахмуренных бровей,
из потаенных нор.
Камень псевдоаксиом,
предательств и геройств.
Разнообразнейших систем,
конструкций и устройств.
Со встроенными ЭВМ
и пушечным ядром.
В них шепот безутешных драм
и реактивный гром.
...Но в этом лучшем из миров
среди других камней
тебе — с ребяческих забав
и до последних дней —
определен особый, свой,
единственный как суть.
Он не свистит над головой
и в мир не застит путь.
Он никогда не причинит
телесного вреда,
И мудрости твоей гранит
не сгинет никогда.

И чаш терпенья твоего
заласканный фарфор
не повредит и никого
с тобой не втянет в спор.
Но в час, когда и небосвод
пречист, и горизонт,
и ПВО баклуши бьет,
и отдыхает зонт,
ворвется в утренние сны
и круг дневных забот
тот Камень Собственной Вины —
и кто тебя спасет?
Теперь уж не поправить, брат,
гляди, брат, веселей.
Но тот, окаменевший взгляд
возлюбленной твоей...
Теперь уж нечего пенять
и поздно вспоминать.
Но то, что должен был сказать
и не сумел сказать...
И то, что позабыл, сказав
однажды не тая —
твой камень. Ты его Сизиф.
Твоя вина. Твоя.
...Ты забредешь на Чигатай¹,
застынешь над плитой —
под глыбою вины твоей
лежит Учитель твой.
Он зла не помнит, все простив,
да речь и не о зле.
Приветствуешь гробовщиков,
а он — лежит в земле.
...Заброшенные пацаны
с тоской глядят в ручей,
в ручонках камешки вины —
чужой, но и твоей.
Минздрав, так тот предупреждал,
местком — предоставлял.
А сам-то, брат, чего ты ждал
и почему молчал?

¹ Ташкентский аналог Новодевичьего кладбища, где похоронен выдающийся узбекский советский писатель Абдулла Каххар, в последние годы своей жизни подвергшийся изощренным нападка руководства.

Слова каких контрпропаганд
прикроют стыд стыда?
Пусть ограничен континент,
но горе — никогда.
Твой камень — и везут ребят
в далекие края.
Чужих — и гор теперь уж нет.
Твоя война. Твоя.
...О каменная из планет,
где каждый виноват —
и любознательный эстет,
и доблестный солдат.
О сколько сотен тысяч лет
наш человеческий род,
оправдываясь наугад,
все искупленья ждет.
Но что Христос и Магомет
поправить здесь могли,
когда и камни вопиют
в любом краю земли.
Когда и у небес вовек
не выпросить ответ.
И там — не Господа ковчег,
а неземная твердь.
Лукав Творец и терпелив,
слезам не внемлет он
с невидимых уже веков
до видеовремен.
Отчаивается Машраб,
кручинится Гулям...
Аллаху что морщинить лоб?
Рассчитываться нам.
За кровь и за бесстрастный взгляд
на пролитую кровь,
и за глагол, который бьет
не в глаз, а только в бровь.
За этот разговорный жанр —
про все и ни про что,
за полное небесных манн
смешное решето.
...Воистину наш новый мир,
как и поется, нов.

Но сколько вынужденных мер
и выморочных слов.
И наш благословенный край
в благословенный век —
не рай, иначе бы о чем
печалился Айбек.
Не рай, иначе бы зачем
могилу Кадыри
искал по свету Атабек¹
до нынешней поры.
Да, человеку человек
не волк, но если — друг,
откуда же упреков рык
разносится вокруг?
Сыпуха, скалы, валуны,
оскал бетонных стен.
Идешь под бременем вины
сквозь каменный свой плен.
И хлещет по глазам песок,
и времени — впритык.
А ты идешь за шагом шаг
вине равновелик.
Древнее лука и пращи,
крылатее ракет
твое великое «прости...»,
его высокий свет.
Как ни старается закат,
но следом — звездный час
И бесконечен небосвод,
как в самый первый раз.
От Млечного его моста
до самых черных дыр
не красота, а доброта
спасает этот мир.
Любой беде наперекор
спасает этот сад.
За шагом шаг.
За шагом шаг.
И нет пути назад.

¹ Герой романа Абдуллы Кадыри, узбекского писателя, репрессированного в период сталинизма.

Анатолий Кудравец

Пахахутікі

РАССКАЗ



С белорусского.

Перевод

И. Киреенко

Река. Мутная, желтая вода. Буйным потоком катится она и уносит всё, что ни попадет в нее. Напор воды такой, что лишь благодаря отчаянным усилиям и держится Рыгор наверху. Он знает: стоит поддаться, перестать бороться за себя — и все, конец.

Плывет матрац с ржавыми пружинами, плывут какие-то доски, березовые кругляши, мотовило с шерстяной пряжей. Все вроде его и в то же время не его. Из этих ниток Надя связала ему теплые рукавицы. Принялась за носки — один готов, начала другой... Как же она закончит теперь, когда пряжу водой смыло...

Внезапно рядом вынырнула рамка с их семейной фотографией: Надя, он и Жоржа на руках. Стекло веером рассекли трещины, будто кто тюкнул камешком. Рыгор попытался было схватить рамку, но вода крутанула и поглотила ее. Выбросила снова наверх уже впереди. Он все-таки дотянулся до нее и тут увидел: и самого его несет на бетонную плотину — серую массивную стену, глухим монолитом перегородившую реку. Даже сквозь мутную воду видны были неровности — от грубой опалубки. Поток тяжело напирал на плотину, перекатывался через край, с пенным гулом срываясь вниз.

Надо было спастись, но как? Рыгор не успел ничего придумать, его со страшной силой швырнуло на серый зубчатый бетон. От удара хрястнула грудь, нижняя челюсть выщелкнулась из рта. Он хотел кинуться за ней — вода прижала к бетону, хотел закричать — пропал голос. Хватал ртом воздух и с отчаянием смотрел вслед клочущему потоку.

Мелькнула мысль: «Как же я теперь... без зубов?»

Но это уже было на грани сна и яви...

Некоторое время Рыгор сидел с закрытыми глазами, возвращался на землю. Приходя в сознание, видел себя со стороны и, словно чужой, отстраненно думал: опять какая-то каша, неразбериха...

Вытянутый вдоль огромного девятиэтажного дома двор, лавка на литых чугунных ножках, на ней человек с газетой в руках. Лавку, по всему, позаимствовали в парке, когда здесь ничего еще не было, да так она и осталась. Хорошо, что со спинкой, можно откинуться на нее. На веревках ветер полощет белье. Где-то в квартире плачет ребенок, не больше годика. За домами, не переставая, режут машины. Там улица, бойкая дорога, там своя жизнь.

Рыгор здесь не первый раз. И не только потому, что в его дворе нет лавочки со спинкой. Хотя ее и вправду нет. Было бы все по-доброму, он и сам мог бы что-то придумать, не маленький. Да здесь и потише, и никто не беспокоит, и есть за что зацепиться глазу. В прогале меж домами — простор с лугом, водой, ельником за нею и над всем этим небо. Там, около леса, в Зеленовке, когда-то он жил.

Село, вытянувшееся в одну улицу, подковой огибало понизу взгорок, огороды сползали на луг, к ручью. К хатам жались хлеба и хлевушки, за ними возвышались яблони и груши, сливы да вишни. Многие обзавелись парниками. Словом, все как обычно по соседству с большим городом.

Город жил своей суматошной жизнью, и казалось, что все это где-то далеко и что так будет вечно: город сам по себе, они сами по себе. И лишь когда пятиэтажные, а затем и девятиэтажные дома стали расти по ту сторону ручья, все поняли: город добрался и до них.

Анатолий Кудравец. Пахахутікі (белорус.).

По хатам пошли переписчики: кто хозяин, кто квартирант, прописан — не прописан... На одной хате появилось объявление: «Продается на снос». Затем на другой, на третьей...

Нет более грустного зрелища, чем покинутое впопыхах подворье, разоренная усадьба. Поломанные заборы, гнилые подрубы, выщербленные чугуны и крынки, детские игрушки, сорванные обои... И много всякой всячины, которая говорит о человеке больше, чем он сам мог бы рассказать о себе. Ведь собирал все, как сорока в гнездо, и вот повыкидывал и сбежал, не хотелось даже землю после себя привести в порядок.

Ближе к шоссе еще стояли хаты, а на другом конце села уже крушили все подряд бульдозеры, ровняя с землей погребя и печища, выворачивая деревья. Потом пошли самосвалы.

Не успел Рыгор привыкнуть к мысли, что пробил час и ему срываться с места, как увидел — от всего села осталась одна его хата. И вдоль нее, прямо по улице пролегла насыпь.

Дорогу поднимали высоко, чтобы на одном уровне вывести на Лагойский тракт. Насыпь достигла фронтона. Окна, когда-то смотревшие на соседский двор, теперь незряче вперились в крутой откос из песка, глины и камня. Пошли дожди — и ржавая жижа потекла во двор, грозя затопить все, если хозяин не будет шевелиться. А наверху свежевинутую землю укатывали машины, многотонные катки разглаживали дымящийся асфальт.

Рыгор не задавался целью остановить этот машинный разгул, но лишь бы куда переехать отказывался. И каждый день кто-нибудь из зеленковцев заворачивал к его одинокой хате. Сперва навещался на свое опустевшее дворище, скорбел, надрывая душу по тому, что осталось от нажитого, а потом шел к Рыгору. Эти посещения растрavляли сердце, прямо хоть скажи, чтоб не приходили.

Так однажды спустился к нему Микола Вертолет, увязая солдатскими сапогами в пльвучем песке. Молча пожали руки, молча присели на лавочку под сливой, закурили.

— Съезжай ты отсюда к чертовой матери. А то и мне мутрно, что ты тут сидишь. Как лишний у бога, — сказал Микола. Сказал с сочувствием. И продолжал: — Ну вот, и провода уже пообрезали. На керосин посадили, как после войны. Хорошо еще, колонка во дворе да дров хватает.

Они и не дружили никогда, и не ссорились, так, люди одного села. Да и жили в разных концах. Но это участие тронуло Рыгора. Будто по-новому увидел человека.

— Да съеду уже, куда денешься. Только бы толковое что дали, — ответил Рыгор.

Вертолет засиживаться не стал. Докурил папироску и ушел. А Рыгор еще долго сидел на лавочке. Думал, что Микола этот серьезный мужик, хоть и пристало к нему забавное прозвище — Вертолет. Не такой уж и Вертолет, коли чужую болячку в душе носит.

Однако не скоро еще переехал Рыгор. Из того, что предлагали, ничто не грело душу. То маленькие, как конура, комнатухи, то далеко, аж на другом конце города, и голо кругом — ни деревца, ни кустика, одни холодные коробки.

Жил, как в осаде, и того хуже. Над хатой нависла дорога, заслоня белый свет, кругом ревели моторы. Разве только на его дворе не было машин, но они заполонили все вокруг. Будто ожидали команды наброситься на него. Искрошнить, сровнять с землей, чтоб и следа не осталось.

Но чем настойчивее подгоняли, тем большее упрямство вскипало в нем. Обложили, как медведя в берлоге. А разве он виноват в чем перед людьми? Хотелось назло всем остаться здесь навсегда. Мой двор, моя хата — и пошли вы все!.. Знал, что этого не будет, но мыслишки такие накатывали.

Нашлась-таки квартира неподалеку, в Зеленом Лугу. Четыре комнаты, лоджия, широкие окна. Два смотрят на ельник, на его Зеленку. Кое-где яблонька, груша или вишня, кое-где липа — вот и все, что осталось от нее. И все-таки что-то свое, болевшее, как отрубленный палец.

Больше всех квартира понравилась Лене, невестке. Она и поделила: «Тут будет зала, тут вы, тут дети...» Пускай себе и дети, хотя был пока один Игорь. Жоржа согласнo кивал головой, улыбался. Да что Жоржа — он всегда шел на поводу у кого-то; с прямым — прямой, а с кривым — выручай, батька. Это чтоб мужик не имел ничего своего!.. И тут перепоручил все Лене.

Лена... Разве только бантиков в косичках и не хватало, а так — школьница, может, даже не десятиклассница еще, хотя и училась в техникуме. Там ее Жоржа и нашел, такой и привел в хату.

Свадьбу играли всем селом. С Лениной стороны была только мать. Да и та приехала перед самым началом. Намазанная, в завитушках... то ли дочку замуж отдает, то ли сама намылилась. Людям всего не объяснишь, а от себя не скроешь. Я, говорит, и не собиралась справлять свадьбу. Сошлись — и пусть живут. Но раз надумали со свадьбой, можно и так. Главное, любовь. Где любовь, там и счастье.

Любовь — это хорошо, только почему дочка выросла без батьки? Что ты одна ей дашь? Чему научишь?..

Лена сразу почувствовала себя своей в хате, будто век тут прожила. «Таточка, мамочка...» Он не настаивал, чтоб она их так называла. Чужое не родное, зачем ломать душу. Сама так захотела, и не заметно было, что ей это в тягость. Наде такое обращение пришлось по сердцу. Бабы натура. Как смола: пригрел — и размякла, прилепилась — не оторвешь...

Надя переезжала спокойно. «Все равно куда-то надо переселиться. А тут хорошо: и тихо, и от старой хаты близко, и дорога такая же грязная».

Нашла чему радоваться. Сегодня грязная, а завтра асфальтом ляжет, дымом закурится. Подумай лучше, как с невесткой уживешься. Какой-то червячок точил Рыгора.

— А что нам уживаться? У них своя семья, у нас своя.

— Своя-то, своя. А видишь, как хлопца к рукам прибрала, будто и не наш.

— Как-нибудь помиримся.

И мирились поначалу. Еще бы! Дома мать — на ней и еда, и порядок. И ребенок как за каменной стеной. Они оба встали и на работу, а ты, бабулька, крутись. Вернется невесточка: «Мамочка, мамочка...» А мамочка намеется за день, еле ноги волочит. Но помалкивает. Слово доброе услышит, и то радость. Да и от кого его дождешься? Сын все молчком, все ближе к чарке. Для самого же Рыгора главное — служба, работа, а остальное... Остальное потом.

Не надолго хватило старухи. Внучек рос разбитной. Не посидит, не послушает. Ты ему одно, он — другое, и все норовит наоборот. На что показал рукой — давай. А родители потакают. «Дите само знает, что ему надо».

Не больно-то знает, учить надо. Попробовали учить — и баба, и сам он. По хвосту раз, другой. И сразу скандал, врагами стали. «Непедагогично». Это Лена. Непедагогично... А что он кусок изо рта вырывает — педагогично?.. Да что говорить. И все, и «мамочки» не стало. Как отрезало. «Не ваше дело», — так и заявила.

Не наше, так не наше. Рыгор принял это спокойно, а Надя заупрямилась. Говорившая была баба, открытая, а тут словно воды в рот набрала. Ходит, все делает — и молчит. Тогда, наверно, хвороба и прицепилась к ней. Дерево гниет изнутри — это всем известно. Знать бы и тут, когда оно началось...

Переломилось все очень быстро, не поверил бы, если б кто пожаловался на такое. Было одно — стало другое.

А все же идет весна, что б там ни говорили. На солнце можно и погреться в затишке. Закрывать глаза, подставить лицо лучам и слушать, как что-то теплое наполняет тебя. Словно горячая вода батарей.

Вроде бы и дремал Рыгор, а уловил ухом далекий и такой знакомый рокот. Тихий и неназойливый, точно мурлыканье сонного кота. Шел этот звук с неба.

Рыгор весь напряжился, как от внутреннего толчка, но глаз не открывал.

Будто ожило, припомнилось давнее. Сорок третий год. Лес на Могилевщине, под Тереболом. Он лежит раненый на телеге. Неподалеку стоят еще несколько подвода, на них тоже искалеченные партизаны. Ждут самолета «оттуда», из темноты, за которой где-то далеко линия фронта. Прилетит или не прилетит — от этого зависит их жизнь. Их, а быть может, и всего отряда. Самолет должен забрать раненых и освободить руки отряду, ему еще предстоит идти на прорыв. И первым сигналом, что надежда становится реальностью, был рокот мотора.

Этот рокот партизаны хорошо знали. Не часто слышали его, но ждали. И во время блокады, и в тихие дни. Ну что тот самолетик! Сбросит несколько мешков газет, меди-

камешки, десятка два автоматов, ящики с патронами, гранатами... Но нет... Самолет! Он «оттуда», и «там» помнят о них.

У Рыгора сквозная рана правой ноги. Пуля наискось прошла ниже колена, разворотила икру и отщепила кусок кости. Оказывается, можно расщепить не только дерево. Осколок кости удалили, рану промыли, перевязали, и теперь только самолет поможет залечить ногу. Либо самолет, либо ничто.

Глухая черная ночь. Над Рыгором, тяжело опустив лапы, нависает старая ель. Он чувствует эту расслабленную тяжесть, будто она уже навалилась на него.

Он бредит — то проваливается в забытие, то приходит в себя — и тогда такая ясная, чистая голова. Так отчетливо видится все, что было когда-то с ним. То школа, и он должен отвечать урок, а урок не выучен; то речка — и они, пастушки, купают лошадей; то ночное — и ему зябко на похолодевшей под утро земле. А чаще всего вспоминается соседка Рая, ее лицо, ее смех, выгоревшее ситцевое платье, в котором она была, когда они вдвоем через дырку в щипце выбрасывали из гумна снопы. Там, внизу, нутужно ревела, давась ими, молотилка. Кажется, и теперь от ее рева трещит, разламывается голова...

Рыгор знает: спасти его и раненых товарищей может только самолет. Если самолета не будет, то им не жить. Он не боится того, что ждет их, хотя помирать и не хочется. Для себя он уже все решил. В торбочке под головой вместе с самым необходимым — ТТ, две обоймы, две гранаты... Они отпустят отряд, а сами займут круговую оборону... Назад в землянку не полезут, останутся здесь, наверху, под елями...

И в эту минуту Рыгор уловил рокот мотора. Тихий, приглушенный, будто самолет не хотел, чтобы его слышали. Или хотел, чтоб слышали только те, кто ожидал.

Да, это был самолет, и летел он за ними...

И вот теперь, столько лет спустя, в самый разгар еще не весеннего, но теплого дня Рыгор слышал рокот того самолета. Мотор пофыркал и затих, и Рыгор подумал, что ему это почудилось, приснилось, как снилось уже не раз... Но нет. Рокот послышался снова, теперь ближе, настоячивее.

Рыгор разомкнул веки и вправду увидел самолет. Не из тех тяжелых громадин, от которых стонет земля, а маленький «кукурузник» — стрекоза с двойным крылом.

Самолетик прошел над горизонтом, повернул назад и подобно сверлу круг за кругом начал ввинчиваться в небо, то скрываясь за домами, то выныривая из-за них. Он взбирался все выше и выше, и уже на виду был весь его маршрут. Вот он вышел на горизонтальную прямую и внезапно затих, будто выключился. От него отделились две черные точки и полетели вниз. Самолетик сделал новый вираж, снова вышел на прямую. И снова от него отделились две точки. Пока он делал новый заход, точки повисли на распахнувшихся парашютах. И сразу стало видно, что под ними люди, что они боатают ногами, борясь с высотой и ветром.

Самолетик кружил в небе, над бывшей его Зеленовкой, и казалось, парашютисты приземлятся по эту сторону ельника, где прежде были сады и огороды. Но Рыгор знал, что это не так. Небо и высота скрадывают расстояние, парашютисты опустятся за лесом, за кольцевой дорогой. Где-то там и стоял, дожидаясь своего часа, этот самолетик, там было чистое поле для тренировок парашютистов.

Выбросив еще две черные точки, самолет круто развернулся и пропал, словно нырнул за лес. Он сделал это так резко, что сердце Рыгора дрогнуло в тревоге. Сколько раз он видел, как вот такие самолетик вьспыхивали в небе и с дымным шлейфом неслись к земле, чтобы взметнуться вверх прощальным веером огня и осколков. Правда, это было в войну...

А парашютисты медленно плыли вниз. Повиснув на туго натянутых стропах, они напоминали пушинки одуванчика и выглядели такими же легкими. Они словно и не спешили опускаться на землю. Затеяли какую-то игру: то один выходил вперед, то другой, и, когда один устремался вниз, другой, наоборот, взмывал вверх. Странно, как им это удавалось. Игра игрой, но земля тянула к себе, парашютики приближались к верхней кромке леса, и потом словно по команде все скрылись за ней.

Небо опустело, а Рыгору хотелось, чтобы там еще кто-то оставался. И парил подобно коршуну или иной вольной птице.

За этими своими мыслями он не заметил, как холод добрался до костей. Рыгор зябко передернул плечами и тут увидел сына. Он держал за руку Анютку — видно, только что забрал из садика. Лицо мрачное, будто человек зол на весь белый свет.

У Анютки в свободной руке было ведерко с лопаткой. Увидела деда, обрадовалась.

— Дедула?! — бросила ведерко, уткнулась лицом в дедовы колени.

— Ага, я, внучка. — Рыгор подхватил ее легкое тельце, подкинул на руках.

— Ну ты, батька, и замаскировался... Если б специально искал, не нашел бы, — хрипловато проговорил сын, глядя поверх Рыгоровой головы во двор. Там, за углом дома продовольственный магазин с винно-водочным отделом, и оттуда доносились голоса.

— А зачем искать? Нужен батька, так скажи.

— Конечно, нужен... Пусть малая побудет с тобой, а я проскочу в магазин. Может, возьму что.

— Ты и малую уже водишь туда?

— Водишь... А куда ее денешь?

— Нехай побудет. Только чтоб Лена языком не трепала. Опять скажет: при-
важиваю к себе...

— Не скажет... Поехала на выходные в Вильнюс. — Сын произнес это, глядя куда-то в сторону, будто избегая взгляда отца. И так теперь всякий раз. Чего ты прячешь их, глаза свои? Или стыд еще не весь вышел?

— Что ей делать там, в Вильнюсе?

— Захотелось съездить — пускай едет.

— А Игорь где?

— Тоже смотался куда-то, может, на каратэ. У него свои интересы, свои программы.

— С его интересами лучше бы школу как-нибудь окончить. Ведь только восьмой класс.

— Для нас восьмой, а для них это целая академия, — хмыкнул сын.

— То-то что академия... Принесут повестку в суд — будешь знать...

— Может, не принесут... — Жоржа направил стопы через двор. Анютка посмотрела ему вслед и принялась тормошить деда:

— Дедула, паси песочак копать...

— Какой песочек, холодно еще, внучка, сыро.

— Дедула, Анютка пойдут песочак копать, — тянула внучка, и Рыгор хотел уже было пойти искать тот песочек, как снова сверху послышался знакомый рокот.

— Погодь, Анютка. Глянь-ка, во-о-он самолетик. Сейчас начнет сбрасывать парашютики. Такие маленькие парашютики... — Он взял малышку на руки, повернул лицом на звук мотора.

Анютка долго не могла поймать глазами маленький самолетик, взгляд невольно сползал на землю. Наконец, когда кукурузник вышел на прямую и от него отделились две точки, она заметила и парашютистов, и этот самолетик.

— Хамалетки, папахутики... Папахутики, хамалетки, — повторила с ликованием, показывая в небо.

И Рыгор снова загляделся на рискованную игру парашютистов, радуясь бесстрашию, с каким они бросались вниз, будто в омут головой, и тревожась — хоть бы все у них было ладно. К нему словно бы вернулось давнее, забытое чувство тревоги и нетерпения. Нечто подобное находило на него в партизанах перед самым началом боя, в ожидании первого выстрела. Такое нетерпение, что, кажется, нет больше сил ждать сигнала, вот сейчас, незамедлительно, сейчас...

Очнулся: Анютка тянет его за рукав: «Дедула, паси, паси...»

Пошли, дорогая, пошли.

Человек жив ожиданием лучшего. А если еще что-то забрезжит впереди, то и вовсе расцвет. Так было и с Надей. Педагогика — штука добрая, пока ребенок здоров. А как пойдут хвори одна за другой, тут уж некогда рассусоливать, дитя спасать надо. И работу тоже не оставишь. Застудили мальчонке уши — к кому кинуться? К ней, к бабуле. Опять — «Мамочка, мамочка...». Знала, как подъехать. И растаяла бабуля. Как же — снова сблизилась с внуком. Женская душа всегда подле деток пасется и по деткам сохнет. Хотя у нее самой хватало болячек и все силы уходили на войну с ними, но что ее болячки, когда дитя хворает. Бегаешь, квохчет вокруг него: примочки, прогревания, ванночки... Чтоб бабуля да не выходила, не поставила на ноги! Выхаживала и раз, и два, и... А там и благодарности дождалась.

Рыгор тогда нанялся вахтером в институт. Должность под стать пенсионеру — дежурить у входа. С обеда до полуночи. Домой возвращался за полночь, но Надя всегда ждала его. А тот раз он нашел ее в постели.

— Что-то меня знобит, видно, простудилась,— пожаловалась она и заплакала. Подумалось: слезы от болезни, от переживаний.

И только неделю спустя, когда ему понадобились деньги на плащ и когда он полез в ящик, где они лежали, и не нашел их, Надя поведала все.

— Когда-нибудь он зарежет нас... Такие страшные белые глаза и пена на губах, и в руках нож... Никогда не видела таким... «Давай деньги!» И я отдала ему все: на, сынок, разве можно доводить себя до такого... Ну, надо тебе двести — на двести, надо больше — приди, скажи, разве ж мы враги тебе, и батька, и я. Что есть, все отдадим.

— И Лена была дома?

— Варил что-то на кухне. Может, и натравила его...

Рыгор выждал, когда Жоржа вернулся домой трезвый, спросил: что ж это такое?...

Сидели на кухне.

Жоржа долго молчал, понурившись, потом буркнул, что больше этого не допустит. Был пьян, и позарез нужны были деньги. Деньги деньгами, но бросаться с ножом... На мать?..

После тех треволнений Надя протянула недолго. Плакал на кладбище Жоржа, плакала Лена. Жоржа набрался, не дождавшись поминок, и тут уж плакала водка. А Лена даже голос подала: «Мамочка, на кого ты нас покинула?..»

«Мамочка...» Послушать, так и жалеет, и больно ей...

И как никогда стало ясно Рыгору: жить ему теперь будет много хуже, чем прежде. Баба без мужика сирота, а мужик без бабы — сирота вдвойне.

Не стало в доме хозяйки. Лена не хозяйка. В кино смотреть или еще куда она может. В турпоход, на экскурсию в Таллинн или Ригу — это по ней. А вы тут разбирайтесь, как хотите.

Начала самогонку гнать... Ну, первый раз ладно — «юбилей» справляла. По нынешней дороговизне да очередям, где ты горелки напасешься. Хотя и юбилей смешной — тридцать пять. Ну, справилась... Так нет, опять... А Жоржа рад. Не надо далеко искать: заглянул в шкафчик — там всегда что-то стоит.

На том юбилее Рыгор и увидел милиционерского лейтенанта. Милиционер как милиционер. Какая разница, что на погонах у человека. Веселый, живой и в застолье, и в танцах, поначалу он понравился Рыгору. Собрались молодые, человек десять, только один Рыгор был из старших. Смех, шум, галдеж. А ему что, посидел немного и пошел в свой закуток. И Жоржа осоловел. До танцев еще держался, а пошли танцевать — завалился дрыхнуть.

Где-то после полуночи Рыгор вышел воды попить, включил свет на кухне, а оттуда они вдвоем — Лена с лейтенантом.

— Я ж тебе говорила: в темноте не найдешь.

— Теперь не нашел, в другой раз найду,— усмехнулся лейтенант.

У нее в руках бутылка с настойкой. Разминутись с Рыгором, пошли в залу.

Рыгор вернулся к себе и долго не мог уснуть. С чего это вдруг? Сдурил или только начал дуреть... Ну, вдвоем. Ну, в темноте, так и что...

Несколько дней спустя видит — снова на кухне бидон с брагой. Эге, дорогая, понравилось... Вернулась Лена вечером, он и подошел.

— Ты что ж это, девочка, под суд нас хочешь подвести, под милицию? Я на своем дворе, можно сказать, в лесу жил и таким промыслом не баловался, а тут, в квартире... Выслушала спокойно.

— Ежели вам этот дух не по носу, заберу бидон с кухни. Заберу, только и чистого духа не дам понюхать. Ни грамма! А милиции не надо бояться. Там тоже люди.

На том и разошлись. Бидон перекочевал в спальню, а вечером за столом Жоржа спросил:

— Тебе, батька, уже тесно стало на одной кухне?

— По тесноте, так, может, и не тесно, а вони этой в доме слышать не хотел бы.

— Вонь... Ишь какой чистюля стал... Ну-ну...

— Какой был, таким и остался. А о том, сынок, что бидон этот тебе, может, больше, чем кому другому не нужен, ты думал?

— Сам знаю, о чем думать. Не маленький.

— Так хорошенько подумай. А то, бывает, поздно разум к человеку приходит... Поговорили, называется, отец с сыном. И не поделишься ни с кем.

Весна брала свое. Истаял последний горбик снега под ракиновым кустом, и дворник сгреб мусор в кучу, дав волю земле. В ветвях возбужденно прихорашивались воробьи, настраиваясь на новое гнездование. Посветлела кора тополя, его крону усыпали клейкие листочки.

На лавке можно было сидеть уже в одном свитере и точно добрую весть ждать двукрылого посланца. Встреча с ним для Рыгора стала вроде как обязательной, и он переживал, если тот долго не появлялся. Так когда-то он переживал, если неожиданный дождь не давал стрести высохшее сено.

Для своей игры парашютисты обычно выбирали безветренный день. Внизу тянулась строгая стена леса, а над ней, как охватить глазом, простиралось бездонное небо.

И вот оттуда, из этого чистого простора вдруг прорывался звук мотора. Поначалу он обнаруживал себя тихими, как бы случайными раскатами, которые трудно было даже выделить из мешанины городских звуков. Но Рыгор знал, что это он, его самолетик. Подобно посланцу с далекой планеты, что нес с собой нечто такое, о существовании чего люди догадывались, но уже утратили надежду убедиться, что оно есть.

Надежду утратили, а ждать ждали.

Так надоела повсюду грызня — дома, в магазинах, в троллейбусах. Как будто иначе уже и быть не могло, как будто кругом лишь пустота и ощущение тупика, в который люди сами себя загнали. Когда видишь, как ссорятся у прилавка с мясом, как готовы перегрызть друг другу глотку, страшно становится, до чего же дошли.

Высоко в небе с мягким рокотом плавал самолетик, выпуская на волю парашютики. И Рыгор радовался, будто он сам был там, вместе с ними, как равный с равными. Будто всеми своими жилами ощущал каменную силу тяжести, которая влекла парашютики вниз, сопротивляясь этой силе, оттягивая как можно дальше встречу с землей.

Верилось, что эти парашютики имеют отношение к чему-то великому, свободному, к чему и он когда-то был причастен. Может, тогда, когда пас лошадей над речкой. Или когда с Раей выбрасывал снопы из гумна. Или в партизанах. Возможно, даже в тот вечер, когда лежал, раненый, на телеге под елкой с ТТ и двумя гранатами под головой. Ему хотелось быть вместе с этими вольными парашютистами. Иногда казалось, что он и вправду там, с ними в небе.

Это было странное и неожиданное чувство. В одно и то же время он находился и здесь, на лавке, и там, в небе. Ветер рвал на нем свитер, продавал насквозь, обтекал упругим холодом тело. Хотелось и смеяться, и кричать от радости: «Люди, опомнитесь! Посмотрите, какое над вами небо и сколько простора дает оно человеку!»

У людей, сновавших внизу, не было времени оторвать глаза от земли. Они постоянно были заняты добыванием денег, квартир, машин, магнитофонов. А когда все это уже имели, придумывали себе новые цели, чтобы не спать по ночам, ломая голову, как достичь их. Писали жалобы, анонимки на соседей и родню, на своих и чужих. Ссорились, дрались, судились. И так без остановки, всю жизнь, до последней черты. Как будто смысл жизни и заключается в этой непостижимой погоне — быть как все, быть лучше всех. Лучше кого?!

Посидишь вот так, подумаешь... Посмотришь на чужую жизнь и десять раз вспомнишь свою. И там, в Зеленовке, был не мед, а теперь кажется, словно бы и мед. Было нечто такое, что торопило ночь, чтобы скорее наступало утро, чтоб можно было занять руки работой. А тут лежишь — голова пухнет: была бы длиннее ночь, ибо впереди день как год и ничего хорошего он не сулит. Одна радость — Анютка. Прибежит из садика и сразу к его двери. Дергает за ручку, пытается открыть: «Дедула, паси а улочку. Магазин паси, сахалика пуким. На конике кататься. хамалетки глядеть паси».

Последнее время часто заходила речь про атом, про войну. Рыгор не мог спокойно слушать эти разговоры. И чем дальше, тем больше они раздражали его.

Он был уверен, что бомба давно уже взорвалась. Страшнее атомной или водородной. Люди ощущают на себе воздействие ее разрушительной силы, но не догадываются об этом. Дети воют с родителями, чтоб скорее загнать их в землю. Если бы не было страха наказания, то многие дети хоронили бы своих родителей голыми. Чтоб сэконо-

мать деньги на одежде. Стыд, что спокон веку был меркой человека, пропал, как исчезли, повymiрали мамонты и другая незащищенная живность.

Так что это? Откуда? Возможно ли такое без взрыва той самой бомбы? Невозможно. Только люди привыкли к мысли, что за взрывом обязательно следует гром. И чем сильнее гром, тем страшнее бомба. А тут — тихо. Люди просто забыли, что самое жуткое происходит в тишине. В тихом болоте черти водятся. И чем больше мы кричим про любовь, любовь всех ко всем, тем меньше ее остается. Может, осталось уже столько, сколько той красной рыбы или черной икры. Дели как хочешь, а на всех не хватит...

Незаметно пришло лето, хотя утешения и не принесло. То духота, от которой некуда деться, то внезапный холод, дождь, промозглость.

По такой погоде худо сердечникам. Кольнет шилом под левой лопаткой, и все — ни вздохнуть, ни выдохнуть. Но посидишь, уняв страх, осторожно вздохнешь раз-другой — и ничего, отпускает.

Самолетика не слышать было месяца два, и Рыгор надумал проверить, отчего это. Может, его совсем уже нет или аэродром в другом месте?

Жил в селе — не обращал внимания, когда что совершалось вокруг него, когда зацветало, отцветало. Все существовало само по себе, как и следует быть.

Сойдет снег — по лесам выпрямятся желтые столбунцы подбела, со сдержанной радостью потянутся к свету.

В лознике еще мокро, ноги вязнут, а по летошней листве — дымок голубой. Пролески пошли!

На болоте расправила головки калужница — все, весна...

И так своим чередом — лето, осень... Природа завела порядок, сама и блюдет.

Вышел за кольцевую дорогу — жито серебрится колосом, понизу, словно присыпанные золой, васильки пестрят. Вдоль леса, меж кустарников, трава по пояс. Все цветет, буйствует. Метлицы, колокольчики, слезки, горошек, братки — фиалки, валерьяна... И среди этого изобилия дед-бодяк — колючий, неприступный красавец.

Почему-то больше всего обрадовал этот задавака, завсегдатай дикого луга: стоит себе, высоко вскинув сиреневую голову-шипку, чтобы и самому все видеть и чтоб всем видно было его. Распрямил в стороны зубчатые листья, напружил жилистую шею: не подходи, уколо! Его хоть обкашивай, хоть откидывай граблями, скосив ненароком, все равно ухитрится попасть на воз и оттуда на сеновал. И зимой, набирая сено, внезапно почувствуешь острый, не иначе, раскаленным шилом укол похлеще иголки. Схватишь упругий стебель голый рукой — и вскрикнешь, и заплянешь. И вспомнишь, как косили луг и пот застилал глаза, как бабы сгребали сено и ты вез его к себе во двор, бросал на чердак. Все вспомнишь, ощутив рукой этого колючего деда. И не будешь злиться на него. Разве ж он виноват, что уродился таким?

Рыгор постоял возле бодяка, погладил ладонью пушистую головку. Она покорно качнулась, словно приглашая: а ты бери смелее. И дрогнуло что-то внутри. Подумал: как погано он стал жить, ничего не видит, ничего не слышит. Так, сам с собой и сам по себе.

Вернулся на лесную дорогу, по ней вышел на чистое поле. За проволоочной оградой несколько небольших кирпичных строений, цистерна для горючего. А дальше самолетик, небольшой серо-зеленый «кукурузник». Тут серо-зеленый, а в небе всегда серебристый. Еще дальше — вертолет и огромное круглое поле. Это на него садятся парашютисты.

Под фюзеляжем самолетика увидел двух человек в черных комбинезонах. Коль у машины хлопочут люди, значит, будет жить.

Обратно возвращался напрямик через лес. Грибов никаких не попалось, хотя особенно и не присматривался к ним. Побыл на воле — и то хорошо.

Выбираясь из дому, сказал Лене, что идет по грибы и воротится после обеда. Как сказал, так и надо было возвращаться...

Отпер квартиру, вошел. У вешалки стояли мужские ботинки. На Жоржины непохожи и для Игоря великоваты.

Из спальни выскочила Лена — в халатике, раскрасневшаяся, взлохмаченная.

— Почему так рано? Или грибов нет? — стрельнула глазами на ботинки.

— Ага, нет... Нет грибов. — Разделся, пошел в свою комнату.

Зашумела вода на кухне, потом в ванной. Сквозь этот шум слышно было, как щелкнул в двери замок.

Рыгор стоял возле окна, бездумно глядя на улицу. По дороге, как всегда, шли автобусы, троллейбусы, машины. От автобусной остановки в гору к домам вела лестница. На ней Рыгор увидел милиционерского лейтенанта. Того самого. Он спешил вниз.

Вышел в коридор: ботинок не было. И дома, кроме него, не было никого.

Не выдержал, на завтра сказал:

— Ты, Леночка, передай этому... своему лейтенанту, чтоб обувку не бросал в коридоре... Так можно и босому остаться. Начальство за это не похвалит: нарушение формы. Она долго смотрела на него помутневшими глазами.

— Что тебе его обувка? Как захочет, так и сделает. И как сделает, так будет по форме. А тебе, таточка, скажу, слишком ты зрячий стал. Видишь и то, чего не надо видеть...

— Так, может, мне глаза завязать?

Сверкнула ненавидящим взглядом.

— Завяжи, а то завяжут. Навек завяжут.— И скрылась в спальне, но тут же вернулась.— А будешь выдумывать, так я скоро найду управу. Праведник зас...

— Праведник, ладно, но скажи...— Рыгор старался быть спокойным.— Скажи, тебе не жалко? Ни семьи, ни...

Лена криво усмехнулась и, вспыхнув лицом, пошла на него, выпятив вперед грудь. Она и теперь была в халатике, он распахнулся, обнажив голое тело.

— А кто меня пожалеет, кто?..— зашептала побелевшими губами.— Он мужчина, а не размазня...— И вдруг завопила дико, будто ее собирались убить:— Отстань от меня, не приставай! Отстань! Люди, что он делает? Ты, старый хрен, куда лезешь?.. Люди!.. Люди!..

Она напирала на него грудью и кричала, кричала. Дверь на лестничную площадку почему-то оказалась открыта, окно на кухне тоже. Лицо ее было бледное, глаза налились кровью. Она сделала словно ненормальная. Зацепила рукой полку для телефона, телефон брякнулся об пол.

Рыгор задом-задом вывернулся к своей комнате, вскочил в нее, подпер спиной дверь. За дверью еще долго кричала, бесилась невестка.

— Старый бабник, старый козел... Я Жорже скажу, он тебе покажет. Он тебе укажет, он вправит тебе мозги...

Приутихнув, принялась куда-то звонить. Рыгор прилег на диван. Бессмысленно уставился в потолок. Не заметил сам, как задремал. Разбудили его голоса:

— Где он?

— Тут.

В дверь постучали. Рыгор открыл. В коридоре стоял молодой усатенький милиционер. Из-за его плеча выглядывала заплаканная Лена.

Увидев милиционерские погоны, Рыгор подумал: «Интересно, а почему не тот?..»

— Это он, старый хряк! У-у-у!

— Оставьте нас,— нетерпеливо произнес милиционер, закрывая за собой дверь.— Можно присесть?

Рыгор показал на стул, сам сел на диван. Лейтенант достал из папки бумагу, ручку, разложил все на столе.

— Ну, что у вас тут происходит?

— Ничего.

— А все-таки? — лейтенант подвинул к себе лист.

— А все-таки... надо делать то, что говоришь. Сказал, что едешь по грибы — езжай по грибы. Сказал, что приедешь после обеда — приезжай после обеда. Нечего вертаться раньше. А то может случиться, что тут не все успели, может, ты им карты спутал.

— Не понимаю,— глаза милиционера засветились живым интересом.

— И я много чего в этой жизни не понимаю. Хотя живу уже слава богу.

— И все-таки...

— Поговорите с ней. Она все расскажет. Если захочет, расскажет. А мне нечего больше встречать. Да и под лопаткой колоть начало. Я прилягу.

Рыгор сунул в рот таблетку валидола, прилег.

Лейтенант посидел какое-то время возле стола, поглядывая на старика, собрал бумаги назад в папку и тихо вышел.

И пошло. Будто сорвался камень с горы и покатился вниз, сбивая новые, побольше и поменьше. Быть может, не столько тех камней было, сколько шума и грохота. И не успокоится все это, пока не ухнет вниз, не улягутся, не заглохнут оттолоски...

В доме стало вроде бы тише. Лена демонстративно не замечала свекра. Да он и сам старался не видеть ее. На кухню выходил, когда никого не было, готовил что-нибудь наспех, ел, не ощущая вкуса, медленно, как по принуждению. Мог днями не брать крошки в рот и голода не чувствовал. Телевизор смотрел, когда оставался дома один.

Поджарил как-то сало, разбил два яйца, повернулся поставить сковороду на стол — кто-то толк под локоть. Сковорода загремела, яйца и сало расплылись по полу.

— Уже и сковородку удержать не может!

Лена!.. То ли не пошла на работу, то ли рано вернулась. Стоит в дверях, ухмыляется. Ничего не сказал. Взял тряпку, принялся вытирать пол.

Пришел Игорь, привел из садика Анютку. Девчурка увидела деда, побежала, кинулась к нему:

— Дедуля, паси а улоцку. Хлеб пуким, хамалетик пуким..

— Купим, милая, и хлеб, и самолетик.— Взял на руки, и Анютка прильнула к нему. Боже мой, какая доверчивая, какая ласковая детская душа! Прижал к себе, затумилились глаза. И тут выскочила она из спальни, схватила дочку, вырвала из рук, унесла. Та в крик, в слезы.

— Пускай он сдохнет, твой дедуля. Молодые помирают, а этому все сходит. Долго он еще будет сосать нашу кровь... долго.

Рыгор прислонился к стене. Игорь стоял в коридоре, не выдержал, бросился за матерью:

— Что ты к нему пристала? Чего ты от него хочешь? Выжить хочешь? Так это его квартира, это его дом!

— В Новинках его дом. В Новинках или на кладбище!..

И в наступившей тишине вдруг послышался четкий, по слогам ответ Игоря:

— Сама скоро в Новинках будешь. Будешь!

— И ты, и ты куда?!..

— Туда! Туда! — Игорь хлопнул дверью, увидел все еще стоящего Рыгора, хотел было что-то сказать, потом махнул рукой, пошел в зал.

Жоржа делал вид, будто не видит, что происходит в доме. Вставал рано, возвращался поздно. Ужин, телевизор и — на боковую до утра. Но в тот день пришел раньше, принес бутылку вина. Зашел к нему, позвал:

— Пошли, батька, повечеряем.

В голосе что-то родное, тревожное. Можно и повечерять, тем более один на один. Чувствовалось: сын хочет сказать что-то важное.

Закусывали, молчали. Первым заговорил Жоржа:

— Ты и правда надумал делиться?

— Правда, сын. Разменяемся, разъедемся, вы живите себе, как хотите, и мне покой нужен.

— Ну нет, батька. Так дело не пойдет!

— Как это не пойдет?

— Ну, разъедемся, ты!.. — Жоржа мельком взглянул на отца, — да что тут мудрить, мы же взрослые люди... Ну, случится с тобой так, как с мамой, — и все ляснуло. И квартира твоя, и все остальное. А вы тут душитесь, как можете.

— Случится, говоришь... А может, оно и не скоро случится? А может, сынок, и я человека встречу? Надо же чтоб кто-то о тебе думал.

— Ах, вон оно что!.. Так бы и сказал, а то вертит, крутит. Бабы захотелось. Баба у него на уме. А я думал, это Ленины выдумки.

Рыгор смотрел на сына широко открытыми глазами.

— Ты это о чем?

Жоржа помолчал, не спуская с отца тяжелого взгляда.

— О том, все о том. Так знай, если еще раз повторится, не погляжу, что батька. Я это из дому гроши зарабатывать, а ему не ложится. Бабу ему подавай. Ишь, до милиции дошло дело.

— Ты что, совсем уже с катков съехал? Чтоб я!.. — Рыгор встал из-за стола. — Или уже все пропиал до конца?..

— Я не съехал, а ты, ты!.. — Жоржа вскочил вслед за отцом, подался к нему. Глаза побелели, будто покрылись пленкой. Подумалось: «Как тогда, с Надей!..» — И запомни: никакого размена. Ни на какой размен я не пойду!

— Запомнил, сынок, хорошо запомнил. Только тут не твоя воля будет. — Рыгор повернулся и, нацупывая ногами ускользающий пол, пошел из кухни..

За дверью было тихо, будто все вымерло. Только рано утром, когда Анюту собирали в садик и она капризничала, до него доносились приглушенные голоса. Потом и их не стало слышно. Лишь на кухне бубнило невыключенное радио.

Рыгор лежал, уставившись в потолок, — то ли спал, то ли бредил. Проваливался в беспамятство, возвращался к реальности, привыкая ко всему с самого начала, узнавая, словно после долгого отсутствия, и свою комнату, и кто он есть, и что с ним происходит. И чем дольше думал, тем больше убеждал себя, что, наверное, ничего особенного не случилось. Наверное, так и надо. У всех так, кого ни послушай, а ты что — с другой планеты? Ну, поспоришься с невесткой, с сыном. Не ты первый, не ты последний. Они виноваты, а может, и ты виноват. Чего встрял в их порядок? Живут — и пусть живут. Не нравится? Многим многое не нравится — ну и что? На улицу идти, кулаками размахивать? И кто ты такой, чтобы суд вершить? Батяка? Был батяка, пока ремнем мог учить, а теперь... То-то!

Собрался на Комаровку¹, купить свежего сала. Бродил меж столов, присматривался, приценивался. Полно всякого-разного, чему и названия не знаешь, — и своего, и привозного. Правда, и цены, хоть глаза закрывай.

Увидел грибы. Самому не повезло набрать, так хоть тут подивится. Больше личички, опята, изредка боровички. Ого, целая корзина! Где их нашел человек? Поднял на него глаза — Микола Вертолет. Бородка рыжая, усы рыжие, лысина шляпой накрыта — а чтоб ты здоров был!

— Что, как грился, грошей не хватает?

— Оно и гроши есть, а все-таки делать что-то надо. — Вертолет взглянул поверх голов и прокричал подобно молодому петушку тонким голоском: — Кому грибы? Кому грибы? По дешевке, по коровке. Кому грибы? — и засмеялся. — Ты потолкайся, пока я их сбдуду, да поедем ко мне. Тут близко, два пролета автобусом.

Рыгор не стал противиться. Проехали те два пролета, вошли в дом. Сидели за столом, разговаривали. Два переселенца, два бобыля. У Вертолета, как оказалось, тоже померла жена. Жил вместе с дочерью. Дочь, муж, ребенок. За разговором забыли и о бутылке, что стояла между ними на столе, и о сковородке с салом, которое Рыгор купил будто нарочно к такому случаю. И у обоих было чувство близости, может, даже большей, чем там, в селе.

— Да что ж это такое, Микола? Что за порядок? — спрашивал Рыгор.

— А какого ты порядка хотел? Имеешь силы воевать — войой, не имеешь — смиришь.

— С кем войой и с чем, как грился, смиришь?

— Воевать... Воевать?... — Вертолет даже подскочил на стуле, похоже, и сам только сейчас задумался над тем, что сказал. — И правда, будто и не с кем воевать. Будто все, как надо, по закону.

— Во-во, по закону, — ткнул вверх пальцем Рыгор.

— А смиришь... — Вертолет вспыхнул лицом, повысил тонкий голос. — Смиришь с тем, что ты уже никто. Лишница, пустое. Коптишь свет, путаешься под ногами.

— У кого это я путаюсь?

— У тех, кто помоложе да пошустрее. Как теперь говорят: у прогресса!

— Нехай бы кто хоть раз толком объяснил, что это такое — прогресс? И для кого он?.. Для людей? Так посмею думать, что и я человек, что и у меня болит... — Намолчался Рыгор в одиночестве, и ему не терпелось выговориться перед близким человеком.

— Болит... Кого интересует твоё «болит»? — Вертолет всегда был крут на слова. А тут произнес устало, точно выдохнул из последних сил. — Кого?..

— То-то и оно, что никого, — согласился Рыгор. Подумал и добавил: — Считаю, никого.

Посидели еще немного, повспоминали давнее, деревенское. Рыгор дал Миколу свой адрес, телефон.

— Теперь твоя очередь.

— А что, как-нибудь и зайду, — кивнул головой Вертолет.

— Не как-нибудь, а зайди, — уже вроде бы и попросил Рыгор.

¹ Минский рынок.

Прислали талончик в поликлинику. Рыгор уже и забыл, когда видел такие. Ан нет, живет еще забота в людях, вспомнили... Рыгор Иванович... Доктор Сергеев В. И. просит вас... кабинет... в 10 часов.

Приглашают — значит, надо идти. Что-то плохо спится последнее время, может, таблетки какие выпишут. Доктор есть доктор.

Зашел. Молодой парень. Как и подобает — белый халат, белая шапочка. Внимательный, настороженный взгляд.

— Как живете, как чувствуете себя?.. На что жалуетесь?.. Плохой сон? В таких летах ничего удивительного. Попробуем поправить. Поставьте ноги вместе, не напрягайтесь. — Стукнул молоточком по одному колену, по другому. — Покажите язык, зубы. Закройте глаза, вытяните руки. Водку пьете?

— Никогда, как грится, не страдал по ней.

— Но и не противник? — Все как-то весело, с улыбочкой, будто к ребенку.

— Некому противиться, не с кем водить компанию. Разве что Вертолет остался.

— Кто такой Вертолет?

— Так, человек.

— Человек — это хорошо. Это хорошо, когда есть человек. Человек это звучит гордо. А как насчет женщин?

— Что?!

— Вы не пугайтесь, мы ведь мужчины. Да и я не просто так о женщинах. Дело житейское...

— К девкам зовешь? Когда так, то чего ж... — грустно пошутил Рыгор.

— Я серьезно, — и уставился в глаза, насторожился, будто вот он, тепленький, только что пойманный злодей.

— И я серьезно.

— Бывает так, знаете: седина в ус, а бес в это самое, в ребро. Силы нет, а желание остается. И тогда всякое накатывает — и бессонница, и кошмары... Я это из практики знаю.

— Из какой практики?

— Из этой, — обвел взглядом кабинет. — Так все же, как с женщинами?

— Как и с бабами, — озял Рыгор. Подумал: «Зачем я сюда приперся, дурень?»

— То есть как?

— А так, что не могу без них. Люблю очень. Ночью дак прямо места не нахожу. Вот так взял бы и съел ее всю живьем. — Рыгор вскочил, наклонился к доктору, будто собирался если не съесть, так хоть откусить кусок. Тот отпрянул к стене.

— Что вы, что вы, успокойтесь... Ус-по-кой-тесь! Не то...

— А что «то»? Что «то» — знаешь ты?

— Я знаю. Я очень это хорошо знаю...

Рыгор выскочил в коридор. У дверей сидели люди, пожилые и молодые. «Ждите, милые, надейтесь... Как с женщинами?.. Да я давно забыл, что это такое — баба под боком».

Доктор словно наворожил: Рыгору приснилась женщина.

..Звали ее Раей. Непоседа, беззаботная и веселая. Они были одногодки, и дворы их напротив, через улицу. С ней было легко и просто, как с хлопцем. И тянулась она больше к хлопцам, чем к девочкам. Свойская, компанейская — хоть в лес, хоть на речку, хоть в чужой сад. Не подведет и не выдаст.

Деревенские нравы просты и открыты. Каждый знает, у кого какие дрова горят в печи и что варится в чугуне. Дети растут, учатся друг у друга, долго не видят разницы — хлопец ты или девчина. Однако приходит время, когда различия принимают свои формы и вольности, которые сходили еще вчера, сегодня недопустимы. Значит, дети перестали быть детьми.

Стояла осень, в колхозе молотили жито. Два гумна были набиты снопами под самый конек, и подавать их пришлось через отверстие в щипце. Снаружи мужчины ловили эти снопы на вилы и бросали на столик молотилки. Молотилка не любит ждать. Тарахтит трактор, гудит барабан, глотает снопы, как прорва: давай, давай!..

Перед обедом они остались на скирде вдвоем. Рая подбрасывала снопы к щипцу, а он — дальше, во двор. Пока брали сверху — ничего, справлялись, а чем ниже,

все труднее. Разогрелись, вспотели. Грохот, пыль, щекотка в носу. Губы слипаются: пыты! Глаза у Раи блестят, смеются. Время от времени она хватается платье за ворот, встряхивает его, чтобы оторвать от спины, остудить разогретое тело. Рыгор следит за ее движениями, видит, как платье отстает от тела, поднимается вверх, оголяя ноги выше колен, и почему-то смущенно отводит глаза в сторону. Все это тревожит его, происходит впервые с ним. Он не может понять, что это, но ему так сладко и так тревожно.

Трактор наконец заглушили на обед, можно и перевести дух. Рая бросила последний сноп и словно ненароком угодила Рыгору в спину. Он швырнул ей обратно. Она поймала — и снова ему. Усталости как не бывало. Сошлись, вцепились оба в сноп, тащат каждый к себе, словно от того, кто перетянет, зависит жизнь. И тут сверху, с соседней скирды рухнули снопы, накрыв обоих с головой. Но и там, под снопами, борьба не прекращалась, хотя они и сами уже не знали, за что воюют. Его рука нашла ее ногу выше колена, замерла. Какая у нее гладкая кожа!.. Какая она вся горячая! Бешено колотилось сердце, в горле пересохло, в голове стоял странный звон... Несколько мгновений Рая лежала, настороженно притихнув, будто испугавшись неожиданности. Затем рванулась, разметала снопы, встала возле стены, обтягивая на себе платье.

— Ну ты! — сверкнула на него глазами.

— Что я?..

— Ничего...

— А ты чего?

— А того!..

Пригладила волосы и вдруг приказала, будто уже имела на это право:

— Пошли обедать! — И первой съехала по снопам на ток.

После обеда она работала молча, словно все ее мысли сходились на том, что надо бросать и бросать снопы под руки Рыгору, чтобы он непрерывно кидал их в барабан, и только бы не смолкала ревушая молотилка. Несколько раз Рыгор ловил на себе любопытный и словно бы насмешливый взгляд. Попробовал было повторить игру со снопами, но Рая не приняла ее.

— Вечером выйдешь на улицу? — спросил пересохшим от волнения голосом.

— Выйду, — тихо ответила она.

Он не знал, что с ним происходит, но чувствовал: что-то очень важное, чувствовал, что стоит на пороге великой тайны, открыть которую стремится каждый. И думал только о Рае, вспоминая то мгновение, когда они очутились под снопами и его рука почувствовала жар горячей ноги.

Вечером сидели на лавочке возле Раино двора. Было тепло. Рая вышла в другом платье, но от нее все так же пахло житом. Он обнял ее, ткнулся губами в ее губы. Она не противилась, сама прижалась к нему.

— Пошли в сад, — шепнул он. Там, в саду, стояла копна сена, и никого вокруг не было.

— Сейчас мама позовет, — тихо ответила она.

И правда, вскоре распахнулись створки окна и послышался грубоватый голос:

— Рая! Иди спать!

— Иду!..

Некоторое время они стояли в темноте у ворот, прижавшись друг к другу. Чувствовали друг друга и не стыдились этого. Им не хотелось расходиться, однако снова распахнулось окно.

— Раиса!..

Рая ничего не ответила. Повернулась и ушла. Звякнула щеколда, скрипнула дверь в сенцы — и все затихло.

С той осени, всю зиму и весну, они виделись каждый день и даже по нескольку раз на дню — и в школе, и дома. И больше ни разу, никаким знаком Рая не подавала вида, что помнит тот день. А он помнил.

Что это было? Простая тяга к запретному, тому, что должно когда-то осуществиться и что у каждого происходит по-своему? Буйство крови? Желание почувствовать и утвердить себя как мужчину? Мужчина в тринадцать лет?! А может, это была любовь — первое наивное чувство? Может, потому так часто вспоминались Рыгору та молотьба и тот вечер. И было в том воспоминании что-то очень теплое и доброе. И жаль было, что могло случиться, но не случилось и никогда уже не случится.

После войны Рая уехала на вербовку, вышла замуж, родила троих детей. Домой уже не вернулась. Жива ли она, или, может, ее нет уже...

И вот приснилась. Да так отчетливо, ясно, будто все происходило наяву. Будто обнимает ее, целует. На ней то самое легонькое ситцевое платье, рука скользнула через вырез и гладит молоденькие, крепкие груди. И она не сопротивляется. Она охотно поддается ему...

Проснулся Рыгор с соленым привкусом на губах. Вспомнил сон и с грустью подумал: не иначе кто-то подшутил над ним. На несколько минут возвратил ему молодость, чтобы тут же забрать назад.

Микола Вертолет не любил надолго откладывать то, что можно было не откладывать. Тем более поход в гости. Да еще теперь, на склоне лет, когда встаешь утром и не знаешь, дотянешь ли до конца дня. А было воскресенье, у всех свободный день.

Он побрился, надел свежую рубашку, кинул в сеточку банку маринованных грибов: пусть и Рыгор оценит. Нашел бумажку с адресом и поехал. А что тут ехать — одним транспортом, без пересадки: вошел и вышел.

Дверь ему открыл Жоржа. Микола узнал его сразу, хотя лет десять не видел. Порода свое выказывает — и уши, и глаза, и рот. Весь в отца.

— Добрый день в хату, — сказал весело, входя в коридор. Нашел у порога вешалку, повесил шапку.

Жоржа будто смутился: то ли не узнал, то ли присматривался к гостю.

Микола уже снял плащ, держал в руке.

— Батька дома? Как он?

— Ничего он, ничего...

Откуда-то выбежала девочка, годика три.

— Дочупка?

— Ага, меньшая, Анюта.

Девочка притерлась головкой к отцовскому колену, проговорила, не сводя глаз с гостя:

— Дедула поехал...

— Ага, дедуля. Дедуля приехал. — Микола погладил малую по головке. — Так что батька?

— Ничего страшного. Прихворнул немного.

— Что такое? Давно ли виделись, и на тебе. Хотя жворь, как гриб, вылезит, где вздумает. Он дома?

— В больнице, так, профилактика... Провериться, подлечиться...

— В которой же он? Вишь ты, как получается. Мы, говорю, недавно с ним виделись. Позвал в гости, да сам в гости попал. И давно?

— С неделю уже... Ничего страшного, должны скоро выпустить.

— Это дома скоро, а в больнице... день веком кажется. Я это знаю. Так где он лежит? — Микола надел плащ, взял с вешалки шапку.

— Дедула поехал, — повторила девочка, теребя отца за штанину. Теперь и Микола понял, что сказала девчушка. Спросил как бы уже у нее:

— Так куда дедуля уехал?

— Далеко. Ма дедуля.

— Ну что ты прицепилась! — озлился Жоржа. — Иди, играй с цацками! — Отвел дочку, закрыл за ней дверь, вернулся. Микола смотрел на него, ждал.

— Или... ты не хочешь сказать мне, где он?

— Хочешь, не хочешь... Далеко это, да и не пускают туда...

— Почему это не пускают? Во всех больницах пускают, сегодня как раз воскресенье. А далеко... Что за даль в городе?

— За городом он. В Новинках.

— В Новинках? В Новинках... И что ему делать в тех Новинках? Там же психи да алкоголики... Постой, он сам захотел туда?

— И сам, и доктора. Пусть посмотрят, проверят. Такой нервный стал, нетерпливый. Кидается на всех.

— Как это кидается? Я же с ним только что... Ты был у него, что он?

— Был. Он никого видеть не хочет. Передачу и ту не взял... Сказал, чтоб не приезжали.

— Ага, так ты его в Новинки отвез... А я думаю, чего он крутит хвостом. А он батюку... в дурдом. Молодец, Жоржа, молодец... И правильно, так и надо. Зачем он тут, что с него теперь возьмешь. А там надежно. Говоришь, никого не пускают. Не пускают... Пустяк! Я попрошу, чтоб пустили.

Микола вышел, стукнув дверью, потом вспомнил, что забыл грибы, вернулся назад. Ни слова не говоря, обошел Жоржу, взял сеточку и уже не стал ждать лифта — спустился по лестнице.

Все сложилось так неожиданно и так не по-людски, что и не расскажешь никому. Сын отправил отца в дурдом. Нормальный сын нормального отца. Хотя нормальные не отправляют. И нормальных тоже. Так что, как говорится, живи, Рыгор, и радуйся. Радуйся, что нашелся Вертолет. А то и теперь лечился бы...

Никогда не думал, что тот такой настырный. Откуда что и взялось. Нашел дорогу и к докторам, и в райком, и к министру. Людей поднял из всего дома. Рыгор и не знает их, а они поднялись. И всюду — письма. Хочешь не хочешь, а письма читать надо. И отвечать на них надо. Зачем здорового человека заперли в психбольницу? По какому праву? Так можно всех пересажать. Хватай и вези, а там доказывай, что ты не дурень. Докажи! Да если еще сынок идет сзади, уговаривает: «Побудешь немного, тата, в больнице, подлечись — и домой...» Рыгор и не думал, что едет в Новинки. Думал, в городскую больницу. Оно и правда — нервы стали никудышные. Да и сын идет сзади, уговаривает. Уговаривает, хотя и прячет глаза.

Оно и в Новинках можно побыть, если б не думать про все. И если б ни с кем не говорить. Так ведь лезут со всех сторон говоруны, не отбиться. Каждый норовит рассказать — про себя, про родню, про детей. Какая она у всех хорошая, родня, какие они хорошие, дети.

Да еще если б не Анютка. «Дедула а улицку пошел. Дедула магазин пошел. Дедула Анютке сахалик плинесет...» Оттуда принесешь сухарик...

И ведь бог послал этого Вертолета! Как он все раскопал! Даже доктору понравился:

— Добрый у вас брат, упрямый.

— Это не брат, это сосед.

— Сосед? Мне он назвался братом. А если сосед, тем более добрый. Упрямый.

— Упрямый, спасибо ему.

Мало того — так еще и на такси домой привез. «Пусть знают!» Кому это надо знать... Кому?

Воротился Рыгор к себе, как в чужой дом. Все то же самое и все чужое. Даже комнатека его стала вроде угловатой, холодной. И обои, и шкаф, и диван — все, как там, в Новинках, чужое. Хоть возьми да поменяй все. Только Надин портрет и оставил бы. Улыбается, и радость, и какая-то горчинка в глазах, словно укор. Да Анютин голосок. Два дня слышал его сквозь дверь, а ее не видел. Не пускали. Потом зазвонил телефон, вышел взять трубку, а она выбежала в коридор. Выбежала и загнулась. Подходила медленно, похоже, не веря, что это он и есть.

— Дедула пыхал... Дедула пыхал!..

Подхватил на руки, прижал к себе. «Приехал, внучка, приехал...»

На этот раз никто ее у него не отобрал.

Игорь зашел в тот же вечер. Встал около двери, прислонился спиной к косяку, сказал с неожиданной, виноватой улыбкой:

— Здоров, дед.— Голос его уже ломался на бас.

— Здоров, внучек.

Смотрели друг на друга, молчали. И было в этом молчании столько боли, что у Рыгора защищало глаза.

— Ну как ты? — Игорь не знал, как подступиться к деду.

— Ничего. Видишь, вернулся... Что стоишь, присаживайся.

— Можно и присесть.— Опустился на стул, не сводя глаз с деда.

— Чего ты молчишь? Расскажи о себе. Как школа?

— Все как всегда, нечем похвалиться. Может, в чем помочь?

— Ничего не надо.

— В магазин сбежать?..

— Нет, я сам.

- Коля что, скажи мне.
— Добра, скажу.
— Так я пошел? — Игорь встал.
— Иди. Иди...

Игорь ушел, осторожно прикрыв дверь. Рыгор вздохнул — и тяжело и горько, и что-то теплое, как тоненький звоночек, ожило в нем.

С неделю не мог спать. Все казалось, что он не дома, а там. И первое, что сделал, научившись засыпать без снотворного, отнес в вечернюю газету объявление на размен квартиры. Недели три прошло, а объявления все не было. Правда, ему и говорили: большая очередь, придется подождать... Но ведь уже три недели...

Как и прежде, приходил на свою лавку, подолгу сидел. Дремал, думал, ждал самолетика.

День грозился быть душным. Солнце долго плавало в серой пене, пока не выбилось на волю, расцятило небо. Из лесу потянул понижу ветер, с ним стало легче.

Высоко над головой на загородный аэродром проплывали тяжелые пассажирские самолеты. Натужный гул моторов долго стоял в воздухе, будто шел из нутра земли, перекрывая все звуки.

Рыгор просмотрел газеты. Все они теперь писали про перестройку. Перестройку всего и вся. Чтоб и намек не осталось от непорядка и подлости. А куда оно денется? Все это с людьми, от людей. Хату пересыпаешь — труха глаза забивает. А тут люди, и каждый норовит урвать свое. Попробуй докажи, что это нельзя. Развинтились. Изверились и в себе, и в других. И себе и другим не верят.

Самолетик объявился неожиданно, как и прежде, но сегодня Рыгор обрадовался ему больше, чем когда-либо. Может, потому, что после Новинок это была их первая встреча. Самолетик будто тоже спешил объявить всем: «Вот он я — живой. Живу, что бы там ни было».

Взяв разгон за кольцевой дорогой, он вынырнул из-за леса и пошел закручиваться спиралью в серовато-голубом небе.

Рыгор смотрел ввысь, куда самолетик еще должен был забраться, и думал, какая там у него воля. Лети куда хочешь, делай что хочешь.

И самолетик, видать, хорошо это знал, поднимался все выше и выше. Вот и сам уже стал махоньким, как коршун. Значит, сегодня будут затяжные прыжки. Это когда парашотисты камнем летят вниз и только над самой землей раскрывают парашюты. Рыгору не нравились такие прыжки. А если не успеешь раскрыть? Или парашют не раскроется?

Тем временем самолетик выровнял крылья, казалось, завис на одном месте, и от него отделились одна-две-три точки. Они как вывалились, так и летели один за другим — три камешка в серой пустоте — и только над лесом, совсем низко, раскрыли парашюты. А чтоб вас... Что же вы делаете? Столько лететь вниз — и словно на потеху затормозить на всем ходу... Нет, это страшно. Хотя ты не смотри на них. Но как тут удержись, не посмотришь?

Самолетик сделал разворот, снова вышел на прямую. Нет сил ждать, когда эти маленькие камешки распрямят свои крылья. Рыгор отсчитывал время: раз... два... три... четыре... пять... шесть... Казалось, вторая тройка летела быстрее и обходила первую. Но нет, не обошла! Зависла над ней. Теперь уже шестерка парашотистов — тройка над тройкой — приближалась к земле.

Самолетик сделал третий заход. Ну, черти!..

Вновь из-под крыла выкатились три точки. Рыгор затаил дыхание.

Первая тройка пропала за лесом. Вторая покачивалась выше, и к ней уже приближались три новых камешка... Раз... два... три... четыре... пять... шесть... Пора тормозить. Ага!.. Раскрылся один парашют, второй, третий... Нет, третий летел дальше... Ну и отчаянный! Третий парашотист догнал первую тройку, проскочил ее...

«Братка, что же ты делаешь?! Не шутя!.. Тормози!..»

Но это была не шутка.

«Раскрывайся! Слышишь! Раскрывайся!.. Раскры!..»

Парашют не раскрылся...

Возле магазина все было как всегда. Вокруг автоматов с газировкой толклись мальчишки, лужили кулаком по пластиковому корпусу, когда автомат, проглотив монету, не хотел давать воды.

В гастроном и из гастронома сновали люди. У входа в штучный отдел извивался длинный хвост очереди: продавали вино. «Надо бы и себе купить», — подумал Жоржа. — Если б не Анютка...» В одной руке она несла ведро с лопаткой, другой цепко держалась за палец отца.

Жоржа замедлил шаг: может, все-таки постоять? Скользнул взглядом по очереди: знакомых не было. Пристроился в хвост. Дождался, когда стали за ним, отвел Анютку к песочнице.

— Поиграй в песочке, я сейчас приду.

Анюта принялась насыпать песок в ведро.

Очередь двигалась быстро, отпускали две продавщицы. Из дверей один за другим выскакивали мужчины с темными бутылками в руках. Давали молдавский вермут, давно уже его не было.

— Нам хватит? — спросил Жоржа у парня, который остановился сбоку, пряча бутылки в портфель.

— Наверд... Ящика четыре осталось.

— Ну-у-у, ты так не шути... А то на слабое сердце... — Жоржа положил руку на грудь.

Парень щелкнул портфелем и ушел. А к Жорже повернулся усатый мужчина, стоявший впереди.

— Кто знает, что надо тому сердцу. Кому горелка, кому коньяк, а кому и ничего. Вон в соседнем дворе: пришел человек, сел на лавку, развернул газету... Час сидит, другой... Люди думают, он газету читает, а его здесь давно уже нет. Отгос-тевал.

— Конечно, смерти много не надо, — подхватил Жоржа. — Смерть есть смерть... Говоришь, с утра... Так ведь теперь уже... — Жоржа недоговорил.

— Главное, никто не знает, откуда этот старик. Приехала «скорая», милиция. Проверили, жив ли. Мертв. Ждут, пока кто из родни объявится. С кем-то ведь жил человек.

— И где, ты говоришь, все это?..

— Да вон, в соседнем дворе, — мужчина кивнул головой в сторону девятиэтажного дома.

Жоржа вывалился из очереди, взял дочку на руки:

— Пошли, Анютка...

И не пошел, побежал.

Во дворе все было как всегда, но Жоржа почувствовал какую-то перемену. Не сразу понял, что изменилось, но перемена была.

Удивила тишина. Обычно в хорошую погоду у песочниц много народу. Сегодня тут было пусто.

Жоржа приближался к лавке, на которой любил сидеть отец. Поодаль от нее полукругом стояли несколько старых женщин. Вот создания: любого обговорят, пере-моют косточки. Жоржа всегда с ненавистью проходил мимо таких, ощущая на себе их взгляды. Шел выпивши — казалось, слышал шепот: «Уже набрался. А где-то дом, семья...» Шел трезвый — опять шепот, и опять что-то не так. Иной раз подмывало развернуться, схватить всех за крылья — и туда, за кольцевую дорогу, в лес, в глухомань, чтоб никогда не приползли обратно. Раз и навсегда!

Но сейчас он приближался к старухам, холодея от страха. Хотелось поскорее проскочить мимо и тем самым подтвердить, что его страшная догадка неправда. И тут он встретился взглядом с сухонькой горбатой старушкой. Она тотчас повернулась к женщинам, что-то сказала, те обернулись, глядели на него, и в их глазах была жалость.

— Во и сынок пришел, — молвила горбунья и посторонилась.

Женский круг распался, и перед ним открылась лавка. На ней сидел отец, откинувшись прямой спиной назад и положив руки на колени, как будто принял позу перед фотографом. Только лица его не видно было: на голову был наброшен белый платок и по нему ползла черная муха. Горбатая старушка взмахнула рукой, муха сорвалась, сделала несколько витков вокруг лавки и снова опустилась на платок.

Жоржа почувствовал, что ноги сделались ватными и всего его будто окатило кипятком. Нетвердыми шагами подошел ближе, остановился в метре от скамейки, опустился на землю Анюту.

— Что с ним? — прошептал пересохшими губами и обвел глазами женщин, боясь сделать последний шаг к отцу.

Женщины молчали.

Тогда он сделал этот шаг, приподнял уголок платка. Лицо у отца было белое, спокойное, глаза сомкнуты, рот приоткрыт, будто старый собрался вздохнуть или что-то сказать.

Жоржа опустил платок.

— Он тут с самого утра, — сообщила горбатая. — Часов в десять как сел, так и сидит. Я с внучкой шла в магазин, сказала «день добрый», он промолчал. Подумала: может, человек не расслышал. У самой такое бывает: всю ночь глаз не сведешь, как кто жерствы насыпал, а встанешь — что дурная. Газетка у него на коленях, как всегда. Может, вычитал что, задумался. Вернулась из магазинов, поставила щи варить, выглянула в окно — сидит, голову откинул назад. Отвернулась, протерла полы, но что-то тревожит. Снова глянула в окно — сидит. Мне как молотком по голове. Выскочила. Так и есть: мертвый. Боже мой, я бегом назад. Взяла чистый платочек, позвонила Лидии Ивановне, и уже вместе вышли. Он еще теплый был. Поправили голову, рот сжали, глаза закрыли. Позвонили в милицию, они приехали сами и «скорую» прислали. А что она сделает, когда все давно сделано. Счастливый человек, легкая смерточка...

Пока бабка рассказывала, Анюта глядела на деда недоуменными круглыми глазами. Потом опустила ведро на землю, кинулась к нему, схватила за руку.

— Дедуля, паши пахахутики глядеть...

Дедуля молчал. Она осторожно опустила его руку, попыталась заглянуть под платок, в глаза. Ничего не поняла. Обернулась к отцу:

— Дедуля спит?.. Спит дедуля?..

— Ага, доченька, спит. Спит дедуля, — Жоржа сморщился, потянул девочку к себе.

Через день в городской вечерней газете на четвертой полосе было помещено небольшое сообщение:

«21 июня во время тренировочных прыжков с парашютом трагически погиб мастер спорта СССР М. В. Воронович. Причины трагедии выясняются».

В рекламном же приложении среди множества объявлений об обмене и купле-продаже котов и собак, дач и импортных женских сапожек появилось такое:

«Меняю четырехкомнатную квартиру — площадь 63,04 м², комнаты отдельные, телефон, паркет, лоджия — на трех- и однокомнатную. Возможны варианты. Звонить в любое время».

Многоголосый Тоидзе

Бессмертная Грузия, страна гор, солнца и янтарного вина, ее сила и мощь, неприступность и ласковость, гостеприимство, радость и горе, будни и праздники, и ее жители; их характер, суть, обычаи, склад жизни — все это на полотнах народного художника Грузинской ССР, лауреата Государственной премии имени Шота Руставели Гиви Тоидзе.

Гиви Тоидзе родился в Тбилиси полвека назад. Атмосфера семьи, в которой он рос, способствовала тому, чтобы он стал художником. Его дед Моисей Иванович Тоидзе обучался живописи у Ильи Ефимовича Репина. Он был первым народным художником Грузии, членом Академии художеств СССР. Моисей Тоидзе принадлежал к тому поколению грузинских живописцев, которое получало образование в России и Западной Европе. Они составили то ядро мастеров, с которого началось в XX веке развитие нового грузинского изобразительного искусства.

Дед и внук подолгу бродили по извилистым улочкам древнего города, и Гиви, как губка, впитывал все, что говорил старый мастер, а что тот недоговаривал, читал в его глазах. В старых кварталах они вместе писали этюды. На всю жизнь запомнились слова деда: «Если хочешь стать настоящим художником, должен писать старый Тбилиси. Вдохновение и мастерство придут с пониманием прошлого народа, его культуры...»

Эта истина была близка и понятна юному художнику. Как истинному тбилисцу, ему были дороги узкие мощеные улочки, резные балконы, черепичные крыши. Ему и теперь смутно помнится колорит уходящего города, города его детства: фигуры карачохели — настоящих мужчин, их кутежи на плотках, уличные натюрморты зеленцов, выкрики — «мациони»¹ и «панта, панта»², звуки шарманки.

Гиви Тоидзе не устает писать этот старый Тбилиси. Он не ставит целью писать пейзажи с природы, а сочиняет, складывает их из глубоко запавших в сознание излюбленных мотивов. Из картины в картину переходит один и тот же балкон, забор, а то и целый дом. И это свидетельство его верности, его привязанности отчему гнезду. Особенно характерна в этом смысле картина «Любимая улица». Его картины старого Тбилиси видели Франция, Италия, Испания, Англия, Япония. Сам Гиви Тоидзе повидал много стран, но он остается верен любимому городу.

Тех, кто знаком с Гиви Тоидзе, всегда поражают его неиссякаемая энергия, широта его натуры, которую ничто не может поколебать, страстная любовь к палитре. И что самое удивительное в этом человеке — он не теряет способности удивляться, все знакомое, привычное видит как бы впервые. В современной суетливой жизни он сохраняет чувство восхищенного удивления ею и воплощает его на полотне. Свои натюрморты Тоидзе komponует из простейших привычных предметов, раскрывая благородную красоту национального быта. На фоне ковра или узора из цветочных пятен, напоминающих грузинский орнамент, художник пишет предметы домашнего обихода: ступку, белый чеснок, горящие гранаты, старый уют, горшок с кистями, сухие ветки. Они вылеплены плотным цветом и, в основном, расположены всегда фронтально. Предметы живут в гармонической взаимосвязи, краски горят ярко и насыщенно, и, как в самой природе, сливаются в звучный, полнокровный аккорд. Художнику дорого чувство интимности, теплоты и уюта родного дома, и оно передано эмоционально, выразительно.

В то же время Гиви Тоидзе с первых своих опытов тяготел к монументальности. Это качество проявлялось в его натюрмортах, пейзажах, композициях. И все-таки его чувство монументальности было здесь тесно. Тоидзе хотело простора, его темперамент не уместался в рамках станковой живописи. Он мечтал обратиться к фреске. «Она то подходила ко мне, я мог тронуть ее, осязать ее, любить, то уходила вдалеку. Я был как моряк, которому показалась полоска земли и вдруг исчезла. Но есть надежда,

¹ Кислое молоко.

² Сорт груш.

что утром она снова появится и до нее — рукой подать», — так говорил о своей мечте сам художник.

И вот настало это «утро». Ему предложили расписать стену конференц-зала Дома творчества СП СССР имени Дмитрия Гулиа в Пицунде. Гиви Тоидзе решает фреску в оранжево-коричневой гамме, которая отвечает колориту самой Грузии. Кисть энергией своего мазка передает стремительный ритм движения. Крепко построенная композиция сплавливает воедино группы и сцены, разворачивающиеся на фоне гор, хевсурских башен, могучей реки. Вся фреска читается целостно. В ней ощущается музыкальность, напевность, роднящая фреску с народными грузинскими мелодиями. Именно за фреску «Праздник в Хевсурети» Гиви Тоидзе был удостоен Государственной премии имени Шота Руставели.

В своих произведениях Гиви Тоидзе стремится к лаконичной обобщенности формы. Отказываясь от многоцветья, он добивается монолитности колорита. А в то же время в других полотнах вспыхивает фейерверк цвета.

Постепенно Гиви Тоидзе отказывается от внешней энергии сюжета, углубляя внутреннюю энергию чувства и мысли. Молодость уступает место зрелости — зрелости возраста, мастерства, цельности темперамента. Потому персонажи картин уходят на второй план, уступая место пейзажу. Но от этого они не стухают, а наоборот, приобретают весомость, властно привлекают к себе внимание зрителей.

Таковы картины последних лет: «Утро» с маленькой фигуркой дворника на фоне сонной улицы, «Воспоминание» с мальчиком-пастушком под вековыми деревьями, наконец, «Стояли и ждали». Эта картина до боли пронзительно рассказывает о военных днях, когда женщины с тревогой ждали почтальона. Все это пережито, выстрадано в детстве, которое пришлось у художника на трудные военные годы. «Вот здесь стояли женщины и ждали почтальона, стояли и ждали, и я стоял с ними, стоял и ждал. Так и не дождался ни одного письма. Мне было тогда девять лет. Я часто вспоминаю эту особенную тишину ожидания, когда идет дождь. Беззвучно моросит он, беззвучно полирует мостовую, лишь слышатся осторожные шорохи автомобильных шин и мелодия, мелодия одинокой струны. Грустит струна и грустит дождь, красиво грустит, беззвучно и очень слышно, грустит о чем-то неповторимом, несказанно красивом и очень далеком, навсегда ушедшем и никогда не уходящем, о настоящем, которое нас никогда не оставляет», — тихим голосом размышляет художник. И я понимаю, что ничто не залечит раны, которые война нанесла девятилетнему мальчику. И сам мальчик продолжает жить во взрослом человеке. Да, чем старше мы становимся, чем дальше уходим от детства, тем дороже, тем ближе оно нам.

Взгляд возвращается к камерным картинам Гиви Тоидзе последних лет. Они могут быть объединены под общим названием — «Воспоминание». Воспоминание окрашивается в терпкий цвет осени, грустный восторг уходящего лета, создавая напряженную насыщенность и звучность цвета. Художник стремится именно к такой емкости: нет повествования, есть только эмоция, эмоция страдания, эмоция памяти. А рядом с камерными картинами висит огромное, во всю стену мастерской панно, на котором изображен праздник Тбилисоба. Созерцая его, помимо воли становишься участником народного гулянья, видишь, как танцуют кинто и карачохели, слушают многоголосое пение сванов и задушевную мелодию кахетинцев, городские дуэты дудуки и шарманки.

Как в жизни, так и в творчестве Гиви Тоидзе непредсказуем. Он то мечтательно минорен, то оптимистически мажорен и тогда заражает своим неиссякаемым темпераментом, жизнелюбием всех и все вокруг себя. Лейтмотивом его творчества всегда было и остается до сих пор единство Мира и Человека. Человека, твердо стоящего на земле и страстно любящего окружающий мир.

Нора Пфеффер

Из былого



С немецкого.

Перевод

и вступительное слово

Б. Дубровина

«Радость — не бегство от печали,
а победа над ней», — так она считает.
И так живет. А судьба,
испытывая ее девиз, беспощадно
распоряжается ею:

совсем недавно она потеряла своего
единственного сына, известного
литературоведа-западника Резо
Каралашвили.

Родилась Нора Пфеффер в Тбилиси.

Училась в немецкой школе,
директором которой в течение
20 лет был ее отец, пока в одну
зловещую ночь в 1935 году не
арестовали его и мать Нору.

И взвалила Нора на свои
слабые плечи заботу о всей семье:
подрабатывала репетиторством,
давала уроки немецкого языка
и музыки, училась в школе и стояла
в бесконечных очередях у ворот тюрьмы
в надежде, что у нее примут передачу
для родителей.

Поступила в Тбилисский педагогический
институт иностранных языков на
факультет английского языка и литературы
и получила разрешение экстерном
учиться на факультете немецкого
языка и литературы. А после второго
семестра перед экзаменами ее вызвал
декан и, отводя глаза, потребовал
отказаться от родителей.

Нора не отказалась.

Ее исключили из института,
из музыкального училища при
консерватории, которое она заканчивала.
К концу следующего учебного года,
когда великий кормчий изрек:

«Дети не отвечают за поступки
родителей», — Нору восстановили
в институте. За два месяца она
сдала экзамены за два года на двух
факультетах. А еще через год
вышла замуж и родила сына.
И тут грянула война.

Мужа забрали на фронт.

Мать Нору к этому времени уже
вернулась из заключения.

А 19 октября 1941 года всех
тбилисских немцев за 24 часа
депортировали под конвоем.
Норе, как жене грузина, разрешили
остаться. И дедушку, больного,
неподвижного старика,

оставили. В 1943 году получила
известие, что муж тяжело ранен.
Уже билет на руках, чтобы поехать
за мужем в госпиталь, но тут умер
дедушка, а в ночь после похорон Нору
арестовали. Ребенок остался на руках
у прислужницы прадедушки,
Католикоса Грузии.

Осудили ее по статьям 58-10 и 58-11
к десяти годам заключения и к пяти
годам ссылки и лишения прав.
Была она в Мариинских лагерях
Сибири на лесоповале и в
Норильских лагерях в Дудинке,
в тундре долбила кайлом
мерзлый грунт...

Ссылку отбывала в колхозе
Северного Казахстана, пасла телят.
Ее перу принадлежат около двадцати
сборников детских стихов и сказок
в стихах, а также лирические сборники.

Мои стихи

Жестки строки
О мире жестоком,
Ощетинены
Лагерной прозой.
Одиночка была
Их истоком
Там, где смертные грозы —
Не розы.

Эти строки,
Как тыщи осколков
Юных лет,
Размозженных террором:
О добре
Он кричал без умолку,
Мертвой хваткой
Сжимая мне горло.

Эти строки —
Лишь выкрики боли
Правды,
Брошенной
В пасть произвола.
Ослепленные

Правду
На бойню
Под конвоем вели,
Как крамолу.

Эти строки
Оплавлены скорбью:
Повелед
 человечность предавший
Вырвать начисто
С кровью и с корнем
Братьев,
Нас
И родителей наших.

Эти строки
Как стоны в пустыне
За колючкой
Погибших так рано...
С тех смертельных времен
И поныне
Сердце
В незаживающих ранах.

Туман над Курой

Душит ребенка
 мучительный кашель...
Личико синеет, синеет.
«Коклюш!» —
Головою качает доктор.
«Вашему ребенку надо дышать
 туманом...»

Я несу его в сад,
Повитый дымкой тумана.
Прислоняю его головку
К плечу моему.
На мгновение он затихает,
И — вновь!

Вновь приступ!
Дитя мое задышится,
Задохнется!
Задыхаюсь сама!
«Боже, ему помоги!»

Звезды, как сгустки тумана,
Но их не вдохнуть.

Где-то небо ночное сереет.
Да, над Курой туман!
Я с ребенком бегу,
Бужу паромщика:
— Надо ребенку дышать туманом.
Вот денги, только скорее!
Везите!..

Но паромщик отодвинул
Мою руку с деньгами.
И вот уже паром разрезает волны,
И волны точно сгущают туман,
Чтобы им дышать моему ребенку.
В плотном тумане — туда
 и обратно,
Туда и обратно.

Со скрежетом колеса
Катятся по стальному канату,
Наматывают спасительный туман.

Даже утренний ветер помедлил
И не разгоняет его.

Спасибо, Боже!..
Дитя на моих руках спит,
Сладко спит,
Дышит легко и спокойно.
Спасибо, доктор!..
Спасибо, паромщик!..

Спасибо, Кура!..
Слезы облегчения
С моих щек
Бегут на лицо ребенка,
Словно капли тумана.
Он жив — мой ребенок,
Он жив!..

За два дня до ареста

9 ноября 1943 года

— А где же дедушка мой?
— Он на небе у Господа Бога...

На тахте в зале
Лежит усопший сегодня.
И в зал вслед за сыном
Влетает соседский мальчишка.
С любопытством приподнимает
Простыню над белым лицом:
— Твой дедушка, Буби, твой!..

Сын к простыне прикоснулся,
Взглянул туда:
— Нет, это не мой дедушка!
Мой дедушка на небе у Господа Бога!..

Арест

11 ноября 1943 года

Полночь.
Дитя проснулось.
— Куда же ты, мамочка?..
— За елочкой для тебя, любимый!

В первый раз солгала ему.
В последний раз прижимаю
к сердцу
И со своим сердцем отдаю
соседке...

Арестованную уводят.
Но это уже не я.

На свидании со мной

ОЛП № 1. Баку. 1945

Сын долго молчит и смотрит так,	А теперь — другие...
Словно взгляд его обрезался	Ему пять лет.
О колючую проволоку.	— Это тебе кажется, Буби, мой
— Мамочка, — он в смятении, —	мальчик...
Мамочка, раньше глаза твои	Я и сама не знала,
Были голубые-голубые,	Что глаза мои выцвели
	От слез по нему...

Александр Солженицын

Март

Семнадцатого

Узел III

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТВОВАНИЯ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ
«КРАСНОЕ КОЛЕСО»



Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году в Кисловодске. В том же году отец его, подпоручик военного времени, погиб от несчастного случая на охоте. Мать, в войну кончавшая Высшие голицынские курсы в Москве, после революции стала стенографисткой и поселилась с сыном в Ростове-на-Дону. Там Солженицын кончил среднюю школу, затем физмат университета (еще успев до войны пройти заочно два курса филфака МИФЛИ). С осени 1941-го — в армии, осенью же 1942-го закончил ускоренный военный курс в Костроме. Затем назначен командиром разведывательной звукобатареи и в этой должности прослужил непрерывно на разных фронтах до своего ареста на переговорах в Восточной Пруссии в феврале 1945-го. Осужден по ОСО к 8 годам лагерей, а по окончании срока в марте 1953-го сослан навечно в Казахстан.

В 1956-м ссылка была с него снята, возвратился в Среднюю Россию, преподавал во Владимирской области, в сельской школе, а затем в Рязани до конца 1962 года, когда был напечатан «Один день Ивана Денисовича». После 1965 года Солженицын уже в СССР не печатал, подвергался резким нападениям властей и газет; в 1974-м, после появления первого тома «Архипелага ГУЛАГ», обвинен в измене родине и выслан за границу. С 1976-го живет безвыездно в штате Вермонт, США.

Другие его произведения: роман «В круге первом», повесть «Раковый корпус», очерки «Бодался теленок с дубом», киносценарии, пьесы, рассказы, публицистика и еще неоконченное повествование «Красное Колесо». «Март Семнадцатого» — 3-й «узел» исторической эпопеи «Красное Колесо», посвященной истокам и истории российских революций. Хронологически и композиционно «Марту Семнадцатого» предшествуют «узлы» «Август Четырнадцатого» и «Октябрь Шестнадцатого», публикуемые в 1990 году другими журналами. «...Нельзя давать все течение истории подряд, — говорил А. И. Солженицын в одном из своих интервью, — это выйдет очень длинно, невозможно для чтения. Я придумал концентрировать, создать «узлы»... В этой кривой истории, то есть в смысле математическом кривая линия истории, — есть критические точки, их называют в математике особыми. Вот эти узловые точки — как Узлы — я их подаю в большой плоскости, то есть даю десять, двадцать дней непрерывного повествования. Я выбираю эти точки. Главным образом там внутренне определяется ход событий, не внешние обязательно события, а внутренние, — те, где история поворачивает или решает...» «Март Семнадцатого» охватывает временной отрезок с 23 февраля по 18 марта 1917 года и занимает в Собрании сочинений А. И. Солженицына четыре тома (тома 15 — 18, Вермонт — Париж, УМКА — PRESS, 1986 — 1988).

© Александр Солженицын. 1987, 1988.

Печатается по изд.: Александр Солженицын. Собрание сочинений. Тома 17 (1987) и 18 (1988). УМКА — PRESS. Вермонт. Париж.

Автором разработана сложная архитектоника произведения, которая включает в себя игру шрифтами, специальными типографскими знаками (смотри главу 418 этой публикации, где теми же средствами, как, например, в киносценарии «Знают истину танки!», достигается эффект почти визуального,

«экранного» монтажа). Это последнее на сегодняшний день крупное произведение писателя, напечатанное им в изгнании. Публикуемые журналом главы из двух последних томов «Марта» отобраны самим автором по принципу сюжетной цельности.

В. БОРИСОВ

ТРЕТЬЕ МАРТА

пятница

391

(день)

Недолго радовался августейший Верховный Главнокомандующий новостям минувшей ночи. Уже под самое утро он отправил в Ставку свой торжественный Приказ № 1 — и едва прилёг, в сапогах на диван, воображая, какое счастье ждёт Стану при пробуждении, — его самого через полчаса тронули за плечо: царского Манифеста не объявлять, задержать!

Что случилось? Ужасной тревогой объяло сердце! И... и...?

Нет, назначение Верховного не останавливалось.

Слава Богу. Россия во всяком случае спасена.

Но что там творилось во Пскове? Но что там мялся, упирался, цеплялся Ники?..

А может быть, пусть и остаётся? Уж никак не хуже Миши. Но и — Аликс тогда?.. И опять все дразги сначала?..

И так в раздирающей неизвестности потянулся сегодняшний день, и всё не было полной радости.

Почти никто не знал роковой тайны, качания исторических весов, — и внешне Тифлис ликовал. Со вчерашнего вечера извергали газеты потоки революционных новостей. Ошалело радостный городской голова Хатисов вкатывался на приём — и был принят ласково. Отсюда нёсся разослать по всем городам, что на Кавказе нет коллизий между властью и населением. И — на экстренное заседание городской думы, доложить о приёме у Наместника. Что Верховный Главнокомандующий заявил: всякий, кто, состоя на государственной службе, осмелится не признавать распоряжений нового правительства, — будет немедленно смещён. Населению предоставлена полная свобода собраний! И распорядился освободить из бакинской тюрьмы политических заключённых.

И восточные улицы Тифлиса, и особенно Эриванская площадь, и у Куры, весь котловинный город под широкой заслоняющей горой Давида с белой церковкой на склоне и стрелой фуникулёра на вершину, — был залит ликованием, и всюду красное. В железнодорожном посёлке „Нахаловка“ происходил радостный митинг.

Они не знали, какая шла раздирающая борьба в сокровищах!

Августейший Верховный всей душой был заодно с этим народным ликованием и с новой властью. И выходил на обширный балкон дворца. И слал телеграмму князю Львову, так доброжелательному всегда раньше. Что просит его сиятельство с этой минуты дер-

жать великого князя в курсе положения дел в империи, ибо только так Верховный Главнокомандующий может исполнить свой долг по руководству армиями.

Но качался Манифест, качался трон — мог качнуться и Верховный. А здесь, в Тифлисе, пост верный и достойный.

И — помощи телеграфу, обгоняющий наши желания! — послать князю Львову ещё одну телеграмму, шифрованную и весьма секретную:

...С удовольствием могу засвидетельствовать, что народности Кавказского края относятся ко мне с доверием. Назначение нового Наместника сейчас было бы крайне опасно. Я признавал бы крайне желательным для общего дела — сохранить за мной звание Наместника. А на время войны пока — мог бы оставить тут заместителя...

А между тем от Алексеева притекла среди дня запутанная и опасная телеграмма. Он как будто цель имел объяснить главнокомандующим задержку Манифеста, а на самом деле выдвигал план, как противостоять Государственной Думе и её Председателю, и быть может даже новому правительству? Тайнственное совещание главнокомандующих наподобие заговора?

О нет! Видит Бог, отношения Николая Николаевича к новой власти ничем не омрачены, и он хочет сохранить их в чистоте. Никакого заговора он не допустит, это претит его рыцарской натуре!

И он ответил Алексееву с холоднейшей настойчивостью. Что выражать мнение Армии доверено единолично Верховному, — хотя конечно он и будет осведомляться о мнении главнокомандующих. А священный наш долг — выполнить долг в бою с врагом. Выехать в Ставку великий князь сможет лишь через несколько дней, а пока будет давать отсюда соответственные указания.

Хотя Николай Николаевич готов был крыльями сорваться и тотчас же лететь через Кавказский хребет в Могилёв, — но и кавказское наместничество не иголка, не бросишь так легко, да ещё при безмерной любви населения к тебе. А кружной железнодорожный путь ещё более растягивал время переезда.

Но очень беспокоит передача трона Михаилу. Это неминуемо вызовет резню. А при этом не указан следующий наследник: кто же будет после Михаила? Об этом важно знать мнение председателя совета министров — он там у самого кипенья событий.

И снова слал генерал-адъютант Николай шифрованную и весьма секретную — князю Львову.

...Мне необходимо срочно знать ваше мнение по вопросу о Манифесте. Лично я опасаясь, что отречение в пользу великого князя Михаила Александровича — усилит смуту в умах народа, ещё при неясной редакции: кто же наследник престола? Вместе с тем мною получены сведения о готовящемся соглашении с Советом рабочих депутатов, о созыве Учредительного Собрания. Как Верховный Главнокомандующий, отвечающий за успех наших армий, должен категорически высказать, что это было бы великой ошибкой, грозящей гибелью России. Ни минуты не сомневаюсь, что Временное правительство объединяет вокруг себя всех патриотически мыслящих русских людей. Для общего успокоения умов необходима будет торжественная присяга императора конституционному образу правления...

И с какой охотой, с какой свободой и сознательностью такую присягу тотчас бы дал Николай III!

* * *

Предатели народного счастья... Многолетние воры земли русской... Все эти совы черного монархического бора... Тугоухая старая власть...

* * *

(вечер)

Вечером надо льдами, сугробами гельсингфорсского рейда с чернеющими силуэтами кораблей закруживало метелью. Порошило на палубы. Часовые с головой кутались в тулупы.

Вахтенный начальник флагманского линкора «Андрей Первозванный» лейтенант Бубнов не сразу заметил, что на соседнем линкоре «Павел I» на мачте висел красный боевой огонь, а одна орудийная башня — да! развернулась сюда! на «Андрея»!

Глянул наверх по своей мачте — и у себя на клотике увидел такой же красный фонарь.

Но он не приказывал поднимать! Что такое?

Пошёл на мостик, узнать. Сверху навстречу свалился дежурный кондуктор:

— Ваше высокоблагородие! На корабле бунт! Команда разбирает оружие!

Послал кондуктора к старшему офицеру, сам командовал с мостика вызвать караул наверх — и спустился на палубу.

Караул быстро выбежал с примкнутыми штыками.

Но уже, в мелькании снега и ветра, при палубных светах, валила сюда по палубе вооружённая толпа матросов.

Заорал им:

— Стой!

Толпа остановилась.

Караулу:

— Зарядить!

Ах, ещё заряжать! — и бегут, скользя, сюда.

А караул мнётся, не заряжает.

Бубнов вырвал одну винтовку — сам зарядить, — но со спардека сверкнул выстрел — и лейтенант упал.

А командир «Первозванного» каперанг Гада, только что проводив в штаб флота командира бригады линкоров контрадмирала Небольсина, спустился в свою каюту и сел пить чай при настольном зелёном абажуре.

Но услышал — горн? — да. Да.

Поставил стакан, ещё прислушался.

Да как будто ружейный выстрел? И не один?

Насадил фуражку, вышел в коридор.

По коридору бежали боцман и кондуктор с окровавленной головой:

— Команда стреляет!.. Убили вахтенного начальника!

Наружу!

Не выйти, стреляют по выходу.

Вниз, в кают-компанию.

Тут — с десяток офицеров.

— Держимся вместе, господа!

С чем? С револьверами...

— Охраняйте вход!

И к телефону. И успел сообщить в штаб.

С револьверами офицеры столпились у входа.

А матросы стали стрелять в кают-компанию — сверху, через палубные иллюминаторы.

Ранило мичмана, убило вестового.

Жужжали и цокали пули. Весь пол был в осколках стекла. Мичмана положили на диван, врач перевязывал его.

Сверху слышалась исступлённая матерная брань матросов.

Выключили в кают-компании электричество.

Капитан Гадд воскликнул:

— Только — образумить! Кто за мной?

И — в коридор! Но на палубу опять не пустил обстрел.

Оттуда кричали:

— Мичман Эр! — наверх! — (Его любила команда.)

Каперанг отпустил его.

— Может вам удастся успокоить.

Но осада кают-компаний не утихла. В темноте грохали выстрелы — и пули пронизывали тонкие переборки. Ранило ещё одного офицера.

Тогда каперанг, уже один, ринулся наружу, под обстрел.

Его — не сразило. И он в светах редких ламп быстро, бесстрашно вошёл в толпу:

— Матросы! Я тут один. Вам ничего не стоит меня убить. Но — выслушайте!

— Кровопивец! Не желаем! — кричал один.

— Спросите его, пусть покажет, кто здесь на нашем корабле пил кровь и чью...

— Вы нас рыбой морили! Офицеры не допускали нас к вам жаловаться!

— Неправда! Каждый месяц я обходил всю команду. И всегда говорил: приходите ко мне, если что. Верно?

— Верно! Верно!

— Мы ничего против вас... Он врёт!

Охрипший каперанг шагнул на возвышение — говорить.

А по сходням взбегала новая страшная толпа — это были матросы с «Павла», уже покончившие у себя. И теперь, с разгону, увидев каперанга на возвышении:

— В штыки его!

И перед ними — кто расступился, а другие сомкнулись в защиту капитана.

И павловские отступили.

Тогда мичман Эр вскричал:

— А ну, ребята! На «ура» нашего командира!

И его подхватили на руки.

Но отнесли — в каземат: «Тут целей будете».

Капитан из каземата по телефону в кают-компанию велел офицерам отдать оружие и идти в каземат.

Один молодой мичман громко безумно хохотал. Его повели в лазарет, но матросы не выдержали хохота и застрелили мичмана по пути.

По кораблю там и здесь раздавались предсмертные вопли: это ловили сверхсрочных унтер-офицеров и кондукторов и убивали их.

После ранения в Ревеле вице-адмирала Герасимова Непенин телеграфировал в Думу, просил послать в Ревель самого Керенского для уговоров.

Но и здесь, на рейде в Гельсингфорсе, что-то начиналось. Днём произошла матросская манифестация в районе минной обороны. Непенин ездил туда, успокоил.

Отдал распоряжение по всем кораблям не увольнять матросов на берег.

День, начавшийся таким радостным всплеском, тёк мучительно. Откуда-то возник слух, что на кораблях будут беспорядки. Да почему же бы? Не помогло прямодушие адмирала, ежедневное открытие

матросам всех происшествий? Не помогло, а скорее повредило: теперь, всё зная, на баках выражались открыто и резко.

Рассказывали офицеры с разных кораблей, что ощущают исподлобное накопление матросского недоброжелательства.

Но почти ничего явного за день не произошло. Команды на кораблях занимались. Блестяще солнечный прошёл день. Но так затемнилось на душе, но такая тревога обняла, что в сумерках капитан Ренгартен, весь на вьющихся нервах, сказал князю Черкасскому:

— Миша, мне кажется, мы идём к гибели. Нас может спасти только чудо.

— Ну, не так уж! Ну, не преувеличивай! — отстаивал Черкасский.

Шестнадцать часов назад они встречали этот благословенный день с шампанским — и чего угодно ожидали, но не такого поворота во вне и в себе. Тогда, возбуждённой ночью, нельзя было представить, что впадут к вечеру в такую тоску. Сейчас нельзя было представить, почему они могли так радоваться минувшей ночью.

Преодолевая томление, надумали составить новый приказ по всем командам: разъяснить сегодняшнее новое положение. Которого и сами не понимали.

Но не кончили. Смутные предчувствия оказались верны.

Едва стемнело — «Павел I» поднял красный огонь и развернул оружейную башню на стоящего рядом «Андрея Первозванного».

И после колебания «Андрей» тоже поднял боевой красный фонарь.

Крупные жесты кораблей, такие грозно-выразительные на морских расстояниях.

И капитан «Андрея» успел по телефону: мятеж!!

На обоих кораблях слышались ружейно-револьверные выстрелы.

С кем же могла быть перестрелка, если не с офицерами?

В воздух?

И кажется слышалось «ура».

И тогда в колонне 2-й бригады, линкоров, стоящая рядом с теми двумя «Слава» тоже подняла красный фонарь.

Как раз на линкорах команды ещё не знают хорошо своих офицеров, не свычены, не были в боях.

И отзываясь издали, из колонны 1-й бригады, дредноутов, подняли красные фонари «Севастополь» и «Полтава».

А «Петропавловск» и «Гангут» не подняли.

Одинокие зловещие красные глаза смотрели друг на друга через темноту. Что они значили?

Радиосообщений не было, и с «Кречета» можно было только гадать: что там происходит, неотвратимое?

Если бунтуют команды — что ж офицеры? Куда деваться офицерам на восставшем корабле?

Стрельба... «Ура»...

Когда Непенину доложили о бунте, он налил жаром. Поколебался, примерился.

— Какой из дредноутов может открыть огонь по «Павлу»?

Но и тотчас же сам себя осадил:

— Нет, крови проливать не буду.

Что же творилось? Пришло сюда...

Каменеющий Непенин велел построить на палубе, под метелью, команду «Кречета».

И перед этим малым строем произнёс речь — тяжёлым голосом, со всей своей открытостью. Что он хотел — во всём напрямую, откровенно, — но какие-то мерзавцы мутят команды. Что он любит Россию, и служит только ей, и вместе с народом присоединился к народному правительству — чего ещё? — а поднимать мятеж, стоя против немцев, могут только негодяи.

— Да кто б там ни был! — сорвалось у него. — Пусть страной управляет хоть черт! Но мы должны стоять против немцев и защищать Россию! Я — всё сказал, я — весь тут, перед вами. Кто за меня — останься на месте, кто против — два шага из строя!

Кто-то крикнул:

— Ура адмиралу!

И другие:

— Ура-а-а адмиралу! —

и строй рассыпался, кинулись к Непенину, подхватили, стали качать.

Когда успокоились, Непенин обратился:

— А есть среди вас охотники, кто умеет говорить? Кто пойдет по кораблям разъяснить? Два шага вперед.

В этот раз ступанули многие. Все были увлечены. Непенин сказал:

— Разделитесь по пятеро. Идите по кораблям. Повторите всё, что я сказал. И скажите, что после вас следом приду я сам!

А между тем с какого-то корабля доносился стук пулемёта.

Неужели — расстреливали? Свои — своих?..

Везде кипело, убивалось — в темноте, неведомо, под этими красными огнями с клотиков.

С разных судов несло толпяное «ура».

Стрельба прекратилась.

Перебили, кого хотели?..

Крики росли и перебрасывались с корабля на корабль.

Ещё только вышли на берег посланцы с «Кречета» — как с других кораблей валили толпы, и все сюда — к «Кречету».

Вот оно! Где-то во Пскове мог отречься царь, где-то в Петрограде могло властвовать Временное правительство, — здесь в мартовской ночи и вьюге, на тёмном ледяном море, уже принявшем первые офицерские трупы, в пустынности рейда, при красных фонарях и тонких лучиках вдоль мачт, — был свой закон, свой суд, своя революция края и гибели.

Подходящие матросы собрались в большую толпу перед «Кречетом». На митинг.

Только стрельным огнём можно было задержать их на сходнях, и то недолго.

Но не только не хотел проливать кровь Непенин, а было ему всего обиднее, что он первый из крупных военачальников был готов к этой революции ещё до её начала, опережал её ход своею поддержкой, — и теперь со своими офицерами должен был ожидать расправы от собственных матросов?

Освещая фонарями судна толпу на берегу в чёрных бушлатах и бескозырках, адмирал послал пригласить на «Кречет» по пять депутатов от каждого корабля.

Крики в толпе усилились: слать ли депутатов? и кого?

Тем временем линкоры сигналили дредноутам — арестовать офицеров.

Команда «Кречета» просила разрешения поднять и им красный огонь.

И адмирал — разрешил...

Пополз, пополз вверх красный фонарь. Адмиральское судно присоединялось к мятежу!

И от минной дивизии слышна была стрельба.

Всё начавший «Павел I» теперь дал радио: «Ораторы, в воздух не говорить, немец услышит!»

Пришли депутаты на «Кречет». Выстроились на командной палубе, и адмирал говорил с ними.

Его штабным декабристам жалко было на него смотреть — так он устал, так травился, с таким трудом сдерживался от гнева. Старался вести хладнокровные переговоры, узнать, чего ж они хотят? —

и депутаты объяснили один за другим: чтоб говорили матросу «вы» и относились с уважением; чтоб на улице позволяли матросу курить..

Только-то?..

И из-за этого сейчас на линкорах убивали офицеров и кондукторов и выбрасывали за борт?

Непенина разрывал гнев к чёрному тупому строю. И, сбитый, плотный, круглоголовый, он, воспаляясь, стал кричать.

— Офицеров убили — сволочи!!! И сволочи зажгли красные огни! И из трусости подняли стрельбу в воздух! А я — презираю трусость! И ничего не боюсь! И я вызываю мой флот стоять против немцев! — а революция в Петрограде сделалась и без нас!

Стояли депутаты смирно. Хорошо стояли. Слушали.

Тут как раз поднесли, и уместно было прочесть вслух, длинную социалистическую телеграмму Керенского, в конце призывавшую подчиняться Непенину, поскольку он признал Временное правительство.

Телеграмма очень успокоила депутатов.

Разрешил адмирал на завтра провести собрания команд на судах, а потом в столярной мастерской на берегу — собрание депутатов от команд.

Депутаты расходились. Один из них сказал:

— Да ничего не исполнит, что обещал.

Ренгартен схватил его за рукав, стал объяснять, давась собственной горячностью.

О брат-народ, в каких ты предрассудках! Да как же прорваться к твоему сердцу? Да как же осветить твой разум? Как же ты не отливаешь друзей?!

(Это можно понять: нижние чины Балтийского флота набирались из петербургских рабочих, более удобных для обучения механизмам. А во флоте они зарабатывают меньше, чем на заводах, — и что там внушается в машинных отделениях и кочегарских командах!..)

Вокруг них собралась кучка. Ренгартен говорил, говорил — и поражался их бестолковым, кажется, бессвязным и даже бессмысленным ответам. И даже тупым лицам. Он не улавливал их логики, и внутренне дичился: неужели вот с этими матросами они — равноправные русские граждане?

Охрип. Помогал ему — писарь его, вернувшийся с увещания других команд.

В конце-то концов — может быть и можно уговорить, объяснить, понять друг друга. Но — сколько надо слов потратить! Но — какая пропасть!

После ухода депутатов Непенин сразу сдал, осел, потерял и гнев, и силы.

Посидели в полной потерянности, говорили вяло.

С каких кораблей удавалось — сообщали по радио, сколько офицеров убили, и кого. Кого вскинули на штыки. Кому разбили череп кувалдой. Только тут узнали, что контр-адмирал Небольсин застрелен на льду.

Слушали речь адмирала — и не сказали! Непенин разрывался перед ними, — а они уже убили Небольсина!.. (Цусиму пережил — а вот...)

Вместе с кронштадтскими потеряли, скоро получится, — половину офицеров, погибших при Цусиме.

Здесь, на «Кречете», сами-то себя отстояли — на ночь? на полночь? на два часа?

Надо было просить поддержки. Присылки членов Думы.

Отправили телеграмму в Ставку и в Думу:

«Балтийский флот как военная сила не существует».

ЧЕТВЕРТОЕ МАРТА

суббота

408

Прошлую ночь морские декабристы пылали от счастья, эту — от страдания и страха. Отказывался ум представить: что теперь флот? И как можно дальше управлять матросами-убийцами? И что с ними самими случится к утру?

Выручка от Государственной Думы, в виде оратора или двух, не могла прийти раньше дневных часов. Но вчера вечером — такие теперь свободы — на «Кречет» приходил для прямого разговора с правительством машинист-депутат Сакман. И, оказывается, Керенский с той стороны ответил ему, что просит матросов немедленно прекратить разгром русского флота и напоминает, что вице-адмирал Непенин открыто признал власть Временного правительства и безусловно ему подчинился, а потому матросы должны верить его приказам. Впрочем, одновременно заверил Керенский матроса-депутата, что Временное правительство гарантирует и матросам, как всем гражданам, — полную свободу агитации и пропаганды.

Предстояло пережить сегодняшний день. Балтийский флот на стоянке был — отдельный мир, и ничто происходящее в России не могло сюда перенестись через ледовые пространства.

Только — радио, что уже и Михаил отрёкся.

Но тем более это не добавляло устойчивости здесь.

Однако Адриан Иванович, казавшийся с вечера совсем обмякшим, вызвал их перед утром с блистающими глазами, с возвратившейся подвижностью впечатлительного лица. Плотно сбитый, он был налит, как бомба. И высевал из-под пушистых усов:

— Начавши путь — никогда не надо его бросать! Хуже нет шатаний и перемётов. Ошибкой было бы сейчас нам изменить своим убеждениям или изменить свой метод. Все эти кровавые формы, через которые идёт движение революции, — в какой-то мере, значит, неизбежны. Продолжаем наш метод — открытое обращение к морякам. Сейчас же, раньше чем они проснулись. Вот, доработаем текст.

Доработали — и ещё затемно, в 5 утра, Ренгартен принёс на радиотелеграф обращение адмирала Непенина ко всем командам.

Чтоб не возникало недоразумений, говорилось там, командуемый флотом вновь объявляет офицерам и матросам о своём непреклонном решении твёрдо поддерживать власть нового правительства. Требуем от всех чинов флота дружной работы для поддержания порядка. Верит в полное единение офицеров и матросов, отвечающих своею честью перед родиной за её будущее.

Нельзя было быть прямой, честней, открытей!

Линкоры почти тёмные стояли, с редкими лампочками, но с теми же грозными застывшими одинокими багровыми фонарями на клотиках.

Уверенность адмирала передалась его приближённым. Пошли попить горячего крепкого чайку, перед началом трудного дня.

Но ещё не кончили пить — прибежал перепуганный радиотелеграфист — и принёс ответ с неизвестного корабля, от неизвестных неспящих людей, из предрассветной мглы.

«На радио Непенина. Товарищи матросы, не верьте тирану! Вспомните о приказе отдания чести! Нет! От вампиров старого строя мы не получим свободы! Смерть тирану — и никакой веры от объединённой флотской демократической организации».

Прямая угроза ещё усилилась от неизвестности авторов. Как во

всяком сигнале с корабля на корабль, была в том загадочность гигантов. Почти не поверить, что передают простые люди, какой-нибудь неспящий телеграфист,— а будто невидимое корявое чудовище, пошевелившее лапой.

Безумие! Полный развал! Так разумно задуманный государственный переворот, так великолепно начавшаяся революция — во что превращалась!

И рассчитывать можно было...— только на чудо?

Уже и не лечь. Уже и не успокоиться.

Влачить на себе день как рабское ярмо.

Что случится сегодня?

Черкасский успокаивал: по теории колебательного движения повторения колебаний неизбежны, но они будут затухающими.

Тут прекрасная мысль пришла Ренгартену: пусть адмирал отдаст повсеместное распоряжение снять царские портреты. Это произведёт хорошее впечатление.

Адриан согласился. Послали радиотелеграмму, всем.

415

С «Петропавловска» потребовали от имени команды арестовать на «Кречете» старшего лейтенанта Будкевича, которому они почему-то не верят. Почему?.. И — как этому противиться, если требует, волнуется целый дредноут?

Сухопутные команды потянулись с утра сегодня в порт, желая видеть адмирала, желая иметь у себя совет депутатов.

На обширной припортовой площади перемешались солдаты, матросы, слышались «ура».

Непенин до девяти часов принял матросских депутатов, выслушал. Приказал приготовить для их собрания в столярной мастерской чаю и хлеба.

После девяти принял офицеров, пришедших с сухопутными частями. Дал разрешение сухопутным полкам «сорганизоваться».

Понятно было, что надо протянуть немного времени, пока сюда дойдёт благодетельное влияние новой власти, даже сегодня ещё могут успеть сюда депутаты Думы. Ведь в Ревеле посланием Керенского почти восстановлен порядок. (И комендант возвратил оружие полиции и жандармерии.) В Петрограде уже опубликованы оба манифеста об отречении.

Но в последнюю ночь не выдержал флот! Этих убийств (ещё все подробности их, ещё все имена не были известны на «Кречете») — нельзя было отодвинуть из памяти, но не момент был и упрекать матросских депутатов или даже задумывать кару. В этом и трагичность революционных убийств: они не судимы, не оспоримы, даже не требуют извинений: убили — и убили, всё, не повезло кому-то.

Надо было широким сердцем понять смущение этих темных людей, всегда обделённых социальной справедливостью, и чью-то злую предрассветную телеграмму с угрозой убить самого адмирала,— надо было видеть всю широкую картину начавшегося освобождения России и в этой картине удерживать Балтийский флот до просветления.

Больше всего изумлялся Непенин этой матросской вспышке при правоте своего поведения: ведь он не пытался обманывать, он всё объявлял матросам тотчас, как узнавал сам, он первый из крупных военачальников признал революционное правительство,— а всё пошло так, как если б он упирался за царя до последнего. Почему? За что погибли его офицеры?

На такие вопросы революция никогда не отвечает, уверенная в своей правоте.

Но и Непенин не пошатнулся в своей правоте. И в правоте своих горячих приближённых — Черкасского, Ренгартена, Довмонта. Если кто был неправ, то неправ был тот, кто столько лет затягивал своё

сопротивление прогрессу, свободному развитию, слиянию всех русских людей как равных граждан.

Но это всё ещё исправится, дали бы только срок. Сам Непенин же исправит у себя во флоте.

Похоронит своих мертвецов.

Однако с каким же лицом теперь смотреть на матросский строй — и в каждом подозревать убийцу?

Вдруг — в двенадцатом часу передался какой-то слух, не радиограмма, а слух, да как? через вестовых, со смущением, что будто... будто... на городской площади командующим флотом объявили — начальника минной обороны вице-адмирала Максимова!

Ренгартен, краснея, доложил Непенину, как полный вздор.

Что за, правда, вздор? как это матросы в городе сами могут объявить нового командующего?

Но не успели ни удивиться, ни посмеяться, — через 10 минут по набережной подкатил автомобиль с красным флагом — и из него направился на «Кречет» — сам дюжий Максимов, с ним рядом — непенинский же штаб-офицер для поручений капитан 2-го ранга Лев Муравьев (декабристская фамилия!) и несколько матросов, очень злобно глядящих.

Так все вместе они и ввалились к Непенину, матросы со сжатыми бровями и губами, руки на карабинах, Муравьев с весьма бесстыдным независимым видом, а Максимов с блуждающей — или даже блудливой? — улыбкой на крупном лице.

Адмиралов оставили одних, и Максимов руки разводил, объяснял с сильным чухонским акцентом:

— Вот, Адриан Иванович! Только что я был арестован, сейчас возведён в командующие флотом, а завтра буду повешен.

Не рассказал, как же так: из-под ареста и сразу в командующие? Что-то им обещал?

— Отказаться — счёл невозможным, чтобы не подорвать боеспособность флота.

Матросы оставили их не вовсе одних, за дверью стояли, нависали.

Непенин сидел в полном изумлении. До позавчерашнего дня его мог сместить только Государь. Но вот Государь сместил себя сам. Не сразу можно было представить, кому теперь подчинялся командующий Балтийским флотом. Правительству и даже морскому министру подчинения не существовало. Да в новом правительстве морского министра вовсе нет, а по совместительству Гучков, но Гучков в эти самые часы по телеграфу вызвал к себе в Петроград контр-адмирала Кедрова, начальника дивизиона миноносцев Рижского залива, вызвал, не спрашивая мнения командующего и, очевидно, задумывая тоже какое-то назначение. Гучков вообще-то был единомышленник всех младотурок, но проверять и поддерживать единомыслие сейчас невозможно было по телеграфу.

Однако что-то надо было решать.

Однако что же решать, если «Павел I», откуда всё вчера началось, уже разослал по всем кораблям радиотелеграмму: не выполнять распоряжений Непенина, а только Максимова?

На «Павле» был такой «центральный комитет депутатов кораблей».

Нет, сдать власть Непенин не может — это компетенция правительства.

Но и помешать — как он может?

Как бы Непенин ни думал, но власти у него уже не осталось.

Однако она оставалась на его плечах и на сердце.

Во-первых, решил доложиться. — уже не в Ставку, но в Государственную Думу, обо всём происшедшем.

Написал — и сам хотел пронести в радиорубку.

Но матросы у дверей не пропустили его.

Он был как бы арестован.

Телеграмму — прочли и тогда допустили адъютанта отнести.

Как же было теперь — не передавать власти?..

Решили с Максимовым во избежание двоевластия подписывать все распоряжения вдвоём.

Решили, что Максимов, взяв на автомобиль кроме красного флага ещё флаг командующего флотом, поедет к коменданту Свеаборгской крепости установить единство действий.

При нём уехала и вся сопровождавшая группа матросов.

Адмиралу возвращалось ходить по своему «Кречету», где бурлила возбуждённая толпа, синие голландки вперемежку с серыми солдатскими шинелями.

Штабные предложили составить от имени Непенина приказ по флоту, что он приветствует новый строй.

Уже писано было и объявлено и вчера и сегодня на рассвете, но что ж? Ещё лишний раз в несомненную точку, обстоятельства таковы.

Вконец изнервленный Ренгартен пришёл рассказать, что печатается во флотской типографии, «депутатским решением»: тысячи листовок с записью ночного разговора «депутата» Сакмана — с Керенским. И заявление Керенского, что матросам обеспечивается полная свобода агитации.

Тем временем оказалось, что «комитет матросских депутатов» не только на «Павле», но их — три в разных местах, и они разных мнений.

Черкасский предложил: пока есть связь, пока Непенину доступна телеграфная рубка (команда «Кречета» вела себя покойно) — связаться с генеральным морским штабом в Петрограде и просить Керенского к аппарату на разговор.

Верно!

Черкасский пошёл вызывать.

Непенин старался не рассеять твёрдости. Всего несколько часов надо было перестоять!

Принесли вестовые новость, что на собрании команд в столярной мастерской избирали новый штаб флота! — и Непенина тоже выбрали в штаб.

И тут с набережной вступила группа вооружённых матросов, человек двадцать, а сорок осталось за сходнями, — и объявили, что арестуют всех офицеров «Кречета».

Им ответили, что адмиральское судно и штаб не могут остаться без офицеров.

Погудели, оставили нескольких — флагманского штурмана, инженера-механика, священника, трёх-четырёх в штабе — Черкасского, Ренгартена, Сполатбога, — а остальным скомандовали выходить, арестованы.

И Непенину.

Нечего делать. Адмирал пожал плечами, подчинился.

Верные декабристы смотрели на него с разрывающей тревогой.

И сразу же, тесной толпой человек в шестьдесят, повели их по набережной, в сторону крепости.

*Привет тебе, заря освобожденья
От рабства подлого под игом палачей!*

(«Русская воля»)

И опять разбудили великого князя до света. И опять сенсационным сообщением, что Михаил — тоже отрёкся. Да пришёл и сам текст отречения его.

И Николай Николаевич мгновенно понял как весть благую и да-

же счастливую. Сознанием, быстро пришедшим в бодрствование, он оценил, что отречение это — благо для России (как и отречение Ники). Что Михаилу — непосильно было справиться с ответственностью короны, так лучше с самого начала и отречься.

И — полнота власти Верховного Главнокомандования освободилась от подчинения этому ничем не отличенному мальчику.

Но — мерзостью было в отречении — передавать власть Учредительному Собранию. Какому? С чего вдруг Собрание? Зачем эти французские штучки для России?

Впрочем, это дело долгое, когда-нибудь после войны. А пока все высшие усилия народа возглавит Верховный Главнокомандующий. А существует глубокое верное монархическое народное чувство. И оно конечно обратится к избранию царя.

И — смутно, горячо постукивало сердце предчувствием.

В новой ситуации, однако, надо было дать срочные указания Алексеву. И Николай Николаевич тотчас же послал ему. Что и в новых обстоятельствах подтверждает прежние свои решения. И — ещё особо теперь повелевает всем войсковым начальникам разъяснить чинам армии и флота, что они должны спокойно ожидать изъявления воли русского народа, а пока повиноваться законным начальникам.

Это — замечательно тонко получилось, Николай Николаевич не вошёл в конфликт с правительством, не восстал прямо против этого богомерзкого Собрания — но и не поклонился ему. *Изъявление воли русского народа* — это да, оно конечно будет. А понимай — как хочешь.

Уж так возбудился великий князь, теперь нечего и прилегать заснуть, слишком отличное настроение! Пружинный, готовный, перебраживал морем ковров по залам дворца, — ведь его предстояло покинуть, а очень его полюбил Николай Николаевич. Всё здесь было по-восточному пышно — и какие пышные он устраивал здесь приёмы! Вот — зашёл в ботанический сад, прошёлся под пальмами. Вот — стал в зале у громадного зеркального окна — и благодарно смотрел на утренний Тифлис, прилегший к Куре под горой, такой покорный и приветливый к нему всегда.

Уже разворачивалась южная весна, невозможно поверить, что на севере — ещё в шубах.

Что на севере хотя революция и благодетельная, жданная всеми честными людьми, — но и какие-то эксцессы, волнения, на которые жаловался Алексеев. Волновал немного и Балтийский флот, что-то там расшаталось. Впрочем, новейшие сведения от Алексева успокаивали: что благодаря юзограммам министра юстиции удалось прекратить кровопролитие и радиотелеграфирование, команды дали обещание.

Пришла от Алексева и такая отдельная телеграмма: что отрекшийся Государь (Алексеев всё ещё называл «Его Величество») предполагает пробыть в Ставке ещё несколько дней.

Вот как? И для какого дела, зачем? Непонятно.

Но — важная ориентировка. Более всего не хотелось бы сейчас — встречаться с Ники. Никак.

Но если выехать из Тифлиса не торопясь, послезавтра, да ещё три дня в пути — так вот за это время Ники и уедет.

Уехать наскоро и нельзя: на Кавказе свой обширный церемониал прощания, и надо уметь выдержать его с любовью. Надо сохранить за собой сердца Кавказа — да и сам Кавказ, некому его передать. Вполне возможно, что, по грузинскому обычаю, город даст наместнику прощальный обед — великолепный, достойный, обильный, долгий, какой затягивается от середины дня — и в ночь.

А пока сейчас назначена была необычная аудиенция во дворце: по просьбе милого Хатисова великий князь принимал его вместе с двумя видными социал-демократами — Жордания и Рамишвили.

Странная публика, конечно, член императорского дома принимал социалистов! — но таковы времена.

А очень оказались симпатичные, приличные, рассудительные люди, никакие не бомбометатели. И Хатисов же с ними какой приятный, блестят пронизательные чёрные глаза. Беседа сложилась сердечная. Великий князь ещё раз заверил их в своей полной лояльности новому режиму, — а Хатисов подчеркнул, что в Тифлисе не понадобилось, как в других российских городах, создавать никакого нового общественного органа с функциями правительственной власти: чистосердечное поведение великого князя устранило всякие подозрения и всякий конфликт.

О да, о да! И Николай Николаевич ещё раз заявил себя искренним приверженцем нового строя. И, как уже обещал, все должностные лица, вызывающие сомнения в их лояльном отношении к новому строю, будут уволены. А все политические — уже освобождены. А жандармские управления все упраздняются... (Он не имел в виду железнодорожных жандармов, которых снимали какие-то таинственные банды.)

А каково, осведомился великий князь у социалистов, отношение рабочего класса к войне?

Те заверили, что рабочий класс желает победы над врагом.

— Я так и полагал, — горячо одобрил великий князь. — Я знаю, что вы — за защиту родины. Уеду — и, надеюсь, вы тут...

А Хатисов ещё раз заверил, что широкие массы приветствуют назначение великого князя Верховным Главнокомандующим, хотя... Хотя вызывает много толкований то обстоятельство, что приказ о назначении произведен не Временным правительством, а бывшим царём, да ещё в самый момент отречения.

Увы, при изменившейся обстановке это обстоятельство действительно омрачало торжество самому великому князю тоже. Только и оставалось ответить, что назначение последовало всё же *до* отречения, а вслед за тем санкционировано Временным правительством, — так что и можно считать его как бы назначением Временного правительства. (Всё так, но для себя-то: разве совет министров во время войны выше Верховного Главнокомандующего?)

А едва социалисты ушли — уже нетерпеливо дожидалась мужа Стана: срочно приехал из Крыма сын её, пасынок великого князя, Сергей Лейхтенбергский, князь Романовский, — и всю эту беседу она дожидалась с ним и уже предвляла мужа о чрезвычайном и авантюрном предложении Колчака!

Вошёл сын, и мать осталась присутствовать.

Что же такое?? Молодой человек, промчавшийся на двух смежных миноносцах («Строгого» закачал шторм, от Феодосии адмирал дал посланцу более крупного «Пылкого») и затем экстренным поездом из Батума, — не имел при себе никакой бумаги? Да поручение и было не для бумаги. Торжественно приняв положение «смирно», лейтенант отчеканил несколько доверенных ему фраз.

Адмирал Колчак считает положение в Петрограде — катастрофичным, в Ставке — сомнительным. Главнокомандующие всеми западными фронтами не принимают мер против мятежа. Россия в разгар войны остаётся без реальной власти. Адмирал предлагает Его Императорскому Высочеству для спасения страны — объявить себя диктатором. И ставит в его распоряжение Черноморский флот для сомкнутия с Кавказским фронтом. Это будет — цельная нетронутая сила, с которой посчитается Петроград. Всё.

Так неожиданно, таким ударом — как буря морская в лёгкие!

Диктатором? Какая дерзость!

Но и какой военный шаг!

Диктатором? — это даже больше Верховного Главнокомандующего?

Нет — меньше, меньше! — горячо уверяла Стана. — Это — не из рук правительства, и потому меньше! Да как можно поддаваться? Он зовёт тебя к мятежу! Ты — уже Верховный, чего ещё? Зачем диктаторство? И — как ты можешь сейчас повернуть? И против гостеприимного Тифлиса?

Для неё — уже всё было решено бесповоротно.

Да, правда, — опоминался великий князь. Это — мятеж против правительства. И — как же обмануть доверие Тифлиса? И вот социалистов?.. С каким лицом?..

Нет, в реальности уже не оставалось такого поворота. Упущено. Упущено. (А обожгло — как зимой предложение Хатисова...)

С глубокой печалью кивал великий князь:

— Увы, увы... Поедешь к Колчаку и скажешь...

— Да не поедет он в Севастополь! — вмешалась мать, уже всё обдумавшая. — Ты отказал, а всё равно будет носить характер сношений. Ты — Верховный Главнокомандующий, и ты перекомандуешь лейтенанту ехать с тобой в Ставку!

И — опять она была права.

И зачем уж, правда, Колчак — так дерзко, так неожиданно...?

Нет-нет, о нет! — немисливо, неразумно бунтовать против правительства, против общества, против всей России! И — против, может быть, Ставки? Так и не хватит сил.

Стана была права.

Конечно, отказался великий князь.

Но — с внутренним сожалением, сокрушением, будто самое красивое — вдруг потеряно.

Нет, напротив! — надо всячески укреплять сношения с новым правительством. Странно, что три телеграммы послал вчера князю Львову — а ответа ни единого. Может быть, они чем-то недовольны? Вот и не держит в курсе событий, как просил его...

Послать ещё! Подразумеваемо заверить их, что и после Михаила всё остаётся, как вчера. Но и дать же понять, что положение наше — взаимно равное.

...Прошу ваше сиятельство быть уверенным, что я приложу все силы... Однако же уверен, что и вы, со своей стороны... восстановите полнейший повсеместно порядок...

418

Их так ведут: впереди — конвоиров нет (у матросов навыка тюремного нет).

Впереди — адмирал Непенин! Один.

Его кругловатое сообразительное живое лицо, только рот прикрыт усами-бородкой.

Но напряжён, такого обращения он не ждал!

А за ним, в шаге, адъютант, старший лейтенант.

Ещё в шаге по бокам — два матроса.

Ленточки полощутся над бушлатами, значит быстро идут.

Да и по плечам видно.

А дальше назад — ещё матросы, это как подкова сзади.

И в объёме её — ещё офицеры разных чинов, тут и капитаны первого ранга.

Кто непроницаем. Кто явно перепуган. Никто не ждал. Никто не готов. Кто из нас когда готов к перевороту собственной жизни?

Позади края матросской подковы сходятся в одну густую матросскую толпу.

Вот так, толпой человек в шестьдесят, не строем, не конвоем, но сгущённо-злой толпой, с карабинами, стволы вперёд и вверх, они ведут

кучку офицеров в середине,
безоружных, свободны бока от кортиков.
Идут матросы уверенно, жестоко зная, куда.

Неотмеренный слитный топот.

Такая ли форма матросская, такая ли жизнь матросская или особый их подбор, — но почему они кажутся так свирепо беспощадны? Иные лица — уже за гранью человеческого выражения. Откуда столько зла?

А лица офицеров — кость другая? другой обиход? — при сходной же чёрной форме развитость и тонкость.

И — смятение сейчас, и оглядка потерянная.

О, им вместе не жить! Как же вместе жить этим двум породам? вот, идущим в одном кадре.

Куда идущим?

Офицеры догадываются. Они же знают, как этой ночью на других кораблях...

И матросы — знают.

И не колеблются нисколько.

Если бы матросы шли строем — то не так бы жутко. А вот — толпой, плечо к плечу, почти челюсть к челюсти, ствол к стволу, идут, уверенно прут вперёд!

Топот по снежной дороге.

Понизу

одни ноги, у земли.

Тут, в ногах, в чёрных брюках, больше похожи ведущие и ведомые.

= И адмирал, с отзывчивым подвижным лицом, позади себя ощущая этот напор и скорость, не обернувшись, чувствует их, —

и так же уверенно и поспешно идёт.

Как будто их ведёт!

Да! Как будто это он ведёт их, по своему адмиральскому замыслу.

Ведёт эту кучку, как он вёл весь флот.

Подрагивают его пушистые усы, сметливые глаза.

Как он объяснял им, расположено и открыто! Как он верил в их души! Как надеялся на них!

Наш святой народ!

Матросы. Челюсть к челюсти.

= Там, в заднем офицерском ряду — мелькание.

Мелькание, как падение.

Мы все время видим спереди —

мы видим крупно и близко лицо адмирала,

ещё и сейчас не разочарованное,

как он верил и надеялся.

А там позади — отталкивают офицеров матросские руки, оттаскивают,

оттягивают в стороны, то вправо, то влево,

куда-то за себя выбрасывают через чёрный и ленточный матросский охват, —

там дальше — конвоируют их или выбросили, мы не видим, мы видим только, как офицеры один за другим исчезают из охвата,

а сам охват всё ближе сюда, к адмиралу, всё челюстней.

На бескозырках, кто успеет, заметит: «Слава», «Андрей»...

И что за форма у матросов ужасная? — что это за ленточки, с их нежным трепетанием, так неестественные при мужских головах,

при звериных головах
 такие ленточки жестокие?
 = Вид Свеаборгской крепости.
 = Заснеженные берега.
 = Утоптаный снег на улице, по которой ведут
 = адмирала с таким живым открытым лицом, так верившего в
 этих чёрных героев,
 как он ведёт их сейчас, не оглядываясь.
 = А сзади отбрасывают последних уже офицеров,
 и не вскрикнет ни один, это молчание ужасное, только топот матро-
 сов,
 и адмирал шагает, уверенный, что ведёт за собой всех офицеров
 «Кречета», штаб флота,
 а остался за ним один адъютант.
 = А за спиной адмирала — передний в охвате матрос, революци-
 онный матрос с плакатом, из кадров, которые мы будем ви-
 деть, видеть, видеть.
 = Две фигуры, невысокого роста плотный адмирал, — а позади
 нагнувшийся верзильный матрос.
 Сейчас! Сейчас это будет!
 = Ноги. Кто-то сзади бьёт под коленку второго, тонкого, значит
 адъютанта.
 Потеряв равновесие — споткнулся, наклонился адъютант.

Спереди

= Адмирал! всё тот же, уверенный в правоте. И плакатный
 матрос
 вскинул карабин!
 = Спина адмирала во весь экран и кончик дула — с огнём!
 Выстрел!
 = И опять — лицо адмирала!
 ещё попростевшее, невинное, —
 только теперь понявшего,
 только теперь узнавшего всю истину, которую искал!
 = Но уже — опускается из кадра.
 Упал.
 И охват матросов остановился.
 Смотрят вниз. С любопытством.
 И — достреливают, туда, вниз.
 Выстрел, выстрел.

Петроградцы могли как угодно уверять, что у них успокаивает-
 ся, — но зараза анархии расплзалась, и прежде всего на ближайший
 Северный флот.

Генералы выполнили свой долг перед революцией, помогли без-
 болезненно сместить царя, — но революция не выполнила своего дол-
 га перед генералами: она начинала сотрясать саму Действующую ар-
 мию.

И никакие радостные сообщения от Временного правительства
 не могли утешить тревогу генерала Рузского: эти банды, уже даже
 проскочившие Псков, уже в ближних тылах Северного флота, заго-
 раживали от него всё остальное. В самом Пскове какие-то солдаты
 автомобильной роты из Петрограда отстраняли городских и разве-
 шивали красные ленты на лавках, поверх гербов. По Пскову и мест-
 ные солдаты начинали бродить беспорядочными группами. В Режице —
 под самым уже Двинском! — между штабом фронта и штабом 5 ар-
 мии! — вооружённая банда неизвестного происхождения делала, что
 хотела, — бушевала в управлениях начальника гарнизона, коменданта,
 в полицейских участках, на всех наставляла оружие, сжигала дело-

вые и полицейские бумаги, обезоруживала офицеров, военных чиновников... Такое — в армейских тылах?? Как же воевать? За всю свою военную карьеру генерал Рузский не встречал ничего подобного: микробы, которые проникают через военные перегородки и в миг разрушают ткань. Как против них действовать? Если их не уничтожить в самом начале — они развалят всю армию, всё то условное подчинение старшим в чине и уставам, на котором держится армейская структура: если его разрушить, то не останется ничего.

Однако и действовать самостоятельно, хватать и казнить этих бандитов, Рузский тоже не мог, по сложности революционной обстановки. Какими ни оказались петроградские деятели неблагодарными и безответственными, но генерал Рузский не мог противостоять им в одиночку, он не мог один выступить в роли военного карателя, — этого бы ему не простило общество. Поэтому надо было добиться единства действий всех Главнокомандующих, — и после события в Режице Рузский уже начал сожалеть, не зря ли он отказался от съезда Главнокомандующих. А теперь оставался только — рапорт Алексееву? И послали его.

Но Алексеев лишен таланта и смелости подлинного полководца, он никогда не возьмёт на себя смелое распоряжение, он конечно будет только докладывать в Петроград, и на это уйдут и часы, и дни, и неизвестно, выйдет ли что путёвое. Так что посланная Алексееву телеграмма о бандах зависнет надолго. Конечно, до Могилёва ещё когда эта зараза докатится, — а здесь она разрушала само тело Северного фронта — и сам Главнокомандующий со штабом не защищены от них, никакой караул не защищает от этой чумы. Да красные лоскуты на солдатах уже стали появляться и при самом штабе, даже в комендантской роте. И нельзя было запретить, потому что и депутаты Думы приезжали во Псков в таком же окружении агитаторов с бантами.

И оставалось Рузскому — вступить в прямое сношение с одним из своих соседей. Не с Эвертом конечно — тупым служакой и монархистом, но — с Непениным, с которым объединяли Рузского общественные симпатии и передовые взгляды. И положение их сейчас было сходно: у Непенина забурило ещё раньше и больше. Вдвоём с Непениным они могли бы сейчас выработать и общую тактическую линию поведения.

Подумывал Рузский, как же ему снестись с Непениным короче всего. Очевидно, через Ревель. И он начал набрасывать телеграмму, которая могла бы безопасно пройти и руки шифровальщиков — а вместе с тем, от развитого человека к развитому, передать Непенину всю деликатность соображений.

Тут Данилов, тяжёлой походкой, принёс ему раздобытый экземпляр — типографскую листовку, грязно отпечатанную, того самого странного «приказа № 1», о котором они уже слышали, но не придали значения. А он каким-то образом распространяется среди нижних чинов уже в прифронтовых частях! — хотя не прислан никаким законным путём.

Вот он. Положил Данилов на стол измятый лист, в сгине прибил тяжёлой ладонью. Читали.

Это был как бы приказ по Петроградскому округу, но отданный в игнорирование командующего и всех чинов, не к их командному строю, но прямо и только к нижним чинам. В таком ли предположении, что теперь воинские части должны подчиняться не своим командирам, а Совету рабочих депутатов?

Рузский даже не верил своим глазам. Это могли писать сумасшедшие, это не могло быть допущено во время войны! Или уж тогда прислано из Германии?

Совершенно неслыханно! Эти бактерии могли убить армию в неделю.

Всё здание штаба закачалось.

Данилов выругался матерно. Рузский не употреблял таких выражений никогда.

Надо было?..— срочно телеграфировать в Ставку, что ж еще? И передать им текст этого приказа, они его еще наверно не знают? Да опасность в том, что сходный пункт есть и в объявленной телеграмме нового правительства: что для солдат устраняются все ограничения в пользовании общественными правами. И если это так открыто декларируется и вот так, как здесь, будет разрабатываться?.. Может вспыхнуть только полный хаос, внутренняя рознь, и армия погибла!

Значит, нужно внутри самой армии незамедлительно издать — противодействующий приказ, обеззараживающий! Для спасения дисциплины — восстановить и регламентировать в новых условиях взаимоотношения офицеров и нижних чинов.

Но разве неповоротливая голова Алексеева может найти тут решение? И все полтора года было несчастье, что он взят в начальники штаба Верховного, но в эти роковые дни — троекратно.

А как бы умело с этим справился Рузский, будь он в Ставке!.. Нельзя простить Николаю его выбор.

А, вот что! — надо копию телеграммы послать Гучкову. Военный министр — единственный умный теперь человек, с которым можно поговорить, можно работать.

Отослали Алексееву! Отослали Гучкову.

Нет-нет, ещё не то! Тонко начуивал Рузский, чего не понимал и сутки назад: в Петрограде главная реальная сила сейчас — не Родзянко, и не Временное правительство, а Совет рабочих депутатов. И надо, с высоким тактом, установить отношения — непосредственно с ним применительно к революционному моменту. Это — не каждому доступно и не прямо, у Совета рабочих депутатов сейчас, конечно, большое самолюбие и большая предубежденность против прежних властей. Но такая возможность уже рисовалась Рузскому. Не только умел он быть тактичен, как никто из генералов, но должно было помочь ему одно счастливое обстоятельство: в близости к нему служил ещё с 1914 года генерал Михаил Бонч-Бруевич. В первый период Рузского Бонч был тут у него и начальником штаба Северного флота, вслед за Рузским был выжит отсюда, сильно увлёкся контрразведкой (это он в своё время раскрыл и Мясоедова), но затем и у контрразведки возникли неприятности с обществом, особенно из-за дела Рубинштейна, — и Бонч вернулся к Рузскому, и ныне состоял в распоряжении Главнокомандующего Северным фронтом. Бонч-Бруевич под аксельбантами генштабиста был весьма свободолюбивых симпатий. Одна беда: эти дни его не было во Пскове, он в поездке, в глуши, на недостроенной рокадной дороге, — но надо вызвать его поскорей. А потому что, говорят, родной брат его, Владимир Бонч-Бруевич, давно почти революционер-подпольщик, — теперь вынырнул в Совете и был какой-то видный деятель. А связи — всегда связи, особенно родственные. И могут оказаться наилучшими в революционную бурю.

Вызвать Бонча немедленно — и дать ему какой-нибудь высокий пост, придумаем.

Так, так. А пока подбирал Рузский слова для телеграммы Непенину. Вот бы сейчас встретиться с ним, да найти общую тактику. Только с ним заодно и можно умно действовать.

Представлял себе его выразительное вдохновлённое лицо, быструю манеру понимания.

Офицер прибежал из аппаратной и подал Рузскому телеграмму сам, как делалось в случаях чрезвычайных.

Буквы складывались:

«В воротах Свеаборгского порта вице-адмирал Непенин убит выстрелом из толпы».

Положение Гиммера в революции было настолько особое, что не позволяло ему связаться ни с какой партийной фракцией и заняться там заурядной узкой партийной работой. И положение его в Исполнительном Комитете тоже было настолько особое, что тяготила его конкретная работа в комиссиях. От редакционно-издательской он отказался, зато закатали его в иногороднюю комиссию вместе с Рафесом и Александровичем. И — в комиссию законодательных предположений.

Иногородняя — была важная комиссия, она должна была держать руку на пульсе всей России и распространить теперь локальную петроградскую революцию — на всю Россию. Нельзя было ограничиться властью в одном Петрограде и его окрестностях, приходилось брать на Исполнительный Комитет роль всероссийского центра и направлять ход дел в других городах. За сутки поступили тревожные сведения, что в некоторых городах ведут антисемитскую агитацию, — это надо было в корне сломить, посылая от петроградского Совета комиссаров.

Но при всей ясности важности такой задачи, интеллект Гиммера больше влёл его к комиссии законодательных предположений, которую он сам же и предложил. Только общим смыслом событий он должен был заниматься, только общий путь революции прокладывать. (Он это и делал — а товарищи пользовались результатами, не понимая.) Каждое отдельное занятие в каждой отдельной комиссии, каким бы срочным-важным ни казалось, — была второстепенная мелочь: задачи, которые уже однажды сформулированы, названы, — не задачи, это уже техника. Истинные же задачи революции, самые крупные черты хода её — проглядываются сквозь тьму наступающего, прощупываются в пространстве будущего, — и вот предвидеть их, взять их в формулу раньше, чем они появятся на свет, — вот это и есть задача теоретика!

Остальные члены Исполкома, заключив соглашение с буржуазным правительством, успокоились, что теперь это соглашение будет действовать как бы само. Но не таков был Гиммер! Глядя на вежливое, а упрямое лицо Милюкова, выступающее твердинами то на лбу, то в подбородке, и при зорком неусыпном взгляде его, — Гиммер от самой первой подписи ему не доверял, ожидая буржуазного бессовестного подвоха. (Не доверил ему даже передачу в печать их соглашения.) И верно! Советские депутаты, сморенные, пошли спать — а цензовые предатели в тот же час нарушили соглашение: бесчестно, тайком послали Гучкова к царю — сохранить зловонное рубище презираемого деспотизма. Правильный и ловкий ход монархистов! К счастью, у них сорвалось. А ведь демократия, при внешней громкости, распылена, слаба — и вот сейчас не могла бы вступить в гражданскую войну против сплоченного монархическо-военного центра.

Но тем более осторожным, недоверчивым надо быть на каждом шагу!

Гиммер решил было для себя: продолжить систематически ходить в министерское крыло Таврического и каждым своим приходом давить на них, в каждый приход осведомляться: а как идёт выполнение обещанной программы правительства? Никем не делегированный, он сам, лично, устроит им контроль без всякой передышки!

Увы, это не состоялось: на следующий же день министры сняли свою штабквартиру из Таврического и уехали к Чернышёву мосту. И кто ж теперь должен был их проверять? Керенский? Но Керенский вёл себя безответственно и даже нечестно, он просто ни разу не доложил Исполкому, как он действует внутри правительства.

И вот теперь надо было суметь, находясь в Таврическом, — отсюда вытянуть щупальцы в их другое здание, постепенно проникнуть в самую органическую работу правительства и заложить ячейки в его недрах — чтоб они там развивались. Делать это надо двояко: во-первых, систематическим придирчивым контролем, прямо посылая своих представителей. Во-вторых — смотреть вперёд правительства и вырабатывать декретопроекты, — а потом давлением Совета по-нуждать к ним министров. (Для этого и придумал Гиммер комиссию законодательных предположений.)

А иначе опасность, что цензовые станут абсолютным кабинетом, ещё хуже царского правительства! Природа их — ультраимпериалистическая, их надо держать в узде. Надо заставить их проводить и внешнюю и внутреннюю политику не свою — но Совета! Так повести дело, чтобы наступать на имущие классы без передышки и вырывать у них всё, что можно. Революция не только закончилась — она лишь начинается!

Так верно всё распланировал Гиммер — а всё-таки Милюков оказался и быстрой и хитрей! Не успело правительство ещё ничего ни-где шагнуть — а уже послал Милюков свою радиотелеграмму «всем, всем, всем!». В субботу 4-го к исходу дня, к концу заседания Исполкома, припорхал Соколов — и принёс телеграмму, сам не понимая её значения, — и на Исполкоме никто как следует значения не придал — или устали?.. А между тем — это была возмутительнейшая фальсификация хода революции! Так изложено для Европы, будто всё загорелось из-за роспуска Думы, которую полки защищали от царской клики. Какой бессовестный оборот! — Дума носилась по волнам как обломок крушения — а теперь они приписывали себе ведущую роль! Волнения в войсках, родившие революцию, Милюков называл «тревожными», «угрожающих размеров», а действия левых партий «серьёзным осложнением», каково!

От одного этого душило Гиммера бешенство. Но это были — только цветики. А ягодки — в том, что Милюков, ни с кем не согласовав (подло использовав тактичное умолчание Совета), — телеграфировал обещание дальнейшей войны («национальное сопротивление» это называлось) и сделать всё для «решительной победы». Вот как! Наша революция, понятая не как удар всякой войне (как она была на самом деле) — а как усиление её! Вместо развязки беспощадной классовой борьбы по всей Европе залить её кровью армий — любезный либерально-национальный переворот в пользу дарданелльской идеологии!

И ведь это передано по радио «всем, всем!» как единственный голос из России — и его услышит западный пролетариат, и как воспримет? С недоумением и отчаянием, крушение надежд на русский пролетариат!

А русский пролетариат, а Гиммер не имели своей радиостанции для опровержения!

Он мог написать (и написал сейчас же, порывом) опровергательную статью в «Известия», — дал её Нахамкису. (А тот — не напечатал!) Завился, забился Гиммер как штопор на месте — что делать?

Исполнительный Комитет устало, равнодушно разошёлся.

Кинулся — к Чхеидзе:

— Николай Семёнович! Но ведь этого нельзя оставить! Необходимо теперь издать обращение к европейскому пролетариату — от имени Совета! От имени русской революции! Мы обязаны обрисовать свою позицию, а то молчанием извращается и позиция Совета.

Устал и Чхеидзе, смотрел приопухшими больными глазами, счастливыми от событий:

— Ну что ж, напишите проект.

Уж знал от Гиммера: хоть и не разреши, всё равно будет писать,

ПЯТОЕ МАРТА

воскресенье

437

После убийства адмирала Непенина, после «приказа № 1» — генерал Рузский одеревенел. Ощутил себя буквально деревяшкой, кидаемой волнами. Хлынуло — и не удержать, мы смяты валами сзади — и всё. И — всё...

Ещё добивают из Выборга: бурлит и Выборг, арестован комендант крепости генерал Петров. И эти сообщения достигают не одного же штаба фронта, они распространяются всеобщие, о них узнают все. Стрела мятежа вылетела из Финляндии — и в спину тому же Пскову.

В городе становилось всё тревожнее. Зараза шла от железной дороги. На том самом псковском вокзале, где двое суток назад стояли императорские поезда в пустынности перрона, и ещё при полном порядке, и только первые красные банты из Петрограда раздавали дерзкие листовки, — вчера вечером уже кипела тысячная толпа, не подвластная никакому надзору — ни гражданских властей, ни военной комендатуры. Не осталось местечка ни на путях, ни на вокзальной площади, ни комнаты внутри вокзала, куда бы желающие из толпы и неизвестные приезжие не имели доступа и не могли бы распоряжаться. Но более всего — разоруживали офицеров, — всех на станции, и подъезжающих к вокзалу, и в мимоидущих поездах, втекая для того в вагоны. Одни офицеры отдавали добровольно (но и после сдачи оружия должны были быстро скрыться), а кто сопротивлялся — с тех силою срывали шашки и револьверы, избивали, а то и сшибали с ног. Начальник распределительного пункта полковник Самсонов сопротивлялся — и был убит.

Также и один из запасных пехотных батальонов, прослушав манифесты об отречении царей, двинулся к тому, что всё дозволено, и пошёл громить пищевые склады на товарной станции.

Даже крупный решительный генерал-квартирмейстер Болдырев почувствовал себя неуютно. А уж на жёлтом худощавом маленьком Рузском и лица не было. Действовать против революционной толпы оружием? — Рузский бы считал самой большой ошибкой. И это Болдыреву нравилось: для такого необычайного момента и поведение должно было быть необычайное! — только какое?..

Но если бы штаб Северного фронта и вздумал бы беспорядки во Пскове давить — то неизвестно какими силами: не виделось такой надёжной части. То, что кипело на вокзале, могло в любую минуту ворваться и в сам штаб фронта, а охрана штаба была незначительная, да и на неё нельзя было положиться, что она не примкнёт к разбою: даже штабные писаря собрали вчера вечером собрание и обсуждали, отдавать ли офицерам честь и носить ли красные банты. Вся работа штаба, бумаги штаба и весь персонал его командования — подлегли под угрозу внезапного врыва толпы, разоружения и разгрома.

А из жалкой Ставки никаких директив. Алексеев молчал.

Болдырев понимал, что ниоткуда со стороны помощь не придёт. Но как вывернуться самим?

В тревоге, если не в дрожи, штаб провёл ночь. Но обошлось, не ворвались.

А утром узнали, что за ночь пропаганда против офицеров уже покатила по боевым частям, по всему фронту. Заколебалась земля подо всем Северным фронтом. Стали сочинять циркулярную телеграмму в штабы армий, мёртвому припарка.

Пока сочиняли — в штаб прибежали сказать, что в городе мятеж-

ные солдаты арестовали генерала Ушакова, начальника псковского гарнизона, и с ним сколько-то офицеров! И будто — генерала Ушакова потащили топить в реке Великой.

И — так же могли ворваться сейчас к ним и арестовать их всех! Данилов — мешком. И Рузский — мёртвый, руки совсем обвисли. И — надо было спасать начальника гарнизона, и — не мог он приказывать действовать против революционной толпы! И — некому приказывать.

Но даже — и много минут размышления не было им дано. Новое известие принесли: воинские части самочинно выходят на парад на городскую площадь! И туда же валит толпа гражданских.

Закачался и весь древний Псков! Что же делать? Такого — и во все нельзя допустить, но что делать?

А Болдырев — ощутил задор, и решимость, и догадку. Даже — и не спросил своих генералов, и не объяснил, только рукой успел махнуть и кинулся вон. И в открытом автомобиле покатил на назначенную площадь.

У Болдырева был могучий голос, природный дар. Голос — это не меньше, чем мускулы. Бывают положения, когда голос больше всего и выручает человека. В революцию.

Гудела и кишела площадь. В солнце и в лёгком морозце, по двум сторонам бездействующего трамвайного пути самовольно строились части гарнизона. Из них только кадеты, юнкера школы прапорщиков и полевые жандармы имели обычный воинский вид, всё остальное было — бесформенное, не в строгих шеренгах и рядах, сборище в шинелях, а ещё с краю к этой каше пристроились гимназисты и реалисты.

И — пестрели тысячи красных пятен от ленточек, от лоскутов. И там и сям торчали в воздух красные флаги. И даже ополченцы бордатые на простых палках подняли красные тряпки. (Где ж этого красного все награбили и нарвали!)

И — все головы обратились к автомобилю, так он кстати появился, будто принимать парад! — неизвестно, кто и принимал бы его. А генерал Болдырев в идущем открытом автомобиле поднялся в рост — и стал громко здороваться.

Войска отвечали довольно стройно, от этого ещё не отвыкли. Болдырев, на ходу сочиняя, стал колокольно-густо поздравлять войска со свержением самодержавия, наступлением свободы, установлением нового государственного строя. Слышал в ответ — «ура» и «ура». Выкрикивал несомненные лозунги, вроде «да здравствует Россия!» и «да здравствует русская армия!», — и слышал в ответ ревущее и единое. Крикнул он дальше в наступление на немцев или на грабёж тылов — толпа была, кажется, готова. Голос его — до звука все слышали округ. Тогда он выкрикнул надежду, довольно бессмысленную, что охрану порядка во время парада примет на себя население — и услышал совсем уже бешеное «ура».

И тогда он остановился в центре и рискнул удивиться: почему пришли кто с оружием, кто без? Как же их показывать Главнокомандующему?

Войска охотно стали расходиться по казармам, потом с оружием стягиваться и строиться вновь. За это время и в этом движении, перемешивании, переталкивании — энергия благотельно разряжалась.

А Болдырев успел съездить к Рузскому — предупредить, убедить и позвать.

Затем стал форменно командовать упорядоченным парадом — а хлипкий Рузский шатко принимал его.

И в наступившей потом тишине голосом вялым, слабым, не подходящим в глубину, стал произносить о счастливом, свободном новом строе, о необходимости дружной спокойной работы и даже о вреде питья денатурата.

*Восторгом святого восстанья
Опять зажигается мир.
Обещан за пламя страданья
Народу торжественный пир!*

(Ф. Сологуб)

451

Начальник псковского гарнизона генерал Ушаков был спасён в последнюю минуту — но отнюдь не силой и волей Главнокомандующего фронтом. Уже его волокли — стрелять, рубить или топить в Великой — как подскочили два молодых солдата и неистово кричали, останавливая. До штаба фронта теперь в пересказах это дело дошло так. Ушакова тащили за то, что он был строг и жёстко держал гарнизон, рассыпая наказания. А молодые солдаты задержали толпу свидетельством, что они сами лично получили от генерала Ушакова помилование невинному солдату. И толпа сразу смиловалась и отпустила генерала, даже прося у него прощения.

Тот случай с помилованием помнили и в штабе. На перроне станции Псков постоянно дежурил младший офицер, проверяющий увольнительные записки и документы солдат. Однажды дежурил прапорщик Кук, эстонец, он задержал подвыпившего солдата, а тот, не подавая документа, оттолкнул офицера и побегал со всех ног, прапорщик за ним. Прогнался саженой двести, по путям в сторону товарной, не догнал — выстрелил из револьвера и ранил. Солдат и раненый ещё с версту бежал, упал. Его отвезли в больницу, а после выздоровления предали военно-полевому суду за оскорбление офицера в районе военных действий. Военно-полевой суд приговорил к расстрелу. Тут же быстро приговор был утверждён и генералом де-Бонзи. А солдат рыдал в камере, он был неграмотный и не мог написать прошения о помиловании: что он на фронт пошёл добровольцем и награждён георгиевской медалью, и за это отпущен в отпуск к себе во Псков, и только выпил с родными «ханжи» и пошёл прогуляться на станцию. Офицер, дежурный по гауптвахте, сжалился и позвал двух образованных солдат, — вот это как раз и были нынешние свидетели, переменявшие в минуту настроение толпы: они рассказали, как написали прошение и, торопясь в последние часы, решились пойти к генералу Ушакову — и тот похвалил их, а на кого-то кричал по телефону, что нельзя своих солдат расстреливать. И заставил тот же самый суд собраться ночью. И они послали просьбу о смягчении.

Так теперь — спасли Ушакова. А других арестованных офицеров толпа хотела сдать под охрану милиции, начальник милиции отказался взять, тогда — арестовать и его самого! «Отправим всех к Гучкову!», депешу в Петроград.

Ушакова успели спасти — а вот Непенина никто не спас.

И спасут ли Николая Владимировича Рузского, если потащат и его?..

От самого парада его ломила жестокая мигрень. И — не мог успокоиться, ни в каком занятии.

Такой необеспеченности и неуверенности, как сейчас, он просто за всю жизнь не испытывал.

Рузский и по себе всего более склонен был впадать в настроение мрачное и даже в отчаяние. Но принуждал себя не проявлять.

Мнилось — что-то успокоили сегодняшним парадом. Ничего подобного: к вечеру опять вспыхнули беспорядки и насилия. На улице схватили адмирала Коломийцева, георгиевского кавалера, — разъярённые солдаты неизвестной части оскорбляли его и поволокли под арест. Прибежали доложить Главнокомандующему — но что мог сделать Рузский, кого послать? На комендантскую роту при штабе и на ту не было надежды. И если не постыдились тащить георгиевского

кавалера — то что мог бы поделаться с ними и сам Рузский, со своими тремя георгиевскими крестами? (Его грудь усыпана была крестами, как ни у кого из генералов: Георгий 4-й степени за бои на подступах ко Львову, 3-й — за взятие Львова, 2-й — за отражение противника от Варшавы.)

Да вся обстановка — в отношении Петрограда и революции — была слишком деликатна, чтобы позволить себе опрометчиво, грубо действовать. Ни от Ставки, ни от нового правительства Рузский не имел приказа действовать определённо подавительно. Да если б и имел — он не посмел бы противопоставить себя моральному авторитету революции.

В нынешней катастрофической обстановке самой правильной и самой тактичной была находка Рузского: ему, Главнокомандующему, прибегнуть прямо к петроградскому Совету рабочих депутатов, найти понимание — у него, и просить поддержки — у него. Вот только дожидаться возвращения Михаила Бонча.

Так думал он, но вдруг неприятнейшим диссонансом — подали ему привезенное из Петрограда, чуть ли не солдатом, письмо — от Бонча! — только от того, второго, революционного, Владимира. И тот (неизвестно по какому праву так прямо обращаясь) весьма развязно и с тоном превосходства спрашивал: насколько искренно воинские чины Северного фронта приняли новый государственный строй?

Вопрос — в упор, и вопрос, конечно, прежде всего о самом Рузском, — и генерал даже вспыхнул от обиды. Такое спрашивалось — о нём, который, можно сказать, и создал этот новый государственный строй, потрудясь для этого больше, чем сам Петроград! (Впрочем, надо понять и революционера: почему он должен доверять царскому генералу?) Вопрос подвергал сомнению революционную лояльность Рузского — и его нельзя было оставить без ответа!

Но как досадно оборачивалась родственная связь — не помощью, а помехой!

А Михаил Бонч — всё никак не ехал и не ехал из командировки!

В плохозащищённом штабе, когда революционная стихия мела по улицам Пскова, особенно ощущалась реальность власти петроградского Совета и неизбежность оправдываться.

Обвинение было так серьёзно, весь момент такой острый и переклончивый, — Рузский решил ответить Бончу открытой телеграммой. В расчёте всё же на родственную связь — не Председателю Совета, а именно Бончу.

Что он сам, генерал Рузский, и подчиненные ему армии и воинские чины вполне приняли новое существующее правительство — впредь до решения Учредительного Собрания. Однако и просит он содействия, чтобы... как помягче их назвать?... *уполномоченные* и другие лица Совета, прибывающие в пределы Северного фронта, прежде чем обращаться к рабочим или войскам, обращались бы предварительно к Главнокомандующему, дабы установить полную связь. Что Псков как ближайший пункт к Петрограду имеет огромное значение, и всякие волнения в нём совершенно недопустимы. Между тем приезжают... *гм... делегаты* и обращаются непосредственно к населению и войскам...

Нельзя было выразиться мягче, но и вместе с тем отстоять же положение штаба фронта.

А на улицах Пскова продолжали хватать и хватать офицеров — что делалось???

А перекаля Псков, волна насилий и необузданности катила к Риге! к Двинску! В 1-м Сумском гусарском полку — командир полка исчез, видимо был убит тайно? А другой полковник того же полка — убит открыто. В Режице вспыхнул бунт гусаров. Из разных мест фронтового расположения телеграфировали об арестах или убийст-

вах военных комендантов, начальников гарнизонов или командиров отдельных частей!

Уже завтра это могло доброситься и на передовую, до самых действующих частей на Западной Двине.

Да Двинск — разве не был почти передовой? Загорелось и там: солдаты арестовали генерала Безладнова — и командующий 5-й армией Драгомиров не мог воспрепятствовать. Да и Выборг, который также относился к Северному фронту, ждал от Рузского вызволения своим арестованным офицерам.

В самый штаб фронта солдатская толпа не ворвалась ни разу (они с этим местом не привыкли иметь дела, ничто отсюда не коснулось их прямо), — зато втекали офицерские испуг, отчаяние: возможно ли дальше служить и командовать? Просто оставаться на своём служебном месте стало требовать от офицера больше нервов, чем в открытой атаке: здесь грозила не смерть только, но позор, унижение, — хуже смерти! И что же можно делать против толпы собственных солдат?

А если наступит массовый паралич офицерства — какая тогда армия?

Рузский впал в самое мрачное состояние. Искать непосильный выход — предстояло именно ему, потому что фронт его был ближе всех к Петрограду, первый испытал налёт — и первый должен был найти защиту. А ждать решительное и спасительное от нынешней Ставки, — кто теперь Ставка? Да к ним, до Могилёва, доедет не сразу, они и будут кинуть в ожидании.

Но во Пскове нельзя больше ждать, а — либо устоять под ударом событий, либо рухнуть. Ещё таких дня три — и никакого Главнокомандования в руках Рузского вообще не останется. Да сама нервная организация Рузского не давала ему бездейственно ждать.

Ответ от Бонча из Совета, однако, не приходил. Да нельзя было и надеяться твёрдо. А между тем главное спасение — несомненно не в правительстве, а в Совете.

И подумал Рузский так: не надо ждать ответа от Бонча. Надо энергично и прямо обратиться в сам Совет. Но — солдатскими устами, вот находка! Послать в петроградский Совет прямую солдатско-офицерскую делегацию и объяснить Совету всё устно, чего нельзя описать.

Сейчас же составить. И безотлагательно отправить. Они съезды за один день — и всё спасут. Объяснить Совету неформально: как губителен для Действующей армии «приказ № 1». Не могут же депутаты Совета хотеть развала русской армии! Они просто, в понятном порыве к свободе, сами не понимали, что делали, когда издавали. А сейчас Совет поймёт, призвёт успокоиться, — и всё успокоится.

Так ненормально потекли события: то петроградские власти неуставно обращались прямо к Главнокомандующим, то теперь Главнокомандующий — прямо к петроградским властям.

А засим, засим — не мешает Рузскому обратиться само собой и к Временному правительству, и к дремлющему Алексееву. Никто из них не может помочь отдельно, но, может быть, помогут все вместе? Послать одинаковую телеграмму всем сильным людям правительства — князю Львову, Гучкову, Керенскому, копию Алексееву, так будет соблюдено и чиноположение, и голос призыва достигнет по самому короткому пути. Напомнить, что весь начальственный состав полностью признал новый государственный строй. (Обидней всего, что факт этого признания, особенно штабом Рузского, как бы пропал впустую.) И вот — возникает опасность развала армии перед самым весенним наступлением. И этот развал неизбежен, если не последует немедленное авторитетное разъяснение центральной власти.

Впрочем, и одной разъяснительной бумагой тут не отделаться, нужны живые речи — речами только и можно сейчас уговорить толпу, в чём бессильны законопоставленные генералы. Да вот как посылает

сейчас правительство в министерства и в губернии комиссаров — это будет подходящее слово, так бы прислать и на фронт. И комиссары бы успокоили население и нижних чинов, что никакой опасности новому строю от офицеров не угрожает, а все должны дружно действовать для победы.

Посоветоваться с Даниловым? Но Данилов не мог оценить тонкости применённого метода. Он — не Бонч, у него нет определенных и передовых убеждений. И вообще — напроломный, грубый, давящий человек.

Но служи с кем приводится.

Приготовил на завтра делегацию. Велел рассылать телеграммы.

Умно это всё Рузский рассчитал.

И вдруг — появился генерал Бонч! — приехал! наконец-то! В полном самообладании, и всё одобряет.

И тотчас назначил его Рузский — начальником псковского гарнизона вместо Ушакова. Уж если этот не уладит!..

ШЕСТОЕ МАРТА

поведельник

457

Можно было бы удивиться (и поучиться) тому такту, разумности и великодушию, с которыми Николай Николаевич управил революционными событиями на Кавказе. Везде бы так провели революцию, как он, — никаких не было бы беспорядков и колебаний.

Полтора года своего наместничества и Главнокомандования на Кавказе Николай Николаевич провел примиренно со своим новым местом, вполне нашел здесь себя и не порывался в Россию, не сумевшую его отстоять. Но буквально за последние два-три дня он почувствовал себя здесь все вырастающим, все вырастающим и уже не у места, — ощутил потребность разделить свои чувства с Россией еще прежде, чем вернется к ней сам.

Такой цели лучше всего служат газетные корреспонденты. И вчера он с удовольствием принял у себя во дворце для беседы корреспондента прогрессивного «Утра России». И обласкал его, очень милостиво с ним говорил. Заявил ему свою надежду, что тот отметит: есть в России такой край, где события протекли совершенно спокойно. Новое правительство сразу признано, и Верховный Главнокомандующий, во всем объеме своей власти, не допустит нигде никакой реакции ни в каких видах.

— Я думаю, — улыбнулся великий князь, — этим сообщением вы доставите многим радость.

— Ваше императорское высочество, — еще искал польщенный журналист. — Русским читателям хотелось бы слышать ваше авторитетное слово, насколько происшедшие революционные события приблизили нас к победе.

Не мог великий князь отказать и в таком авторитетном слове! Он ответил, освещаясь сознанием своего жребия.

— Доверие русского общества всегда поддерживало мою работу. С Божьей помощью я доведу Россию до победы. Но для этого необходимо, чтоб и все осознали свой патриотический долг. Если новое правительство окажется без поддержки и не в силах предупредить анархию — это будет чудовищно!

Некоторые грозные признаки все же проявились в некоторых географических пунктах России — и это беспокоило великого князя.

Это уже, собственно, не корреспонденту надо было говорить, тут надо было предупредить само правительство, князя Львова. А князь Львов странно не отзывался на несколько уже телеграмм. Но нечего

делать, вчера Николай Николаевич отправил ему еще телеграмму. От Алексеева все время приходили жалобы на какие-то приказы, идущие помимо Ставки. И вот напоминал великий князь, что для победы безусловно необходимо единство командования. И так как правительству не может быть не дорого благоденствие России и окончательная победа, то надеется Верховный Главнокомандующий, что все распоряжения или верней пожелания правительства относительно армии будут направляться только в Ставку. А уже сам Верховный Главнокомандующий...

Ехать в Ставку — да, но почему же так неприлично молчало правительство? Не только не было ответов, но заметил великий князь, что до сих пор не было опубликовано утверждение Верховного Главнокомандующего Временным правительством. Это, конечно, простой промах, они не привыкли и закружились, но Сенат-то знал свое дело, почему он не публиковал назначение, подписанное Государем? И так все в России знали, все считали великого князя Верховным, но никак это не было официально подтверждено. Странное положение.

И от этого великий князь испытывал потребность как-то дополнительно укрепиться. Ему пришлось в голову разослать через Алексеева еще такой приказ:

«Для пользы нашей родины я, Верховный Главнокомандующий, признал власть нового правительства, показав сим пример нашего воинского долга. Повелеваю и всем чинам неуклонно повиноваться установленному правительству».

И чтоб Алексеев отправил копии правительству. Это был выразительный шаг, как бы косвенное, но публичное письмо все тому же Львову, показывающее всю лояльность великого князя, но и — назначьте же официально, что ж вы медлите!

Знали б они да оценили, с какой лояльностью великий князь отверг мятежное предложение Колчака. А ведь он мог бы, о, он мог бы совсем иначе!..

Алексеев — одна была инстанция, беспрекословно подчиненная великому князю: все рассылал, обо всем докладывал. Но Алексеев — тоже закрытая фигура, при Ники он привык к самостоятельности, был фактически Верховным, а теперь предстояло ему попасть под сильную ломающую волю великого князя, — может ли он хотеть того? Не метит ли в Верховные сам?

Немного поскребывало великого князя, но по обязанности он должен был держаться гордо и весело передо всеми. И минувшей ночью дал еще одну телеграмму князю Львову: что сегодня выезжает в Ставку, предполагает быть там 10 марта — неизвестно, насколько свободен путь, нельзя составить точного расписания, еще будет телеграфировать с дороги. Очень будет рад приезду министра-председателя к нему туда для личной встречи чрезвычайной важности.

Ехать — да, уже пора, но и Кавказа не мог он оставить осиротевшим. Вчера, в воскресенье, надо было почтить присутствием большой воинский митинг на площади — тысяч шестьдесят офицеров, солдат и населения, все восторженны, порядок образцовый, выступил начальник штаба Кавказской армии, призывая к доверию и порядку, затем другие офицеры. Митинг и парад — вот были проявления великодушной революции.

А еще надо было — обратиться к населению Кавказа с прощальным отеческим словом. Помощники, владеющие пером, два дня составляли такое воззвание, и наконец, довольный им, великий князь подписал. Здесь выразилось то чувство, кое испытывал он и желал сообщить народу. Государственная Дума, представляющая собою весь русский народ, назначила Временное Правительство. Между тем Германия зорко следит, когда наши чудные, но смущенные армии не смогли бы оказать ей противодействия. Между тем растут беспорядки, и это грозит армии, но конечно не на Кавказе. Народности Кавказа с достоинством

патриотов и мудрым спокойствием отнеслись к политическим событиям. Так и следует им состоять после отъезда Наместника: не слушать тех, кто призывает к беспорядкам, но внимать лишь распоряжениям правительства — и тогда с Божьей помощью наши сверхдоблестные армии довершат свое святое дело, а народ русский, благословляемый Богом, выскажет, какой государственный строй он считает наилучшим. Обращаясь к вам, народности Кавказа, я хочу, чтоб вы знали, что мною повелено всем должностным лицам повиноваться новому правительству, а всякие попытки противодействия будут преследоваться со всей строгостью законов.

С гордым и теплым чувством великий князь покидал Кавказ. Какая-то часть сердца оставалась тут.

Сегодня утром прошел и в свою наместническую канцелярию и объявил служащим, что, увы, не успеет устроить их судьбы, но надеется это сделать по возвращении на Кавказ после войны, когда он, может быть, поселится здесь как простой помещик, так как имеет на Кавказе свой клочок земли.

В эту минуту и сам поверил: а что ж, может быть, и поселится? Хотя не худший клочок земли с дворцом он имел в Крыму, и огромное любимое имение Беззаботное под Тулой со знаменитой псарней.

Ехать — да! Уже властно звал его воинский долг! — но разве с этими женщинами уедешь вовремя? Сборы Станы и Милицы растягивались бесконечно, и уже с утра стало ясно, что сегодня они никак не успеют, может быть к ночи.

И так образовался лишний день. Еще один лишний день повьется штандарт императорской фамилии над дворцом. Но программа прощания уже была выполнена, нечем заняться, еще раз принял услужливого Хатисова, с которым так сроднили прошедшие месяцы, и благодарил, благодарил за все.

Но лишний день приносил и лишние, и мрачные известия. Из Беззаботного пришло сообщение, что имение разгромлено мятежной толпой, главным образом винный погреб.

Ого-го! Ка-кая же смута! Да что же смотрят власти?! (Правда, после этого они там сконфузились и теперь поставили на охрану 12 юнкеров.)

Кто знает, как пойдет в разных частях России, а может быть и неплохо иметь запас на Кавказе, где его так любят.

А тут — и в самом Тифлисе сегодня солдаты стали разоружать постовых городовых.

Ну что за безобразие!

И образовался в Тифлисе Совет рабочих депутатов. Это хорошо.

И офицеры одного полка, арестовав своих начальников, предложили Совету свои услуги.

А это что такое??

В Нахаловке образовался и Совет солдатских депутатов.

А Стана и Милица все не были готовы, и не успеют и к завтра!

Решили с братом Петей: все равно женам ехать не в Ставку, а в Киев, пусть остаются, и Петя их сопроводит. А Верховный примет дела — и тогда вызовет их всех.

В Ставку! Возбуждала, звала, манила деловая и военная привычная обстановка Ставки — истинного места, где Николай Николаевич и должен был находиться всю войну без разрыва — если бы не зависть наказанного теперь Ники, поджигаемая вечной ненавистью Алисы к Стане.

Это изумляло генерала Рузского! Гибла армия во время войны — без всякой войны! — и как будто не касалось никого. За ночь какие сведения притекли в штаб Северного фронта — то опять о насилиях над офицерами, арестах, — и возникновении солдатских комитетов.

Эти солдатские комитеты так и схватывались, куда листовки приходили. И пусть бы уже комитеты, но если б они были смешанные, с офицерами вместе, то могли бы помочь управлять с обстоятельностью, вразумить солдатскую массу. Однако они, по этому идиотскому «приказу № 1», были чисто солдатские — и углубляли пропасть враждебно.

Вот когда пожалел генерал Рузский, что отграничение от Петроградского округа он сам не дал провести резко, — осталась смесь в интендантстве, в путях сообщения, в привычках, в памяти, — а теперь петроградский «приказ», вот, разливался свободно по его фронту, как законный.

А Ставка — молчала.

И правительство молчало. На его красноречивейшую телеграмму — ответа не было.

Самоуверенность ли такая? растерянность? Слепота, глухота?

А тут принесли в штаб копию чудовищной бумаги: писаря интендантского управления написали коллективное письмо военному министру и послали с ним делегацию в Петроград. Просили они ни много ни мало: снять с поста начальника снабжения генерала Савича и ещё нескольких офицеров штабных управлений, — «для спасения нашей дорогой родины устранить их немедленно с соблюдением изолирования», — и даже указывали министру, кого следует назначить начальником санитарной части фронта.

Всё это был дурной анекдот (впрочем, пришлось гнать телеграмму министру в обгон и в опровержение), но Рузского ранила тёмная неблагодарность. Савича (кажется, только за то, что он прекратил штабным нижним чином отпуска и командировки в Петроград) называли «яростным черносотенцем», понятия не имея, что именно Савич был в числе трёх советчиков императора 2 марта, которые и убедили его отречься.

Таков рок народной темноты. Не исключено, что и Рузскому придётся испытать на себе эту неблагодарность.

Делегация в петроградский Совет уехала. Во главе поставил умных офицеров, умеющих говорить убеждённо, и с ними послал несколько благоразумных солдат.

Отправил — и был доволен каких-нибудь два часа. Во Пскове самом как будто потишело.

Но тем временем пришёл обыкновенный почтовый поезд из Петрограда и привёз ответ Рузскому от Совета депутатов в самой неожиданной форме: в грязноватой печати «Известий совета рабочих депутатов».

Генерал Рузский и в руки бы не взял и не стал бы об эту газетку мараться, но заметили штабные, поднесли Болдыреву, а тот принёс Главнокомандующему.

Фамилия его была почтена в небольшом заголовке, и приводился полностью его вчерашний ответ на запрос Бонча-революционера. Но тут же следовал и ответ редакции, — и ответ был как палкой по голове.

Язык, на котором невозможно объяснить, возразить, отстоять свою точку зрения, — язык, который сносит всё как половодье, всё переворачивает. С первых же слов неожиданный грубый тон свысока:

«Очевидно, Рузским ещё не усвоена для него новая тактика пролетариата».

Переворот понятий: существовала извечная первичная тактика пролетариата, а Главнокомандующий — мошкой на периферии.

«Будучи твёрдо-организованными и железно-дисциплинированными, мы — (кто эти «мы»? и довольно страшноватые) — не только не боимся свободы действий, слова и организации в любом месте России, в том числе и на фронте — (они-то не боятся!), — но наоборот ду-

маем, что именно это быстро даст громадную спайку между нашими товарищами солдатами и рабочими».

Так они — «наоборот думали». Между *вами* спайку — возможно, но Армию тем временем распаяют.

«Мы стоим за полную демократизацию армии, а потому нам не свойственно бояться свободы граждан-солдат».

Приехали бы посмотрели на эту свободу.

«Необходимо, чтобы генералы — *и в том числе Рузский*, желающие действительно присоединиться к восставшему народу и армии, твёрдо помнили бы, что Великая Русская Революция наших братьев солдат сделала свободными гражданами и всякие следы рабства у солдат должны быть навеки покинuty».

Болезненная точка Рузского была всегда — не попасть в унижительное положение. Он весь напрягался, предугадывая такой момент и предотвращая — какой-нибудь невольной даже непочтительностью — даже на приёме у Государя или великого князя, чтобы только отстоять и подчеркнуть свою независимость.

И вот сейчас он пылал — от унижения, от позора и своего бессилия. Он написал человеческое дружелюбное письмо — ему отвечали газетной статьёй! Он всегда боялся унижения от надменных аристократов, — а оно прикатилось лохматое, растрёпанное, в грязи размазанных букв — от Охлоса!

«Генералу Рузскому, очевидно, не приходит в голову, что его собственные полномочия, исходящие от власти старого порядка, ещё должны быть подтверждены новой властью».

Так и опустились руки. Надо было так понять, что Совет депутатов намерен его сместить?

Что ж, у кого-кого, но у Совета, кажется, власти на это хватало.

Неделю назад Рузский был полновластный Главнокомандующий, увешанный орденами, из немногих доверенных генерал-адъютантов, — а вот какой-то неизвестный солдатский сброд готовился голосовать, не убрать ли его.

Два пальца полезли в нагрудный карман, вытянули жёлтый стеклянный мундштучок, другие пальцы, дрожа, стали вставлять сигарету, — но и зажечь он не собрался, нельзя было оторваться, не дочитать этой совсем маленькой, слившейся-грязной громовой колонки.

«На более правильной точке зрения стоит его ближайший помощник генерал М. Д. Бонч-Бруевич, который в своей телеграмме по тому же адресу сообщает, что он готов служить родине, но всякая его новая работа должна быть утверждена представителем власти нового правительства...»

Вот это был дуплет! Надёжный близкий (и по жёнам дружны) Бонч-генерал, кого Рузский ждал как избавителя, назначил начальником гарнизона (впрочем, он хочет быть снова начальником штаба фронта), успел снестись с Советом помимо Рузского? И теперь, хваля, противопоставлял его Рузскому — Совет? или свой же брат, революционер-Бонч?

Подписано было: «Прим. ред».

Понимай, что — Бонч, но — не докажешь.

И какое нелепое, неграмотное противопоставление, в чём обвинение? Что Бонч-генерал признаёт новое правительство? Так разве Рузский не признаёт? Да Рузский в тысячу раз больше, добыл отречение!

Даже не так сепаратная взаимопомощь братьев обидела (хочет ли Бонч при новом режиме стать Главнокомандующим?) — как вот эта нелепая неграмотность, неквалифицированность обвинения, невозможная в газете респектабельной, куда доступно послать опровержение, а тут — что можно было? Грязные буквы в строчках почти сливались — и были непробиваемы.

А между тем тысячи солдат его же фронта сейчас это читают и будут читать — и заподозрят в чём-то тёмном, с той темнотой, которая только и доступна толпе.

Глупейшее состояние бессилия и обиды.

И на что теперь можно было надеяться с его посланной депутацией? как её примут в Совете?

Из устойчивого стояния в твёрдо-костяной военной иерархии вдруг почувствовал себя Рузский беспомощным комочком, затынутым в генеральский мундир. В любую минуту мог отказаться повиноваться ему — его Фронт, его комендантская рота, его штаб, — и что он мог тогда приказать, делать? Что вообще он м о ж е т? Все его возможности — принятая условность армейского подчинения.

Которая вдруг рухнула.

Но и в этом состоянии не оставил его Совет рабочих депутатов отойти от удара. Рузский вышел в штаб, — а там была новая телеграмма, от Совета, с развязностью последних дней, что к Главнокомандующему может обращаться кто угодно. Телеграмма сообщала, что Совет депутатов теперь высылает «приказ № 2» в дополнение к «приказу № 1».

Почему же всё-таки *приказ*? Кому и от кого — приказ?

И в заголовке же стояло, что это приказ — по петроградскому гарнизону. А высылался Северному фронту.

«Приказ» был такой бестолковый, что трудно вчитаться и понять. Как будто останавливалось самовольное избрание офицеров? Но и тут же подтверждались все результаты уже произведенных выборов. И подтверждалось право солдатских комитетов *возражать* против избрания любого офицера!

Так это было — лучше предыдущего «приказа» — или хуже? Из огня да в полымя.

Армия! — самая прочная из организаций общества, почти достигающая состояния полной твёрдости, — теперь плавилась и растекалась. Оседали и ползли — все командующие, штабы, все начальники и офицеры.

И единственно, что ещё оставалось штабам, это: пока цела была телеграфная проволока — слать друг другу последние телеграммы.

И Рузский — послал опять Алексееву. Прося, наконец, и уведомить: что же стало с чередой предыдущих телеграмм?

Странно, что никак не поддерживал Гучков: кажется, только что вместе дружно получали отречение, — а уехал и не отзывался.

477

Вечером Алексеева вызвали к аппаратному разговору с Петроградом.

Это был — неуловимый до сих пор князь Львов. Он начал с того, что в столицах стало спокойно, порядок повсюду водворился, утешительные вести поступают и из других городов — всё благодаря своевременно принятым мерам. (Как бы благодарность Алексееву за помощь в дни отречения?) Насчёт проникновения в армию революционного течения — меры тоже приняты: вчера напечатано объявление к населению, сегодня печатается обращение к войскам. И в ответ на тревожные телеграммы Алексеева выезжают сегодня ночью на все фронты депутаты Думы с официальными полномочиями.

Но кажется уже не объявления нужны, а пулемёты...

Печатная строка тянулась ровно, а как будто дёрнуло её и пошло что-то другое, от другого человека:

— Прошу принять во внимание, что догнать бурное развитие невозможно, *события несут нас, а не мы ими управляем.*

Даже вечно-насупленные брови Алексеева — и то как будто ползли вверх. Вот этих петроградских перескоков он всю неделю понять не мог. Как будто люди с ним разговаривали — ненормальные.

А дальше опять всё гладко: сегодня же будут командированы представители для сопровождения императорского поезда. Проезд будет полностью безопасен, но уже сейчас желательно знать, как Государь будет следовать с Мурмана. Сегодня князь Львов получил телеграмму от Верховного Главнокомандующего, что он предполагает прибыть в Ставку 10-го. И ответно телеграфировал ему — об общем положении вещей и о личной встрече в Ставке.

Что глава правительства и Верховный Главнокомандующий так сразу поладили — очень радовало Алексеева, будет легко работать.

И вдруг — опять как передёрнуло ленту, и на ровной полоске потекло вкось и вкривь. Князь Львов уже больше недели употребляет все усилия, чтобы склонить какое-то течение в пользу великого князя. Но его наместничество совершенно отпадает, а...

— Вопрос Главнокомандования становится столь же рискованным, как и бывшее положение Михаила Александровича. Остановились на общем желании, чтобы Николай Николаевич, ввиду грозного положения, учёл создавшееся отношение к дому Романовых и сам бы отказался от Верховного Главнокомандования. Подозрительность по этому вопросу к новому правительству столь велика, что никакие заверения не принимаются.

Вот это да!! Алексеев уселся прочней, кидало.

— Я считаю такой исход неизбежным, но великому князю не сообщал, не переговоривши с вами. До сегодняшнего дня я вёл с ним сношения как с Верховным.

А почему? — непродоумевал Алексеев. — Почему ж не великому князю первому и сказать? Пока он ещё был в Тифлисе, не в один же час они решили, можно было бы посоветоваться с ним, ему было бы удобней остаться в Тифлисе.

— Общее желание, — кончал Львов, — чтобы Верховное Главнокомандование приняли вы — и тем бы отрезали возможность новых волнений.

Тряхнуло Алексеева ещё раз. Но не обрадовался старик ничуть, и если застучало сердце, то не от честолюбия. Отвечал:

— Характер великого князя таков, что если он раз сказал — признаю, становлюсь на сторону нового порядка, то уже ни на шаг не отступит в сторону и исполнит принятое. И армия уже знает о его назначении, получает его приказы и обращения, к нему большое доверие в средних и низших слоях армии, в него верили. И для нового правительства он будет желанным помощником, надёжным исполнителем. Вы можете с полным доверием относиться...

Почему вдруг так спешили? Почему не хотели дожидаться приезда великого князя в Ставку?

Изменение не следовало. И Алексеев опять:

— Отстранение же его вызовет обиду. А если уж такая перемена почему-либо признаётся среди правительства необходимой — то лучше выждать приезда великого князя сюда и здесь поговорить вам лично с ним. Только тогда, если установится решение, — можно будет обсудить вопрос о заместителе... Так, чтоб не было трений с главнокомандующими, вопрос тоже деликатный...

Львов не спешил говорить. Что-то они думали не с того конца, какие-то мысли кривые. Алексеев собрал все силы убеждения:

— Бог приведёт, с каждым днём положение правительства будет становиться более прочным, авторитетным. Тогда, если явится надобность, замена в будущем будет безболезненна. Благовидные предлоги всегда найдутся. А в данную минуту армии нужно спокойное течение жизни. За несколько дней она уже привыкла к назначению, знает человека, встретит его с доверием. Мы все с полной готовностью сде-

лаем всё, чтобы помочь правительству стать прочно в сознании армии. Но — и вы помогите нам пережить совершающийся некоторый болезненный процесс в организме армии: сохраните Главнокомандование за великим князем. Поддержите нас нравственно, дайте воззвание, что для России нужна армия дисциплинированная, поддержите авторитет начальников, что они поставлены Временным правительством.

Если в Петрограде уже всё упрочилось — то зачем торопиться менять? Если, напротив, у них всё шатко — то как же можно рисковать такой сменой сейчас?! Очевидно, надо объясниться устно.

— Командировать к вам моего генерала? Или же будет можно развить весь наш разговор при личном свидании?

Наконец потекло и от Львова:

— Дорогой Михаил Васильевич, вы должны ответить по существу — сейчас. Все ваши соображения вполне разделяются всеми членами правительства. Дело здесь не в личном доверии или недоверии нашем к Николаю Николаевичу, а совсем в другом. Если бы месяц назад! — а теперь дело другое... Участь нашей великой задачи стала решаться больше тылом, чем армией. А после величайшего совершённого переворота, размеров которого никто не ожидал, — тыл решает всё! События рождаются психологией масс, а не желанием правительства. И мы считаем, что устранение великого князя ещё не даст крушения всего дела, а назначение его — может дать такие явления в тылу, которые... Ведь вот благородное решение великого князя Михаила Александровича спасло его и нас от новой бури. Мы не смеем рисковать! Лучшим исходом был бы такой же великодушный акт со стороны Николая Николаевича. Если б он своим высокоавторитетным голосом призвал армию подчиниться новому Главнокомандующему — это ещё больше подняло бы его популярность. А соображение о личной обиде? — в благородном сердце Николая Николаевича? Я уверен, что не может возникнуть... Сейчас с вами будет говорить Александр Иванович Гучков.

И он тут! — роковой человек Алексеева. То никого не дозваться, то все тут.

Потекло от Гучкова, но не в ответ на все отчаянные запросы Ставки:

— Комбинацию с Главнокомандованием великого князя я раньше находил желательной и возможной. Но события идут с такой быстротой, что теперь это назначение укрепило бы опасное подозрение в контрреволюционных попытках и опасно заставило бы народные массы сохранять боевую позицию. Лично я убеждён в безусловной лояльности великого князя в отношении нового порядка, но невозможно это внушить народным массам.

Вот этого Алексеев и не понимал! Кто ж были ещё народные массы, если не солдаты, которые любили великого князя и ждали его?

— Поэтому высказываю твёрдое убеждение в совершенной необходимости отказа великого князя — в пользу вашу. Его благородный патриотизм пусть продиктует ему это решение — и оно поможет нам водворить успокоение в умах здесь, в центре.

Ну, если они так тверды — не отбиваться же без конца? Не предлагали же звать ещё кого-нибудь нового, и самому Алексееву не предстоял какой-то прыжок, он оставался на том же месте.

— Если так, то к 10 марта приезжайте в Могилёв сами, чтобы в словесной беседе с великим князем всю деликатную сторону... А при выборе заместителя надо обсудить вопрос...

Алексеев не гнался за таким постом, но занять его — конечно мог. Однако представил себе открытое негодование Рузского и затаённую за улыбкой кусающую злобу Брусилова.

— ...не остановиться ли на лице одного из главнокомандующих? к которому народные массы могут отнестись с большим доверием,

чем к человеку, работавшему начальником штаба у Государя? Новое назначение должно быть принято и всеми главнокомандующими без неудовольствия.

И будет осложнение с румынским королём — как ему подчиниться очередному генералу?

Гучков отвечал с решительностью:

— Положение столь серьёзно, что все вопросы о деликатности должны быть навсегда устранены. Великий князь поймёт всю необходимость шага. Никого другого, кроме вас, мы не видим. Если мы теперь упустим время, то через несколько дней обстановка может ещё измениться. Вы можете удесятерить доверие к вам правительства и свою популярность в народе, если примете ряд решений. Например: если б вам удалось немедленно устранить генерала Эверта, полная неспособность которого... И если в дальнейшем примете широкие меры устранения заведомо неспособных генералов, то ваше положение упрочится быстро и твёрдо. Но их надо принять безотлагательно. Никогда я не был так уверен в своей правоте, как давая вам эти советы.

Быстро усвоил гражданский Гучков пост военного министра! Разгонять генералов? Растерялся Алексеев от такого напора:

— Все такие меры в данную минуту... Как начальник штаба не имею права принять, ибо мне это не предоставлено законом... Уже объявлено великим князем, что 4 марта он вступил в должность... Сперва надо изменить положение служебное, а засим только... те или другие решения... И примите во внимание нашу бедность выдающимися силами генералов. *Широкие меры* встретятся с недостатком подходящих людей. Заменять одного слабого таким же слабым — пользы мало...

Но Гучкова не поколебало: он так же рвался вперёд:

— Вполне понимаю, что вы не можете провести эти меры тотчас, но нам нужно ваше внутреннее решение. Можем ли мы рассчитывать, что вы поддержите совет великому князю об отказе от Главнокомандования? Совершенно не могу согласиться относительно затруднительности найти даровитых генералов для замены ряда бездарностей. Такие новые назначения, произведенные с одного маха, вызовут величайший энтузиазм и завоюют громадное доверие!

Широко-о шагал! Широко-о!..

— Но приезд князя Львова и мой в ближайшие дни в Ставку совершенно исключён. Мы будем в состоянии переговорить с великим князем только по телеграфу. Понимаю всю затруднительность вашего личного положения, но прошу вас дать согласие. Если мы с вами не примем этих решений свободно и добровольно, то они будут нам навязаны со стороны.

Вот как они поворачивали! Не только с ними согласиться, но ещё и собственными руками всё сделать. Но еще на себя и взять всю тяжесть объяснения с великим князем? — да ещё в дурацком положении заместника...

— С глубоким огорчением я должен буду говорить с великим князем... Я полагаю — вы пришлёте ему письмо, а уже затем дополните разговором по аппарату... Лично я очень хотел бы остаться в моём нынешнем положении. И готов честно сотрудничать с каждым, кого избрало бы правительство на должность Верховного... Конечно, долг прежде всего, и придётся принять неминуемое... Хотя в моём здоровье после болезни остались некоторые...

— От имени князя Львова и своего повторяю, что кроме вас никого у нас не имеется в виду. Письмо великому князю будет послано. Покажите ему эту ленту...

Уже и кончался разговор? А к ним обоим было столько много, Алексеев добивался их несколько дней... Но через весь навал неожиданности вспомнилось только одно:

— Потревожу вас неподходящим посторонним вопросом. Граф Фредерикс приказал отцепить свой вагон в Гомеле и просит разрешения ехать в Петроград. Если возможно, разрешите старику: он совсем уже утратил память и способность распоряжаться даже собой.

Гучков:

— Советуем графу Фредериксу пока не возвращаться в Петроград — никаких гарантий его безопасности. Передайте графу, что с его семьей всё благополучно, подробности позднее.

И без того было хлопот, но втесался ещё этот граф Фредерикс: вослед пришло сообщение из Гомеля, что граф, бедняга, арестован там.

Обезумевшего старика было жаль, да перед собою не мог отвести Алексеев и собственную вину, что его туда отправил: вероятно, переизбаловался, никто бы Фредерикса в Ставке не тронул, ничего б не было.

И пришлось ещё этой ночью давать князю Львову новую телеграмму: чтоб не держали несчастного Фредерикса под арестом.

СЕДЬМОЕ МАРТА

вторник

480

И наконец Белокаменная приходила в себя от восхитительных дней. Комитет общественных организаций издал воззвание к учащимся средней школы, что вполне понимает их горячий порыв, но не надо вносить разлада в государственную жизнь — а с понедельника следует вернуться к школьным занятиям. Его другое воззвание было: кто имеет более 20 пудов муки, пусть представит сведения о своих запасах. Впрочем, обнаружилось, что в Москве муки и без поступлений должно было хватить на 2 недели, а поступления подкатывали ко всем вокзалам, а Тамбовская и Саратовская губернии из уважения к стольному граду — подарили Москве каждая по 300 тысяч пудов ржаной муки. Тем временем снова открылись все перво-классные рестораны (повара и официанты прекратили революционную забастовку). Пошли трамваи, все украшенные красными флагами и лозунгами. Командующий Грузинов воззвал о необходимости отобрания воинского оружия, кому оно не может принадлежать. Восстановила свою деятельность биржа. На квартире Рябушкинского было принято решение собрать в Москве Торгово-промышленный съезд. Разрешили открыть бега, без тотализатора однако. Во всех церквях отслужены были молебны, а священники произнесли проповеди о переживаемых событиях. Восстановилась театральная жизнь в той мере, как могла преодолеть добровольный самозапрет театрального общества: не давать спектаклей на Крестопоклонной неделе, — но где спектакли составлялись, там оркестр играл марсельезу и устраивался общий митинг артистов и публики. Кинематографы работали все, и на экранах появилась сенсационная фильма «Тёмная сила», о Григории Распутине, которую снимали для Америки, не предполагая, что её узрит и отечество. В Лиховом переулке на квартире Монархического союза был произведен обыск, а квартира начальника Охранного отделения Мартынова была разгромлена и разграблена. Решили не освобождать арестованных городских, околоточных надзирателей и приставов. Историк Мельгунов приступил к разборке полицейских архивов, а на Петровке 16 создана комиссия о несудебных арестах,

дабы упорядочить аресты. Напротив, губернатор граф Татищев и вице-губернатор граф Клейнмихель, давшие подписку о верности новому правительству, были из-под ареста освобождены. Упразднился навеки чёрный кабинет при московском почтамте, и устанавливалась временная цензура телефонных разговоров с некоторых подозрительных аппаратов, а иные были вовсе сняты. Из городской думы, сердца этих революционных дней, выехали наконец и Комитет общественных организаций, в Леонтьевский переулок, и Совет рабочих депутатов, на Скобелевскую площадь,— и в опустевшем пострадавшем здании Думы подметали, скребли, мыли стены и окна, и елозили полотна.

И в самые эти оздоровительные дни разнёсся слух, что в Москву едет знаменитый революционный деятель, сам министр юстиции Керенский!

И это оказалась правда! До сих пор лишь второстепенные члены Государственной Думы приезжали что-либо пояснить о событиях, да свои деятели ездили в Петроград посмотреть да подузнать. Раненная своим непревосходством, Москва ревниво следила, как всё важнейшее варится на берегах Невы,— и хоть Учредительное Собрание замышляла перетянуть к себе. А вот — ехал сюда самый яркий, самый популярный, самый левый из министров! — ехал явиться и осветить! А в частности, как предупреждала печать, ознакомиться с местными судебными установлениями. А ещё в частности — войти в непосредственные сношения с рабочим классом Москвы и ознакомиться с его взглядами на текущий политический момент.

И на Николаевском вокзале, украшенном, как и все вокзалы, красными флагами, к полудню собрались для встречи представители Комитета общественных организаций, представители Совета рабочих депутатов, представители московской городской управы, и комиссар юстиции Москвы Муравьёв, и, конечно, от московской адвокатуры, от совета присяжных поверенных, от судебной палаты, от окружного суда,— а ещё построен был почётный караул юнкеров Александровского училища.

И вот, к подкупольному перрону, выдавшему столь много славных приездов из Петербурга и Петрограда,— подошёл экстренный поезд из паровоза и двух вагонов — и на площадке второго вагона стоял первый в России министр-гражданин! (Как он был молод, как он был строен, как шло ему лёгкое пальто с меховым воротником и мягкая шляпа!) Сняв перчатку, он заранее безо всякой заносчивости показывал свою доступность, помахивал пальцами встречающим. Тут раздалась команда капитана взводу юнкеров:

— Для встречи слева, слушай, на-краул!

Юнкера взяли на караул. Барабанщик забил встречу.

Александр Фёдорович мило кланялся, прикладывая пальцы к шляпе.

Не только он: глубже на площадке стояли и тоже прикладывали два любимца Москвы — Челноков и Кишкин, тоже приехавшие из Петрограда, а на днях давшие образец гражданского поведения: Челноков, назначенный Родзянкою комиссаром Москвы, не счёл возможным состоять по назначению при наступившей эпохе свободы — и добровольно уступил комиссарство избранному Кишкину. Но даже их двоих почти не заметили при встрече.

Едва сойдя со ступеньки вагона скользящим движением ноги, гражданин-министр расцеловался с длинным тощим князем Дмитрием Шаховским (у обоих стояли слёзы в глазах) — и с представителем железнодорожных рабочих, который назвал Керенского товарищем. А от прапорщика принял большой букет красных тюльпанов, перевязанный широкой муаровой лентой.

Князь Шаховской, с большими ясными глазами, знаменитый кадет, секретарь выборского заседания, дрожа от охватившего волнения, долго не в силах был выговорить даже слово. Наконец начал:

— В эти знаменательные дни, которых русский народ никогда не забудет, вы доказали, что самый ярый радикализм, самый пылкий дух можно вложить в живое дело и воплотить в реальные формы! Вы доказали это своим горячим личным примером! От имени Москвы и от имени... я приношу вам самую горячую... Благодаря именно вам мы уберегли наш город от кровавых эксцессов. В Москве всё спокойно, всё в образцовом порядке, вы убедитесь сами.

И — ещё раз пылко расцеловались.

И затем Керенского приветствовали от городской магистратуры. И затем — от Совета рабочих депутатов —

— ...как господина министра юстиции, но и нашего дорогого товарища...

И вручили ему письмо от председателя Совета Хинчука. Министр, освободясь от букета, тут же прочёл письмо, и умное лицо его осветилось решимостью:

— Я отсюда еду немедленно к вам!

Это — меняло предположенный распорядок, и смутило представителей судебных властей, прокуроров, комиссара юстиции, приветствовавших министра от имени, от имени и ещё от имени...

Но Керенский, принявший весьма официальный вид, заявил:

— Прошу меня не ждать. Я буду и в суде.

И затем, отвечая на все приветствия резким, далеко слышным голосом:

— Товарищи!.. Господа!.. У меня нет слов, чтобы выразить, что я переживаю! Но я лично — я только исполняю свой долг. Я знаю, что русский народ — великий народ, и русская демократия — великая демократия! Для них — нет ничего невозможного, а я... я только являюсь их орудием. Да, для меня величайшее счастье, что эти дни я мог действовать наверняка. Я шёл прямой дорогой, ибо хорошо знал и крестьянство, и рабочий класс, и вообще весь русский народ... Вот, я приехал от имени Временного правительства, пользующегося всей полнотою власти, приехал передать вам привет от нас, министров, и заявить, что мы отдаём себя в распоряжение нации и будем исполнять её волю до конца! И вот, я приехал спросить вас: а идти ли нам до конца?

— До конца! до конца!.. — загудела толпа, принявшая к этому времени громадные размеры. Здесь толпились солидные, раскормленные общественные деятели, и немного офицеров, и много солдат без строя, рабочие, мещане, студенты и гимназисты.

И закинув голову движением роковым, принимая эти клики как глас народа, Керенский шагнул ещё и обратился к почётному караулу:

— Господа офицеры, юнкера и солдаты! От имени Временного правительства я приветствую русскую армию, навсегда освободившую Россию от тиранической власти! Отныне у нас только один народ — народ вооружённый!

Прошёл гулок восхищения.

— Старая рознь между офицерами и солдатами, между армией и народом — отошла в вечность. Мы все теперь — граждане! — раскинул он над собою одну руку в лайковой перчатке, другую без перчатки. — Мы все теперь — сыны великого свободного народа.

И — пошёл, пошёл, легко, свободно, не зашёл в парадные комнаты вокзала, а сразу на улицу, где ждал его автомобиль.

С ним рядом заняли места как адъютанты — два артиллерийских офицера, прикомандированных от командующего войсками.

И под крики «ура» и рукоплескания автомобиль тронулся от вокзала. В Совет рабочих депутатов, на дружеский и негласный разговор революционеров.

Корреспонденты газет тем временем бросились в редакции.

О чём говорилось в московском Совете рабочих депутатов при закрытых дверях — не узнала пресса, естественная скрытность революционных деятелей. Но в 3 часа дня Александр Фёдорович Керенский на автомобиле въехал в Кремль. (Его сопровождал присяжный поверенный Муравьёв, уже назначенный председателем Чрезвычайной Следственной Комиссии. Тем более благоволил к нему Керенский, что другой очень прогрессивный московский присяжный поверенный, Тесленко, уже трижды за эти дни отказался быть товарищем министра юстиции, и это проникло в газеты и не могло не служить к некоторому омрачению сверкающего имени Керенского.)

В громадном Овальном зале Судебных Установлений с его великолепной потолочной лепкой и люстрами, собралось и уже ждало второй полный час так много представителей судебного ведомства и присяжной адвокатуры, как только могла выставить Москва и вместить в этот зал. Впрочем, при таких редкостных событиях никакие часы ожидания не тягостны, а стечение лучших умов само себя интеллектуально питает. Уже известно было, что новый министр круто не переносит все ордена прежнего режима как ордена ложные и все ведомственные формы как оскорбительно-тиранические. Итак, хотя никто из чинов судебного ведомства ещё не был разжалован — все они явились как лица сугубо штатские, лишённые званий и орденов, и только единою строгою чернотой костюмов рознились от многоцветных пиджаков независимой присяжной адвокатуры.

Ещё в вестибюле Керенского встретили эти десигнированные председатели департаментов судебной палаты и прокуратуры. По другую сторону ковровой дорожки тут же собрался в полном составе совет присяжных поверенных, лучшие умы и языки Москвы.

Молодой стройный министр (в австрийской куртке, но в этот раз с проблеском белого воротничка) милостиво и с большой любезностью покивал в одну сторону, покивал в другую, пожал несколько случайных рук и стрелой направился в зал, все остальные за ним.

Помнил ли когда-нибудь Овальный зал такое переполнение и столь бурные длительные аплодисменты — ещё будут спорить историки. Аплодисменты никак, никак, никак не хотели смолкнуть. Лишь с трудом через них протрубился голос Муравьёва:

— Господин министр! Здесь собрались московские судебные установления — судебная палата, окружной суд, прокуратура, адвокатура, служащие суда — встретить первого министра юстиции свободной России!

— На стол! на стол! — раздались воодушевляющие голоса.

И Керенский, как бледный ангел в чёрном, взлетел на стол. Речь его прозвучала лаконично, но как ясно осветила она вперёд прожектором всю его многообещающую программу! И какие переливы святого волнения свободы теснились в струе этого голоса при несколько отрывистой дикции.

— Господа судьи! Господа присяжные поверенные! — (Он представил их вперёд.) — Господа прокуроры! Родилась свободная Россия и вместе с нею родилось царство закона и свободной судейской совести. Старый порядок ниспровергнут навсегда и безвозвратно. Я надеюсь, что те из судей, которые служили старому режиму, найдут сейчас ответ в своей совести, смогут ли они отдать себя служению делу истинного правосудия или исполнят свой служебный долг и уйдут! Я хотел бы, чтоб наступление царства правды не заставило меня прибегать к экстренным мерам и тем омрачить нашу общую радость.

В столь вежливой форме предупредив закоснелых, как можно решить проблему несменяемости судей, министр обернулся в ту сторону, где более теснились адвокаты:

— А в вас, господа присяжные поверенные, я горячо приветст-

вую единственное сословие, геройски и до конца охранявшее в России светильник правосудия!

Единственное сословие России! И как это было правдиво! И как заслуженно светились адвокатские лица!

Отдельно к прокурорам министр не обратился, но сразу:

— А вам, господа служащие канцелярий, а вам, господа курьеры, я даю слово, что впредь вы будете пользоваться всеми правами, которыми должны пользоваться все свободные граждане свободной России. Организуйтесь для защиты своих интересов!

И спорхнул со стола.

Затем уже судьи и прокуроры были ни при чём, а в помещении совета присяжных поверенных собрались одни адвокаты, все свои, и атмосфера очень потеплела.

— Товарищи! — говорил министр, и любовь была в его голосе. — Право у нас в России только и осталось в одной вашей... нашей корпорации. Впрочем, едва ли нужны лишние слова. И просто... позвольте мне у вас просто отдохнуть...

Это сердечное обращение растрогало адвокатов. Наступила величайшая непринуждённость. Министр сидел за столом заседаний, пошевеливая ошейник глухого воротника, а адвокаты толпились со всех сторон и красноречиво напоминали наболевшие вопросы, когда-либо ими же красноречиво поднятые. Один из них был — о женщинах-юристках.

— О да, о да! — оживился усталый министр. И решительно обратился к председателю совета. — Я прошу вас немедленно начать приём женщин в сословие. — Он посмотрел на наручные часы. — Если можно — даже сегодня, постарайтесь.

Присяжные поверенные живо интересовались, какая будет расправа с царём.

— Господа, — возразил министр, — в такой момент не должно быть нервнирующих разговоров. Представители династии в руках правительства, в моих собственных руках, — и неужели мы способны на компромиссы? Но! не должно быть места и инстинктам мести.

Коснулись вопроса об освобождении политических. Министр объявил, что от консорциума петроградских банков получено на нужды освобождаемых полмиллиона рублей. Коснулись, как организовать торжественную встречу возвращающихся из Сибири. Министр отнёсся очень поощрительно и особо указал на необходимость встречи «бабушки» русской революции Брешко-Брешковской:

— Она моя учительница в эсерстве и мой друг. И когда она пройдет через Москву — дайте мне знать, я сам её встречу в Петрограде.

Тут оказалось, что и среди присутствующих есть присяжный поверенный, отбывший ссылку в Сибири. Министр порывисто расцеловался с ним. Вообще министр был мил, обаятелен, населил восторгом присяжных поверенных. Он просил их и впредь не стесняться и свободно делать ему указания на необходимые реформы или вопросы.

Но увы, дела звали его дальше, вся Москва нуждалась в нём. Под бурные овации министр вышел-вышел-вышел, на кремлёвском дворе сел в автомобиль и со своими офицерами-адъютантами поехал на съезд мировых судей.

Они его все ждали давно и все без формы, как и было предупреждено, но в чёрных сюртуках. Все стояли, и председатель съезда приветствовал Керенского речью: о том, что мировые суды действуют более 50 лет...

— ...и блестяще! — вставил министр (хотя уже распорядился обойти их временными судами из рабочих и солдат).

— ...и выборные мировые судьи оказались победителями в борьбе за свою независимость и незапятнанное знамя.

И Керенский вдруг стремительно нагнулся, рукою до полу, думали — он обронил что-нибудь, нет, — это он низко поклонился миро-

вым судьям, всегда шедшим по правде и совести, и так донесшим факел до наших дней.

Он, кажется, много хотел тут сказать, но посмотрел на часы и заторопился. Ему надо было мчаться в электротheater «Арс» на Тверскую, где его ожидали более тысячи делегатов московского гарнизона. По дороге сопровождающие офицеры досказывали ему, как развивается движение в гарнизоне, как уже не первый раз офицеры и солдаты тут заседают вместе, а позавчера после заседания пошли из «Арса» по Тверской, под марсельезу, взявшись под руку вперемежку, — и так, привлекая восторг населения, до памятника Скобелеву, где были речи, и затем к университету — сообщить студентам своё решение о войне до победного конца.

В огромном театре все поднялись — защитное сукно, солдат больше, и многие не сняв шапок, и встречали министра густым хлопаньем, а он прошёл на сцену и стоял — тонкий, скромный и бесконечно-значительный. А когда наконец аплодисменты утихли — он встрепенулся к речи, и звонкий голос его достигал последних рядов амфитеатра.

— Я, министр юстиции Керенский, член Временного правительства, более чем товарищ вам, — ибо я не только убеждённый демократ, но я и убеждённый социалист и, я думаю, я понимаю нужды народа. Скажите, могу ли я сообщить Временному правительству, что московская армия — наша, что она верит нам и сделает всё, что мы ей скажем?

И вся аудитория загудела: «Верим! Ваши!» — и снова гулкие хлопанья.

И — ещё говорил Керенский, как пришло время в пробуждающейся армии показать не дисциплину внешних приказов, но железную дисциплину долга перед родиной. Нужно колоссальное самообладание. Вот исполнилось пламенное желание: командный состав и солдаты слились в единстве!

То ли речь уже кончалась, то ли была заминка обдумывания, но в перерыве министерского тенора раздался из зала бас:

— А почему Николаю II разрешён проезд в Ставку?

— Заверяю вас, — властно отозвался Керенский, — Николай II находится полностью в руках Временного правительства. В Ставке он не имеет никакого значения.

— А правда, что Верховным Главнокомандующим назначен Николай Николаич?

— Вопрос о Николае Николаиче, — отвечал Керенский, — тоже обсуждался Временным правительством. И могу вас заверить, что если правительство обнаружит в этом отношении колебания — я не задумываясь уйду из его состава!

Не успели понять — в каком направлении, какие колебания, — вдруг министр зашатался как тростинка — к нему кинулись, офицеры из свиты подхватили под руки, еле успели не дать ему упасть — и опустили в кресло на сцене, с пепельным лицом, опущенными веками, в обмороке.

Зал загудел: что сделали с любимым народным министром? Да не умирает ли он?..

Ему бегом несли стакан, попить и побрызгать.

Кто-то стал объяснять над рухнувшим бездыханным, что министр уже неделю не спит, не отдыхает...

О! Каково ж напряжение революционной энергии!

Да — не спит ли он?

Да, кажется, он просто заснул.

Но! — вот уже зашевелился! Он испил воды. Он даже, кажется, улыбнулся изнеможенно.

И вот — уже поднимался!

Уже поднялся?

Да! Он уже говорил опять, и голос его набирал прежнюю звонкость:

— Господа! Откуда эти разные слухи? Не придавайте им значения! Уверяю вас, со стороны династии нам не грозит никакой опасности. Все они находятся под неослабным надзором Временного правительства, и будьте спокойны: пока я нахожусь в министерстве,— голос его уже был грозен, удивительно было это мгновенное преобразование,— никакого соглашения со старой династией быть не может! Династия будет поставлена в такие условия, что раз навсегда исчезнет из России! Создавайте новый народ — а всё, что осталось позади, отдайте мне, министру юстиции!

И снова это был властный пронзительный министр, от которого ничто в стране уже не могло укрыться.

Тут на сцене электротeatра появился и командующий Округом Грузинов. Его тоже встретили овацией, а он сообщил аудитории, что войска московского гарнизона всё более настойчиво желают видеть его не временным, но постоянным командующим. Что делать?

Министр отнёсся очень отзывчиво:

— Это великолепно! Я обещаю поговорить в правительстве, чтоб именно так и было!

488

Комитет общественных организаций был в Москве как бы своё здешнее временное правительство — то есть уважаемые, всем народом излюбленные и выдвинутые общественные деятели (неприятно одёргиваемые только Советом). Правда, управлять они могли лишь одною Москвой, но суждения иметь могли обо всех делах государственных, и так например вчера в пленарном заседании по предложению одного профессора обсуждали: почему царь Николай II находится в Ставке, почему Николай Николаевич назначен Верховным Главнокомандующим?— И приняли резолюцию, что Комитет находит необходимым подвергнуть царскую семью личному задержанию. Или о Московском военном округе, охватывающем 10 губерний, также было составлено ими суждение: ходатайствовать об оставлении командующим — милого Грузинова.

Пленарные заседания их последние дни обыкли проходить в старинном Английском клубе, давнем центре московского свободомыслия, к тому же очень удобном в отношении помещений, залов и хорошего ресторана. И сегодня к концу дня они все уже собрались там и заседали, когда среди сидящих прошелестела весть:

— Приехал! Приехал!

И председательствующий Прокопович тотчас прервал очередного говорящего и торжественно объявил:

— Товарищи!— (Это сладкое слово они уже употребляли вместо «господа».) — Сейчас мы будем иметь честь приветствовать...

И — двери распахнулись, и в них, как любимый публикою артист при появлении задерживается на миг дать разразиться рукоплесканиям, встал Керенский (а за ним виднелся всё тот же Грузинов). И, о боже, что поднялось! какие бурные аплодисменты, какие клики «ура», «браво» и «да здравствует Керенский»! Много минут собрание просто не могло успокоиться. И растроганный министр всё кланялся, всё кланялся, благодаря.

Когда же все расселись и воцарилась тишина, то первым выступил новоизбранный комиссар Москвы Николай Кишкин, коренастый, с растрёпанной бородкой, очень энергичный, некогда врач, но уже давно-давно видный общественный деятель.

— Я только что вернулся из Петрограда, вот в одном поезде с министром, и,— горячо,— могу засвидетельствовать, что если бы не

было Керенского, то не было бы и всего того, что мы имеем, здесь и по всей России! И золотыми буквами должно быть записано его имя на скрижалях истории!

И поднялась овация ещё на пять минут.

Затем Кишкин вкратце пытался передать, что же делается в Петрограде.

— Когда я ехал туда, меня волновал вопрос, так ли всё чувствуют и понимают в Петрограде, так ли бьются их сердца, как наши? И вот, когда я встретился с князем Львовым, я задал ему первый вопрос: понимает ли он, что теперь нельзя идти старыми путями? Он ответил: «да, конечно», и что теперь все законы должны выходить из народной массы, что законодательствовать должен сам народ.

Затем Кишкин образно описал первые дни событий в Петрограде, и что творится там сейчас. Москва легче перенесла, дружнее сорганизовалась, тотчас же после переворота забились все артерии её муниципальной жизни.

— В Петрограде другое. Он ещё не спаялся, в нём ещё дух расстерянности. На Москве обязанность — зажечь Петроград! вдунуть в него жизни! Мы должны отсюда ударить его свободным лозунгом. И мы, москвичи, совершив это, и результаты отразятся не только на России, но и на всём земном шаре. Русская революция двинет весь мир, и мы должны в это верить!

Как только произнёс он «земной шар» — так сразу закружилось, закружилось в головах, и представилось это величественное шествие революций по всей Земле, — и собрание залилось аплодисментами.

А самый-то главный юбиляр — но не забытый, нет, а в ожидании минуты своей, сидел у всех на виду в президиуме, в потёртой загадочной куртке, поощрительно склоняя свою умную голову с коротким бобриком, с голым лицом артиста.

— Я ещё не кончил, господа, — настаивал Кишкин сквозь аплодисменты. — При прощании премьер-министр протянул мне бумагу, и когда я её прочёл — я сказал: «свершилось»! Это была бумага от генерала Алексеева, где он от имени низложенного царя просит князя Львова разрешить ему взять семью и уехать в Англию. Вы видите: революция победила!!!

О, едва он это произнёс! О, что поднялось в зале!

И как на пенистых волнах над собранием взнёсся Керенский. Уже казалось, ничто не могло быть сильнее, но это ожидалось ещё сильнее!

И какая тишина наступила! Но в ней, увы, министр уставшим слабым голосом попросил разрешения говорить сидя.

Но и сидя — он некоторое время молчал, даже сидя не мог говорить — таково было истощение народного героя. Дальние ряды встали, чтобы лучше видеть гражданина народного министра, и даже стали взлезать на кресла, чего никогда не знал Английский клуб. Тишина становилась всё напряжённее, всё напряжённее, уже просто невозможно, только скрип кресел. Все взоры были обращены на министра — худощавого молодого человека с измученным бледным лицом и воспалёнными, но полными энергии, да, полными энергии глазами. И вот, наконец он заговорил слабым голосом:

— Граждане Москвы... Как только оказалась возможность, Временное правительство послало меня сюда. Нам и мне хотелось поскорее увидеть своими глазами, что творится здесь, в сердце России. Я должен сказать, я поражён Москвою. И по возвращении в Петроград передам Временному правительству моё восхищение всем виденным у вас.

Немного он оживал от слабости.

— Позвольте мне — не говорить речь. Такое ли время сейчас, чтобы говорить речи? Я просто передам вам, что происходит в России.

Отовсюду к нам поступают сообщения, что Россия охвачена единым желанием освободиться от старого строя. Нам кажется, что опасности контрреволюции уже не существует.

Вздых облегчения в зале.

— Говорят, необходимо обратить самое серьёзное внимание на царскую семью. Эти опасения смешны. Нам самим пришлось оказывать помощь всеми покинутым детям бывшего монарха, послав им сестёр милосердия и врача. Я могу определённо сказать, что вся старая власть отдала себя в наши руки. Мною уже организована Чрезвычайная Комиссия для расследования действий старой власти, которая откроет перед страной полную картину разложившегося режима, и мы заклеим его. Картина повсюду исключительно отрадна. В последние дни, правда, сознаюсь, мы пережили один ужас: в Балтийском флоте разгорелись было волнения. Одновременно пришли и сообщения, что враг спешит воспользоваться нашими неладами и готовит удар на Северном фронте. Мы — тотчас же направили членов Думы, я лично говорил по прямому проводу с матросами, и в результате всё стихает и ликвидируется. Министр земледелия вчера сказал мне, что продовольственный вопрос теряет свою остроту. Финансы укрепляются, ибо заграница обещает нам любую финансовую поддержку. Организация транспорта находится в таких верных руках как Некрасов, и этого достаточно, чтобы с уверенностью глядеть в будущее.

Так уже не было и никаких беспокойств? Нет, всё-таки были:

— Единственно, что меня теперь отчасти беспокоит — это Петроград. Если можно так выразиться, то, уехав из Петрограда в Москву, я как бы из тёмного душного каземата попал в просторный зал, наполненный воздухом и светом. Конечно, в Петрограде всё постепенно смягчается, но бесчисленные учреждения департамента полиции, прогнавшие столицу насквозь, не дремлют. Например, каждую ночь в городе появляются бронированные автомобили и расстреливают наших милиционеров, исчезая бесследно. Стараются развить свою деятельность и провокаторы. Нам известно также, что принимаются определённые меры и против некоторых членов Временного правительства.

Некоторых!? Его-то в первую очередь, конечно! Террор — против революционера? Поднять руку на народных избранников — о, какое же злодейство! Так вот ещё отчего был устал и разочарован этот голос, теперь дорогой всем нам:

— Да, и в Петрограде разрядится вмешательством Москвы и всей страны. Я предлагаю общественным организациям Москвы устроить ряд поездок по провинции и в Петроград. Необходимо наплатить их волей и духом нации.

Кажется, нашло отклик, пробежало по рядам: а что? и поедем! Наплатим.

Наконец и о себе:

— Я вошёл в правительство против единогласного постановления Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов, — вошёл потому, что я знал, что именно нужно стране: идти к Учредительному Собранию. В правительстве я — единственный представитель демократии, но должен сказать, что мы действуем солидарно. Каждый проводит то, что необходимо, по совести. Всякое предложение по социалистической программе принимается без возражений. Мы все решили забыть нашу партийность. Я это говорю откровенно, в порядке моих личных впечатлений.

Так и не нашёл сил встать, так и говорил сидя. Уж вытягивались, уж крутили головы, чтоб не упустить его движения.

— О себе же должен сказать, что мне выпала тяжёлая доля направить по нужному пути министерство юстиции. Но я — не изменю

своим принципам. Мои принципы — это вера в человека, вера в человеческую совесть. Я не хочу и не буду прибегать к незаконному воздействию на судей. И вы знаете, когда мы не спали в течение шести суток, когда мы не знали, стоит ли день или ночь, — вот тогда мы и увидели, что такое человек и человеческая совесть.

(Слушайте, слушайте! Это поразительно!)

— И если, господа, дело пойдёт так и дальше, то мы создадим такую славу нашему государству, что голова кружится!

Сквозь аплодисменты Прокопович, надрывая голос:

— Не имеет ли кто вопросов?

— Наша просьба — долой смертную казнь! — закричали.

А доктор Жбанков, стоя на кресле, произнёс и длинней:

— Отмена смертной казни — мечта демократического мнения! Оно удивляется: прошло 8 дней революции — и почему казнь до сих пор не отменена?!

Министр выставил отпускающе руку, зал затаился и услышал:

— Акт об отмене смертной казни уже составлен, и по приезде в Петроград я его подпишу. Через три дня о нём узнает вся страна.

О вездесущий! Он и в этом успел! Заревели новые восторги, и уже не все слышали, как представительница лиги равноправия женщин добивалась участия женщин в выборах Учредительного Собрания, а измученный министр отвечал ей, что он лично, конечно, сторонник равноправия женщин, но проведение принципа в жизнь может потребовать значительной технической подготовки.

Прокопович умолял наконец отпустить министра — ведь у него ещё несколько заседаний сегодня!

Его отпустили. Но тут же, до выхода из клуба, перехватили журналисты — что будет с Государственной Думой? (Функционирует. Он сам вчера выступал там.) — Соберётся ли Учредительное Собрание до конца войны? (Гораздо раньше.) — Как произошло отречение Михаила? (Сел на диван и нашёл силы рассказать подробно.) — Как с провокаторами? (Имеет ценные нити.) — Национальный вопрос?

Министр не мог не усмехнуться, но радостно:

— Господа! Сейчас такая масса работы, что нужно быть гением, чтобы выполнить её в короткое время. Но мы всё-всё-всё помним, и вопросы польский, еврейский, латышский, грузинский — все будут скоро решены!

У подъезда Английского клуба Александра Фёдоровича ожидала огромная толпа. Когда он появился, пошатываясь, вся эта тысяча обнажила головы и раздалось громовое «ура».

СУЕТЛИВ ВОРОБЕЙ, А ПИВА НЕ СВАРИТ

Окончание следует

Вадим Делоне

Хоть полслова родного еще услышать...

КНИГА СТИХОВ ВАДИМА ДЕЛОНЕ

Наконец вышла эта книга. Она стоит у меня на полке. На обложке красивое молодое лицо с печальными глазами. И надпись — «Вадим Делоне». Это сборник его стихов, сборник, которого он столько ждал. И не дождался. Книга вышла уже после его смерти. Он умер полтора года тому назад, в июне 83 года, а книжка вышла только в этом году.

В ней более 50 стихотворений — все, что удалось сейчас собрать. Как сказано во вступлении: «Большое число его стихов 60 — 70-х гг. было изъято на обысках, и во многих случаях это были единственные экземпляры. Часть их поэт восстанавливал по памяти, часть пропала безвозвратно».

Я прочел сборник раз, прочел второй, и каждый раз у меня щемило сердце. И потому, что сами стихи — о лагере, тюрьме, воле, грузях, Буковском, Высоцком, Габае — горько и трогательно пронзительны; и еще потому, что так рано ушел от нас их автор, близкий мой друг Вадим Делоне.

Я пытаюсь вспомнить, когда же мы с ним познакомились. Лет пятнадцать назад, а может, и больше — на Пушкинской площади. Морозным вечером в День Конституции. За пазухой у него было полно листовок. Молоденький, совсем еще мальчик. Потом еще несколько раз встречались. А потом он сел. Вместе с Владимиром Буковским, Виктором Хаустовым, Евгением Кушевым и ныне покойным Ильей Габеем. Просидел тогда недолго, восемь месяцев, в следственной тюрьме. 25 августа 1968 года Вадим был вторично арестован. На Красной площади. В числе семи демонстрантов публично протестовал против ввода советских войск в Чехословакию. «Я понимал, — сказал он на суде, — что за пять минут свободы на Красной площади я могу расплатиться годами лишения свободы». Так и случилось. Но ни разу в жизни Вадим не жалел об этих «пяти минутах свободы», о своем звездном часе. Об этом есть стихи, которые я приведу:

Я бросил вызов Родине моей,
Когда ее войска пошли
на Прагу.
Бессонницей Лефортовских
ночей
Я право заслужил на эту правду,
Я бросил вызов Родине своей,
Плакат на площадь бросил,
как перчатку,
Нет, не стране, а тем, кто
ложь статей
Подсовывал народу, словно
взятку.
И думал я, зачем себя беречь,
Пусть назовут в газетах
отщепенцем,
Безумная игра не стоит свеч,
Но стоит же она шального
сердца!

И вот встретились мы с ним после большого перерыва, в Вене. Он только что приехал. Уезжать он не хотел. Точно предчувствовал, что не приживется на Западе. Уговорили грузья, боясь еще одного ареста. Потом встречались в Париже. Нет, он не полюбил Париж. Он остался москвичом. На всю жизнь. Без Москвы, без грузей, без своего любимого Юлика Кима — он не мог.

Ох, как не часто встречаются люди, подобные Вадику и его жене Ире. Денег у них никогда не было, но когда появлялись, то сразу же посылались посылки родным, грузьям. Без конца звонили в Москву — нужен был живой голос, близкий, родной. Да, он вел не самый правильный образ жизни, писал меньше, чем нам хотелось бы, но ему не хватало воздуха, не хватало Москвы, грузей. И он не выдержал. Умер...

В последний раз мы с ним встретились после панихиды по Саше Галичу. Вышли из церкви на рю Дарю, зашли в кафе, и разговор все время возвращался к Москве: «А помнишь, тогда на Пушкинской?..» или «Нет, это было у Ильи Габая, в тот же вечер, в День Конституции...»

Москва, Москва, Москва. Не мог он без нее, без Москвы, милый наш, добрый, талантливый, так рано ушедший от нас, Вадим...

Закончу пародией на стихи его любимого Юлия Кима:

Когда задумчив я брожу,
хлебнув винца, Венсенским
парком.

Грущу о том, что не найду
Грибов на солку или жарку.
Но чаще думаю о том,
Как хорошо бы все устроилось,
И утряслось, и успокоилось,
Имей я личный самолет,
А также право на полет
Пари-Моску¹ туда-обратно.
Но личных самолетов нет —
За восемь бед один ответ.

Хорошую книгу стихов выпустило издательство «Пресс Либр». А совсем недавно издана и проза Вадима Делоне: «Портреты в колючей раме». Но об этом как-нибудь в другой раз.

<1985>

ВИКТОР НЕКРАСОВ

* * *

Мне мнилось — будет все не так. По тем краям, где мы ночлег
Как Божья милость, наша встреча. И место встречи находили.
Но жизнь — как лагерный барак,
Которым каждый изувечен.

Мое пустое ремесло
Слагать слога и строить строчки...
Пусть скажут — в жизни не везло,
Все обещания бессрочны.

Мне мнилась встреча наша сном,
Чудесным сном на жестких нарах,
Кленовым трепетным листком,
Под ноги брошенным задаром.

Пускай грехи мне не простят —
К тому предлогов слишком много,
Но если я просил у Бога,
То за других, не за себя.

Но ветер кружит серый снег
По тем полям, где мы бродили,

Париж, 1982

* * *

Что родной заколдованный круг площадей,
Что березок щебечущих стая,
Если, душу задув, словно пламя свечей,
Я могилы друзей покидаю.

Ни к чему говорить, только страшно молчать —
Тяжелей разговора пустого,
Хоть полслова родного еще услышать
И ответить хотя бы полслова.

¹ В сборнике «Paris—Moscou».

Я слова эти в тюрьмах твердил по ночам,
Где хрипел, где растратил впустую,
Где делился, как пайкой, с людьми пополам,
А теперь я забыть их рискую.

Что мне свет вековой белопенных церквей,
Что запрет на круги на свои возвращаться,
Если к тем, кто теперь за чертой лагерей,
Ни на помощь прийти, ни прийти попрощаться.

Что мне смех обо мне или память по мне,
Я и сам ведь себя не узнаю,
Если в чьей-то стране мне приснится во сне,
Как за проволокой солнце блистает.

Что мне страх перед шумом чужих городов —
Я здесь радость и боль оставляю,
Строки старых стихов, строки новых стихов,
Словно клятву себе забываю.

Москва, 1975

Баллада о судьбе

М. Шемякину

Горький привкус весеннего неба,
Стаи статуй в саду Люксембург
На утеху тебе и потребу,
Чтобы вновь не настиг Петербург.

Вербный привкус весеннего неба...
Не в серебряном веке живем...
Не спешите, не нужен молебен,
Мы и сами его подберем.

Мы таскаем судьбу на загривке,
Как кровавую тушу мясник.
Наши души пойдут на обивку
Ваших комнат под супером книг.

Как застыла в молчаньи Психея —
Жест с надломом и горькой тоской!
В час, когда мы прощались с Расеей,
Нам вот так же махнули рукой.

По холсту расползаются краски,
Словно кровь от искусанных губ...
Нам бы в легкой старинной коляске
Пролететь по тебе, Петербург!

Солнце сгорбится, крыши обшарив.
Тоже ищет, наверно, приют...
По «Крестам» нас сгноить обещали —
Пусть теперь нашу тень стерегут.

Горький привкус весеннего неба,
Беглый месяц мигнет из-за туч...
Где ты, церковь Бориса и Глеба?
Где на ордере штамп и сургуч?

Париж, 1979

Баллада памяти Владимира Высоцкого

Порвалась дней связующая нить.

Гамлет

Огни, парижские огни,
 молись по Святцам!
Но дни, потерянные дни,
 они мне снятся.
По европейским городам
 мечусь под хмелем,
Но я живу не здесь, а там —
 я в это верю.
Метель сибирская метет,
 хрипит недели,
Какой там с родиной расчет —
 мы дышим еле.
Кругом могилы без крестов —
 одна поземка,
Как скрип, срывающий засов,
 как дни в потемках.
Лишь ели стынут на ветру
 да лижут лапы,
И никому не повернуть
 назад этапы.
Под ветром таким крутись,
 как сможешь,
Но позабудь и оглянись —
 душа под кожей.
А сунут финку под ребро —
 конец страданиям.
Давно в бега ушел Рембо —
 избрал скитанья.
Он чем-то с кем-то торговал
 в стране верблюдов
И много дней там промотал,
 поверив в чудо.
Он замолчал, он оборвал,
 забросил песни,
И я его не повстречал
 на Красной Пресне.
А жаль, мне правда очень жаль —
 любитель шуток,
Он разогнать бы смог печаль
 на пару суток.
Нас время как-то не свело
 в аккордах лестниц,
Пойдет душа моя на слом,
 как дом в предместье.
Я улочусь в свою строку,
 как в доски гроба,
И пусть венков не соберу —
 я не был снобом.
Я по парижским кабакам
 в огнях угарных,
Но нет Рембо, а значит, там —
 бездарность.
Я в прошлом путаюсь своим,
 все сны — погоня,

И для чего мы здесь живем —
я смутно помню.
Не смею словом покривить —
такая малость,
И дней связующая нить
поистрепалась.
Бредет душа по мутным снам
с неловкой ленью,
Играют Баха в Нотр-Дам
по воскресеньям,
Орган разносит гул токкат
за грань столетий,
Наотмашь бьет шальной закат
по крышам плетью,
А листья гаснут на ветру
в дожде осеннем,
И я ловлю их на лету —
ищу спасенья...
Пусть дни пропали — в снах своих
я к ним прикован,
И нет Высоцкого в живых —
он зарифмован.

Париж, 30 июля 1980

Короткое письмо к советской интеллигенции

Не судите же, да судимы
И осуждены вы окажетесь.
Просто время необратимо,
Станет тайное явным каждому.

Просто память невыносима,
Хоть ее и выносят заживо,
Не залечена рана гримом,
Хоть и кажется — все улажено.

И молчание не обманет,
И грядущее поколение
Вас ни славою не помянет,
Ни торжественным песнопением.

Не судите, да не судимы
Вы по кодексам нашим будете.

Москва, 1968

Только вечность проходит мимо,
Так незримо и так безудержно.

Так и думайте только «с ведома»,
Точно следуя указаниям,
Так молчите же до последнего,
Вплоть до вечного до молчания.

Только приговор ради истины
Правды именем будет вынесен,
И не выпросить вам амнистии,
Не спасет вас, как прежде,
ВЫМЫСЕЛ.

Не судите же, да судимы
И осуждены вы окажетесь,
Просто время необратимо,
Станет тайное явно каждому.

p. s.

Знаю — разговоры между пройдами:
«Вот уехал и погиб уже».
Лучше умереть вдали от родины,
Чем прожить без родины в душе.

Париж, 1978

* * *

Опять туман, как в сказке детской...
И пахнут порохом зрачки.
Не отмахнешься фразой меткой
Ни от любви, ни от тоски.

Париж, 1981

Прокопьевск. Стачка. От частного к общему



Единственное, кажется, в чем мы сегодня не испытываем недостатка, так это в новостях. И странными могут показаться эти воспоминания о событиях чуть ли не годичной давности. Об июльской забастовке шахтеров 1989 года написано почти все. Но и теперь нелегко ответить на вопрос: каков результат? Чем все это кончилось? Ничем? Или еще не кончилось?

Должен признаться, что я прибыл в Прокопьевск к шапочному разбору. Стачка, правда, оставалась главной темой разговоров, комитет еще именовался стачечным, но горняки уже приступили к работе. Пришлось «восстанавливать картину» по рассказам очевидцев. Перво-наперво я обратился за помощью к коллегам — местным журналистам. Они подарили мне восемь номеров городской газеты «Шахтерская правда», целиком посвященных забастовке. Напечатанная там «Хроника событий» — настоящий информационный клад. Ниже я приведу наиболее интересные наблюдения газеты, постаравшейся описать стачку «как она есть».

...Ибо не ведали, что творили?

Итак, по порядку. Забастовка шахтеров Кузбасса началась 10 июля в Междуреченске. 12 июля вечером третья смена горняков на шахте имени Калинина (Прокопьевск) отказалась спуститься в забой. 13 утром к 'калининцам стали присоединяться рабочие других шахт города. Помитинговав на своих предприятиях, шахтеры двинулись в центр. К 14 часам городская площадь Победы была заполнена бастующими. Ушли они оттуда только в час дня 20 числа...

Естественно, в первые дни отношение к стачке было неопределенным, но затем общественное мнение все больше стало склоняться в пользу шахтеров. Почему? Причины этого я вижу прежде всего в том, что мы испытываем глубокое недоверие к власти и привыкли все оценивать от противного. Мы еще не успели как следует разглядеть «физиономию» возмутителей спокойствия, но уже сочувствовали им. Мы еще были не «за» бастующих, но были уже «против» тех, кому они противостояли.

В условиях гласности средства массовой информации получили некоторую свободу, и теперь содержание телепередач и газетных полос в большей степени, чем раньше, отражает общественные настроения. Поначалу тон репортажей и публикаций был сдержанным и «неосуждающим», а затем сочувственным. Постепенно стал складываться «светлый» образ стачечников. Во-первых мы узнали, что шахтеры очень дисциплинированы и организованы, не допускают насилия и беспорядков и даже на время бросили пить. Во-вторых, оказалось, что они сознательны, то есть, помимо всего прочего. Добиваются экономической самостоятельности предприятий и, следовательно, поднимают знамя реформы. Многие поспешили сделать вывод, что идеи хозяйственной перестройки уже дошли до каждого рабочего места. Сам я, узнав о таких требованиях, думал даже начать статью словами: «Ну, слава богу, кажется, к эшелону экономической реформы, полтора года простоявшему на запасном пути, присоединяют локомотив». Но...

...Любая забастовка начинается с требований. И если бы центральные газеты опубликовали требования хотя бы нескольких стачечных комитетов, то у читателей сложилось бы более точное представление о бастующих. Они бы увидели, что в одном документе соседствуют требования разного, так сказать, порядка — например, региональный хозрасчет с 1 января 1990 года и срочное выделение области 6,5 тысячи тонн мяса. Смешение в одной куче сиюминутного и долгосрочного, тактического и стратегического — признак незрелости программы. Впрочем, опыт — дело наживное. Еще до конца стачки горняки внесли в свои требования существенные изменения.

Обратимся за помощью к «Шахтерской правде», прислушаемся к обрывкам разговоров в первые часы стачки: «А можно ли так жить?.. В магазинах колбасы нет, мяса нет... А мы шахтеры, нам надо три раза в день плотно поесть... Фрукты в магазинах по договорным ценам, которые нам не по карману... Нет детских садов, квартир... Дальше так работать и жить невозможно: нет ни заработков, ни здоровья, ни нормальных условий для жизни наших семей... Вот уже месяца два-три ставим перед руководством шахт вопросы по оплате ночных смен, единому выходному дню. Но ничего не меняется... В столовых антисанитария, а в буфетах шахт грабеж...» Пока все это больше напоминает «голодный бунт». А через несколько дней претензии рабочих оформятся в документ под названием «Требования стачечного комитета Прокопьевска по предложениям трудящихся». Вот некоторые его пункты: 1. Прекратить практику утверждения норм от достигнутого. Нормы устанавливать на предприятиях. 2. Повысить заработную плату (из трех подпунктов). 3. Вернуть Кузбассу снабжение по 1 категории. 4. Половину отчислений от сверхплановой прибыли оставлять местному бюджету. 5. Установить стоимость 1 тонны угля на уровне мировых цен. 6. Дополнительные отпуска рабочим... 8. Гарантировать выплату выслуги лет. 9. Пенсии... 11. Ясли... 12. Жилье... 15. Выделить земельные участки (20 соток) для индивидуального строительства... 22. Выделить трубы для строительства теплотрасс... Мы видим, что бастующие словно спешат выговориться. Проблемы копились годами. И ведь горняки не хотят получить ничего сверхъестественного. Без всего того, что они требуют, не обойтись ни одному нормальному человеку: без жилья, яслей для ребенка, продуктов, мыла. А ведь шахтеры обходились... Но вот 28-м по порядку идет пункт, в котором упоминается самостоятельность шахт и других предприятий. Впоследствии в финальном кузбасском Протоколе, подписанном партийно-правительственно-профсоюзной комиссией и забастовщиками, это требование поднимается на 2 место...

— Постойте,— перебьет меня иной нетерпеливый читатель,— вы к чему клоните? К тому, что рабочие на самом деле никакие не сознательные, а думают только о своих желудках? Но для того, чтобы в условиях дефицита не раздражать публику требованиями мяса и мыла, решили прикрыть свое «рвачество» разговорами о хозрасчете и самостоятельности? Но ведь реформа проводится нами не ради реформы. И ничего нет худого в том, что шахтеры добивались повышения своего жизненного уровня и улучшения условий труда. Это конечная цель. А самостоятельность, хозрасчет — это средство, с помощью которого можно цели добиться. «Включите» площадь: «...Вся прибыль должна оставаться здесь... Не надо отдавать их (деньги.— М. Л.) в общий котел... Нужен полный хозрасчет, а это и повышение заработной платы, и здравоохранение, и соцкультбыт...»

— Верно. Только мне кажется, что сначала идеи распространяются, как правило,вширь, а не вглубь. Боюсь, что шахтеры, восприняв «на слух» некоторые лозунги, касающиеся хозяйственной самостоятельности, не продумали их до конца. Действительно, с целью вроде все ясно, а вот со средством?

За отправную точку в наших рассуждениях возьмем еще одну цитату «с площади»: «Может ли быть рентабельным предприятие, где себестоимость угля 38 рублей тонна?» Добавим: может ли нерентабельное предприятие быть самостоятельным? В обоих случаях, очевидно, ответ будет отрицательным. А ведь ежегодно из бюджета выплачивается несколько миллиардов рублей в виде дотаций, покрывающих разницу между себестоимостью добываемого угля и относительно низкими ценами его реализации. При этом следует учитывать, что дотацию формально получает не производитель, а продавец угля. Поясню: существует организация под названием «Кузбассуглесбыт». Этот «сбыт» покупает у шахт уголь по цене, покрывающей издержки производства, скажем, 25 рублей за тонну (цифры условные). Затем он продает уголь потребителям, но уже по 9 рублей за тонну. Формально (опять формально!) шахты имеют

прибыль, и выше я уже привел цитату, свидетельствующую о желании горняков самостоятельно эту прибыль делить. Причем умышленно или от непонимания обходится вопрос о государственной помощи отрасли. Ведь, по сути дела, прибыль шахт — это «липа», это «переодетая» дотация! «Но цена реализации в 9 рублей за тонну тоже «липа!» — возразите вы. Совершенно верно! И здесь мы подходим к очень важному пункту.

Одним из последствий отсутствия у нас рынка является то, что мы не можем выставить «общественную оценку» труду шахтеров в виде рыночной цены тонны угля. Мы не можем понять также многих вещей: увеличение объемов угледобычи в нашей стране — это отражение реального роста потребности в твердом топливе или следствие планирования «от достигнутого» и стремления Минуглепрома к «саморазвитию»? Заваленные углем склады шахт — это нерадивость транспортных или отсутствие спроса? Работа каких шахт «общественно необходима», а работа каких — обуза для общества? И главное — справедливы ли требования горняков?

16 июля в газете «Комсомольская правда» промелькнула заметка «Ненужный уголь». Ее автор В. Косяк пишет: «Выяснилось, что уголь-то никому не нужен. В этом году потребители отказались от 20 миллионов тонн угля, в том числе и от 5 миллионов донецкого». К сожалению, тема эта дальнейшего развития не получила, все мы были слишком увлечены политическим аспектом стачки...

Угледобыча давно уже не относится к числу ведущих отраслей промышленности. В течение последних 30 лет доля твердого топлива в энергобалансах развитых стран медленно, но неуклонно снижалась. «Наступление» на уголь велось по нескольким направлениям: использование более дешевых нефтепродуктов, газа, альтернативных источников энергии, а также строительство АЭС. Процесс этот развивается, так сказать, «нелинейно», с задержками и остановками, но он идет...

Чтобы стать полноценными хозрасчетными предприятиями, шахты или их ассоциации неизбежно должны будут поднять цены на уголь в несколько раз (предполагается, что и сбыт угля они возьмут в свои руки). Можно догадаться, что «правильная» цена угля — это где-то между 9 и 25 рублями, но это еще не все. Если провести повышение в рамках ныне существующей системы, произойдет вот что: на первых порах шахтеры будут праздновать победу, но очень скоро обрабатывающие отрасли начнут, повышая свои цены, потихоньку отбирать то, что отвоевали шахтеры. В конечном счете новые, более высокие цены на уголь аукнутся ростом цен на все промышленные товары и увеличением дотаций на продовольствие. И через несколько лет шахтерам снова надо будет бастовать. А что произойдет в условиях рынка? Представим на минуту, что мы создали какую-никакую рыночную экономику. Возможно, что цена тонны угля заметно превысит те самые 9 рублей, но к каким последствиям приведет ее повышение? Между ценой и спросом существует и обратная связь. Если вы привыкли покупать уголь по 9 рублей за тонну и в один прекрасный день узнаете, что теперь цена 20 рублей, естественно, вы подумаете: а нельзя ли обойтись меньшим количеством топлива или вообще отказаться от угля, заменив его другим энергоносителем? Неизбежно возникнет острая конкуренция, во-первых, между угольными предприятиями и бассейнами с различным уровнем издержек и, во-вторых, между углем и другими видами топлива. В конце концов рыночная цена установится на определенном уровне, который позволит выжить одним (к примеру, разрезам, ведущим добычу открытым способом) и станет «смертным приговором» другим (старым и глубоким шахтам с бедными пластами). Тогда-то и будет ясно, сколько нужно стране угля, шахт и шахтеров. И боюсь, что часть горняков останется не у дел. Но если так, то выходит, что сегодня шахтеры претендуют на больший кусок общественного пирога, чем им причитается (или причиталось бы) по законам рынка.

В экономике под действием рыночных сил непременно происходит стихийная структурная перестройка, которая больше всего ударяет именно по старым отраслям, в том числе по угольным районам, чье население, по свидетельству некоторых английских авторов, отличается к тому же низкой «социальной мобильностью». Многие поколения жителей здесь связаны с углем, людям трудно переломить себя. «Угольные» города долго и мучительно умирают, но... не перестраиваются. Не упустил ли это из виду тот, кто требовал самостоятельности «с сегодня на завтра» или регионального хозрасчета «с 1 января». Если, конечно, речь идет о настоящем хозрасчете и настоящей самостоятельности. Рынок приведет к разорению не только отдельные плохо работающие предприятия, но и целые отрасли и регионы.

Но предположим, правительство не пойдет по рискованному рыночному пути. Тогда остается только одно — сохранение дотаций и неполной самостоятельности. Во многих западных странах угольная промышленность национализирована и пользуется помощью государства. В статье одного французского автора я прочитал, что одной из главных причин, почему буржуазное государство поддерживает убыточное или низко-рентабельное угольное производство, является именно нежелание вызывать острые столкновения из-за возможной массовой безработицы в старых промышленных районах. Эффективность сознательно приносится в жертву социальной стабильности. Но и это не означает, что устанавливается «мир на все времена». Государство постоянно оказывает давление на субсидируемые отрасли с целью сокращения издержек. Идет постоянная рационализация производства, закрываются самые убыточные предприятия, внедряется автоматика, увольняются лишние рабочие... И это часто становится причиной трудовых конфликтов, забастовок, о которых мы узнаем из газет...

Но, таким образом, в случае сохранения системы дотаций любое повышение доходов шахтеров и увеличение социальных расходов в отрасли будет ложиться дополнительным бременем на бюджет и опять-таки увеличивать долю национального дохода, перераспределяемого в пользу шахтеров. Вопрос: насколько это справедливо, если не весь добываемый ими уголь нужен обществу?.. Приходилось слышать различные суждения о стачке, но в одном сходились все: требования горняков справедливы. И нигде я не встретил вопроса: насколько они справедливы? Боюсь, что и здесь все определялось на глазок...

Нельзя было приехать в Прокопьевск и не спуститься в шахту. Когда мы с моим проводником пришли в забой, там работали три шахтера. Рубили топориками крепь, как в демидовские времена. В воздухе висела густая угольная пыль. Вопрос: когда вы в последний раз получали респираторы? В ответ смех. Иногда «потолок» обрушивается раньше, чем его успевают закрепить, и тогда — «нулевой случай». Так здесь называют смерть горняка. Тяжелая, грязная, опасная работа. Камеры фото- и телеоператоров бесстрастно запечатлели балки и «шанхай» Кузбасса, и люди, живущие в относительном комфорте, ужаснулись и поспешили склонить голову: веруем, справедливо!.. Но у меня в голове застрял горько-недоуменный вопрос одного шахтера оттуда, из забоя: «Так, может быть, наш труд никому не нужен?» Что если, по крайней мере, часть шахтеров получит на этот вопрос ответ: нет, не нужен? В одной статье я встретил такую мысль: рабочий, с полной отдачей сил производящий ненужную продукцию, наносит обществу не меньший ущерб, чем бюрократ-бездельник, перекладывающий с места на место бумажки... Кстати, как здесь не вспомнить требования рабочих сократить «ненужных» ИТР? Истинно говорю вам: какой мерой меряете, такой и вам отмерится! Я не считаю претензии горняков совершенно необоснованными, утверждать это значило бы впасть в другую крайность. Я только думаю, что в сегодняшних условиях никто не может брать на себя смелость безапелляционно заявлять: «Требования шахтеров справедливы!»

Итак, заметим себе — и это очень тревожно! — забастовщики, кажется, не совсем ясно представляют себе, что такое рынок и хозрасчет и что сулит лично им вожденная самостоятельность.

Почему забастовку не разгромили?

Отвечая на этот вопрос, я бы указал на ряд обстоятельств. Прежде всего и еще раз — благосклонное отношение общественности и гласность. А также массовый характер выступлений, социальный состав бастующих и обоснованность (кажущаяся или реальная) требований. Все это вместе взятое сначала затрудняло и затем и вовсе сделало невозможным подавление стачки при помощи силы. Я особо отмечаю два первых условия, потому что наличие трех других не помешало властям в 1962 году в Новочеркасске просто расстрелять забастовщиков.

Помимо требований большей хозяйственной свободы другим обстоятельством, расположившим общественное мнение к бастующим, было сохранение организованности и порядка во время стачки. Эта удивившая многих черта июльской забастовки, несомненно, свидетельствует о том, что среди шахтеров немало трезвых и сознательных рабочих. Но и здесь все не так просто, как могло показаться (и показалось!) на первый взгляд. Наш пролетариат лишен опыта массовых забастовок, так что невольно возника-

ет вопрос: действительно ли он сумел, миновав погромно-разгульный этап, шагнуть прямо в эпоху высокой организованности? Или забастовка в угольных бассейнах — это проба сил, и, убедившись, что власть не так сильна, как они полагали, рабочие могут в будущем не проявить той сдержанности, которую они продемонстрировали сегодня? Вопрос этот остается пока без ответа.

В «Хронике событий» мы можем найти свидетельства, в известном смысле противоречащие версии о самоорганизации шахтеров. Например, 15 июля начальник политотдела УВД города В. Баловнев сказал корреспонденту «Шахтерки»: «...Для того чтобы не было беспорядков, мы уже третий день бьемся над тем, чтобы организовать дежурство шахтеров. Некоторые дружинники отлично справляются с этим. Но порой горняки оставляют свои посты, никого не предупредив. Нет пока сознательности среди трудовых коллективов (рядка моя.— М. Л.), чтобы самим взять на себя ответственность за порядок на улице...» Оказывается, горняков милиция организовала, а ведь мы думали, что они сами... Вообще заслугу органов внутренних дел в сохранении спокойствия в дни стачки нельзя недооценивать. Милиция сразу определила для себя, что на площади митингуют с в о и, кого надо охранять, а не разгонять.

15 числа газета публикует короткое интервью с генеральным директором объединения «Прокопьевскигидроуголь» М. Найдовым: «...Многие из числа забастовщиков своими действиями компрометируют экономический характер забастовки, внося элементы бунта. Кое-кто из рабочих без разрешения комитета ездит по квартирам и проверяет холодильники, командует на базах, в магазинах... отказывается от... выполнения срочных мер по недопущению аварий в шахтах...»

А вот к шахтерам обращается В. Маханов (заместитель председателя, затем председатель городского стачечного комитета.— М. Л.): «Поймите правильно, что забастовка не отдых. Это тяжелая, изнурительная работа... Каждый день неявки рассматривается как прогул...» В чем дело? «А дело в том, что кое-кто понял забастовку как возможность лишний раз отдохнуть, поработать на своем приусадебном участке, выбраться в парк, на личную дачу. Они не являются на наряд и не приходят вместе со всеми на площадь».

Теперь мы видим, что среди шахтеров выделяются две группы, различающиеся по характеру своего участия в стачке — «актив» и «балласт». При этом следует заметить, что среди причин пассивности последних не только (и даже, может быть, не столько) равнодушие или лень, но и страх. Об этом говорили некоторые из моих собеседников в Прокопьевске. Люди просто боялись, боялись репрессий, «черных списков». Была еще свежа в памяти тбилисская трагедия: комендантский час, внутренние войска, саперные лопатки...

Боялись не только те, кто отсиживался по домам, но и те, кто активно участвовал в событиях. Сразу после начала забастовки члены стачкома требовали от милиции и КГБ «охранные грамоты» — мандаты, гарантировавшие им неприкосновенность наподобие депутатской. Призрак провокаций преследовал забастовщиков во все время стачки.

Или тот же «сухой закон». Послушаем одного из членов городского стачкома: «Вот сейчас говорят, что какие, мол, рабочие умные, они закрыли винные магазины во время забастовки. А тут и большого ума не требовалось... Это был инстинкт самосохранения, а не, как говорит пресса, высокая сознательность...»

Как два борца, застыли бастующие и власти друг перед другом, опасаясь малейшим неосторожным движением спровоцировать противную сторону на более решительные действия. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

Равновесие было результатом действия «разнонаправленных» сил и настроений, соотношение между которыми может меняться в зависимости от обстановки. Именно поэтому, думаю, никто не возьмется предсказать, во что выльется новая серия забастовок.

Прокопьевское двоевластие

При мне в стачкоме раздался телефонный звонок. Магазин получил партию дефицита — магнитофонные кассеты — и спрашивал, можно ли продавать.

— Можно,— разрешил комитет...

«В городе двоевластие!» Не раз слышал это, пока был в Прокопьевске. К примеру, на 10-й сессии городского совета редактор «Шахтерской правды» В. Гужвенко сказал: «Надо смотреть правде в глаза и признать, что в городе сегодня двоевластие». Я позволю себе высказать некоторые сомнения на этот счет. Да, местные Советы и партийные органы во время стачки или, по крайней мере, пока забастовка шла по нарастающей, находились в глухой обороне. Стачком же, напротив, приобрел огромное влияние и авторитет. Он даже принял и, что существенно, добился выполнения ряда решений, которые были фактически решениями органа власти (прежде всего о закрытии и пикетировании винных магазинов). В комитет повалили люди, не нашедшие правды в Советах. С чем только туда не шли уже после забастовки! С просьбами починить протекающие крыши, с жалобами на шумных соседей и с уймой других бытовых вопросов. И выяснилось, что работающие в комитете забойщики и проходчики знают, как добывать уголь, и подчас совсем не знают, как подступиться к решению тех проблем, с которыми к ним идут люди. Менее терпеливые члены стачкома гнали просителей: это, мол, не наше дело! Другие накладывали на заявления граждан остроумные резолюции типа: «Товарищ такой-то (как правило, называлась фамилия работника горисполкома.— М. Л.). Разобраться». Мне все представлялся 1917 год. Люди в кожанках занимают государственные банки. Ну, занимать занимают, а дальше... Забастовщики столкнулись с проблемой, с которой сталкивается неизбежно любая новая, революционная власть,— проблемой аппарата. Для того чтобы реально управлять, надо иметь аппарат. У шахтеров его, разумеется, нет. Они могут только «контролировать», то есть погонять и понукать существующий аппарат, угрожая забастовкой. Иными средствами они не располагают. Мог ли стачком 15—17 июля, когда стачка достигла кульминации, распустить, к примеру, городской Совет? Думаю, мог. А потом что стал бы делать?

Обратимся еще раз к интервью генерального директора М. Найдова: «Я спросил, берет ли на себя комитет ответственность за жизнедеятельность города: работу транспорта, обеспечение жителей продуктами питания, за сохранность государственной и частной собственности, соблюдение законности и правопорядка? Комитет ответил, что взять на себя эти функции не может, ибо это означает взятие власти — хозяйственной, политической — в свои руки». Вот так. Стачком не мог взять власть, потому что не хотел, а не хотел, потому что не мог. Недаром во время моего первого визита в комитет один из его членов, В. Никифоров, настойчиво повторял, что термин «двоевластие» бастующим навязывается. Так стоит ли действительно его навязывать?

Что было делать рабочему комитету?

Впрочем, наше небольшое рассуждение о двоевластии все же нам пригодится. От него мы перекинем мостик к другому вопросу — о положении рабочего комитета (так позже стали именоваться стачечные комитеты) после забастовки. Как видно, от претензий на хозяйственную и политическую власть шахтеры отказались. Что такое рабочий комитет?..

Мощная волна стачек не могла не вызвать ответной реакции государства, поставившегося поставить стихийный протест рабочих в определенные юридические рамки. Верховный Совет СССР обсудил и принял Закон о порядке разрешения коллективных трудовых споров. Хорош или плох этот декрет, покажет будущее, но вот на что обратите внимание. Законом предусмотрено, что, как только забастовка заканчивается и подписывается соглашение об урегулировании конфликта, действие полномочий органов, представляющих стачечников (читай — стачкомов), прекращается. Нет забастовки — нет комитетов! А у нас сегодня: забастовки нет — комитеты есть. Конечно, нынешние рабочие комитеты были созданы до вступления в силу означенного Закона. И тот, разумеется, обратной силы не имеет. Но если бы наш парламент был до конца последователен, он должен был бы все привести в соответствие с Законом, то есть специальным решением распустить все рабочие комитеты. Депутаты, однако, решили не рисковать и оставили эти уже существующие органы в покое. Кроме того, Закон содержит такое положение: «В случае невыполнения условий соглашения орган, возглавлявший забастовку, восстанавливается в своих полномочиях». Это сделало бы роспуск нынешних комитетов неэффективным, ибо они могли бы тут же восстановиться, ведь пока не все требования шахтеров выполнены (и выполняются, по их мнению, не должным

образом] и существование комитетов без забастовки получает если не строго юридическое, то, по крайней мере, «моральное» оправдание.

Хотя все же, думаю, вы со мной согласитесь, есть в этом послезабастовочном «устройстве мира» какая-то неопределенность. Рабочие комитеты — это что-то не вполне законное.

Мне запомнилась фраза из одного выступления на пленуме прокопьевского горкома: «Мясо съедим, мыло смылим. Что останется?» Что могло остаться вместо временных рабочих стачечных комитетов? А ведь были люди, думавшие и об этом. В Прокопьевске я познакомился с членом городского стачкома М. Анохиным. Он уже тогда был озабочен этим «что останется». Он высказал и затем последовательно отстаивал мысль, что результатом забастовки должно стать создание новой структуры, а именно — независимого профсоюза. Рассуждать здесь можно так: если рабочим пока трудно управлять городом (областью), то защита интересов своих товарищей — это как раз то, с чем они могут справиться. Создание такого профсоюза было бы логичным и естественным выходом из стачки и помогло бы избежать того неопределенного положения, в котором оказались стачкомы. Независимый профсоюз стал бы надежным гарантом завоеваний рабочих и противовесом администрации, а кроме того, отличной школой, где рабочие смогли бы получить основы экономических знаний и повысить свою политическую культуру. Мысль эта, что называется, носилась в воздухе, но тогда не была реализована. «Говорю с каждым по отдельности — соглашаются, — смеялся Анохин, — стоит собраться всем вместе — начинают колебаться».

Вместо создания новых постоянных структур был взят курс «новые люди в старых структурах». Сам по себе этот путь, может быть, и не плох, но мне он представляется менее удачным. Теперь горняки, проверенные стачкой, избираются в профкомы, СТК, местные Советы. Но следует помнить, что все эти органы в большей или меньшей степени интегрированы в существующую систему и еще предстоит очень серьезная борьба за превращение их в реальную силу, за изменение их функций и расширение самостоятельности. Пока это старые мехи... Шанс же создать нечто новое и тем самым организационно закрепить результаты стачки, видимо, упущен. Энергия стихийного взрыва была очень велика, а вот ясной политической перспективы не было. Это еще одна причина, почему так упорно некоторые представители рабочих укрывались за тезисом «забастовка экономическая, экономическая, экономическая...». Снова получается какое-то причудливое переплетение объективного и субъективного. Субъективно — экономическая, а объективно...

Однако последствия все это имело самые серьезные. Шахтеры остановились как бы на полпути, но свято место... Вдруг, очнувшись от многолетнего летаргического сна (видимо, его разбудил шум забастовки), аппарат официальных профсоюзов сделал (вернее, делает) попытку встать во главе рабочего движения. Его представители, разумеется, не помышляют ни о какой «независимости», ни о каких «противовесах» (все это выдумки злонамеренной Улицы, одурачивающей Фабрику!). В «интересах трудящихся» они раздувают антикооперативную истерию (Верховный Совет не без труда отбивает их «психические» атаки!) и ежеминутно напоминают рабочим, что академик-де за них воевать не будет и что вообще интеллигенции нельзя верить. Можно ли было еще год назад представить себе такое? Но здесь мы коснулись еще одного важного вопроса.

С кем вы, инженеры!

Попытки вбить клин между рабочими и интеллигенцией весьма опасны именно потому, что между этими двумя общественными силами существует известное недоверие. И шахтерская забастовка это еще раз подтвердила. Вспомним требование сократить управленческий аппарат. Думаю, все понимают, что у ИТР и служащих шахт оно восторга не вызвало. «Нерабочие» участвовали в забастовке пассивно, постольку-поскольку... Шахтеры прекратили работу, шахты встали, следовательно, руководителям и специалистам делать было нечего. И они выжидали... Вот, например, такая цитата: «Нам на шахте начальство так заявляет: сами, мол, заварили кашу — сами и расхлебывайте». Когда я потом спрашивал инженеров, почему они не пошли в стачком, не помогли рабочим, не объяснили, как лучше сформулировать требования, приходилось слышать разные ответы. Среди них были и такие. Руководитель одной из шахт: «Меня тут же «удавили» бы, убрали, и я даже знаю как...» Действительно, ИТР и служащие на шах-

тах более уязвимы и зависимы от начальства, чем «работяги». Раздутость всех звеньев нашего управленческого аппарата не только раздражает рабочих, но это и причина покорности и пассивности инженеров и других «нерабочих» — ведь каждого из них легко можно заменить на более покладистого человека. Один мой собеседник (кстати, все управленцы, с которыми я беседовал, просили не называть их фамилий), отвечая на мой вопрос, сказал: «Нет, я не Христос и не герой... У меня семья. Да они (рабочие. — М. Л.) и не верят нам...» И точно, в стачке услышал: «Бумажные экономисты! Разве могут дать они толковый совет?» Пренебрежительное отношение рабочих к труду специалистов — это, к сожалению, реальность. Еще один штрих из «Хроники событий»: «Из Кемерова приезжают представители стачечного комитета — директора, инженеры, а нам нужны рабочие...»

Все это очень тревожно. Раскол между рабочими и интеллигенцией в то время, как рабочее движение набирает силу, вреден, опасен, недопустим. Мы уже видим всяких «лжепророков», выдающих себя за истинных поборников прав трудящихся...

А в остальном газета виновата!

Говоря о прокопьевской стачке, нельзя не рассказать о «Шахтерской правде», ибо, по моему убеждению, положение, в котором она оказалась, весьма символично. Помните историю с Незнайкой-художником? Пока посетители его выставки рассматривали чужие портреты, все было хорошо, как только доходили до своего, требовали немедленно снять. Потому что непохоже. Примерно то же самое случилось и с «Шахтеркой». Правду о забастовке — вот что хотели написать городские журналисты. Свидетельствовать честно и беспристрастно — это была их «сверхзадача». В то время как в городе останавливалось одно предприятие за другим, в редакции «Шахтерки» были отменены выходные. Все наличные репортерские силы были брошены на забастовку. И когда с трибуны пленума прокопьевского горкома редактор В. Гужвенко сказал: «Правда была на площади», — слова его можно было понять и как знак поддержки шахтеров, и как указание на то, где в это время работала газета. Воздалось ли «Шахтерской правде» по делам ее? Воздалось... Ею остались недовольны все — и городское начальство, и забастовочный комитет.

Последнее обстоятельство, скажу честно, поначалу меня чрезвычайно озадачило. 27 июля в Прокопьевске я смотрел по местному телевидению выпуск новостей. В нем передали сообщение о том, что областная конференция забастовочных комитетов предъявила претензии к средствам массовой информации, которые якобы сосредоточили свое внимание на «сиюминутных» требованиях бастующих (повышении заработной платы, обеспечении шахтеров мясом и мылом и т. д.), а требования «глобальные» — больше самостоятельности! — оставили в тени. «Странно», — подумал я. На мой взгляд, гораздо более важным было в целом лояльное отношение газет и телевидения к горнякам и неосуждающий тон репортажей. Сочувственное же отношение к стачке «Шахтерской правды» и вовсе не вызывало сомнений. К примеру, в номере о последнем дне забастовки была помещена фотография, изображавшая уходящих с площади шахтеров, с такой подписью: «Спасибо вам, родные, за стойкость, мужество, выдержку!» Согласитесь, это звучит неформально. Или вот фраза из выступления В. Гужвенко на сессии горсовета: «...Надо сказать большое спасибо горнякам, всем, кто принимал участие в забастовке, за то, что они сделали для города, всего региона». И все-таки поднявшийся на трибуну пленума горкома председатель стачечного комитета В. Маханов скажет, что газета забастовщикам и помогала, и мешала. Чем мешала? Тем ли, что нарисовала противоречивый, непричесанный портрет стачечников? Видно, под конец забастовки стачкововцы и правда уверовали в то, что у них экономическая самостоятельность была на втором месте с самого начала и что они в авангарде перестройки. А тут газета со своими «натуралистическими» зарисовками...

Были моменты, когда сам стачком оказывался не на высоте. Вот как, к примеру, заканчивалась забастовка в Прокопьевске. 18 июля около пяти часов пополудни Прокопьевский городской стачком на своем заседании принял решение приостановить забастовку с 8 часов утра 19 числа. Решение это выполнено не было, весь день 19-го площадь митинговала. Часть шахтеров была возмущена тем, что такое важное решение принято за закрытыми дверями. Раздались голоса о том, что надо переизбрать город-

ской и областной комитеты. Почва под ногами руководителей забастовки поколебалась. «В 14 часов по радио звучит обращение городского стачечного комитета к трудящимся: забастовку временно приостановить...

Ропот прошел по площади:

— Это дезинформация! Наш стачечный комитет не подписывал протокола! Он не мог этого сделать, не посоветовавшись с людьми.

Всякое предложение об окончании забастовки выносится на всеобщее обсуждение. Но если действительно комитет подписал протокол за спиной у народа, значит, он нас обманул.

ГОЛОС ИЗ РЕПРОДУКТОРА:

— Товарищи! Просим всех освободить площадь и приступить к работе!

— Это провокация!

СВИСТ. КРИКИ».

Как видите, не все было просто и в отношениях между рабочими и их стачкомом. И то, что попытка газеты дать объективную информацию о стачке чем-то мешала забастовщикам, очень тревожит. Впрочем, все это не идет ни в какое сравнение с недовольством местных партийных органов...

Коммунисты, вперед!

Накануне пленума горкома КПСС мы встретились с В. Гужвенко в редакции «Шахтерской правды». «Увидите, как будут завтра бить газету...» Судя по всему, ожидавшая головомойка была далеко не первой. Вообще, надо сказать, местным журналистам работать труднее, чем центральным. Давление жестче...

На пленуме сразу несколько ораторов, включая первого секретаря горкома М. Гребенцова, председателя горисполкома Л. Коваленко, генерального директора НПО «Прокопьевскгидроуголь» М. Найдова, обрушились на газету с обвинениями в одностороннем освещении стачки, обливание руководителей грязью и увлечении негативными явлениями. Нападки были столь резкими и несправедливыми, что областная газета «Кузбасс», уделавшая много места отчету о прокопьевском пленуме, сочла необходимым вступить за своих коллег, написав, что «Шахтерская правда» сделала не меньше, чем иной отдел горкома, развивший активность в последний день стачки.

Что предприняли партийные и советские органы, чтобы не допустить забастовки? А ничего, если не считать решения бюро Кемеровского обкома КПСС о несовместимости членства в партии и участия в стачках. То есть коммунистам просто запретили бастовать. Стачки это, разумеется, не предотвратило, а вот часть рядовых партийцев дезориентировало. И после июльских событий решение это пришлось отменить. А что во время стачки? Вот информация, полученная в горкоме КПСС: «Во время забастовки активную разъяснительную работу проводили члены бюро ГК, РК КПСС, совета ветеранов, женсовета, партийно-хозяйственного актива города.

Перед бастующими неоднократно выступали первый секретарь ГК КПСС т. Гребенцов, председатель горисполкома т. Коваленко, генеральный директор НПО «Прокопьевскгидроуголь» т. Найдов, прокурор города т. Пахирко, начальник УВД т. В. Савельев и другие партийные, советские, хозяйственные руководители». С чем выступали? Снова обратимся к городской газете, 15 июля она опубликовала обращение обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ «К трудящимся Кузбасса». Все перечисленные организации, «понимая справедливость поднятых вопросов... призывают всех трудящихся проявить сдержанность и благоразумие...». «Обращаясь к разуму и совести», они просят возобновить работу. Рядом помещено обращение первого секретаря горкома М. Гребенцова «К согражданам»: «...Убедительно прошу всех вернуться на рабочие места». Давайте оценим все эти обращения и призывы, как теперь принято говорить, по конечному результату. Послушали рабочие партийных и советских руководителей? Вернулись к работе? Нет. Стачка шла своим чередом. И тот же Гужвенко в выступлении на сессии горсовета, также не добавившем ему популярности в городских верхах, сказал: «...Надо признать, что сегодняшняя власть города, партийная и советская, получила вотум недоверия...»

Впрочем, кое-кто в городской партийной организации не спешил это признавать. Честно говоря, странно было слышать на пленуме выступления, из которых явствовало,

что партийные и советские органы сумели якобы встать во главе движения, полностью контролировали ситуацию и вообще чуть ли не сами организовали забастовку. Да простят меня товарищи прокопьевские коммунисты, но некоторые члены горкома напомнили мне героев одного французского фильма — «бойцов Сопротивления», картинно перебегающих с автоматами в руках от дома к дому, хотя противника в городе уже не было. И снова на трибуну поднимается редактор «Шахтерской правды»: «Во время забастовки аппарат продемонстрировал полную неспособность работать в массах, а теперь делает вид, что владел ситуацией». А вот выдержка из выступления на сессии горсовета депутата М. Смакотина: «Кадровая политика загнала по вине горкома КПСС и горисполкома. Бывший первый секретарь горкома В. П. Жеваго город завел в тупик. Гребенцов, который пришел на его место, не в силах разрешить годами копившиеся проблемы». Ну кому, скажите, такое понравится? Партсоворганы провалились, они не знали, что делать в сложившейся ситуации, массы их не слушались... И, главное, все это увидели. А газета не помогла провал скрыть.

И еще. Ни в коей мере не защищая городских и областных функционеров, хочу все же сказать, что попытки центра все свалить на местный партаппарат мне совершенно не симпатичны. С самого начала было ясно, что большинство требований шахтеров превысило компетенцию местных властей. Более того, можно предположить, что эти требования в немалой степени результат именно «центральной» политики. И центру — ЦК КПСС, Совету Министров, Минуглепрому, не обеспечившему, кстати, выполнения целого ряда постановлений по Кузбассу, следовало бы принять на себя часть ответственности...

Эта статья была написана почти год назад, вскоре после окончания июльской стачки шахтеров.

Сегодня наше общество быстро политизируется. Все большее число людей сознает, что добиться лучшей жизни при существующей экономической системе невозможно, а реформы экономические, в свою очередь, обеспечиваются реформами политическими. Естественно, не может оставаться в стороне от политики и рабочее движение. И здесь политическим вопросам уделяется много внимания. Так, например, в Кузнецком бассейне вскоре после июльской стачки был организован Союз трудящихся Кузбасса — организация, выступающая под демократическими лозунгами (что-то вроде областного Народного фронта). Характерен в этом смысле и сюжет, промелькнувший в программе «Время»: два горняка из Кузбасса прямо заявили, что в июле много времени и сил было потрачено на решение второстепенных вопросов, вместо этого, по их мнению, надо было выдвигать политические требования. Но важнейшим событием после июля стала, несомненно, повторная забастовка в Печорском бассейне. По словам заместителя прокурора РСФСР А. Бутурина, здесь политические требования выдвинулись уже на первый план. Однако даже беглого взгляда на перечень этих требований — отмена 6-й статьи Конституции СССР, свобода печати, отмена выборов от общественных организаций и прочее — было достаточно, чтобы понять, что эта политическая программа целиком вторична. В связи с этим у меня возникла такая мысль. Забастовщики последовательно отклоняют все попытки и коммунистов, и неформалов руководить ими. Понятно желание горняков не допустить того, чтобы плодами их борьбы воспользовались посторонние силы. Но это создает для них и определенные сложности при выработке самостоятельной политической платформы. В конечном итоге в Воркуте дело свелось к простому повторению некоторых леворадикальных лозунгов. Это означает, что, в принципе, возможно выступление части рабочих и под «правыми» знаменами — не секрет, что многим из них присущ определенный консерватизм: сильная власть, сильная оборона, недоверие к неформалам, в целом негативное отношение к национальным движениям. А иные по-прежнему просто аполитичны и помышляют только о защите своих ближайших экономических интересов. Короче, политическое самоопределение рабочих еще впереди.

Несмотря на уроки июля, горняки подчас смешивают экономику и политику, стратегию и тактику. Вот свидетельство академика А. Тихонова, побывавшего в ноябре в Печорском бассейне: «Прилетел в Воркуту, прочитал требования шахтеров — и внутренне был потрясен. Какая там окрошка!»

К счастью, не оправдывается опасение, что шахтеры, почувствовав слабость власти, прибегнут к насилию. Думаю, они убедились уже, что целей своих могут добиться мирным путем.

Однако недостаток у горняков опыта борьбы привел к тому, что, хотя они и показали себя реальной силой, способной противостоять власти партсовета, никаких политических последствий это противостояние, по сути дела, не имело (если не считать замены нескольких скомпрометировавших себя партийных и хозяйственных руководителей), что позволило аппарату оправиться и перейти в контратаку. «Работа» ведется по двум направлениям: первое — постараться с помощью демагогических заявлений о защите интересов трудящихся через ВЦСПС и ОФТ натравить рабочих на леворадикальную интеллигенцию и кооперативы, вторая — вести подкоп под забастовочное движение, настойчиво поворачивать общественное мнение «к лесу — передом, к Ивану — задом». Во время воркутинской стачки в печати часто появлялись высказывания, осуждавшие забастовки как средство решения конфликтов, предпринимались попытки дискредитировать бастующих. Читателям постоянно напоминали о потерях от стачек... (Хотя здесь тоже не все ясно. Вот что, к примеру, ответил представитель правительства на вопрос иностранного корреспондента об обеспеченности народного хозяйства углем: «В результате забастовки мы потеряли около девяти миллионов тонн угля, из них два миллиона тонн коксующегося. Запасы на предприятиях черной металлургии почти вдвое ниже норматива... Что касается энергетиков, то у них сейчас запасы угля почти на уровне прошлого года. Остатки на складах предприятий угольной промышленности составляют 33 миллиона тонн при нормативе 16 миллионов». Вопрос: что так убиваться по девяти потерянным миллионам, если на складах гниет, простите, горит «два норматива»? Даже если есть какая-то неувязка с сортами, что-то тут явно не так и без стачки...)

Впрочем, как бы там ни было, забастовка в Воркуте проходила в более сложных для шахтеров условиях. Во-первых, она не стала всеобщей. Междуреченск и Донецк ограничились 2-часовыми предупредительными забастовками в ноябре. И другие бассейны, на словах поддержав печорцев, работу не остановили. Во-вторых, в самой Воркуте, похоже, не было единства, шахты то прекращали добычу, то возобновляли ее. Шахта «Заполярная» так и не присоединилась к стачке. И, наконец, в-третьих, отношение общественности к новой забастовке также не было однозначным. Требования шахтеров стали раздражать менее «дружные» отряды рабочего класса. Чтобы не оказаться в изоляции, воркутинские шахтеры потребовали распространить некоторые из завоеванных ими льгот на всех трудящихся края. Не исключено, что в дальнейшем рабочим комитетам будет все труднее поднимать шахтеров на длительные забастовки.

Особо следует сказать о первой попытке применить Закон о порядке разрешения трудовых споров. Верховный суд Коми АССР в соответствии с этим актом признал забастовку горняков незаконной. Это вызвало очень резкую реакцию забастовщиков, в какой-то момент решение суда стало даже поводом для продолжения стачки. И мы оказались свидетелями любопытной ситуации: власти были достаточно сильны, чтобы констатировать незаконность действий рабочих, но недостаточно сильны, чтобы применить к забастовщикам санкции, вытекающие из этого решения. Администрация шахт добровольно отказалась от материальных претензий к стачкомам. Шахтеры же совершенно серьезно считают, что закон писан не для них. Вот что заявил воркутинец А. Шейххамедов: «...В июле наш стачком подписал совместный протокол с правительственной комиссией. В нем, в частности, записано, что при невыполнении хотя бы одного из 28 пунктов протокола стачком оставляет за собой право возобновить забастовку. Что и было сделано в октябре». Долог, ох, долгод будет наш путь к правовому государству.

Впрочем, несмотря на трудности, повторную забастовку в Воркуте можно считать успешной, горняки добились того, чего хотели. Вот пример. Стачка началась в ночь с 25 на 26 октября и длилась весь ноябрь, а уже 4 ноября — случайно или нет — был опубликован проект Закона о пенсионном обеспечении граждан СССР и в том же месяце А. Бирюкова выступила с докладом о проекте Закона об отпусках. В обоих законах требования шахтеров были учтены...

И, наконец, самое важное — вопрос о самостоятельности шахт и хозрасчете в угольной промышленности. В прошедшие месяцы положение здесь не прояснилось. Во-первых, оказалось, что экономическая реформа только-только начинается, что мы сейчас в переходном периоде, во время которого старые структуры и старые методы управления хозяйством во многом сохраняются. Поэтому, насколько оправданны наши

опасения относительно благополучного исхода экономических преобразований для горняков, покажет будущее. Но вот фрагмент из интервью А. Бутурлина: «Воркута-уголь» — это 13 шахт, очень разных по условиям добычи, технической оснащенности, рентабельности. Шахта «Хальмер-Ю» настолько стара, опасна, малоперспективна, что после забастовки ее дешевле закрыть совсем, чем возвращать к рабочему состоянию...» Сразу возникает множество вопросов. Что станет с шахтой «Хальмер-Ю» и ей подобными в эпоху хозрасчета? Будут ли они закрыты, а работающие на них шахтеры уволены? Если нет, то кто будет их финансировать? Согласится ли, к примеру, коллектив мощной и современной «Воргашорской» за счет своих доходов поддерживать «бедных родственников» с «Хальмер-Ю»? Если да, то чем новая система будет отличаться от старой? Не придется ли в этих условиях первому в стране каменноугольному концерну (Донбасс) заняться и перераспределением доходов: снова отбирать у одних и давать другим? А ведь именно протест против такого положения вещей лежал у истоков забастовочного движения, именно слом административной распределительной системы — цель реформы. По-прежнему нет ясного представления, как угольная промышленность впишется в рынок, возможен ли в отрасли настоящий хозрасчет, возможен ли «мир без догадок»?

«Подставим плечо перестройке!» — так был озаглавлен отчет о встрече представителей шахтеров с М. С. Горбачевым. Что же, на словах сегодня каждый готов сделать это. Вот только можно ли доверять такому «единодушию»? Ведь у каждой социальной группы свои интересы и в нынешнее переходное время поддержка перестройки скреплена только всеобщим ожиданием чего-то нового и лучшего. Чем дальше будут идти реформы, тем яснее будет, насколько их реальные результаты совпадают с ожиданиями той или иной общественной группы. Соответственно может меняться и их роль в перестройке. Мы все за реформы, пока реформы не ударят по нам самим. Поэтому деление общества на «перестроечные» и «антиперестроечные» силы весьма условно и зависит от конкретных времени и места. С осторожностью, мне кажется, следует решать вопрос о зачислении в ряды борцов за перестройку различных национальных, социальных и профессиональных групп. Все сказанное имеет отношение и к шахтерам. И статья не заканчивается ни благословением, ни проклятием. Но думаю, что трудным и долгим будет превращение сегодняшнего рабочего движения в «локомотив» экономической и политической реформы.

Пенсионер союзного значения

Его семь последних лет

В этой книге¹ я хотел рассказать о последних семи годах жизни моего отца — Никиты Сергеевича Хрущева, Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР. Этот период его жизни малоизвестен — в октябре 1964 года отец ушел в отставку со всех постов.

Первоначально эти записки предназначались только для детей и внуков, а может быть, если повезет, и для будущих историков. В те времена не приходилось думать о возможности издания книги об опальном лидере. Все мои усилия были направлены на то, чтобы уберечь свои записи, что было сопряжено с немалыми трудностями.

Но времена изменились и появление этой книги стало возможным. Более того, на мой взгляд, необходимым, поскольку вокруг имени отца стали создаваться всевозможные мифы и небывлицы. В некоторых публикациях истинные события нередко искажаются до неузнаваемости, а то и просто подменяются выдумками, как, скажем, легенда о покушении на крейсере «Червона Украина» или требование лететь в Киев вместо Москвы в октябре 1964 года.

В этом плане любопытны перепевы сентенции Черчилля о невозможности перепрыгнуть пропасть в два приема. К каким только событиям эпохи Хрущева ее не призывали.

Весной 1956 года во время визита в Великобританию я был среди сопровождавших делегацию лип. На обеде, устроенном хозяевами на Даунинг-стрит в резиденции премьер-министра, отца посадили за столом рядом с сэром Уинстоном Черчиллем. Он тогда уже отошел от дел, но не потерял интереса к политике. Ему было интересно, кто же теперь стоит у руководства нашей страной.

Той весной мир был возбужден слухами о секретном докладе Хрущева на XX съезде, закончившемся всего два месяца назад. Человек, посмеявшийся замахнуться на Сталина, привлекал всеобщее внимание. Отец не подтвердил факта произнесения доклада, но не уклонился от разговора о Сталине по существу, рассказал о вскрытых преступлениях. Одновременно он подчеркнул, что мы не забываем и о заслугах покойного лидера.

В заключение он отметил, что начатый процесс десталинизации очень сложен и болезнен и потому проводить его надо постепенно, в несколько этапов. Вот этот тезис и вызвал ставший знаменитым ответ — Черчилль с сомнением покачал головой и сказал примерно следующее:

— Господин Хрущев, именно в силу той болезненности, о которой вы говорите, мне кажется, вопрос надо решать одним ударом и до конца. Затяжки могут привести к серьезным последствиям. Это как преодоление пропасти. Ее можно перепрыгнуть, если достанет сил, но никому не удалось это сделать в два приема.

Замечание понравилось отцу, и он не раз возвращался к нему при обсуждении предостережений «справа», предложений о приостановке или замедлении темпов десталинизации. Прошло время, многое позабылось, и высказывание Черчилля теперь фигурирует как оценка то одних, то других хрущевских мероприятий, а кое-кто соотносит его и со всей эпохой первой оттепели. И таких неточностей в последнее время появилось немало.

Мне хотелось передать события такими, какими они виделись в то время, по возможности сохранив при этом объективность. Должен сказать, что я мыслил тогда довольно ортодоксально, не замечая очевидных вещей. Отец сам верил и воспитал нас в несокрушимой вере в преданность руководства страны интересам общего дела, в готовность всего народа на жертвы ради идеалов светлого будущего. Конечно, мы виде-

¹ Журнальный вариант. Полностью книга выходит одновременно с нашей публикацией в издательстве АПН. Главы из книги, напечатанные в «Огоньке», в публикацию «Дружбы народов» не входят.

ли и бюрократизм, и чиновничью лень, и местничество, но лично для меня все это были проявления отрицательных качеств отдельных людей, а не лицо командно-бюрократической системы.

Частично эти иллюзии начали рассеиваться после разговоров с Алексеем Владимировичем Снеговым — старым коммунистом, работавшим в двадцатые годы с моим отцом и Микояном, а затем отсидевшим восемнадцать лет из отмеренных ему двадцати пяти, начиная с тридцати седьмого...

Преддверие

С Алексеем Владимировичем Снеговым я познакомился в начале 60-х, через несколько лет после его возвращения из лагеря в Москву. В то время он уже отошел, а вернее, его «отпустили» от службы. Жил он с женой Галей и маленькой дочкой на улице Кропоткинской. Поскольку я был довольно молод, мне он представлялся очень старым человеком. И тем более поражали его подвижность, энергия, способность вспыхнуть и без оглядки броситься в бой за правое дело.

Квартира его была завалена книгами, рукописями, журналами, просто бумагами. Они лежали на полках, на столе, на стульях, кучами на полу. В тот период Снегов занимался тем, что сейчас называют «ликвидацией белых пятен» в истории нашей страны. Уже прошел XXII съезд, тело Сталина вынесли из Мавзолея, но захоронили тут же, у Кремлевской стены. И эта двойственность была во всем.

В те дни страна еще только подходила к осознанию сталинского периода нашей истории, еще с трудом произносилось словосочетание «культ личности». А ведь еще несколько лет назад его просто не знали. Когда формировалась для предварительного анализа событий, происходивших в тридцатые годы, комиссия Поспелова, отец впервые произнес эти слова — «культ личности». Естественно, стали искать в первоисточниках — нет ли там чего-нибудь подходящего к случаю, и, конечно, нашли нужные цитаты.

Помню, дело было в выходной, на даче. Отцу принесли воскресный портфель с бумагами, откуда он достал тоненькую серо-голубую папку с подборкой цитат из классиков. Отец попросил меня прочитать вслух мысли Маркса об опасности и недопустимости культа личности вождя.

Я начал с заголовка:

— Карл Маркс о культуре личности.

Над ошибкой посмеялись, а ведь, если вдуматься, в этом эпизоде мало смешного: чтобы осмыслить происходившее, нужны были годы и годы.

Тогда и поразил меня Снегов, доказывавший, что нет отдельных ошибок и заблуждений Сталина: все происшедшее — плод его преступной политики. Возникли эти чудовищные явления в тридцатых годах не вдруг. Их корни, говорил Снегов, в революционных событиях Октября семнадцатого и гражданской войны. Снегов замахнулся не только на догмы «Краткого курса», но и на всю канонизированную историю.

Алексей Владимирович написал несколько исторических статей, в том числе о позиции Сталина по вопросу явки Ленина на суд летом семнадцатого и о трагическом самоволии Сталина и Ворошилова, явившемся одной из причин нашего поражения в Польше в двадцатом году. Сегодня эти материалы встают в один ряд с себе подобными. Тогда же они производили эффект разорвавшейся бомбы.

Сталинисты делали все, чтобы эти исследования не увидели свет. Против Снегова сплотились ученые мужи во главе с главным идеологом партии Михаилом Андреевичем Сусловым, создателем фальсифицированной истории, от которой Снегов не оставлял камня на камне. В борьбе с консерваторами Снегов мог рассчитывать на поддержку лишь Хрущева и Микояна, в чьей честности он не сомневался. Но как добраться до высокого начальства?

Официальным путем сделать это было трудно, помощникам Хрущева он не доверял, а Владимира Семеновича Лебедева, ведавшего в аппарате Хрущева вопросами, связанными с идеологией, считал человеком Суслова и скрытым сталинистом. Через сына Анастаса Ивановича Микояна — Серго — Снегов вышел на меня. Серго, историк по профессии, несколько раз встречался с ним, передавал статьи Снегова Микояну, но дело не двигалось.

Как-то Серго предложил мне отправиться к Алексею Владимировичу, обещая познакомить с какими-то уникальными материалами о Сталине. Я, конечно, согласился.

Дверь нам открыл невысокий, суховатый, очень подвижный человек с пронзительным, суровым взглядом. Лет ему, видимо, было немало, но седина едва тронула густую черную шевелюру. Хозяин пригласил нас в кабинет, принесли чаю. Алексей Владимирович сразу вывалил на нас гору информации о Сталине и его методах, о современных сталинистах. Он бил в одну точку: сталинизм не сломен, Двадцатый съезд — это только начало, впереди долгий и трудный путь, на котором нас ждут не только победы.

Рассказывал Снегов и о себе. В революцию Алексей Владимирович пришел молодым пареньком. Судьба бросала его с места на место. В те годы он и встретился сначала с Микояном, а позднее, попав на Украину, с никому не известным Хрущевым. Отец тогда работал под началом Снегова.

Потом жизнь развела их. Карьера отца пошла вверх. Снегов же продвигался по служебной лестнице значительно медленнее. В тридцать седьмом году Алексей Владимирович, в то время секретарь одного из обкомов, был репрессирован, прошел через все круги следственного ада, но так никого и не назвал. Получив в итоге двадцать пять лет, он исчез из жизни и Хрущева, и Микояна.

В оккупацию фашисты сожгли заживо его мать как мать активного коммуниста. Снегов в это время сидел в лагере как враг народа и иностранный шпион... Закончилась война, но на его судьбе это никак не отразилось.

Но вот пришел пятьдесят третий.

В марте умер Сталин, к власти рвался Берия. Снегов был хорошо знаком с ним. Вместе они работали в Закавказье в первые годы Советской власти. Пересекались их пути и позднее. Но близости между ними никогда не было — друг друга они не любили. Снегов многое знал о Берии, в том числе и такое, о чем Лаврентий Павлович предпочитал не вспоминать. Знал он и о службе Берии у мусавитистов в гражданскую, помнил кровавую историю его возвышения в Грузии, не забыл о книге «историка» Берии, переворачивающей с ног на голову революционное прошлое Закавказья. Просто чудо, что, зная все это, Снегов остался жив.

В 1953 году Берию арестовали. Готовился суд, обвинение искало свидетелей. Их почти не осталось. О прошлом обвиняемого кроме него самого могли рассказать единицы. Тут-то и вспомнили о Снегове. Его нашли в лагере, срочно доставили в Москву. На процессе снова встретились жертва и палач.

Суд свершился. Берию приговорили к смертной казни.

Тем не менее судьба свидетеля обвинения сложилась непросто. Новым Генеральным прокурором СССР был назначен Руденко, когда-то близкий друг Снегова. Они встретились. Для этого заключенный Снегов под конвоем был доставлен в Прокуратуру Союза. В разговоре Руденко упорно избегал главного, но наконец, пряча глаза, он спросил Снегова, что он мог бы для него сделать. Алексей Владимирович в ответ только удивленно поднял голову. Тогда Руденко стал объяснять ему, что закон един для всех. Снегов осужден и никто приговора не отменял. Ему предстояло возвращение в лагерь. В конце концов Руденко предложил Снегову сохранить до освобождения записи Алексея Владимировича, привезенные им из тюрьмы.

Снегов был ошеломлен.

Записи свои он отдал, и Руденко спрятал их в свой личный сейф. Там, в сейфе Генерального прокурора, и пролежали дневники заключенного Снегова больше двух лет. Сам же он... отправился досиживать. В пересыльной тюрьме, рассказывал Алексей Владимирович, его едва не убили уголовники. Время, казалось, не двигалось. Вести с воли приходили редко, а так хотелось знать, что там происходит. Почему их не освобождают? Неужели все осталось по-прежнему?

Наконец наступил 1956 год. В феврале предстоял XX съезд партии. В качестве гостей Хрущев решил пригласить туда старых коммунистов, уцелевших после сталинских чисток. Когда помощник показывал ему список гостей, отец вдруг вспомнил о Снегове. Никто не рискнул сказать, что Снегов досиживает свой срок, полученный в тридцать седьмом.

Бросились искать. Прямо из тюрьмы голодного и обросшего Алексея Владимировича доставили в Москву. Тут заменили робу на добротный костюм, выдали гостевой билет в Кремль. О недосиженном сроке больше, понятно, не вспоминали!...

¹ На самом деле по инициативе отца Алексей Владимирович был возвращен из заключения в Москву значительно раньше. Они встретились в Кремле, и Снегов активно включился в работу по реабилитации. Я не стал исправлять допущенную в его рассказе неточность. (прим. автора.)

После съезда отец не выпускал Снегова из поля зрения. Его направили «комиссаром» в Министерство внутренних дел. Но консерваторы сдаваться не собирались и в конце концов под благовидным предлогом должность Снегова была сокращена, а сам он оказался на «заслуженном отдыхе» — «по возрасту» и «в связи с состоянием здоровья».

И вот теперь мы сидели в его кабинете и пили чай. Все больше увлекаясь, горяча, Алексей Владимирович вспоминал, доказывал, объяснял. Хрущев сегодня практически изолирован, убеждал он нас, его поддерживает очень небольшая прослойка молодых сотрудников аппарата ЦК. Противников гораздо больше, и они, оправившись от шока, вызванного Двадцатым съездом, лишь ждут подходящего момента, чтобы взять реванш.

По словам Снегова, именно Суслов и аппарат агитпропа тормозили десталинизацию, топили в согласованиях любые попытки критики сталинских методов, старались замолчать совершенные преступления. Любые робкие ростки нового, прогрессивного тщательно выпальчивались опытными руками этих «садовников» с богатым прошлым. Попытки взглянуть на происходящее с объективных позиций безжалостно пресекались. Недоволен Снегов был и Хрущевым, и Микояном, обвиняя их в непростительном либерализме и медлительности. Алексей Владимирович пел, что отец занимается «не тем».

— Зачем, — говорил Снегов, — он лезет во все вопросы промышленности, сельского хозяйства? Один человек все равно ничего не сделает. Не кукурузу надо насаждать, а бороться с главным врагом — сталинизмом и его последователями, засевшими в самом сердце, в ЦК и правительстве, иначе старый аппарат сломает Хрущева.

Людей, которые могли бы «перешерстить» аппарат, вокруг Хрущева почти нет. Большинство поддерживают его только на словах, на деле препятствуя любым начинаниям. По мнению Алексея Владимировича, Хрущев должен был поручить чистку в аппарате ЦК Микояну.

Снегов попросил меня передать отцу письмо с просьбой принять его для важного разговора. Я колебался. Ко мне и раньше обращались с подобными ходатайствами. Когда я передавал их отцу, он неизменно отчитывал меня, говоря, что такие обращения должны направляться в канцелярию ЦК, а там, мол, знают, что делать. И все-таки, несмотря на серьезные колебания, я согласился.

С того дня мы подружились с Алексеем Владимировичем. При каждой встрече Снегов рассказывал все новые и новые подробности, приводил факты, свидетельствующие о нарастающей оппозиции и лично Хрущеву, и, главное, проводимой им политике.

Прошло какое-то время. Письмо было готово. Я выбрал момент и передал его отцу, кратко рассказав, что знал. Он почему-то не слишком обрадовался весточке от старого товарища, пробормотал что-то об экстремизме Снегова, а письмо, не вскрыв, положил в карман. Снегова отец в скором времени принял, но на вопрос о впечатлениях от рассказа Алексея Владимировича не ответил, отмахнулся, сказав, что Снегов многое преувеличивает, а многого просто не понимает. Может быть, в его словах и есть доля истины, но выводы, считал отец, были неверны, а страхи необоснованны.

Поддерживать разговор отец не стал, и больше мы к этому вопросу не возвращались.

Я поехал к Снегову. Он был в отчаянии и ярости. По его словам, отец ничего не понял и просто не принял его всерьез. Снегов рассказал ему о том, что делается в ЦК, об интригах за его спиной. Взывал к благоразумию и бдительности, предупреждал о нависшей опасности реставрации сталинизма, а отец только посмеялся и сказал в ответ, что у Снегова сильно развито воображение и потому в каждом углу ему мерещатся враги.

Хрущев заявил, что в ЦК работают искренние, беззаветно преданные делу партии люди. Как и у всех, у них есть свои недостатки, но каждый из них предан идее до конца и подозревать их в интригах, преследованиях своекорыстных интересов, а тем более в приверженности сталинизму, осужденному съездом, неправильно. Не надо заниматься сведением счетов, это вызовет новую волну насилия и ненависти — так отец отреагировал на призыв Снегова провести следствие и наказать палачей.

Когда же Алексей Владимирович принял решение убеждать его оставить сиюминутные хозяйственные дела специалистам, а самому заняться кардинальными вопросами партийной политики, отец просто рассмеялся и сказал, что нет более важного дела, чем

накормить, одеть и обуть народ, и в решении вот таких будничных дел он и видит свою самую главную задачу.

— Он просто слеп,— заключил Снегов.

Разговор получился тягостным. До встречи с отцом Алексей Владимирович встречался с Микояном, но и тут ничего не добился. Словом, он был в отчаянии.

Невольно и я заразился настроением хозяина. Становилось страшно за наше государство и, не скрою, за себя, вокруг виделись заговорщики...

Но молодость брала свое. Меня окружали милые дружеские лица, добрые, честные улыбки давно знакомых людей никак не вязались с мрачными прогнозами, исходящими из заваленной бумагами квартиры. Я выбрал путь попроще — стал все реже бывать у Снегова. Благо, после приема у отца и он потерял значительную долю интереса ко мне. Теперь я мало чем мог ему помочь.

Жизнь между тем продолжалась. Наступал новый, 1964 год, для отца юбилейный: ему исполнялось 70 лет и примерно 10 лет со дня пребывания на высших партийных и государственных постах.

Ради новогоднего праздника в зале на верхнем этаже недавно отстроенного Кремлевского Дворца Съездов был устроен прием. В последние годы отец установил традицию встречать Новый год не дома, а в кругу семьи, а в этом зале. Здесь собирались члены Президиума ЦК, работники Совета Министров, военачальники, передовики производства, писатели, режиссеры, актеры, поэты, драматурги, художники, конструкторы самолетов и ракет, дипломаты.

В углу зала на возвышении стояла большая, ярко украшенная елка. Прием проходил пышно, с обилием тостов, танцами. Далеко за полночь гости разъезжались по домам, «догуливать» в кругу близких. Кому-то нововведение нравилось, кое-кто морщился: Новый год — праздник семейный, домашний... Но ходили исправно все.

Отец чувствовал себя здесь радушным хозяином. В этом году среди гостей был Николай Александрович Булганин. После памятного Пленума 1957 года он еще некоторое время оставался в прежней должности, но его отставка была предreshена после того, как «антипартийная группа» рассеялась по отдаленным городам. Постепенно, однако, выходили на пенсию и возвращались в Москву Молотов, Каганович, Маленков, Шепилов и другие. Вернулся и Булганин. Жил он одиноко. Мало кто из старых друзей рисковал с ним общаться.

Отцу захотелось увидеться с ним, и опальному экс-премьеру было отослано приглашение на встречу Нового года. Двигало отцом, уверен, вовсе не желание увидеть поверженного противника. В преддверии семидесятилетия все чаще вспоминались молодые годы, тянуло к старым друзьям. Долгие годы они были близки: Хрущев — секретарь МК, Булганин — председатель Моссовета. Жили в одном доме на улице Грановского, на пятом этаже, дверь в дверь. Даже в глухие времена всеобщей подозрительности они, бывало, незаметно для чужих глаз забегали друг к другу в гости — выпить стакан чаю или рюмку коньяку накоротке...

На том памятном новогоднем празднике отец тепло встретил Николая Александровича, они обнялись, как в прошлые годы, и... разошлись, теперь уже навсегда.

Кончился праздник, погасли елочные огни, отгремела музыка, и на отца навалились будничные заботы. А дела шли далеко не блестяще. Необходимо было найти выход, ту единственную «ниточку», дернув за которую, удалось бы запустить хозяйственный механизм. Но нити рвались, путались в узлы, клубки проблем...

Отец понимал, как я неоднократно слышал от него в то время, что старая система управления народным хозяйством, расчет на «голый» энтузиазм рабочего класса, лозунг «догнать и перегнать Америку» ничего уже не дают. Он лихорадочно искал экономическую схему, способную обеспечить функционирование хозяйственного механизма без окриков сверху. Одно он знал твердо: без материальной заинтересованности труженика ничего не выйдет.

Каждый новый шаг не только натывался на скрытую оппозицию со стороны коллег — идеологов ЦК и ученых-экономистов, — нужно было преодолеть сопротивление внутри самого себя. Ведь рынок, конкуренция, прибыль осуждены еще в двадцатых годах, «доказано» — это прямой путь к реставрации капитализма. Как же перешагнуть через этот барьер?..

Новые, непривычные идеи с трудом пробивали себе путь. Отец поддержал экономиста Либермана из Харькова, одобрил эксперимент в казахском совхозе, где директорствовал Худенко. К тому времени в его воображении складывались основные

контуры экономических преобразований. Против обыкновения отец на этот раз не спешил, ему хотелось еще и еще раз проверить заложенные в фундамент будущей экономики принципы. Ведь на исправление возможных ошибок времени не оставалось, это была его последняя надежда.

Присматривался отец и к опыту других стран. Большое впечатление на него произвели беседы с Тито. Отец внимательно приглядывался к опыту югославских друзей, но перенимать его не решался. Идеологи в один голос твердили, что в Югославии социализм не чистый, отдает сильным капиталистическим душком. Югославский путь, говорили ему, это отступление от марксистско-ленинских идеалов.

Отец пытался найти решение, позволявшее вывести народное хозяйство из следовавших один за другим провалов, в рамках структуры, которую мы сегодня называем командно-административной системой. Логика ее требовала вмешательства в производство на всех уровнях, во всех звеньях, пристального надзора не только за каждым заводом или колхозом, но за каждым цехом, бригадой, станком, за каждым производителем. С целью лучшего функционирования этой системы и было принято решение о разделении обкомов и райкомов на промышленные и сельские.

Соображения, высказанные отцом, были просты: народное хозяйство необыкновенно усложнилось, секретарь обкома или райкома, его аппарат не могут одновременно быть специалистами и в промышленности, и в сельском хозяйстве. А значит, нужно создать два параллельных аппарата. Словом, как у Крылова: пересядем и все пойдет отлично. Мысль о том, что партийному руководству вообще не следует вмешиваться в хозяйственные дела, тогда еще не созрела. Такое, по правде говоря, и в голову не могло прийти.

Я слышал от отца об этих идеях. Зрели они, видимо, давно. Тем летом он отдыхал в Крыму на новой даче, поблизости от Ливадии. Дом, сложенный из белого песчаника, хорошо сохранял прохладу, но отец почти все время проводил под полотняным навесом на пляже, редко бывая в четырех стенах. У моря он читал почту, беседовал с посетителями: чиновниками из Москвы, гостями из соседних санаториев, иностранцами, нашими конструкторами, учеными, писателями. Там же под навесом были установлены телефоны правительственной связи. Отец и ночевал часто здесь же, в деревянной будочке, построенной чуть выше пляжа, почти у самой воды.

Помню, как-то у отца гостили Брежнев, Подгорный и, кажется, Полянский. Они отдыхали на соседних дачах и заехали по-соседски «на огонек», как говаривал отец. Расположились в плетеных креслах у самой воды. Шел неспешный разговор о делах государственных. Потом пошли купаться. Отец, кстати, плавал плохо и пользовался надувным спасательным кругом из красной резины, напоминавшим велосипедную камеру. Разговор о разделении обкомов начался еще в воде, и, выйдя на берег, отец продолжил свою мысль. Наконец он замолчал. Все тут же в один голос, бурно, с энтузиазмом его поддержали. «Прекрасная идея, надо ее немедленно реализовать», — запомнилось мне тогда. Особенно был воодушевлен Подгорный. Мне этот план почему-то не пришелся по душе, но по давно заведенному правилу в разговоры старших я не смел вмешиваться. Они лучше знают, что делают. Если я не согласен, значит, я не прав.

Вскоре Пленум ЦК одобрил реорганизацию партийных органов и идея стала воплощаться в жизнь. Однако надеждам не суждено было сбыться, хозяйство не стало работать лучше, а возникшее дублирование руководства только усилило неразбериху. К тому же в результате реорганизации снова вырос аппарат. Принятое решение вызвало глубокое недовольство среди партийных и хозяйственных руководителей всех рангов. Это была последняя реорганизация, осуществленная отцом. Но правильное решение так и не было найдено.

...Да, дела не ладились, и отец хватался сам за решение той или иной конкретной проблемы, не выезжал с заводов, объезжал поля, везде хотел успеть, все увидеть сам. Но... не успевал.

И все-таки за эти годы многое удалось сдвинуть: развернули жилищное строительство, подняли целину, что дало заметную прибавку к урожаю, начали развитие большой химии.

Серьезно изменилось положение и в области внешней политики. Выдвинутый на XX съезде тезис о том, что войны между странами с разными социальными укладами не неизбежны, что их можно избежать, провозгласил начало новой эпохи в международных отношениях, позволив перейти от бесконечного наращивания вооруженных

сил к их сокращению, к разоружению. Способствовало разрядке и решение проблемы сбалансирования военной мощи Советского Союза и Соединенных Штатов.

В течение многих лет наше правительство жило в кошмаре тревоги — американские бомбардировщики могли легко нанести ядерный удар по Советскому Союзу безо всякого возмездия. Теперь же, с появлением ракет, обе державы оказались в равном положении.

И теперь открылась возможность сокращения вооруженных сил. За короткий срок Советская Армия уменьшилась почти наполовину. Отец ставил задачу добиться еще большего ее сокращения, чтобы высвободить людские ресурсы и средства для развития народного хозяйства. Уменьшился срок действительной службы. Молодые люди вернулись домой, и экономика получила дополнительные рабочие руки. Однако принятые шаги вызвали недовольство генералитета, военные, казалось им, теряли свои позиции и привилегии. Но отец был непреклонен. В его понимании в будущем должны были сохраниться лишь минимальные силы взаимного сдерживания, и отцу не терпелось провести эти планы в жизнь: ракетный бум был в самом разгаре, а он уже всерьез ставил вопрос о переводе ряда ракетных заводов на выпуск мирной продукции.

Новый подход позволил начать переговоры с США о сокращении ядерных вооружений. Серьезным успехом стало подписание договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Последним толчком к нему послужил взрыв сверхмощной водородной бомбы на Новой Земле. Его пагубное влияние было зарегистрировано во многих странах Европы, особенно на Севере. Стало ясно, что наступило время всерьез подумать о спасении жизни на Земле.

Важные сдвиги произошли и во внутренней жизни страны. Начавшийся на XX съезде процесс разоблачения культа личности Сталина неизбежно перерастал в демократизацию всей нашей системы, всего общественного уклада, создание новой Конституции. Дело шло медленно, со скрипом, но все-таки шло.

Отца чрезвычайно волновала проблема власти, ее преемственности, создание общественных и государственных гарантий, не допускающих сосредоточения власти в одних руках и тем более злоупотреблений ею. Одной из ключевых проблем были выборы депутатов трудящихся. Вместо существовавшей системы выдвижения одного кандидата отец предлагал выдвигать нескольких, чтобы люди могли свободно выбрать лучшего; появилась бы реальная зависимость депутатов от избирателей.

В качестве примера несовершенства существовавшей системы он приводил казусы, возникавшие во время выдвижения в депутаты Верховного Совета писательницы Ваяны Львовны Василевской. В 1939 году Ванда Львовна, дочь крупного государственного деятеля буржуазной Польши, пришла в освобожденный Львов и навсегда соединила свою судьбу с нашей страной. Во время войны она вместе с мужем, известным драматургом Александром Корнейчуком, часто бывала в войсках, встречалась с отцом в Сталинграде, на Курской дуге. Отец высоко ценил ее творчество. Она часто бывала у нас в доме. Но, как депутат, она... ничего не делала. Причем настолько демонстративно, что украинские власти, опасаясь неприятностей, в новой избирательной кампании каждый раз отводили ей новый избирательный округ, подальше от предыдущего. Там, где ее не знали...

— Разве так можно! — возмущался отец. — Какие это депутаты! Кого подсовывают, того и выбирай!

Однако изменить порочную систему ему было не суждено...

В рамках работы над новой Конституцией обсуждался и вопрос установления такого регламента работы Советов, чтобы они реально могли контролировать жизнь в регионах. Ставилась задача придания им большего авторитета и передачи им полномочий власти. В одном из вариантов рассматривалась возможность перехода к непрерывной работе Советов, как это принято в парламентах западных стран.

Важнейшим компонентом проблемы власти была процедура преемственности. Отец мучился: как сделать передачу власти из одних рук в другие естественной, безболезненной. Созрела идея сокращения времени пребывания на руководящей работе до 2-3 сроков. XXII съезд принял такое постановление в отношении партийных функционеров. Теперь оставалось распространить его на государственные органы, закрепить решение в новой Конституции. Но сразу же возникло множество проблем, и в первую очередь — куда уйдет функционер после двух сроков? Где и как пенсионер сможет приложить свои опыт и знания?

В этом деле отец напрямую следовал примеру США. После двух визитов в эту стра-

ну он, хотя и не избавился целиком от «образа врага», все же стал внимательнее приглядываться к заокеанскому опыту, примериваться к нему. Правда, о возможности заимствования положительных черт в построении государственной структуры он публично никогда не высказывался. Лишь иногда, осторожно, в своем кругу.

Но если другие нововведения отца одобрялись или не одобрялись и все-таки принимались аппаратом, пусть и с недовольным ворчанием, то тут он, что называется, задел за живое. В руководящем звене, от района и выше, началась паника. Сформировалась не просто группа недовольных, но серьезная оппозиция, жаждущая активных действий.

Подлили масла в огонь и шаги, лишавшие аппаратчиков многих привилегий, дарованных Сталиным. Первым, сразу после XX съезда, была отмена так называемых пакетов — не облагаемых налогом дополнительных регулярных выплат определенным категориям чиновников. Но испуг, вызванный секретным докладом, привел бюрократию в оцепенение, видимо, поэтому «урезание» прошло сравнительно безболезненно. Слишком все были перепуганы, слишком свежи в памяти были ночные аресты, чтобы решиться на противоборство.

Однако шок быстро прошел и аппарат усвоил, что теперь никому не грозят ни расстрелы, ни аресты, ни ссылки. Бюрократия стала все увереннее ощущать себя решающей силой, хозяйкой положения. Последовавшие инициативы безнадежно буксовали. Предложения о ликвидации закрытых распределителей и сокращении числа персональных машин должна была выработать и осуществить специально назначенная комиссия ЦК. Возглавил ее сначала Алексей Илларионович Кириченко, в то время второй секретарь ЦК. Комиссия заседала, обсуждала, рекомендовала, отвергала и уточняла, но.... ничего не решала.

Отец нервничал, торопился. Его заверяли, что дело близится к завершению. Показывали какие-то бумаги. Он на время успокаивался — и все возвращалось в прежнее состояние.

Потом Кириченко отстранили от дел. После него сменились еще несколько председателей, и наконец после октября 1964 года комиссия прекратила свое существование. Единственное, что удалось отцу — немного сократить парк персональных машин. Этому ему не простили.

Конечно, установление социальной справедливости за счет ликвидации привилегий носило скорее морально-этический характер, поскольку решение экономических проблем от этого не зависело. Удовлетворить потребность в товарах можно было только их производством в достаточном количестве и нужного качества, а не за счет перераспределения благ. Но и немногие принятые решения безмерно озлобили тех, кому грозило лишение привилегий. И, что немаловажно, не только их самих, но их жен. Все это, в свою очередь, сыграло не последнюю роль в падении Хрущева.

Не увенчались успехом и попытки отца сократить государственный аппарат. Чиновники, сокращенные в министерствах, перетекали в совнархозы, комитеты и другие новообразования, появлявшиеся как из-под земли.

Сегодня много говорится о непростых отношениях отца с творческой интеллигенцией. Очевидно, этот феномен требует глубокого исследования. Я же позволю себе лишь несколько замечаний. Результаты XX съезда вызвали резкое оживление в общественной жизни, литературе и искусстве. Появились новые имена, смелые произведения. Вслух стали говорить то, о чем вчера боялись и подумать. Зашатались «авторитеты». И тут выяснилось, что сама власть не готова к восприятию перемен. Развитие событий для нее оказалось неожиданным: такая «домашняя», послушная творческая интеллигенция выходила из-под контроля, отказывалась повиноваться привычному окрику сверху. Многих это новое пугало, а испуг, в свою очередь, вызывал ответные меры.

Отец никогда не занимался вплотную этими вопросами, не числя себя в специалистах, как это происходило с ним в сельском хозяйстве, промышленности или строительстве. В официальной идеологии царили Суслов, Ильичев, Пономарев. Однако в критических ситуациях оппоненты апеллировали к отцу: писатели присылали произведения, отвергнутые инстанциями, а «идеологи» при малейшем ослаблении «вожжей» хором стращали, говоря, что контрреволюция в Венгрии началась с «кружка Петёфи». Кончили же виселицами и стрельбой. Стоит отпустить вожжи, и у нас может случиться такое же.

В этих словах была своя доля истины. Ведь расширение политических свобод, не подкрепленное экономически, может легко привести к непредсказуемым послед-

ствиям. Отец хорошо понимал это и, бывало, поколебавшись, так и не решался на задуманный шаг.

Последние годы перед отставкой омрачились его резкими столкновениями с писателями, поэтами, художниками, музыкантами. Он вступил в борьбу с теми, кто, по сути, стоял с ним по одну сторону баррикады, что было особенно обидно. Нужно, впрочем, сказать, что происшедшее было тщательно и продуманно срежиссировано. Отца долго обрабатывали, и наконец его удалось убедить, что «зараза» буржуазной идеологии овладела умами наших творческих интеллигентов, особенно молодых. Их надо спасать. Иначе они погубят себя и нанесут неизмеримый вред стране, делу коммунизма. Известно, что «буржуазная идеология» лезет во все щели, стоит только потерять бдительность. Расчетливо выбрав момент, Хрущева спровоцировали на выступления, поссорившие его с людьми, еще вчера бывшими его самыми горячими сторонниками.

Ко всем бедам добавились осложнения внутри социалистического сообщества. Только-только стали утихать бури в Европе, стабилизировалось положение в Польше и Венгрии, как возник новый очаг напряженности. На сей раз возникли разногласия с Китаем. Анализ причин и следствий противостояния, приведшего к вооруженным столкновениям, — удел специалистов. Я только скажу, что в те тяжелые дни всю ответственность за конфликт принял на свои плечи отец. Кому-то казалось, а кое-кто сознательно хотел представить дело в таком виде, будто это не идеологический и политический конфликт, а проявление дурной воли лидеров двух стран, в частности, Хрущева. Чтобы окончательно поиять несостоятельность такого подхода, потребовались годы.

Груз проблем был тяжел, а сил к семидесяти годам оставалось все меньше. Домой отец приходил усталый, измотанный. Делал два круга по дорожке вокруг дома на Ленинских горах, ужинал, вытаскивал из портфеля толстые разноцветные папки с бумагами. Вечернюю порцию работы. Устраивался тут же в столовой, в углу стола, или поднимался на второй этаж в свою спальню. И, хотя в доме был кабинет, он им никогда не пользовался.

Как правило, работа затягивалась до полуночи. Утром, к девяти, он всегда был на работе. От бесконечного чтения болели глаза, и все чаще ему приходилось просить кого-нибудь из помощников или нас, детей, почитать вслух. Несколько лет назад Президиум ЦК принял решение, устанавливающее отцу сокращенный рабочий день и дополнительные две недели отпуска. Решение осталось на бумаге, работа занимала не только весь рабочий день, но и все свободное время. Дополнительным отпуском он пользовался — хорошо было уехать на Пицунду, в Крым или Беловежскую пушу, хоть чуть-чуть оторваться от рутины. Там отец мог сосредоточиться, обдумать кардинальные проблемы. Свои выводы и предложения он тут же оформлял в виде записок в ЦК. Часто отец пользовался своим свободным временем на отдыхе для совещаний или просто для бесед с учеными и конструкторами. Помню многолюдные собрания, обсуждавшие в Пицунде пути развития авиации, ракетостроения, химии.

Отец твердо отдавал себе отчет в том, что силы его на исходе. Все чаще и настойчивее он обращался к мыслям о преемнике. Все чаще думал об отставке. О желании уйти с высоких постов он не раз говорил в кругу семьи — иногда в шутку, иногда всерьез. Возвращался он к этому вопросу и в разговорах со своими коллегами по Президиуму ЦК.

— Мы, старики, свое отработали. Пора уступать дорогу. Надо дать возможность молодежи поработать, — вот, насколько я помню, типичное его высказывание на эту тему. При этом он широко улыбался, а окружающие похохатывали, сводя его слова к шутке. Но в этом году он впервые заговорил об отставке публично на одной из встреч с молодежью. Его речь была опубликована во всех газетах. Скрывались ли за этими словами серьезные намерения? Я думаю, отец действительно собирался уходить. Не раз он упоминал о приближающемся XXIII съезде как о своем последнем рубеже.

Если дома его слова не встречали возражений, то товарищи по работе бурно протестовали.

— Что вы, Никита Сергеевич! Вы отлично выглядите! У вас и сил больше, чем у молодого, — слышалось в ответ на его мысли вслух.

Мне трудно сказать, мог ли он принять такое решение в действительности. Ведь у него рождались все новые замыслы, планы. Хотелось претворить их в жизнь до того, как придется уйти.

Но, какими бы серьезными ни были мысли об отставке, о своем преемнике отец думал неотступно. Проблема преемственности власти занимала его все последние годы. Один кандидат заменялся другим, потом третьим. А окончательного решения все не виделось, хотелось найти достойного человека и обязательно помоложе, познергичнее. В конце концов он остановился на Фроле Романовиче Козлове. Ему все больше доверялся отец, хотя и не обходилось без конфликтов, острых перепалок.

Однако случилось несчастье, Козлов тяжело заболел — сильный инсульт. Когда он немного пришел в себя и вернулся из больницы на дачу, отец поехал его навестить. Был выходной день, и, как обычно, он захватил с собой меня. Раньше Козлов часто бывал у нас дома и наши семьи были хорошо знакомы. Дача Козлова располагалась неподалеку, сразу за Успенским. Миновав стандартные зеленые ворота, машина остановилась у подъезда. Встречала нас жена Фрола Романовича и еще какие-то люди. Прошли в дом. Кровать, на которой лежал Фрол Романович, стояла посередине комнаты, чтобы сестрам было удобнее подходить к больному. Козлов полулежал на подоткнутых подушках, бледное лицо отсвечивало желтизной. Когда мы вошли, он узнал отца, попытался сдвинуться с места, заговорить, но речь была бессвязна. Впечатление он производил удручающее. Отец постоял возле него некоторое время, пытался ободрить, шутил в своей манере, говоря, что Козлов, мол, отдыхает, симулирует. Пора выздоравливать и на работу.

Прощавшись, мы прошли в соседнюю комнату. Там собрались врачи. Нам объяснили, что опасности для жизни Фрола Романовича нет, но до выздоровления пройдет еще много месяцев.

— Работать сможет? — спросил тогда отец.

Приговор медиков был единодушным: безусловно, нет. Он останется глубоким инвалидом. К тому же сильное волнение могло привести к новому приступу и к смерти...

Рассчитывать на Козлова не приходилось...

Отец запомнил предостережение медиков о том, что нервный стресс может оказаться пагубным для больного. И поэтому на ближайшем заседании Президиума ЦК, когда речь зашла о судьбе Козлова, он предложил оставить Фрола Романовича, несмотря на болезнь, членом Президиума ЦК. Никто не противился. Но после октября 1964 года решение пересмотрели и Козлова отправили на пенсию. Врачи оказались правы. Он не перенес потрясения и вскоре умер.

Теперь перед отцом еще острее встал проблема уже не только будущего преемника, но и сегодняшней кандидатуры на пост второго секретаря ЦК. Посоветоваться было не с кем. И вот эти мучительные сомнения, внутренняя потребность выговориться, видимо, и послужили причиной того, что мне довелось проникнуть в святая святых политической «кухни», стать свидетелем раздумий отца.

Отец был энергичным, увлекающимся человеком и, как и все люди такого типа, с наслаждением обсуждал с кем угодно нюансы полюбившейся ему идеи. Дома на нас обрушивались различные технологии изготовления панелей для жилых домов, мы знали много о преимуществах и недостатках сборного и монолитного железобетона, представляли, во сколько раз выгоднее плавить сталь в конверторе по сравнению с мартеном, разбирались в особенностях выращивания не только кукурузы, но и чумизы, пшеницы, овощей, винограда, фруктов, восхищались возможностью замены металла пластмассой, следили за успехами судов на подводных крыльях, знали и о многом другом.

Со мной, поскольку я был причастен к оборонным делам, отец обсуждал еще и вопросы, связанные с авиацией, ракетами, танками. Но никогда при нас он не касался в разговорах кадровых вопросов. Взаимоотношения в руководстве были абсолютно запретной темой. Даже в июне 1957 года, когда противоречия вылились в бурные заседания Президиума, а затем Пленума ЦК, мы могли лишь по косвенным признакам догадываться, что же происходит. Сведения приходили только со стороны. О том, чтобы задать вопрос отцу, не могло быть и речи. Ответ был известен, форма тоже:

«Не лезь не в свое дело. Не мешай».

Поэтому я был просто ошарашен, когда в ответ на мой вопрос о Козлове отец вдруг заговорил о мучивших его сомнениях.

Дело происходило на даче глубокой осенью 1963 года. Вечером вышли пройтись. Мы гуляли в свете фонарей по парадной асфальтированной дороге, ведущей от ворот к дому, как вдруг отец заговорил о ситуации в Президиуме. Насколько я помню, он пожалел, что Козлов не может вернуться на работу. По его словам, он очень расчи-

тывал на Фрола Романовича. Он был на своем месте, самостоятельно решал вопросы, хорошо знал хозяйство. Замены отец не видел, а самому отцу уже пора думать об уходе на пенсию. Силы не те, и дорогу надо дать молодым. «Дотяну до XXIII съезда и подам в отставку», — сказал он тогда. Потом стал говорить, что постарел, да и остальные члены Президиума — деды пенсионного возраста. Молодых среди них почти нет. Отец стал членом Политбюро в возрасте сорока пяти лет. Подходящий возраст для больших дел — есть силы, есть время впереди. А в шестьдесят уже не думаешь о будущем. Самое время внуков нянчить.

По его словам, он ломал голову над кандидатурой на место Козлова. Ведь надо знать и народное хозяйство, и оборону, и идеологию, а главное, в людях разбираться. Хотелось бы найти человека помоложе. Раньше отец очень рассчитывал на Шелепина. Он казался самым подходящим кандидатом — молодой, прошел школу комсомола, работал в ЦК. Правда, плохо ориентируется в хозяйственных делах. Все время на бюрократических должностях. Но отец рассчитывал, что он подучится, наберется опыта живой работы. Для этого предлагал ему пойти секретарем обкома в Ленинград. Крупнейшая организация, современная промышленность, огромные революционные традиции. После такой школы можно занимать любой пост в ЦК.

Совершенно неожиданно Шелепин отказался. Обиделся: посчитал за понижение смену бюрократического кресла секретаря ЦК на пост секретаря Ленинградского обкома партии... «Жаль, видно, переоценил я его», — посветовал отец. — Может, оно и к лучшему, ошибаться тут нельзя. А посидел бы он несколько лет в Ленинграде, — вернулся к мучавшей его теме отец, — набил бы руку, и можно было бы его рекомендовать на место Козлова. А сейчас он так и остался бюрократом. Жизни не знает. Нет, Шелепин не подходит, хотя и жалко. Он самый молодой в Президиуме».

Отец, помню, тогда замолчал, задумался, а потом продолжал рассуждать о возможных преемниках Козлова. В частности, о Подгорном. Подгорный — человек толковый и в хозяйственных вопросах разбирается, с людьми работать может. На Украине проявил себя. Опыт у него богатый, но кругозора не хватает. После перехода в ЦК никак не справляется с вопросами пищевой промышленности. Словом, по мнению отца, на этот пост и он не годился. И тут он заговорил о Брежневе, сказав, что у него огромный опыт, хозяйство и людей знает. Но, как считал отец, он не может держать свою линию, поддается чересчур и чужим влияниям и своим настроениям. Человеку с сильной волей ничего не стоит подчинить его себе. До войны, когда его назначили секретарем обкома в Днепропетровск, местные острословы окрестили его «балериной», мол, кто как хочет, тот так им и вертит. А на этом месте нужен крепкий человек, которого с пути не свернешь. Таким был Козлов. Нет, и Брежнев, выходило, не годится.

Отец замолчал. Больше этот разговор не возобновлялся. Мы долго еще бродили по дорожке к дому и обратно, думая о своем. Отец, видимо, снова и снова перебирал в уме возможных претендентов на пост секретаря ЦК.

Я же был подавлен этой неожиданной откровенностью. Насколько тяжело и одиноко отцу, подумалось мне, если ему приходится откровенничать на эти темы со мной. Раньше такого не случалось. Даже представить подобное было невозможно.

Это был единственный разговор на запретную тему кадров. К ней отец больше никогда не возвращался. Понятно, что об этих откровениях я никому не рассказал. Отец меня не предупреждал, но я и не нуждался в подобных предупреждениях.

Легко вообразить мое удивление, когда я узнал, что на место второго секретаря ЦК все-таки планируется Брежнев. Так и не нашлось более подходящей кандидатуры. Впрочем, задавать отцу какие-либо вопросы я не стал... Лично мне Леонид Ильич был симпатичен. На лице его всегда играла блажелательная улыбка. На языке всегда заветная история. Всегда готов выслушать и помочь. Насколько удивляло меня его пристрастие к домино — уж очень не соответствовало такое хобби сложившемуся у меня образу государственного деятеля.

Однако сам Брежнев, как оказалось, был вовсе не рад лестному предложению. Он принял его с неохотой, но вынужден был подчиниться. Новый пост давал огромную власть, но она была... незаметна. Это была напряженная работа внутри разветвленного партийного организма. Надо было готовить решения, взаимодействовать с обкомами, следить за работой в армии и... отвечать за провалы. Характеру Леонида Ильича, склонностям его натуры больше подходила занимаемая им представительская должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Здесь ему нравилось все: приемы президентов, королей и послов, почетные караулы, завтраки, обеды, ужины, посещения

театров. Он все время был на виду. Приятно было и вручать ордена, награды. Вокруг улыбающиеся лица, рукопожатия, поцелуи. Речи награжденных полны искренней благодарности и любви. Государственные визиты — снова почетные караулы, приемы, прес-са, улыбки, рукопожатия, тосты... Ему нравилось быть в центре событий, видеть свое лицо в газетах, журналах, кинохронике.

Теперь все это неминуемо должно было уйти. Впереди — изнурительная работа, груз ответственности и необходимость принимать многочисленные решения, влекущие за собой огромные, порой трудно предсказуемые последствия. Все это Брежневу не нравилось, назначением он был недоволен, но вслух не только отказаться, но даже выразить неудовлетворенность не мог. Поблагодарил за оказанное доверие, обещал его оправдать.

Десятого февраля 1964 года открылся очередной Пленум ЦК. Это был последний пленум, собравшийся по инициативе Хрущева. Он снова посвящался проблеме сельского хозяйства. Отец упорно искал способ вывести страну из прорыва, нащупать путь к избобилию.

Нельзя сказать, что отец не искал новых методов управления экономикой, позволяющих развязать инициативу, повысить эффективность труда. Эти вопросы обсуждались на совещаниях и в прессе, проводились эксперименты. Однако, к сожалению, его основное внимание сосредоточивалось на поиске конкретных рецептов в металлургии и машиностроении, химии и агрономии, которые, как по мановению волшебной палочки, должны были разрешить все неразрешимые вопросы.

На Пленуме доклад делал министр сельского хозяйства Воловченко. Еще недавно директор совхоза, он сделал головокружительную карьеру. На одном из недавних совещаний удачно выступил, рассказал о больших достижениях возглавляемого им хозяйства, внес дельные предложения. Отец ухватился за него. Одну из причин наших неудач в сельском хозяйстве он видел в забюрократченности руководства, отрыве от живого дела. Ему представлялось, что появление человека от «земли» может в корне изменить ситуацию. Так Воловченко стал министром. Однако... чуда не произошло. И вот теперь он делал доклад с пышным заголовком: «Об интенсификации сельскохозяйственного производства на основе широкого применения удобрений, развития орошения, комплексной механизации и внедрения достижений науки и передового опыта для быстрейшего увеличения производства сельскохозяйственной продукции».

Казалось, даже в названии не забыли ничего...

На Пленум пригласили множество людей со всех концов страны: партийных функционеров, работников министерств, специалистов сельского хозяйства, ученых. По сути дела, это был не Пленум, а масштабное совещание. Последнее время отец ввел в практику такие расширенные Пленумы, на которых подробно освещались те или иные хозяйственные вопросы. Далеко не всем это нравилось. Аппаратчики считали, что тем самым снижается престиж Пленума, размывается его значение. Однако вслух никто «крамольных» мыслей не высказывал.

Стремление отца самому вникнуть в проблему, разобраться в существе дела накладывало заметный отпечаток на стиль его работы. Иногда это давало положительные результаты, позволяло резко продвинуть вперед дело (например, в ракетостроении). Но нередко случались и казусы, когда эффект был прямо противоположный, так получилось с Лысенко.

Об этой, увы, не лучшей странице в биографии моего отца я хочу рассказать только виденное своими глазами. В начале пятидесятых я знал о Лысенко и проблемах генетики лишь то, чему учили в школе и что можно было прочитать в популярных книжках: Трофим Денисович разгромил лжеученых-идеалистов, которые вместо решения важнейших для нашего сельского хозяйства проблем выводили каких-то мух-дрозофил. Теперь же мы идем правильным, мичуринским путем. Вспоминается и яровизация картофеля, резко поднимавшая урожайность.

Каково же было мое удивление, когда в апреле пятьдесят шестого года я увидел в «Правде» в необычном для хроники правом верхнем углу на второй странице два коротких сообщения, набранные крупным шрифтом. В первом сообщалось, что Президиум Верховного Совета СССР решил освободить от обязанностей ведающего делами сельского хозяйства заместителя Председателя Совета Министров СССР товарища Лобанова в связи с переходом на другую работу и назначает на его место Владимира Владимировича Мацкевича.

Чуть ниже следовало другое сообщение. Его я приведу полностью.

«В Совете Министров СССР. Совет Министров СССР удовлетворил просьбу тов. Лысенко Трофима Денисовича об освобождении его от обязанностей президента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина.

Президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина утвержден тов. Лобанов Павел Павлович».

И все... никаких переходов на другую работу, ничего. И в нынешние времена, не говоря уже о пятидесятых годах, такая формулировка читается как полная потеря всех позиций. Необычное место, выбранное для информации, и размер шрифта означали, что сообщению придается особое значение, что это не обычное перемещение с одной должности на другую, а изменение политики. Я был поражен и, едва дождавшись возвращения отца с работы, бросился к нему с расспросами.

Деталей разговора я, естественно, не помню, но общий смысл ответа сводился к тому, что Лысенко был замешан в нехороших делах (слово «репрессии» еще не вошло в употребление), правильность его положений оспаривается многими учеными. Поэтому наверху решили ограничить его всемогущество. Командовать должны более объективные люди. Лысенко же пусть работает, доказывает свою правоту в ученых спорах.

О существовании разногласий между генетиками и Лысенко отец знал мало и, думаю, не слишком над этим задумывался. Лысенко ушел в тень, но не сдался. Он старался укрепить свои позиции, вербовал сторонников и в ЦК, и в Министерстве сельского хозяйства. Нужно сказать, что здесь он поступал со знанием дела.

Один из путей решения зерновой и кормовой проблем, как известно, отец видел в широком внедрении кукурузы. Я не буду касаться «кукурузных дел», скажу только, что любое хорошее начинание, если оно не знает удержу, превращается в свою противоположность, приводит к дискредитации разумной идеи, и подчас безвозвратно. Никакие аргументы в защиту кукурузы сегодня на читателя-непрофессионала не действуют. Известно, что царство кукурузы — в Соединенных Штатах Америки. Там ее любят и умеют возделывать. Наиболее урожайные сорта выведены тоже там. Отец об этом знал. И за океан отправилась представительная сельскохозяйственная делегация набираться ума-разума, осваивать передовой опыт.

По возвращении они подробно доложили отцу все, что узнали, в том числе и о том, что наибольший урожай дают гибридные семена. Была дана команда срочно закупать их в США и параллельно развернуть эти работы у нас.

Лысенковцы забеспокоились. Ведь успех гибридной кукурузы служил одним из аргументов в пользу их противников. Решили осторожно прощупать Хрущева.

— Ваши теоретические споры меня не интересуют, — ответил отец. — В Америке гибридные семена дают хороший урожай. Послужат они и нам, а в теориях пусть разбираются ученые.

Бой был проигран, но Лысенко не думал сдаваться. Он ждал удобного случая, и такой случай подвернулся. Председатель Ленинградского областного Совета Смирнов, по профессии агроном, вернулся из поездки в Австрию. Заграничные вояжи тогда еще были в диковинку, и отец с интересом расспрашивал о впечатлениях, о технических новинках и вообще, «какое в свете чудо». Смирнов увлеченно рассказывал о том, что австрийцы сажают рассаду вместе с кубиком земли, смеси перегноя и торфа. Процесс можно механизировать, поднять производительность труда, а главное — рассада не болеет, урожаи повышаются.

Со свойственным ему энтузиазмом отец стал «проталкивать» у нас заграничную идею. Когда кампания набрала силу, к нему пришел один из лысенковцев. Дело было на даче в выходной. Среди других вопросов обсуждавшихся на поле, гость как бы невзначай посетовал на то, что мол, совсем забыли нашего Трофима Денисовича. Вейсманисты-морганисты не дают ему голову поднять, работать мешают. Сами ничего предложить не могут, вот и вымещают злобу на настоящем ученом, дающем так много сельской практике. Своего не видят и видеть не хотят, признают только то, что приходит из-за границы. Свежий пример — торфоперегнойные горшочки: все их расхваливают, признают, что они дают значительный эффект. а он, оказывается, еще несколько лет назад предлагал внедрить их в практику. Куда только не обращался. Везде получил отказ. Еще над ним и посмеялись. Не ценим мы своих ученых. Все стремимся в хвост пристроиться буржуазной науке. Опять все мухами занимаются; о том, как урожаи поднять, народ накормить, у них голова не болит.

Гость достал из портфеля оттиск статьи и передал ее отцу. Действительно, там речь шла о торфоперегонных горшочках, на фотографии они были точь-в-точь такие же, как австрийские.

Бреши была пробита. Отец недовольно бурчал что-то о нашем преклонении перед иностранщиной, о необходимости поддержки советских ученых и тут же распорядился предоставить Лысенко все условия для творческой деятельности, оградить его от несправедливых нападок.

— Спорить пусть спорят, — заключил он, — но условия для работы должны быть у всех.

Большего и не требовалось. Остальное было делом техники. Аппарат прекрасно освоил методы раздувания угодных ему указаний и торможения самых настойчивых директив, если они были не по нутру. Не сразу, постепенно Лысенко возвращал утраченные позиции. Он писал записки в ЦК, обещал быстрые результаты, стал снова штатным оратором на совещаниях. Его сторонники в сельхозотделе ЦК умело «замазывали просчеты». Но, если хоть одно слово этого авантюриста подтверждалось, восхвалениям не было границ. Об очередном успехе отцу твердили наперебой. Голоса сомневающихся, не говоря уже о критиках, просто не были слышны.

Очередной благоприятный для лысенковцев случай не заставил себя ждать. Прощество было мелким, но зато оно хорошо показывает, какой психологический эффект может иметь любая мелочь, если ее хорошо «приготовить» и умело «продать». Заспорили два академика — Цицин и Лысенко, чья пшеница урожайнее. Отец всегда интересовался селекционной работой, знал наизусть основные параметры новых сортов, с удовольствием посещал сортоиспытательные станции, был знаком со многими селекционерами-практиками — авторами новых сортов пшеницы, подсолнечника, картофеля. И в этом случае отец проявил живой интерес, даже позвал обоих в гости на дачу.

Каждый из противников приводил массу доводов в защиту своей позиции. Разобраться, кто прав, кто виноват, было невозможно. Тогда отец решил схитрить и предложил соревнование. Неподалеку от нашей дачи за Московской-рекой было поле. Отец взялся договориться с председателем колхоза, чтобы тот под его ответственность на один сезон выделил его спорящим. Каждый засеет свою половину, будет вести агротехнику, как считает нужным, а урожай покажет, кто прав.

На том и порешили. Вспахали, удобрили, засеяли. По выходным дням, когда было тепло, отец садился на весла, а мы размещались в лодке. Отец любил эти прогулки. От Усова, где мы жили на даче, до Ильинского, где расположилось опытное поле, недалеко — путешествие занимало минут сорок. В отдалении следовала лодка с охраной, ее начальник, сидевший на корме, зорко наблюдал за обстановкой; держалась охрана на почтительном расстоянии, поскольку охранников отец близко не подпускал и грубовато ставил на место:

«Что вы за спиной толчетесь?»

Наконец мы у цели, высаживаемся на левом берегу. На поле, как правило, отца ожидали Лысенко или Цицин. Неподалеку на пригорке размещался дом отдыха Московского комитета «Ильинское». Там проводили выходные дни руководители Московской партийной организации. После возвращения в Москву из Киева отец привык во время прогулок заходить в «Ильинское», собирал там компании, и все вместе они шли по полям, обсуждая дела, а то и просто, по выражению отца, зубоскаля.

Словом, посещение опытного поля подчас бывало многолюдным. Понятно, что всех интересовало, кто же выйдет победителем. Вначале по всем признакам побеждал Цицин — на его половине растения были мощнее, зеленее. И тут Лысенко одержал психологическую победу. В одно из воскресений отец на поле поддразнил Лысенко:

— У Цицина-то пшеница лучше.

Лысенко молча ходил среди растений сначала на своей половине, потом у соперника. Вырвал несколько штук с корнем, внимательно осмотрел и не согласился. Лысенко заявил, что у него урожай будет, какой он обещал, а у Цицина, мол, ничего не получится потому-де, что растения перекормлены, а значит, зерна не будет. Осенью предсказание подтвердилось, и авторитет Лысенко в глазах отца неизмеримо вырос.

Конечно, это лишь фрагменты, запомнившиеся мне, да и не самые значительные. А на деле все обстояло гораздо сложнее. Теперь Лысенко мог приняться за своих противников. То и дело звучали жалобы на зажим ученых со стороны идеалистов-вейсма-

нистов. Все настойчивее подчеркивались успехи Лысенко и «бесплодность» буржуазной лженауки. И отец бросался в бой, вставал на защиту «настоящих» ученых. Так Лысенко снова стал всесильным.

Должен сказать, что по мере укрепления отцовской веры в правоту Лысенко я, напротив, все больше сомневался. То тут, то там в научных журналах появлялись статьи с описанием основных постулатов теории наследственности, публиковались результаты опытов с носителями наследственной информации — генами. Я недоумевал: как эта теория может считаться идеалистической, если она оперирует чисто материальными объектами?

Несколько раз я затевал разговор с отцом на эту тему. Но время было упущено, он уверовал в Лысенко и в моих аргументах не нуждался. И не только в моих. Его пытались убедить академики Курчатова, Лаврентьев, Капица и другие. Однако усилия эти были бесплодны.

С одной стороны — «специалисты сельского хозяйства» сплоченно стояли за Лысенко, обещали скорые результаты. Они их уже просто видели, щупали руками, показывали самому Хрущеву. Противостояли же им, по мнению отца, не специалисты сельского хозяйства: математики, физики. С их доводами он считаться не хотел.

Помню, я однажды попал на прием в Кремль и оказался рядом с академиком Лаврентьевым. К тому времени я уже понял, кто прав, а кто лжет. Сомнений у меня не было. Я, что называется, рвался в бой. Известна мне была и позиция Лаврентьева, и то глубокое уважение, которое испытывал к нему отец. Они были хорошо знакомы еще по Киеву, а после организации Сибирского отделения Академии наук отец отзывался о Лаврентьеве просто восторженно. Я решил, что нашел союзника, и в разговоре для затравки произнес общие фразы об истинности формальной генетики и ошибочности позиции Лысенко. Реакция была неожиданной. Лаврентьев посмотрел на меня как на провокатора, пробормотал:

— Я этим больше не занимаюсь.

И отошел.

Я остался на месте как громом пораженный. Через некоторое время мне попала в руки книга биолога Жореса Медведева, описывающая всю (сейчас хорошо известную) историю становления Лысенко и гибели биологической науки. Отпечатанный на машинке экземпляр и по сей день хранится на полке в моей библиотеке. Когда я прочитал ее, у меня волосы встали дыбом. Я решил во что бы то ни стало открыть глаза отцу, донести до него истину, да и просто спасти его от позора. Долго перебирал я аргументы, искал неотразимые доводы, выжидал подходящего момента. Несколько раз я начинал разговор, казалось, бесспорной посылкой: «Зачем тебе вмешиваться? Пусть ученые разберутся сами, тем более что полученные результаты подтверждают существование гена, его просто видели».

Но ничего не выходило. Отец мрачнел, сердился и «отбрасывал» меня: «Ты инженер, ничего в этом не смыслишь. Тебя подговорили, а ты как попугай повторяешь чужие слова. Специалисты, люди знающие, говорят обратное».

В его аргументации была своя логика, и от этого становилось еще обиднее. И все же я не мог понять его. Он поддерживал дух соревнования в других направлениях науки и техники. Конструкторы предлагали, боролись, и их правоту определял только конечный результат. А здесь отец почему-то был непреклонен, последним его непробиваемым аргументом было обвинение в идеализме и ссылка на проникновенность к нам буржуазной идеологии.

Отцу часто приходилось сталкиваться с учеными, приходившими со своими проблемами в ЦК, а в случае споров принимать окончательное решение в поддержку одной из сторон. Но действовать с закрытыми глазами он терпеть не мог и обычно искал среди ученых человека, на объективность которого мог бы всецело положиться. Больше всего он боялся оказаться инструментом для достижения чьих-то, пусть и чисто научных целей. Приглядывался он к ученым долго. Наконец остановил свой выбор на Игоре Васильевиче Курчатове.

Первые они тесно соприкоснулись в апреле 1956 года, во время визита в Великобританию. Игорь Васильевич удачно сочетал в себе ум ученого с мудростью государственного деятеля. В сферу его интересов входили не только вопросы, связанные с военным и мирным применением ядерной энергии, но и, казалось, совсем далекие от его профессии науки — философия, биология, космология.

Тогда, в пятьдесят шестом году, огромный интерес вызвала прочитанная им в английском атомном центре в Харуэлле лекция о возможностях мирного применения атомной энергии. Впервые он рассказал об исследованиях, проводившихся в Советском Союзе. Ведь раньше эти сведения хранились за семью печатями.

Не меньшее внимание англичан привлекла и черная, «лопатой» борода академика. В те далекие времена, когда мы только начинали вновь знакомиться, борода считалась неизменным атрибутом образа русского. За исключением Булганина, носившего небольшую «профессорскую» бородку, вся делегация оказалась бритая. А тут такая борода. Всю поездку за Курчатовым, стоило ему появиться на улице, ходили толпы.

После возвращения домой общение отца с Курчатовым стало постоянным. Встречались они в рабочем кабинете отца. Не раз Курчатов бывал у нас на даче. Оказалось, идеи их совпадают. Как-то во время одного из визитов к нам Курчатов посетовал на то, что отцу все больше приходится заниматься научными проблемами, принимать ответственные решения. А ведь для этого требуются глубокие знания, и не только специальные. Необходимо проникновение в кухню ученых, сказал он и тут же предложил свои услуги в качестве консультанта по науке. Видно было, что это не экспромт, а хорошо продуманная, выношенная идея.

Отец не любил, когда ему что-либо навязывали. А особенно навязывались. Я ожидал вежливого отказа. Однако все произошло иначе. Какое-то время отец молчал, видимо, обдумывая ответ, а потом заявил, что Курчатов попал в точку. Он и сам давно раздумывал на эту тему и не раз думал об Игоре Васильевиче. По словам отца, его останавливало два обстоятельства: Курчатов — вся наша атомная программа, а это дело упускать никак нельзя. Кроме того, Игорь Васильевич — ученый, академик, а роль консультанта — чинovníй.

В ответ Курчатов предложил консультировать отца на общественных началах: «Бесплатно, продолжая работать в своем институте». Решение было принято. К сожалению, судьбе было угодно распорядиться иначе. Вскоре Курчатов скоропостижно скончался...

Фантазия — вещь ненадежная. Но мне кажется, что, осуществив этот план, и Лысенко стало бы очень трудно, а скорее, и невозможно дурачить отца дальше. Теперь же на пути у него препятствий не было. Сколько раз мы с Радой¹ пытались довести до отца правду, но неизменно наталкивались на глухую стену непонимания.

Последнее столкновение произошло летом 1964 года. Я его очень хорошо запомнил. Был теплый вечер. Мы сидели на террасе, выходящей на Москву-реку. На небольшом плетеном столике отец разложил бумаги, подгоняя задолженность за день. Вид у него был усталый. Вокруг — каждый со своим делом — разместились Рада, я и Аджубей. Такое совместное сидение было делом обычным. Внезапно оторвавшись от лежащей перед ним папки, отец, ни к кому особенно не обращаясь, произнес какую-то фразу о достижениях Лысенко и кознях антинаучных идеалистов вейсманстов-морганистов.

Мы толком не поняли, к чему он сказал это, но не ответить не могли. Рада и я стали осторожно доказывать, что генетика — такая же наука, как и другие, никакого идеализма в ней нет. Тезис же Лысенко, что гена никто не видел, абсурд. Атома тоже никто не видел, а атомная бомба есть. Этот довод казался мне несокрушимым.

Изредка вставлял слово Алексей Иванович.

Разговор этот очень рассердил отца. Хотя дома он никогда не кричал, не ругался и голоса не повышал, сейчас он распалился и повторял в повышенных тонах свои старые аргументы: нас-де используют нехорошие люди в своих целях, а мы, не зная дела, повторяем чужие слова. Наконец он окончательно вышел из себя и заявил, что не потерпит носителей чуждой идеологии в своем доме, а если мы будем придерживаться ее, то чтоб мы не смели попадаться ему на глаза. Словом, получился скандал. Вместо прогулки, рассерженные и расстроенные, мы разошлись по своим углам. Рада уехала домой.

Что же произошло? Оказывается, в тот день перед самым отъездом с работы к отцу пришли «специалисты по сельскому хозяйству». Они принесли ворох жалоб на «идеалистов», не дающих жить и работать «настоящим» ученым, а особенно Трофиму Денисовичу. Не забыли упомянуть нас: мол, подпевают им и Рада с Сергеем, не со зла, конечно, а по недомыслию...

¹ Рада Никитична Аджубей — дочь Н. С. Хрущева, по образованию биолог, заместитель главного редактора научно-популярного журнала «Наука и жизнь».

За последнее время кое-кто из окружения отца специально выбирал время, когда он особенно уставал, и выливал ушат помоев на идеологических «перерожденцев», сбивающих страну с пути истинного. Эти ловкачи не без основания рассчитывали вызвать раздражение, бурную реакцию отца, которую тут же можно было соответствующим образом использовать. К сожалению, это часто удавалось...

Утром о вечернем инциденте не вспоминали. Отец, видно, стыдился своей несдержанности, но цели своей Трофим Денисович достиг. Надолго были перекрыты любые наши попытки втянуть отца в разговор о генетике, а после октября спор потерял практический смысл.

В последующие годы я не заговаривал с отцом о Лысенко, не желая доставлять ему лишние неприятности, поскольку теперь его точка зрения ни на что не могла повлиять. Тем не менее он, видимо, не стал менять ее в корне. Иногда гости задавали ему этот неудобный вопрос, и он, правда, без особого запала, не ругая уже «вейсманистов-морганистов», защищал Лысенко как практика, много сделавшего для нашего сельского хозяйства.

...Вернусь к февральскому Пленуму 1964 года. Кроме доклада министра было выслушано еще множество содокладов по различным аспектам, связанным с ведением сельского хозяйства. Выступал на Пленуме и отец. Последний раз. Многих свидетелей уже нет в живых, многие молчат, но, если собрать воедино крупницы информации от разных людей, так или иначе причастных к событиям этого периода, можно с уверенностью сказать, что в период января — марта 1964 года в Секретариате ЦК сформировалась оппозиция Хрущеву, в которой объединились Подгорный, Брежнев, Полянский и Шелепин. Цели этих людей окончательно ясны не были, да и роли, видимо, не были еще распределены, но наступление началось.

Осторожно выяснялось настроение членов ЦК, секретарей обкомов, руководства армии. В памяти свеж был урок 1957 года, когда Пленум ЦК встал на сторону потерпевшего, казалось, окончательное поражение Хрущева.

Бывший председатель КГБ СССР Владимир Ефимович Семичастный уже сегодня, в наши дни в беседе с одним из журналистов сказал, что подготовка к снятию Хрущева началась месяцев за восемь до отставки. Ему это стало ясно с самого начала. Другой свидетель тех событий, Петр Ефимович Шелест, приводит точную дату — 14 марта¹:

— Это был день моего рождения. Поздравить приехали Подгорный и Брежнев. Основательно посидели за столом и выпили изрядно. Разговор вертелся, в основном, вокруг положения дел в стране... Подгорный и Брежнев вели себя неуверенно, чувствовалось, что их что-то тревожит. Они говорили о трудностях взаимоотношений в верхах, о несрабатывании центрального аппарата... Жалобы Подгорного и Брежнева на судьбу были, по сути дела, лейтмотивом всей нашей беседы.

Уже тогда у меня зародилось чувство тревоги, неловкости. Не знал я, что за всем этим... Какую роль предстоит сыграть мне в смене руководства партии, государства? Мысли подобной не было, но чувствовал тревогу. Не признавал ее. Еле уловимо все же предчувствовал... Не очень доверяли. Прощупывали.

Велась незаметная, но настойчивая работа: поездки, разговоры. Все это сопровождалось непомерным раздуванием культа отца: все больше становилось его портретов на улицах Москвы и других городов, его непрерывно питировали, на него ссылались по любому поводу. На экраны выпустили фильм «Наш Никита Сергеевич». Сделан он был в традициях недавнего прошлого с неумеренными славословиями и назойливыми восторгami. Фильм показали отцу. Он просмотрел его молча, не похвалил, но и не запретил. Подготовили выпуск красочных альбомов с фотографиями Хрущева: до войны, на войне, после войны. Часть из них успела выйти, часть так и не увидела свет.

В каждом выступлении к месту и не к месту поминался отец. Тон этой кампании задавали Брежнев, Подгорный, Шелепин, а уж им всю подтгивали остальные.

Отец между тем совершал ошибки одну за другой, слишком вяло сопротивляясь развязанной кампании восхваления. Он не нашел в себе сил хлопнуть кулаком по столу и потребовать ее прекращения. Человек слаб...

Конечно, все это началось не вдруг. Помню, в 1962 или в 1963 году летом, по дороге в отпуск, отец решил по старой памяти проехать по областям Украины. Он хотел посмотреть поля перед уборкой, посетить промышленные предприятия. Это вошло

¹ Предлагаемая ниже информация представляет собой отрывок расшифровки магнитной ленты с рассказом П. Е. Шелеста.

в привычку. Да и просто тянуло его на украинские просторы. Ведь тут прошли лучшие годы жизни. На этот раз в программу поездки входил осмотр недавно сооруженной Кременчугской ГЭС. Рядом вырос целый город с мало благозвучным именем КремГЭС. Из Киева поехали на машинах. Впереди Хрущев с Подгорным и руководителями республики, а за ними целый «хвост». Я был далеко сзади, день, помню, выдался солнечный, жаркий.

Подъехали к городу, утонувшему в зелени. Вдруг я поразился: на придорожном указателе надпись по-украински — «Місто Хрущов» (город Хрущев).

Несколько лет назад по инициативе отца было принято решение не присваивать городам имен живых политических деятелей. Многие сопротивлялись, особенно почему-то Ворошилов, но постановление было принято. Мы не раз слышали, как отец с возмущением вспоминал предвоенные годы, когда появилась мания «коллекционирования» городов и сел, названных в честь руководителей. Целое соревнование — и Молотов, и Молотовск, и Ворошиловград, и Кировабад, — чего только тогда не выдумывали.

Машины остановились у здания горкома. Я пробился поближе, по реакции окружающих вижу — отец промолчал. Напрягшиеся было лица местного начальства расплылись в улыбки. Осмотрели город, съездили на плотину, поговорили в горкоме. Отец будто и не видел надписи.

Наконец приехали на пристань, дальше предстояло плыть на пароходе до Днепропетровска. Отчалили. Все собрались в салоне, предстоял обед.

Отец начал с благодарности, ему очень приятно, что город назвали его именем, поблагодарил за честь. Все закивали, наперебой стали говорить о заслугах отца, как много он делает для страны, для народа, как его все любят. Я окончательно перестал что-либо понимать. С момента въезда в город меня преследовало чувство неловкости. Я ожидал, что отец запротестует, и такое начало меня обескуражило.

Но это было только начало.

— Вы разве не читаете постановления ЦК или считаете не обязательным их выполнять?! — продолжал отец. — Я настоял на запрещении присваивать городам имена руководителей. А тут моя фамилия! В какое положение вы меня ставите?!

Последовал разнос. В газетах на следующий день давалась информация о посещении Первым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым города КремГЭС.

К сожалению, так было не всегда.

Неблагополучие в делах всегда вызывает неудовлетворенность, заставляет искать виновных. Не обошло это поветрие и отца. Нам трудно сегодня судить о степени обоснованности принимавшихся тогда решений о кадровых перемещениях, об их причинах и поводах. Одно не вызывает сомнений — высшие партийные круги принимали их сквозь зубы, симпатии были не на стороне Хрущева. Состоявшийся в декабре 1963 года Пленум ЦК после принятия решения о широкой химизации сельского хозяйства — именно в ней по примеру Америки отец видел единственный путь решения продовольственной проблемы — без обсуждения принял решения и по кадровым вопросам. Он освободил Председателя Совета Министров Украины Щербицкого от обязанностей кандидата в члены Президиума ЦК КПСС. На его место был избран Шелест. Отец Шелеста близко не знал, его очень продвигал Подгорный. После недавнего переезда в Москву Подгорный стал быстро входить в силу и на последних октябрьских торжествах именно он делал доклад. А это свидетельствовало о многом.

Истинной причины снятия Щербицкого мы не знали. Говорили, что отец был очень недоволен докладом о состоянии дел в народном хозяйстве Украины, который Щербицкий сделал во время последнего посещения отцом Киева. Много говорили и о том, что серьезную роль в его перемещении сыграли его заместители. С ними отец работал на Украине и к их мнению прислушивался.

После Пленума Щербицкий недолгое время возглавлял Совет Министров республики и вскоре уехал секретарем в одну из областей. Всеобщее недовольство этим решением стало почти открытым, поскольку Щербицкий считался хорошим хозяйственным и способным руководителем.

Следом за Щербицким пришла очередь Мазурова. Шестого января отец вместе с Кириллом Трофимовичем направился по приглашению Гомулки и Циранкевича в Польшу с неофициальным визитом. В середине зимы отец по настоянию врачей обычно брал отпуск дней на десять. Поляки пригласили его на несколько дней поохотиться, и он пригласил с собой Мазурова, желая, как всегда, совместить отдых с де-

лами: помочь установлению более тесных прямых экономических связей между Белоруссией и Польшей. Да и вообще к Мазурову он относился с симпатией и уважением.

В середине января я, взяв отпуск, встречал их на границе. Еще пару дней отец намеревался провести в Белоруссии. Его поселили на даче в Беловежской пуще. Во время одной из прогулок Мазуров долго рассказывал, какими ему видятся пути развития народного хозяйства республики. О чем конкретно шла речь, я не слушал, хотя и все время держался рядом. Таких разговоров при мне происходило множество.

Помню только, что отцу мысли Мазурова не понравились и он стал поправлять его. Мазуров не согласился — вышла размолвка. Расставались они недовольные друг другом, тем не менее корректно, по-дружески. Каково же было мое удивление, когда при встрече на Белорусском вокзале отец при всех вдруг сказал членам Президиума ЦК, встречавшим его, что ему очень не понравился Мазуров. Они, мол, с ним долго говорили, но предложения его не выдерживают критики. Надо думать о его замене. Эти слова были для всех неожиданны, правда, и возражений не последовало.

Что происходило дальше, я не знал. Видимо, отец остыл, еще раз обдумал разговор и от своих намерений отказался. Во всяком случае, разговоров об освобождении Мазурова больше не возникало. Без сомнения, слова отца немедленно донесли Мазурову, и после этого он никак не мог числиться в сторонниках Первого секретаря. Такие шаги не прибавляли популярности отцу в партийном и в государственном аппаратах.

Тем временем жизнь шла своим чередом. Как всегда, на неотложные дела, связанные с актуальными хозяйственными и политическими вопросами, накладывались встречи, приемы, поездки. Зимой и весной отец побывал в Венгрии, на Украине, в Ленинграде. В Москве отец проводил все меньше времени. Нити центрального руководства все больше переходили в руки Брежнева и Косыгина. В отсутствие отца они чувствовали себя увереннее и свободнее. Его возвращения становились все менее желательными, поскольку он мешал им проводить свою линию. Отец вмешивался во все вопросы — и большие, и маленькие. Такая опека их, естественно, раздражала.

Мне кажется, историки недооценивают встречу отца с Кеннеди в Вене. Многие пишут о том, что отец якобы поучал молодого американского президента, время прошло в бесплодных спорах и Кеннеди отбил атаки Хрущева. В Вене, насколько я помню, произошло главное — знакомство. Отец вернулся после встречи с прекрасными впечатлениями о собеседнике. Он оценил его как достойного партнера, сильного государственного деятеля, но еще и как обаятельного человека, которого он просто полюбил.

В одной из бесед у них возникла дерзкая по тем временам идея организации совместного советско-американского полета на Марс. Мир тогда бредил космосом, мы и американцы соревновались за первенство высадки на Луне. Совместный проект, по их общему мнению, давал многое для укрепления доверия. Они оба одобрили идею, но дальше дело не пошло. Почва не была подготовлена ни у нас, ни у них.

В последующие годы отец не раз возвращался к мысли о реализации проекта, неизменно наталкиваясь на сопротивление военных, ведь в случае претворения идеи в жизнь пришлось бы открыть американцам наши военные секреты, продемонстрировать ракеты, а в мирных космических кораблях многие технические решения те же, что и в боевых ракетах. Нажать на военных, преодолеть этот серьезный барьер отец тогда не решался — слишком сильна была инерция установившихся понятий. С аналогичной ситуацией, видимо, сталкивался и американский президент.

Я помню, незадолго до трагических событий в Далласе, гуляя вокруг дома на Ленинских горах, отец опять и опять возвращался к манившей его идее. Однако выстрел оборвал жизнь Кеннеди, а с его преемником отец обсуждать эту проблему не захотел. К Кеннеди он испытывал человеческую симпатию и доверие, а в жизни отца внутренние симпатии и антипатии всегда занимали большое место. Он мог преодолеть их как политик, но по-человечески неизменно оставался во власти своих пристрастий.

Вот так же ему полюбился Вэн Клайберн — открытостью, талантом, своей обаятельной улыбкой. Отец несколько раз ходил на его концерты, пригласил пианиста в воскресенье на дачу. Навсегда у него сохранились самые теплые воспоминания о милом молодом американце.

Начиналась весна, а с ней и сев. Хороший урожай был необходим. Неудачи прошлых лет заставили покупать хлеб за границей, ухудшилось и качество выпекаемых изделий. Отец считал закупку зерна за границей единичной, экстраординарной мерой, которая никак не должна была повториться. Должны же мы в конце концов научиться

выращивать хлеб. Ссылки на неурожай из-за плохих погодных условий он не принимал вообще.

— Это оправдание для бюрократов, отписка, — обычно говорил он. — В такой огромной стране, как наша, каждый год где-то засуха, где-то заливает, но в других-то местах урожай хороший. Так что всегда можно найти оправдание собственной безхозяйственности, свалить все на солнце или дождь. И не приходите ко мне с такими объяснениями. Урожай зависит от того, как мы все работаем.

Были, конечно, и другие проблемы. Вот так, в очередных заботах незаметно прошел апрель. Семнадцатого апреля отцу исполнилось 70 лет. День этот был радостным, как все юбилеи, но и трагичным — волна раздуваемого культа отца достигла невероятных масштабов. Особенно чутко на все «перегибы» реагировала мама, но... молчала. Замечали мы, что и отцу не по душе бурные славословия, но и он молчал, не желая портить праздник. Поздравления в тот день начались с утра. Весь дом проснулся от грохота — охрана затаскивала в столовую большой радиотелекомбайн производства рижского завода. На боку металлическая табличка с дарственной надписью — подарок от товарищей по работе в ЦК и Совете Министров. Этот подарок был исключением. Отец заранее предупредил, что он категорически требует не делать ему подарков к юбилею, особенно от организаций.

— Нечего тратить народные деньги. Никаких подарков, — категорично отрезал он. На этот счет была дана специальная директива ЦК, в которой разрешалось присылать только поздравления. Распространялся этот запрет и на членов семьи, но мы, конечно, директиве не последовали. Пренебрегли ею и члены Президиума ЦК.

Весеннее утро было солнечным. К 9 часам утра стали съезжаться с поздравлениями гости: родственники, члены Президиума и секретари ЦК. Другого времени не было — оставшийся день был отдан официальным мероприятиям и расписан по минутам.

Резиденция, где мы располагались, представляла собой двухэтажный особняк, предназначенный для жилья и небольших приемов. До 1953 года отец, Маленков, Булганин и многие другие члены Президиума ЦК с семьями жили в большом доме на улице Грановского. Ворошилов, Микоян и Молотов жили в Кремле. Жизнь в многоэтажном доме тяготила отца. В Киеве мы занимали одноэтажный особняк (до революции он принадлежал преуспевающему аптекарю), окруженный большим садом. Там можно было погулять, посидеть на лавочке, подумать, отдохнуть.

Не изменил своей привычке гулять после работы отец и в Москве. Часто на прогулки он вытаскивал Маленкова, жившего под нами. Шли по проспекту Калинина, на Красную площадь, вокруг Кремля. Иногда заходили в Александровский сад или, изменив маршрут, возвращались по улице Горького.

После смерти Сталина по заказу Маленкова был сделан проект правительственных особняков-резиденций на Ленинских (бывших Воробьевых) горах над Москвой-рекой. Маленков показал проект отцу, тот сначала засомневался — не дороговато ли, но потом согласился. Предполагалось, что в новые дома переедут члены Президиума ЦК. Однако на переезд решались не все. Например, Молотов и Ворошилов, выехав из Кремля, поселились на улице Грановского.

На первом этаже резиденции размещались официальные помещения: большая столовая и гостиная. Там же два двухкомнатных жилых блока. Кабинет и спальня хозяев дома помещались на втором этаже.

Приехавших с поздравлениями становилось все больше. Вновь прибывшие проходили в гостиную, собирались кучками, обменивались новостями, шутили. Никто не курил, поскольку отец не выносил табачного дыма. Виножник торжества запаздывал. Наконец улыбающийся, нарядно одетый отец появился на залитой солнцем дубовой лестнице. Гости двинулись навстречу. Рукопожатия, пожелания здоровья и счастья — словом, все как обычно, независимо от ранга юбиляра. Брежнев расцеловал отца. По-немногу суета улеглась. Отец пригласил всех в столовую. Большой стол был празднично накрыт. В другие дни, даже торжественные, редко набиралось гостей на половину стола, сегодня мест не хватало, люди теснились, усаживались на углы.

Эта комната была свидетельницей многих событий — и семейных, и государственных. Именно здесь, вернувшись из Кремля, до поздней ночи обсуждали члены Президиума ЦК события Карибского кризиса. Отсюда отец диктовал свои послания президенту Кеннеди. Правда, в самый критический момент отец ночевал в своем

кабинете в Кремле. Сюда же осенним вечером 1963 года позвонил Андрей Андреевич Громыко и сообщил о покушении на президента Соединенных Штатов. Вздвигнувшийся отец попросил срочно связаться с послом США, узнать подробности. Ответа долго не было. Отец в нетерпении перезвонил Громыко, тот ответил, что заказали Вашингтон.

— Я же просил позвонить американскому послу. Ведь это быстрее,— поправил его отец.

Через несколько минут стало известно, что президент Кеннеди скончался... Тут же было принято решение — направить в США нашу делегацию самого высокого уровня. Возглавлял ее Микоян...

А сегодня здесь был праздник.

Брежнев, как Председатель Президиума Верховного Совета СССР, начинает первым, он зачитывает поздравление, подписанное собравшимися здесь членами Президиума Центрального Комитета партии, кандидатами в члены Президиума, секретарями ЦК:

«Дорогой Никита Сергеевич!

Мы, Ваши ближайшие соратники, члены Президиума ЦК, кандидаты в члены Президиума ЦК, секретари ЦК КПСС, особо приветствуем и горячо поздравляем Вас, нашего самого близкого друга и товарища в день Вашего семидесятилетия (все зааплодировали).

Мы, как и вся наша партия, весь советский народ, видим в Вашем лице, дорогой Никита Сергеевич, выдающегося марксиста-ленинца, виднейшего деятеля Коммунистической партии и советского государства, международного коммунистического и рабочего движения, мужественного борца против империализма и колониализма, за мир, демократию и социализм (аплодисменты).

Ваша кипучая политическая и государственная деятельность, огромный жизненный опыт и мудрость, неиссякаемая энергия и революционная воля, стойкость и непоколебимая принципиальность снискали глубокое уважение и любовь к Вам всех коммунистов и советских людей (аплодисменты).

Мы счастливы работать рука об руку с Вами и брать с Вас пример ленинского подхода к решению вопросов партийной жизни и государственного строительства, быть всегда вместе с народом, отдавать ему все свои силы, идти вперед и вперед к великой цели — построению коммунистического общества.

От всей души желаем Вам, Никита Сергеевич, доброго здоровья, много лет жизни и новых успехов в Вашей огромной и чудесной деятельности (бурные аплодисменты).

Мы считаем, наш дорогой друг, что Вами прожита только половина жизни. Желаем Вам жить еще, по меньшей мере, столько же и столь же блистательно и плодотворно. Сердечно обнимаем Вас в этот знаменательный день. Тут стоят подписи Ваших верных друзей и соратников, сидящих за этим столом, и к ним присоединяются многие и многие по всей стране».

Леонид Ильич расчувствовался, смахнул слезу и обнял Никиту Сергеевича. Все подходило, чокались, говорили подходящие к случаю фразы. Наконец прошли все и Брежнев вручил юбиляру красивую папку с только что прочитанным адресом, подписанным в соответствии с алфавитом и табелью о рангах.

Л. Брежнев
Г. Воронов
А. Кириленко
Ф. Козлов
А. Косыгин
О. Куусинен
А. Микоян
Н. Подгорный
Д. Полянский
М. Суслов
Н. Шверник
В. Гришин

А. Ефремов
К. Мазуров
В. Мжаванадзе
Ш. Рашидов
П. Шелест
Ю. Андропов
П. Демишев
Л. Ильичев
В. Поляков
А. Рудаков
В. Титов
А. Шелепин

Эта папка не давала покоя ее авторам до самой смерти юбиляра...

Перечитал ее, и вспомнилось, что в то время фамилии всех членов Президиума ЦК без исключения печатали строго по алфавиту. Поэтому во всех перечислениях отец оказывался в конце. Сегодняшний порядок, когда первым ставится Генеральный секретарь, как и сам этот титул, введен был уже Брежневым.

Вручение адреса как бы подвело черту под официальными поздравлениями. Началась обычная, присущая таким случаям суэта. По очереди вставали соратники отца, рядом с которыми был пройден такой непростой путь. Потоком лились поздравления, пожелания, здравия. Часа через два пришла пора расходиться: впереди официальные поздравления в Кремле, а вечером предстоял большой прием.

На юбилейные торжества приехали руководители социалистических стран, секретари ЦК братских коммунистических партий. Прибыл и президент Финляндии Урхо Кекконен. Его связывала с отцом давняя дружба. Многие привезли с собой ордена. Так что к концу церемонии пиджак утомленного речами и рукопожатиями отца изрядно потяжелел.

На следующий день все вошло в обычную рабочую колею. Праздник остался в прошлом, нужно было думать о будущем. В Москве в те дни находилась польская делегация во главе с Гомулкой. 19 апреля поляки отправились домой, а 25-го с визитом прибывал Президент Алжира Ахмед Бен-Белла. После первомайских праздников отец вместе с ним уехал в Крым. Проводив оттуда гостей, он хотел немного отдохнуть и из Ялты на теплоходе отправиться с официальным визитом в Египет. Его ждали на торжественный пуск Асуанской плотины.

Отец считал дружеские отношения с арабскими странами чрезвычайно важными. Казалось, наш союз с арабским миром складывался прочно, поскольку основу его заложил удачный внешнеполитический маневр Хрущева, положивший конец в период суэцкого кризиса в 1956 году военным действиям западных стран против молодой египетской республики.

Отец гордился своим успехом. Любил вспоминать о своих переговорах с тогдашними руководителями Великобритании и Французской республики сэром Антони Иденом и Ги Молле, приведших к молниеносному окончанию войны и выводу войск из зоны Суэцкого канала.

События 1956 года перевернули арабский мир. Раньше эти страны традиционно ориентировались на Западную Европу и о Советском Союзе знали так же мало, как и мы о них. Провал карательной акции, направленной против молодых офицеров в Египте, сменил ориентацию большинства стран региона.

Отец развивал достигнутый успех. В арабские страны пошло сначала чехословацкое, а затем советское оружие, расширялась экономическая помощь. Вся наша военная мощь демонстративно приводилась в движение при возникновении угрозы союзникам на Ближнем Востоке.

Правда, разрыв дипломатических отношений с Израилем отец санкционировал без энтузиазма. Выбирать не приходилось. Он предпочел укрепить дружбу с многомиллионным арабским миром. Нужно сказать, что отец часто возвращался к мыслям о возможных путях примирения враждующих сторон, не раз говорил об этом и с Насером. Встав на сторону арабов, он тем не менее не раз вспоминал с симпатией о своих встречах с Голдой Меир в Москве.

— Когда-нибудь и там наступит мир. Все перемелется,— бывало, философски замечал он.

Вершиной развития дружбы с Египтом было соглашение о строительстве высотной Асуанской плотины и Хелуанского металлургического комбината. Эти шаги продемонстрировали всем арабам, кто их настоящие друзья. Правда, в нашей стране не все одобряли ближневосточную политику отца. Раздавались голоса о растраживании народных денег, неоправданности нашей экономической и военной помощи.

Отвечая на упреки в том, что на помощь слаборазвитым странам выбрасываются зря миллионы, отец обычно приводил в пример наши отношения с Афганистаном. Мы даем королю десятки миллионов, помогаем ему строить дороги, предприятия, развивать сельское хозяйство. Зато имеем спокойную границу. На ее укрепление понадобились бы десятки миллиардов. Так что, оказывая помощь, мы имеем прямую выгоду.

К описываемому периоду относится и попытка реализации идеи объединения всех арабов в едином государстве — Объединенной Арабской Республике. К государственному слиянию арабских стран отец относился скептически. Он предостерегал На-

сера от поспешных шагов в интеграции с Сирией, считая, что разница в политических свободах и экономическом развитии скоро приведет к конфликту.

Отец гордился нашими достижениями на Среднем Востоке, в значительной мере числа их на своем счету, и теперь хотел увидеть все сам. Однако поездке на Ближний Восток долгое время препятствовало одно серьезное обстоятельство. Коммунистические партии в большинстве арабских стран были запрещены, действовали в подполье, а многие коммунисты находились в тюрьмах. В течение всей подготовки к визиту этот вопрос неоднократно поднимался нашей стороной. Наше руководство поставило условие: без решения вопроса о коммунистах, томящихся в тюремных стенах, визит состояться не может.

Наконец Насер заверил, что заключенные будут освобождены. Отец сделал вид, будто его удовлетворили данные заверения, последняя преграда к визиту была снята.

В поездку отец решил взять и меня.

Делегация — Громыко, Георгадзе, Гречко, Сатюков, Аджубей и другие — отправлялась в путь от причала ялтинского порта на небольшом теплоходе «Армения». Провожал нас Брежнев. В предотъездной суете мне бросилась в глаза непонятная перемена в поведении Леонида Ильича. Его всегда отличали широкая располагающая улыбка, готовая сорваться с языка шутка. На сей раз он был мрачен, даже отцу отвечал односложно, почти грубо. Остальных же просто не замечал. А ведь еще несколько недель назад при встрече он расцветал, широко раскрывал объятия, за чем неизменно следовали пахнущие дорогим коньяком и одеколоном поцелуи.

Я был в недоумении. Наконец, как мне казалось, нашел объяснение. Брежнев обижен предполагаемым в скором времени перемещением с поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР в ЦК. Отказаться он не мог и теперь переживал. Эта примитивная версия владела мною многие годы. Только в последнее время, когда стали известны многие обстоятельства тех лет, все стало выглядеть в ином свете. Очевидно, к маю окончательно оформилось решение избавиться от Хрущева. Оставалось, видимо, продумать детали и возможные сроки. Тогда, в Ялте, Брежнев, вероятно, не смог скрыть своего истинного отношения к отцу.

... «Армения» пересекала Черное море в направлении к проливам. Все, кроме отца, отдыхали. Он занялся бумагами, как только корабль отвалил от причала. Весь следующий день отец продолжал готовиться к предстоящей встрече. На палубе вокруг легкого столика собрались члены делегации, советники, помощники. Проблем было много, но главной темой были более чем неаккуратные платежи египтян, их безалаберность. Наши корабли неделями ждали в портах разгрузки. Да и другие проблемы были не легче. Военных беспокоило положение в египетской армии. Несмотря на современное вооружение, ее боеспособность оставалась крайне низкой.

Наконец путешествие подошло к концу. На пирсе Александрийского порта нас встречал президент Насер и другие высшие руководители республики. По всему многокилометровому пути до Каира делегацию восторженно приветствовали толпы египтян.

Насер понравился отцу своей напористостью, искренним желанием преобразовать страну. Правда, многое в его позиции настораживало отца: и эта расплывчатость положений «арабского социализма», и планы создания гигантского арабского государства. Переговоры проходили сложно, в спорах. Заседания затягивались, нарушался введенный протоколом регламент. На одной из встреч Насер просил еще и еще оружия, отец соглашался удовлетворить его запросы, но настаивал на мирном сосуществовании с соседями. Не раз казалось, что согласованное решение найдено, оставалось последнее слово, последняя формулировка... И тут все начиналось сначала.

Споры, впрочем, не влияли на взаимное дружеское расположение, и, когда раскрывались двери комнаты переговоров, руководители обеих стран появлялись с ослепительными улыбками на лицах.

В конце концов противоречия были преодолены.

Из Каира наш путь лежал в Асуан. Кнопку подрыва перемычки Асуанской плотины должны были нажать вместе Насер и Хрущев. На торжества открытия плотины собрались руководители дружественных арабских стран. Отец хотел воспользоваться благоприятным случаем и обсудить с ними тенденции политического и экономического развития региона. Наконец долгожданное событие произошло. Насер и Хрущев одновременно нажали на кнопку, раздался взрыв, и воды Нила хлынули в котлован. Всем присутствующим были вручены памятные золотые медали. Еще в день приезда пре-

зидент объявил о награждении отца высшей наградой Объединенной Арабской Республики — орденом Ожерелье Нила, которым отмечали лишь за особые заслуги и чрезвычайно редко. Этим жестом демонстрировалось глубокое уважение к нашей стране, подчеркивались особые отношения между государствами арабского региона и Советским Союзом.

Сопутствовавшие этому награждению обстоятельства вызвали много толков в нашей стране. А поскольку они были прямо связаны с последующими событиями, останемся на них подробнее. В соответствии с принятым международным этикетом и в знак особо дружеских отношений между странами необходимо было произвести адекватное награждение хозяев. Возникла проблема — каким советским орденом можно наградить президента Насера и вице-президента, главнокомандующего вооруженными силами маршала Амера. Такие вопросы возникали и раньше. С руководителями братских стран было проще. Они придерживались социалистической ориентации, идеологическая основа у нас была единой, и легко находился эквивалент ордену Карла Маркса или Георгия Димитрова.

Но, если речь шла о капиталистической или развивающейся стране, все усложнялось. Совершенно исключалось награждение знаком, связанным с нашими идеологическими, коммунистическими принципами. В прошлом отец несколько раз возвращался к вопросу об учреждении нового ордена со статутом, отражающим заслуги в укреплении дружбы между народами и государствами. Но надолго его внимание на этом вопросе не задерживалось. Он не был сторонником увеличения числа наград и, как только разрешалась возникшая проблема, терял интерес к новому ордену.

Когда посетивший нас с государственным визитом император Эфиопии Хайле Селассие I наградил Преседателя Президиума Верховного Совета СССР Ворошилова высшим орденом империи, все встало в тупик. Ведь не наградишь же монарха орденом Ленина или Красного Знамени. Наконец нашли выход из положения. Вручили ему орден Суворова первой степени. Вспомнили, что высокий гость руководил борьбой своего народа с итальянскими фашистами.

Вот и сейчас Никита Сергеевич поинтересовался, какая наша награда соответствует ордену Ожерелье Нила. Из Президиума Верховного Совета СССР ответили: «Высшая». Такой наградой, не несшей напрямую идеологической нагрузки, у нас было звание Героя Советского Союза. Вспомнили прецеденты, когда это звание было присвоено Фиделю Кастро и Яношу Кадару.

Поэтому отец, долго не раздумывая, принял представление о присвоении звания Героя президенту Насеру и по предложению маршала Гречко маршалу Амеру. Андрей Андреевич Громыко, человек дотошный и тонко чувствующий нюансы, связанные с международными отношениями, одобрил решение. В Москву ушла соответствующая шифровка, и вскоре был получен положительный ответ в виде Указа Президиума Верховного Совета СССР за подписью Брежнева. Привезли и запечатанный сургучными печатами сверток с наградами. В торжественной обстановке отец вручил ордена Насеру и Амеру. Казалось, вопрос исчерпан, международный этикет и ритуал соблюдены.

Но не тут-то было.

Неожиданно начались очень неприятные разговоры о том, что Хрущев, мол, путешествуя за границей, самовольно раздает ордена по принципу «ты — мне, я — тебе», игнорируя при этом Президиум ЦК и Президиум Верховного Совета СССР. К этому добавлялись слухи о якобы дорогих подарках, полученных отцом от правительства ОАР.

Я долго раздумывал, останавливаться ли мне в своих воспоминаниях на подобных шекотливых моментах. Ведь это тот случай, когда ничего нельзя доказать, а любое оправдание и опровержение выглядит даже в глазах дружески настроенного читателя более чем подозрительно. Легче было бы отмолчаться. Тем не менее я решил не уходить от обсуждения возникших тем летом кривотолков. Сегодня я убежден: это была очень точно рассчитанная акция, направленная на дискредитацию отца, подготавливавшая общественное мнение и выяснявшая расстановку сил.

Суть первой части выдвинутых впоследствии обвинений сводилась к двум пунктам. Отцу инкриминировали, что он публично объявил о награждении, не дожидаясь согласия Президиума ЦК, а кроме того, президент Насер вообще не достоин этой награды. Разобраться в справедливости первого обвинения сейчас довольно трудно. Прошло много лет, и восстановить события по часам попросту невозможно. С одинаковой легкостью через четверть века очевидцы в зависимости от своих симпатий и

антипатий могут поддержать или отвергнуть эту версию. Мне эта проблема представляется надуманной: во-первых, и раньше бывали прецеденты, а во-вторых, министр иностранных дел, находившийся в составе делегации, и протокол МИДа подтвердили адекватность наград. Остальное — уже детали, чисто бюрократическая процедура. Как я уже говорил, Указ последовал без возражений.

Достоин или не достоин глава дружественного государства награды, соответствующей его рангу, на мой взгляд, вопрос обывательский. Межгосударственные отношения строятся не на базе личных симпатий или антипатий, а соотносятся с высшими национальными интересами. В таком контексте вопрос, достойны лично Насер и Амер звания Героя Советского Союза или нет, очевидно, некорректен. Важно другое — правильной ли была политика Советского Союза на Ближнем Востоке, направленная на поддержку арабских стран. А уж ответив на него, легко решить, нужен ли был ответный жест на награждение Председателя Совета Министров СССР высшим орденом принимающей стороны, адекватное награждение признанного в то время лидера арабского мира.

Но логика логикой, а служи распространяются по иным законам и иначе расставляют акценты. Автору распространявшейся версии нельзя было отказать ни в уме, ни в ловкости. Чувствовался высокий профессионализм. Еще сложнее вопрос о ценных подарках. Здесь, как водится, все все знают, «никого не проведешь». Философия примитивна: все берут, а если кто-то не берет, значит, уже столько набрал, что больше некуда.

Однако же я вынужден разочаровать многих «доброжелателей»: ни тогда, ни раньше в нашем доме ценных подарков не хранилось. За этим следила мама. Все ценности сдавались в ЦК, чаще всего не распакованными или после беглого осмотра их отцом. Он сам к ценным вещам и украшениям относился в высшей степени равнодушно, чем сильно отличался от Кириченко и Брежнева, которых могла привести в восторг красивая побрякушка. Куда девались эти вещи потом, не знаю. Одно время хотели устроить музей, но, памятуя о музее подарков Сталину, отец категорически отверг предложенную идею. Все где-то оприходовалось. То и дело среди хранящихся у меня маминых бумаг попадаются описи сданных вещей.

Конечно, в доме накопилось множество адресов, сувениров, шкатулок, рисунков. Особенно много было макетов шахтерских ламп. Их дарили отцу все и по любому поводу — помнили его бывшую профессию. И сейчас с десятков таких ламп стоит у нас дома на полках. В резиденции на Ленинских горах для сувениров на первом этаже были сооружены два больших шкафа — витрины с зеркальными задними стенками. После отставки отца они остались там вместе со всем содержимым.

В условиях подготовки смены власти, без сомнения, слух о том, что Хрущев не чист на руку, был очень выгоден. Распространением его занимались профессионалы. Слух этот тщательно поддерживался, культивировался и подновлялся новыми «фактами», как только прежние переставали работать. Причем не прекратилось это и после отставки отца.

...Вернусь к поездке в Египет.

После торжеств в Асуане президент Насер пригласил отца на рыбную ловлю в Красном море. 14 мая на президентской яхте «Аль-Гумхурия», стоявшей в Рас-Бенасе, кроме самого президента Насера, вице-президента маршала Амера и других высших руководителей Объединенной Арабской Республики, отца и членов советской делегации собрались: президент Алжира Бен-Белла, президент Ирака маршал Ареф и другие «рыболовы».

15 мая на яхте вдали от берега, журналистов и чужих ушей велись откровенные разговоры о мире и войне в регионе, о проведении согласованной политики, о будущем арабского мира, о намерениях этих стран создать федерацию. На политическом горизонте, казалось, уже маячило великое государство, объединяющее всех арабов. Я упоминал, что отец относился к этой идее скептически, не скрывал он своих опасений и здесь, но обещал безоговорочную поддержку новым прогрессивным режимам со стороны Советского Союза.

Рыба осталась цела, поскольку за весь день удочки забросили от силы пару раз, и то лишь затем, чтобы показать северному гостю красноморскую экзотику.

На следующий день вернулись в Асуан. Визит катился без происшествий в соответствии с хорошо отработанной программой. Наконец в понедельник 25 мая отец самолетом вернулся в Москву и 15 июня отбыл с новым визитом в скандинавские страны.

На середину июля была назначена четвертая сессия Верховного Совета СССР шестого созыва. Повесткой дня сессии предполагалось рассмотреть два вопроса. Первым пунктом стоял вопрос о мерах по выполнению Программы КПСС в области повышения благосостояния народа: а) о пенсиях и пособиях колхозникам, б) о повышении заработной платы работников просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и общественного питания и других отраслей народного хозяйства, непосредственно обслуживающих население, в) о переходе на пятидневную рабочую неделю. Вопрос вносился Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР. Докладчиком был отец. Инициатива в постановке этой проблемы принадлежала ему.

Вторым вопросом повестки дня шло утверждение Указов Президиума Верховного Совета СССР. Своей привычной формулировкой, кочующей из сессии в сессию, он казался и вовсе незначительным. Однако основные страсти разыгрались именно вокруг него. На этой сессии Верховного Совета отец наконец собрался окончательно оформить решение о переходе Брежнева с поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР в ЦК, о чем я уже говорил.

Я постараюсь восстановить последовательность развития событий, какой она мне представляется сегодня. Конечно, некоторые мои предположения могут быть ошибочны, и я буду благодарен всем, кто сочтет возможным исправить неточности.

В апреле 1963 года заболел Козлов, но отец еще надеялся на его возвращение к работе. Однако дел было слишком много и в июне 1963 года Брежнева вновь избрали секретарем ЦК, поручив ему некоторые вопросы, находившиеся в ведении Козлова, и в первую очередь оборонную промышленность. При этом он сохранил пост Председателя Президиума Верховного Совета. От Брежнева ждали временной помощи в конкретном вопросе до выздоровления Козлова. Но, видимо, именно с этого момента начал образовываться блок Брежнев — Подгорный или Подгорный — Брежнев. Шелепин в то время занимался кадрами и, насколько я понимаю, ничего общего ни с тем, ни с другим не имел и, более того, очевидно, недолюбливал этих украинских выдвиженцев Хрущева.

В конце 1963 года отец убедился, что Фрол Романович Козлов к работе не вернется. Нужно было подобрать ему преемника. После долгих колебаний выбор его остановился на кандидатуре Брежнева. Таким образом, к началу 1964 года Леонид Ильич сосредоточил в своих руках огромную власть в ЦК, сохраняя пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Видимо, в этот период и зародилась идея отстранения Хрущева.

По всей вероятности, тогда же возник и блок с Шелепиным. Каждый здесь преследовал свои цели, но обойтись друг без друга они уже не могли. К делу привлекли старого друга Шелепина — председателя КГБ Семичастного. Началось осторожное прощупывание настроений членов Президиума ЦК. Однако, по моему мнению, Брежнев еще колебался. Должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР его устраивала, а неопределенность развития событий в деле устранения Хрущева, очевидно, страшила.

Весной, видимо, в апреле, отец окончательно объявил о своем намерении подыскать на пост Председателя Президиума Верховного Совета другую кандидатуру. Он ничего не подозревал: одному человеку совмещать два таких поста тяжело, а Брежневу предстоит все силы отдать работе в ЦК.

Предложений о конкретном кандидате у него на тот момент не было — должность, в основном, представительская, на нее нецелесообразно назначать делового человека, способного приносить пользу в другом месте. С другой стороны — глава государства. Этот пост должен занять человек с непререкаемым авторитетом, хорошо известный и в партии, и в народе. Наконец его выбор остановился на Микояне. Уважаемое в стране и известное в мире имя, да и в следующем году ему исполнится 70 лет. Силы уже не те, здесь же он будет на месте.

Когда отец обнародовал свою точку зрения, Брежнев, видимо, отбросил последние сомнения. Отныне он активный участник в акции по устранению Хрущева.

На июльской сессии должен был решиться вопрос о замене Брежнева Микояном. Последовавшие события показали, насколько важной и притягательной оставалась для Леонида Ильича должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Как только Брежнев набрал силу, он пожертвовал своим главным союзником — Николаем Викторовичем Подгорным — и наконец смог опять именоваться Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

К началу лета «инициативная группа» сформировалась. Одним из основных исполнителей стал председатель КГБ Владимир Ефимович Семичастный. Он, конечно, был в курсе всех планов. Без него, как нетрудно понять, все могло лопнуть. В 1957 году, когда в первый раз хотели освободить отца, не последнюю роль в провале этой затеи сыграл генерал Серов, тогдашний председатель КГБ, сохранивший верность ЦК и его Первому секретарю.

В июне, в преддверии сессии Верховного Совета, Леонид Ильич одолевал Семичастного различными предложениями устранения Хрущева. Как свидетельствует Семичастный, они были далеко не джентльменского характера.

Перед возвращением отца из поездки в Объединенную Арабскую Республику Леонид Ильич был одержим идеей отравить его... Семичастному эта затея пришлась не по душе. В отстранении Хрущева от власти он участвовал охотно. Это сулило быстрый взлет. Ведь он входил в когорту Шелепина, чьи люди были расставлены на ключевых постах. Однако уголовщиной он заниматься не собирался.

Семичастный возражал Брежневу, выискивая разнообразные контраргументы.

Вот как вспоминает об этом сам Владимир Ефимович¹:

— Было мне предложено Брежневым: «Может, отравить его?» Тогда я сказал: «Только через мой труп. Ни в коем случае. Никогда я на это не пойду. Я не заговорщик и не убийца... Потом обстановка в стране не такая и такими методами (нельзя) идти».

Вопрос. Как же отравить?

Семичастный. Кто-то должен был. Службе я своей должен был приказать... Поварам.

Вопрос. Поставить тем самым себя под угрозу?

Семичастный. Да, дурацкое дело. Я тогда приехал, возразил... В конце концов Брежнев согласился, что идея отравить Хрущева неосуществима.

Говорят, что через несколько дней у него появился новый проект — устроить авиационную катастрофу при перелете Хрущева из Каира в Москву.

— Самолет стоит на чужом аэродроме, в чужом государстве. Вся вина ляжет на иностранные спецслужбы, — убеждал он.

— С Хрущевым летает преданный ему экипаж. Первый пилот, генерал Цыбии, вы знаете, начал летать с ним подполковником в сорок первом. Прошел всю войну. Да и как вы все это представляете? Мирное время. Кроме Хрущева в самолете Громыко, Гречко, команда и, наконец, наши люди — чекисты. Этот вариант абсолютно невыполним.

Брежнев на осуществлении своего плана больше не настаивал. Советская делегация благополучно возвратилась в Москву. Никто не знал о состоявшемся разговоре.

Однако Брежнев не успокаивался, открытие сессии Верховного Совета неумолимо приближалось. За неделю до открытия сессии Никита Сергеевич должен был вернуться из Скандинавии. У Брежнева совсем не оставалось времени. В этом цейтноте появилось последнее, отчаянное предложение: арестовать Хрущева в момент его возвращения из Швеции и поместить в охотничьем хозяйстве «Завидово» неподалеку от Калинин. Везти такого пленника в Москву Брежнев опасался. Однако и это предложение не встретило одобрения ни у Семичастного, ни у других участников затеи. Они предпочитали более верный и менее авантюрный путь.

К сожалению, свидетельство Семичастного об этом факте лаконично.

Он лишь отметил:

— Это длилось долго... Был вариант и такой, когда, понимаешь, он приехал из Швеции, остановить поезд где-то в районе Завидово, арестовать и привезти. Был и такой вариант...

В это же время начались активные переговоры с членами Президиума ЦК, секретарями обкомов, министрами, военными. С одними говорили открыто, других лишь осторожно прощупывали, третьих решили до поры не посвящать в дело. Ведь любая утечка информации грозила пустить все прахом. Дата окончательного решения не была определена. В одном сходились все — завершить дело надо к концу года.

Брежневу пришлось смириться с потерей президентского кресла.

Большое беспокойство вызывало и другое обстоятельство. Необходимо было принять все меры по дискредитации Хрущева в стране, лишить его последних остатков

¹ Здесь и далее цитируется расшифрованная магнитная лента с рассказом В. Е. Семичастного.

популярности в народе. И, кажется, все необходимое для этого делалось. В регионах, с руководителями которых уже удалось найти общий язык, из магазинов исчезали продукты, предметы первой необходимости. Выстраивались многочасовые очереди за любимыми товарами, в том числе и за хлебом.

Полки должны были заполниться снова только после устранения от власти «источника всех бед», буквально на следующий день. В этом свете вызвала опасение повестка дня предстоящей сессии Верховного Совета, открывавшейся в понедельник 13 июля.

Отец давно вынашивал вопрос об установлении пенсий колхозникам. Это был не только экономический, но и крупный политический шаг. Тем самым они приравнивались к рабочим, обретали равный со всеми социальный статус. Одновременно он хотел решить и другой больной вопрос: увеличение мизерных ставок учителям, врачам и работникам, занятым в сфере обслуживания. И пенсия, и прибавки были невелики, особенно по нынешним меркам, но и на них средства отыскать было очень трудно. В начале года отец проводил многочасовые разговоры со специалистами, руководителями ведомств. В результате деньги наскребли и он готовил обстоятельный доклад к предстоящей сессии.

Отменить или затормозить принятие этих решений было невозможно. Слишком долго и подробно готовился вопрос. Подходящего предлога не находилось. Брежнев и его сторонники нервничали. Ход их рассуждений, очевидно, был прост: «Хрущев, сделав доклад, опять свяжет свое имя с мероприятиями, обеспечивающими улучшение условий жизни многим людям. Это поднимет его популярность, сильно подмоченную недавним повышением цен на продукты. Как себя поведут люди при его устранении, предсказать трудно...»

Тем не менее изменить им ничего не удалось. Вопрос остался в повестке дня.

Иначе сложилось с предложением отца установить два выходных в неделю. Этот вопрос не менее тщательно прорабатывался с начала года. На первых порах особых возражений не было, ведь почти весь мир к тому времени строил свой трудовой распорядок таким образом. Но в июне вдруг возникли почти неразрешимые трудности. Отцу стали доказывать, что переход на пятидневную неделю внесет дезорганизацию в работу многих отраслей народного хозяйства. В качестве основных аргументов приводились возможные затруднения на предприятиях с непрерывным характером производства: в металлургии, химии, нефтехимии. Высказывались опасения, что, несмотря на сохранение продолжительности рабочей недели в часах, общий объем выпуска продукции при переходе на пятидневку может упасть.

Давление на отца оказывалось планомерно со всех сторон: давили ведомства, аппарат Совета Министров и Секретариата ЦК. Отец спорил, выдвигал контрдоводы, колебать его не удавалось. Особенно рьяным противником перехода на новую неделю был секретарь ЦК Рудаков, отвечавший за работу промышленности.

До сессии оставалась неделя. Отец вернулся из Скандинавии и засел за окончательную подготовку доклада. Этого дела он никогда не доверял помощникам. На первом этапе отец обычно диктовал стенографисткам черновые мысли, часто вразброс. Расшифрованный текст «приглаживали» помощники с привлечением необходимых в зависимости от темы выступления специалистов — международных, промышленных, военных или сельскохозяйственных деятелей.

Затем текст возвращался к отцу и начиналось редактирование. Он перекраивал композицию доклада, надиктовывал или выбрасывал отдельные куски, и так до тех пор, пока не добивался четкого выражения своих мыслей. На этом его активное участие в работе заканчивалось — теперь помощники со специалистами подбирали подходящие примеры, цитаты и представляли окончательный вариант. Отец его внимательно читал и вносил последние коррективы.

Правда и другое. Очень часто в своих выступлениях он не любил придерживаться «бумажки», вообще отходил от написанного текста. Отец любил повторять одну из заповедей Петра I, запрещавшую читать речи по писаному, «дабы дурость каждого видна была». Такой стиль делал выступления живыми, образными, давал возможность чутко реагировать на конкретную обстановку, улавливать реакцию слушателей.

Справедливости ради надо отметить, что иногда в запале выступления им высказывались и незрелые мысли, возникшие спонтанно в процессе произнесения речи. В этих случаях при подготовке текста к печати отцу приходилось устранять огрехи.

Все это, конечно, не касалось так называемых протокольных выступлений: встреч и проводов иностранных делегаций, выступлений на приемах и других подобных мероприятиях. Эти речи, как и во всем мире, готовили соответственные службы и представляли их отцу для окончательного заключения уже в готовом виде.

Сейчас же он «дошлифовывал» свое предстоящее выступление на сессии Верховного Совета. Рудаков решил пойти в обход. Ему удалось уговорить Аджубея попытаться воздействовать на отца. Не знаю уж, какие аргументы оказались для Алексея Ивановича решающими, но он согласился.

Тем летом отец часто ночевал на даче, расположенной неподалеку от совхоза «Горки-II» в сосновом бору на берегу Москвы-реки. Раньше эту дачу занимал Молотов. Построили этот дом для Председателя Совета Народных Комиссаров Алексея Ивановича Рыкова, но об этом говорили глухо, вполголоса.

Отцу понравилась обширная территория с длинной прогулочной дорожкой вдоль забора без заметных подъемов и спусков, которые становились для него все более чувствительными. По этой дорожке отец обходил территорию каждый вечер, возвращаясь с работы. Завершалась прогулка на лугу, отделявшем территорию дачи от Москвы-реки.

Если на даче в Усове, где до последнего времени жил отец, пространство между забором дачи и рекой не было огорожено и заполнялось в солнечные дни массой москвичей, приехавших позагорать и искупаться, то в доставшейся в наследство от Молотова даче проходы на луг с двух сторон были перегорожены колючей проволокой. Правда, состояние ее было не лучшим — то тут, то там зияли огромные дыры.

Охрана регулярно обходила периметр дачи по этому коридору. Рваная колючая проволока служила своеобразной приманкой для бродивших по окрестным лесам парочек. И тут в самый «интересный момент» из густых кустов появлялся человек в форме и требовал документы. Обычно дело кончалось мирным исходом — разочарованным «нарушителям» и красочным рассказом бдительного стража в дежурке.

Здесь в кустах у самой кромки берега Москвы-реки охрана однажды задержала любопытную парочку. В ответ на требование предъявить документы молодой человек долго отнекивался, но, когда понял, что выхода нет, показал удостоверение сотрудника атташата Великобритании. Обе стороны были в шоковом состоянии. С перепугу охрана задержала обоих, хотя «злоумышленники» вразумительно объяснили, что они приплыли на лодке с пляжа на Николиной горе, где обычно летом отдыхают сотрудники иностранных представительств. Не зная, как поступить, дежурный начальник охраны поспешил к отцу с докладом о возможных намерениях задержанных разведать подступы к «объекту».

Отец улыбнулся.

— А спутница у вашего «шпиона» симпатичная?

— Вполне, — замылся офицер.

— Пусть плывут, куда хотят. Не мешайте людям отдыхать. Боюсь, что она интересуется вашего «разведчика» значительно больше, чем я, — отмахнулся отец, остановив международный конфликт.

Когда мы переехали сюда, луг зарос густой травой. Справа в углу было маленькое болотце. Летом здесь жил коростель. Отец, слышав знакомый с детства голос, останавливался, вслушивался, и лицо его расплывалось в улыбке. Эта птица была нашей достопримечательностью.

У кромки леса на лугу стояла круглая зеленая беседка, а в ней плетеный стол и такие же кресла. Летом по выходным отец читал здесь бумаги или газеты. Тут же собирались и частые гости. Помню, в один из приездов в СССР гостивший у нас на даче Фидель Кастро фотографировал здесь нашу семью.

На этом лугу отец решил устроить свое опытное сельскохозяйственное угодье. Вдоль дорожки высадили кусты калины. Отец очень любил и ее белые цветы по весне, и красные грозди ягод. Слева и справа от дорожки разбили грядки. На них росли морковь, огурцы, помидоры, кабачки, салат — словом, все, что должно расти на хорошем огороде. Отдельно располагались грядки с культурами, чем-либо особо заинтересовавшими отца. Помню, вначале это были просо и чумиза. Отец помнил ее еще по Донбассу и решил сам проверить слухи о высокой урожайности китайской гостыи. Чумизу сажали несколько лет. Каша из чумизы стала регулярным нашим блюдом. Но сведения об урожайности не подтвердились, наш климат для нее оказался слишком суров.

Место чумизы заняла кукуруза. Рядками высевались разные сорта, посеvy делались в разные сроки, по-разному обрабатывались. Отец внимательно следил за ростом растений. Это было не просто увлечение. Он хотел сам убедиться, пощупать результат своими руками.

Репортам он доверял мало, зная, как часто урожай остаются на бумаге. Еще с Украины у него сложилась привычка объезжать поля, чтобы своими глазами увидеть сев, а потом и урожай. Всякий приезд Первого секретаря в областной центр местное начальство старалось начать с обеда. После него Хрущев, мол, пообедает. В те времена он ездил по республикам чаще всего в открытой машине. Из нее лучше было видно, что творится на полях, можно было остановиться в любом месте, расспросить селян, узнать их мнение, а оно часто оказывалось точнее официальных сводок. Бронированным «ЗИСом-110», положенным членам Политбюро, он не пользовался. И тот без дела пылился в гараже ЦК.

Наконец отец придумал ответный ход. Он купил огромную чугунную сковороду. Чтобы она не пачкалась в багажнике автомобиля, заказал жестяной футляр. Теперь, подвезая к областному центру, он не спешил, находил в придорожных посадках место поуютнее и делал привал. Быстро разводили костер, доставали вскоре ставшую легендарной сковородку и жарили яичницу с салом и помидорами. Да такую, чтобы хватило всем — и помощникам, и водителю.

Отец любил в лицах рассказывать о встречах с секретарями обкомов.

— С дороги, Никита Сергеевич, просим к обеду.

Отец хитро улыбался.

— Спасибо, мы только что пообедали. Давайте лучше займемся делом. Поехали по полям, а по дороге вы мне все расскажете.

Конечно, эта хитрость очень скоро стала всеобщим достоянием, но отец и не думал из своей выдумки секрета. Главного он добился: по приезде в обком начинали с работы, а обедали поздно вечером.

Вернемся к событиям июля 1964 года.

В один из вечеров недели, оставшейся до сессии Верховного Совета, мы гуляли по луку. Кроме отца, меня и Аджубея был, возможно, кто-то еще. Сейчас не помню. Алексей Иванович со свойственным ему красноречием и убежденностью доказывал, что переход на пятидневную неделю несвоевременен, не подготовлен и может повлечь за собой серьезные отрицательные последствия.

Отец молча слушал.

Хорошо помню этот разговор, я был молод, и ужасно хотелось иметь два выходных. Постепенно я заметил, что отец начал колебаться. Алексей Иванович находил нужные доводы. Тогда я решил вмешаться и робко возразил. Получилось неуклюже, и отец только отмахнулся:

— Не мешай.

В конце концов он сдался. Алексей Иванович просил. Третий подпункт первого пункта повестки дня был снят. Он остался на послехрущевские времена.

Сессия прошла без происшествий. 15 июля после принятия закона «О пенсиях и пособиях членам колхозов» слово вновь взял отец:

— Товарищи депутаты!

Вы знаете, что товарищ Брежнев Леонид Ильич на Пленуме ЦК в июне 1963 года был избран Секретарем Центрального Комитета партии. Центральный Комитет считает целесообразным, чтобы товарищ Брежнев сосредоточил свою деятельность в Центральном Комитете партии как Секретарь ЦК КПСС.

В связи с этим Центральный Комитет вносит предложение освободить товарища Брежнева от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

На пост Председателя Президиума Верховного Совета Центральный Комитет партии рекомендует для обсуждения на данной сессии кандидатуру товарища Микояна Анастаса Ивановича. При этом имеется в виду освободить его от обязанностей первого заместителя Председателя Совета Министров.

Думаю, что нет надобности давать характеристику товарищу Микояну. Вы все знаете, какую большую политическую и государственную работу проводил и проводит Анастас Иванович в нашей партии и Советском государстве. Он зарекомендовал себя как верный ленинец, активный борец за дело коммунизма. Его деятельность известна нашему народу на протяжении десятилетий. Она известна не только у нас в стране, но и за ее пределами.

Центральный Комитет партии считает, что товарищ Микоян достоин того, чтобы доверить ему большой и ответственный пост Председателя Президиума Верховного Совета Советского Союза.

Товарищи!

Мы надеемся, что депутаты поддержат и примут предложение Центрального Комитета партии (аплодисменты). Я позволю себе до голосования — хотя это может показаться несколько преждевременным — выразить сердечную благодарность Леониду Ильичу Брежневу за его плодотворную работу на посту Председателя Президиума Верховного Совета а Анастасу Ивановичу Микояну от всей души пожелать больших успехов в его деятельности на посту Председателя Президиума Верховного Совета (бурные, продолжительные аплодисменты).

На этом, собственно, все и закончилось. Депутаты дружно проголосовали за кандидатуру Микояна и приняли постановление:

«Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

В связи с занятостью на работе в ЦК КПСС освободить товарища Брежнева Леониды Ильича от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР».

Давно созревшее решение получило юридическое оформление.

Обстановка, с которой столкнулся в Президиуме Верховного Совета Анастас Иванович после назначения на новый пост, ему крайне не понравилась, и он решил навести порядок. Начал с кадров. Начальнику секретариата Президиума Верховного Совета СССР К. У. Черненко было предложено освободить место. Пришлось Леониду Ильичу подыскивать Черненко место в ЦК.

После сессии и окончательного перехода на новое место Брежнева, видимо, раздирали противоречивые чувства. Очевидно, с одной стороны, он несколько успокоился, поскольку, хотя решение сессии было малоприятным, тем не менее в стане его сторонников прибыло и недалек, казалось, час торжества. С другой стороны, его, вероятно, не покидало беспокойство: что произойдет, если Хрущев хотя бы заподозрит что-то?

Но подготовка к смене власти вступала в решающую фазу, она требовала встреч, разговоров, подключения все новых людей. Менять планы было уже поздно. После сессии в июле-августе начинался период отпусков. Жизнь замедлялась. Как обычно, Леонид Ильич отправился в Крым...

Отцу же о летнем отдыхе думать пока не приходилось — в конце июля большой праздник в Польше. 20-летие образования народного государства. Несколько раз звонил Гомулка, просил приехать, поскольку визиту отца он придавал особое значение. Отец, конечно же, не мог отказать своему старому другу.

А затем надо было обязательно проехать по восточным районам, чтобы самому посмотреть, как на целине готовятся к уборке урожая. Опять отец уезжал из Москвы, оставив, пока Брежнев был в отпуске, «на хозяйстве» Подгорного. Все, казалось, складывалось чрезвычайно благоприятно.

Нужно было максимально использовать это лето, поскольку такого случая потом не представится — секретари обкомов, председатели исполкомов уходили в отпуск и съезжались в санатории Крыма и Кавказа. Здесь, не привлекая особого внимания, в непринужденной обстановке можно было прошупать их настроение. Ведь поездки по областям и республикам могли возбудить ненужное любопытство.

Правда, новый пост второго секретаря ЦК в этом смысле предоставлял обширные возможности — именно на нем лежала работа с обкомами. Но одно дело разговор в кабинете, а другое — за рюмкой хорошего коньяка на юге. В сомнительном случае все можно легко перевести в шутку, заглушить анекдотами. Ведь о чем только не болтают на отдыхе?..

В Крыму Брежневу удалось, насколько это сейчас известно, переговорить со многими. Общая кадровая ситуация складывалась благоприятно — Хрущевым были недовольны, казалось, все. Партийных секретарей раздражало разделение обкомов и введение сменности. Военных — продолжающиеся сокращения вооруженных сил. Хозяйственники были недовольны организацией совнархозов. Да и вообще многим руководителям тогда пришлось покинуть Москву и разъехаться по разным регионам. Складывалось устойчивое большинство недовольных. Хрущев, судя по расстановке сил, не мог иметь поддержки ни в Президиуме ЦК, ни на Пленуме.

Славословия в адрес Хрущева в выступлениях Брежнева, Подгорного и других в это время стали вовсе беззащитными.

К этому периоду относится вторая беседа Шелеста с Брежневым.
Вот как вспоминает об этой памятной встрече сам Петр Ефимович:
«...Визит Брежнева.

Я отдыхал в Крыму, он тоже, неожиданно ко мне приехал. Это было в июле 1964 года.

Он не уговаривал меня, он просто рыдал, ударялся в слезу. Он же артист был, большой артист. Вплоть до того, что, когда выпьет, взгромоздится на стул и декламацию какую-то несет. Не Маяковского там и не Есенина, а какой-то свой каламбур.

...Он приехал ко мне.

— Как живешь? Как дела?

— Да как живу,— отвечаю,— работа сложная.

— Как тебя, поддерживают?

— Если бы не поддерживали, нечего и делать. Только суму брать и удирать. Демьян Сергеевич Коротченко оказывает большую поддержку. Опытный человек. Секретари обкомов поддерживают.

— А как у тебя взаимоотношения с Хрущевым?

— Как младшего со старшим. А что ты мне такой вопрос задаешь? Ты там ближе, в Москве работаешь.

— Он нас ругает, бездельниками обзывает.

— А может, и правильно?

— Нет, с ним нельзя работать.

— А чего же ты тогда на 70-летию выступал? «Наш товарищ, наш любимый, наш вождь, руководитель, ленинец» и так далее. Что же ты не выступил и не сказал: «Никита, с вами нельзя работать!»

— Мы просто не знаем, что с ним делать.

Я решил держаться на расстоянии.

— Вы сами там и разбирайтесь. Мы в низах работаем. Какие нам директивы дают, такие и выполняем... А что вы хотите сделать? — все-таки разрешил я себе проявить сдержанное любопытство.

— Мы думаем собрать Пленум и покритиковать его.

— Так в чем дело? Я за».

На этом разговор, больше напоминающий осторожный зондаж, прекратился. Брежнев свернул разговор и уехал, видимо, что-то в ответах Шелеста насторожило его.

Вскоре отец уехал в Польшу. За «хозяина» остался Брежнев, продолжавший отдыхать в Крыму. Как я уже писал, когда отец отдыхал в Крыму или на Кавказе, там часто проводились совместные встречи руководства нашей страны с руководителями социалистических стран, коммунистических партий, приезжали наши ведущие ученые, конструкторы, члены правительства, отдыхавшие поблизости. Приходили они запросто. Все приехавшие были с семьями, ведь собирались «отдыхающие». Обычно такие мероприятия проводились в бывшем дворце Александра III в горах над Ялтой.

Очевидно, есть смысл рассказать кое-что об истории крымских дворцов.

До войны в них размещались санатории. При подготовке Ялтинской конференции глав антигитлеровской коалиции в конце войны Ливадийский, Алупкинский и некоторые другие дворцы были срочно приведены в порядок и приспособлены для размещения в них, в основном, иностранных делегаций. Конференция закончилась, а дворцы остались в хозяйстве НКВД. Никто уже не вспоминал старого лозунга: «Дворцы должны принадлежать народу».

Ливадийский дворец считали дачей Сталина, хотя он там отдыхал лишь однажды. В Воронцовском, в Алупке, поселился Молотов. Остальные не имели персональной привязки. После смерти Сталина отец вспомнил о старом решении, предписывавшем передать царские дворцы и дворцы знати в пользование народу, и провел постановление правительства об использовании их в виде профсоюзных домов отдыха. Однако дворцы оказались плохо приспособленными для массового отдыха и вскоре в большинстве из них были устроены музеи.

И только Александровский дворец так и остался на правах государственной дачи. Его решили использовать как резиденцию для приема высоких иностранных гостей. Большую же часть времени он пустовал.

Отдыхая в Крыму, отец иногда заезжал туда, гулял по пустынным аллеям парка. Видимо, во время этих прогулок у него и возникла идея этих встреч. Обычно гости собирались с утра, все вместе гуляли, играли в городки, волейбол. Просто сидели на

лавочках, беседа. Заканчивалось все обедом на открытом воздухе. Без отца такие мероприятия не устраивались. Сначала, видимо, потому, что это была его затея, а потом, очевидно, никто не осмеливался занять его место.

В этом году Леонид Ильич впервые взял инициативу на себя. Нужно сказать, что, несмотря на общую непринужденность подобных встреч, этикет здесь выдерживался строго. Гости приезжали с семьями. Но отдельно от главы семьи ни жен, ни детей сюда не приглашали никогда.

Тем летом в одном из ялтинских санаториев отдыхала моя старшая сестра Юлия Никитична. Она была чрезвычайно удивлена, когда получила приглашение на такую встречу, устраиваемую Брежневым. В этом необычайном приглашении, видимо, сыграли роль прямо противоположные эмоции. С одной стороны, Леониду Ильичу очень хотелось показать, и, очевидно, в первую очередь себе, что он тут без пяти минут хозяин. С другой, опасаясь Хрущева, он демонстрировал верноподданнические чувства, пригласив Юлию Никитичну.

Сестру буквально поразило поведение Брежнева на приеме. Причем говорила она об этом еще до отставки отца... По ее словам, Брежнев вел себя как полновластный хозяин и был со всеми необычайно фамильярен. Таким она его не видела никогда. К концу вечера он даже забрался на стул и стал декламировать стихи собственного сочинения. По всему чувствовалось, что он чрезвычайно доволен собой. Подобного никто раньше не видел. Резкая перемена в поведении Леонида Ильича вызвала недоумение у многих, но мотивов ее не разгадал никто. Как у нас водится, решили, что он выпил лишнего.

В августе аналогичная история приключилась и со мной. Отца тогда не было в Москве, он уехал на целину, на уборку. По служебным делам мы с коллегами поехали в Центр подготовки космонавтов. Приняли нас радушно. Мы ходили по залам, разглядывали тренажеры, разговаривали с космонавтами. Сопровождал нас генерал Каманин. В конце экскурсии мы зашли в одну из лабораторий посмотреть тренажер первого пилотируемого корабля «Восток». Внезапно в дверь вбежал запыхавшийся адъютант Каманина.

— Товарищ генерал! Товарища Хрущева просили позвонить товарищу Брежневу. Только что звонили из ЦК.

Представьте мое удивление, ведь никогда прежде Леонид Ильич мне не звонил: кто я и кто он?.. Я быстро прошел с адъютантом в кабинет Каманина и набрал номер телефона Брежнева в ЦК.

Он поднял трубку.

— Вот что,— услышал я,— Никиты Сергеевича нет, а завтра открытие охоты на уток. Мы все едем в Завидово, приглашаю и тебя. Ты поедешь?

— Конечно. Спасибо, Леонид Ильич. В субботу вечером буду там,— обалдело ответил я, пораженный предложением. Я не ожидал от члена Президиума ЦК личного приглашения на утиную охоту! Отец, бывало, брал меня, но исключительно в виде «бесплатного приложения». Иногда привозил с собой сына и Дмитрий Степанович Полянский. Но одно дело поехать на охоту с отцом, а тут вдруг приглашают на равных. Не скрою, такое приглашение мне очень польстило.

Когда я вернулся в лабораторию, Каманин смотрел на меня влюбленными глазами.

— Наверное, вам часто звонит Леонид Ильич? — спросил он.

Я не знал, что ответить, и пробормотал:

— Да... нет.. Не очень...

В то время я не слишком задумывался над этим звонком, приняв его за простой знак внимания и симпатии.

Вернувшись в Москву, отец спросил меня:

— Ну, как поохотился? Мне по телефону Брежнев сказал, что он тебя не забыл и пригласил с собой в Завидово.

Видимо, этот звонок был еще одним шагом, чтобы «задобрить» отца. Другого объяснения я, признаться, не нахожу. Однако едва ли эти потрясшие меня утки были главной целью, привлекувшей в тот сезон в Завидово Брежнева, Подгорного, Полянского и других охотников. В уютных домиках вдали от чужих любопытных глаз и ушей они имели все возможности обработать тех, кого после долгих колебаний решились посвятить в свои планы.

Вот что говорит об этом Геннадий Иванович Воронов, в то время член Президиума ЦК, Председатель Совета Министров РСФСР:

«Все это готовилось примерно с год. Нити вели в Завидово, где Брежнев обычно охотился. Сам Брежнев в списке членов ЦК ставил против каждой фамилии «плюсы» (кто готов поддержать его в борьбе против Хрущева) и «минусы». Каждого индивидуально обрабатывали.

В о п р о с. Вас тоже?

— Да. Целую ночь!»

Нити вели не только в Завидово, но и в Крым, и на Кавказ, в другие уголки страны.

Тогда я, понятно, не подозревал, что судьба уготовила мне роль одного из активных если и не участников, то зрителей надвигавшихся событий...¹

...Кончилось лето. Отец проводил отпуск в Пицунде. Он не поверил сообщенному через меня предупреждению о подготовке к его отстранению или не захотел поверить в возможность такого поворота событий. 12 октября Н. С. Хрущев по телефону беседовал с космонавтами на орбите, поздравил их. Вечером того же дня, когда он прогуливался с Микояном, дежурный позвал его к телефону.

Отец снял трубку.

— Не понимаю, какие вопросы? Решайте без меня, я же отдыхаю. Что может быть такого срочного? Вернусь через две недели, тогда и обсудим. Что значит «все собрались»? Вопросы сельского хозяйства будем обсуждать на Пленуме в ноябре. Еще будет время обо всем поговорить... Хорошо. Если это так срочно, завтра я прилечу. Звонил Суслов,— обратился он к Микояну.— Якобы собрались все члены Президиума и у них возникли какие-то срочные вопросы по сельскому хозяйству. Придется лететь. Ты полетишь?

— Конечно.

— Знаешь, Анастас, нет у них никаких неотложных сельскохозяйственных проблем. Думаю, что этот звонок связан с тем, о чем нам говорил Сергей.

Продолжения разговора я не слышал. Только потом мне стало известно, что отец сказал Микояну примерно следующее:

— Если речь идет обо мне, я бороться не стану.

А тогда, оставшись наедине со своими мыслями, я невольно подумал: «Началось...»

...Сегодня, основываясь на современных источниках, мы можем с достаточной степенью точности реконструировать происходившее в тот момент в Москве. Речь идет о воспоминаниях непосредственных участников описываемых событий Семичастного и Шелеста.

В. Е. Семичастный в сентябре отдыхал в Железноводске. В том же санатории жил П. Н. Демичев, а по соседству в Кисловодске — А. Н. Шелепин. Они часто встречались, ездили на Домбай, в другие места, не обошли своим вниманием и охоту. Вместе они провели всего неделю. Шелепин и Демичев торопились в Москву, и Семичастный остался один.

Через несколько дней ему по ВЧ позвонил Шелепин и потребовал, чтобы Семичастный немедленно вернулся в Москву. Семичастному не хотелось прерывать отпуск, поскольку это случилось уже не впервые, но, как вскоре выяснялось, каждый раз попусту. Брежнев боялся решительных действий. А когда он узнал, что отцу стало что-то известно о готовящихся событиях, он просто-напросто запаниковал.

Николай Григорьевич Егорычев, в те годы первый секретарь Московского городского комитета партии, вспоминает об этом так:

«...Могу лишь добавить, что сам Брежнев в начале октября очень напугался, узнав о том, что Хрущев обладает какой-то информацией на этот счет, он никак не хотел возвращаться из ГДР, где находился во главе делегации Верховного Совета СССР».

Домой Брежнев в конце концов вернулся, но приступать к реализации своих планов по-прежнему опасался. Шли нескончаемые разговоры, перебирались всевозможные

¹ Подробный ход дальнейших событий вплоть до 14 октября 1964 года, обстоятельства, связанные с секретной подготовкой к снятию Н. С. Хрущева с высших партийного и государственного постов, уже известны читателям из опубликованной в № 40—43 «Огонька» за 1988 год главы II «Октябрь». Поэтому мы решили ограничиться печатанием лишь тех отрывков этой главы, которые существенно дополняют публикацию в «Огоньке» фактами, ставшими известными в последнее время (прим. ред.).

варианты исхода, а «дело» с места не двигалось. Поэтому Семичастный стал допытываться, насколько серьезна перспектива на этот раз.

Шелепин был непреклонен.

— На этот раз — все, — отрезал он.

— Хорошо, — отбросил колебания Семичастный, — завтра я буду в Москве.

На следующий день после этого разговора на квартире у Брежнева собрались почти все члены Президиума, секретари ЦК, прилетел из отпуска и Семичастный. Решили звонить на Пицунду Хрущеву, чтобы вызвать его в Москву под предлогом обсуждения вопросов, связанных с предстоящим Пленумом ЦК. Звонить, по общему мнению, должен был Брежнев, но он все не решался взять на себя такую ответственность.

«...С трудом его уговорили. силой притащили его к телефону», — свидетельствует Семичастный. И все-таки в последний момент Брежнев испугался и звонить пришлось Суслову.

Нужно учесть, что до самого последнего момента его не привлекали к подготовке этой акции. Видимо, потому, что он не принадлежал ни к «украинской» группировке Брежнева — Подгорного, ни к «молодежной» Шелепина.

Вот что говорит об этом Петр Ефимович Шелест:

«Суслов до последнего времени не знал об этом. Когда ему сказали, у него посинели губы, передернуло рот.

— Да что вы? Будет гражданская война... — только и смог произнести он».

Тем не менее Михаил Андреевич быстро сориентировался в обстановке и в описанном разговоре с отцом был спокоен и непреклонен.

Не только Суслова известили в последнюю минуту.

По словам Семичастного, «когда пришли к Косыгину за неделю до этого, то у него первый вопрос был:

— Как КГБ?

Когда ему сказали, что мы в этом участвуем, он сказал:

— Я согласен.

А Малиновскому сказали за два дня. Я к тому времени уже собрал начальников особых отделов Московского округа. Не стал говорить о существовании дела, но предупредил:

— Если в эти дни хоть один мотоциклист выедет из расположения части с оружием, с пулеметом и прочее... имейте в виду, не сносить вам головы... Без сообщения мне ничего никому не позволять.

...Министр еще не знал о готовящихся событиях, командующий округом не знал, а уже все было наготове.

Через два дня Пленум!!!

Представляете?..»

Не только нас выбил из колеи звонок Суслова. Как говорит в своих воспоминаниях Семичастный, не находил места себе и Брежнев.

«Через каждый час мне Брежнев звонил:

— Ну как?

Почему мне? Потому что Хрущев должен был заказать самолет через меня, через мои службы. Только в двенадцать часов ночи мне дежурный... позвонил и сказал, что звонили с Пицунды и заказали самолет на шесть утра. Чтобы в шесть утра самолет был там. Я тут же ему позвонил. Рассказал. Вот тогда немножко отлегло у всех».

«Отлегло», поскольку все они — и трусоватый Брежнев, и сухой и осторожный Суслов, и рассудительный Косыгин, и самоуверенный Шелепин — каждый по-своему побаивались Хрущева.

Семичастный вспоминает: «...Он смял таких, как Маленков, Молотов, всех. Ему, как говорят природа и мама дали — дай бог. Сила воли, сообразительность... быстрое мышление, разумное. Когда я к нему шел докладывать, я готовился всегда — дай бог. У Лени я мог с закрытыми глазами. Можно было пару анекдотов рассказать, и весь доклад».

Все ждали от Хрущева быстрых и решительных ответных действий. Молчание Пицунды пугало. Никто не мог предположить, что отец... пошел спать.

От Семичастного требовали подробной информации, гарантий. А новости от него поступали скупо. «Мне... сообщили, что с ним летит Микоян. Хорошо... Я принял все это. Я... не знал, сколько он привезет охраны. Если он додумается, он может чего-то еще новое придумать. С Малиновским уже был разговор, поэтому дать команду вой-

скам как главком он уже не мог (Малиновский заблокировал бы). Потому что, если беда, все равно притянули бы его, притащили».

Вот в таких драматичных переживаниях в Москве, на Дорогомиловке и Лубянке, тянулась ночь с двенадцатого на тринадцатое октября...

13 октября Н. С. Хрущев прилетел из Пицунды в Москву. Вот что рассказывает о встрече на аэродроме Семичастный:

«Я утром звоню Леониду Ильичу.

— Кто поедет встречать? — спрашиваю.

— Никто, ты сам езжай, — отвечает.

— Как же? — запнулся я.

— В данной обстановке зачем же всем ехать? — тянул он.

В общем-то, правильно...

— Не поймет ли он? — побеспокоился я.

— Ты возьми (себе) охрану и поезжай, — закончил разговор Брежнев.

Я взял парня из девятки¹. Взял себе пистолет, и парень этот взял.

В о п р о с. Вы волновались?

— Нет... Зная Хрущева, я был убежден, что он не пойдет на конфронтацию. Принимаешь, не в его стиле такие шальные вещи. Это просто была с моей стороны перестраховка.

Самолет приземлился, он выходит, немного насупившийся.

Они сели в одну машину с Микояном. Я еду за охраной. Спереди у меня сидит охранник... А те (охрана Хрущева в машине впереди) все время головами крутят: что вдруг у меня впереди сидит охранник... Насторожило их.

На середине пути между Внуковым и Москвой говорю своему водителю: «Затор-мози. Давай на обочину». Пусть едут. У меня же в машине телефон. Позвонил, сказал...»

Отец с Микояном без помех доехали до Кремля и прошли в комнату заседаний Президиума ЦК. Как только за ними закрылась дверь, события стали развиваться с головокружительной быстротой.

И снова воспользуюсь свидетельством Владимира Ефимовича Семичастного: «Когда приехали в Кремль и они зашли в зал, я немедленно сменил охрану в приемной. Заменял охрану на квартире и на даче. Предварительно я успел отпустить в отпуск начальника охраны. Литовченко был такой, полковник.

Оставил за него хлопца молодого, Васю Бунаева. Я его в Кремле прижал в переходах. «Слушай! Сейчас началось заседание Президиума ЦК. Может все быть. Я выполняю волю Президиума и ЦК. Ты как коммунист должен все правильно понимать. От этого будет зависеть решение твоей дальнейшей судьбы. Имей в виду, ни одной команды, ни одного приказа, ни одного распоряжения (не выполняй) без моего ведома. Я тебе запрещаю.

...Я не закрывал даже Кремля для посещения людей. Люди ходили, а в зале шло заседание Президиума ЦК. Я по Кремлю расставил, где нужно, своих людей...

Брежнев и Шелепин беспокоились.

Я ответил: «Не надо ничего лишнего. Не создавайте видимости переворота...»

...Около восьми часов вечера приехал отец.

— Все получилось так, как ты говорил, — начал он.

— Требуют твоей отставки со всех постов? — спросил я.

— Пока только с какого-нибудь одного, но это ничего не значит. Это только начало... Надо быть ко всему готовым...

Отец замолчал.

— Вопросов не задавай. Устал я, и подумать мне надо...

Опять надо было ждать. Время тянулось нестерпимо медленно. Аджубей попытался дозвониться домой Шелепину. Телефон не отвечал. Попытки дозвониться Полянскому и еще кому-то тоже окончились неудачей. Только через несколько дней я узнал, что после отъезда отца все члены Президиума договорились к телефону не подходить: вдруг Хрущев начнет их обзванивать и ему удастся склонить кого-нибудь на свою сторону.

Тем не менее Брежневу было неспокойно. Вечером он снова позвонил Семичастному:

¹ Управление КГБ, ведающее охраной правительства.

- Володя. Мы только что закончили заседание. Хрущев уходит, куда он поедет?
- На квартиру.
- А если на дачу?
- Пусть едет на дачу.
- Ну, а ты?
- А у меня и там, и сям, и везде наготовлено. Никаких не будет неожиданностей.

— А если он позвонит? Позовет на помощь?

— Никуда он не позвонит. Вся связь у меня!.. Кремлевка, ВЧ, а по городским пусть говорят».

Отец был надежно изолирован.

Все утро четырнадцатого октября прошло в томительном ожидании. Наконец около двух часов дня позвонил дежурный из приемной отца в Кремле и передал, что отец поехал домой. Обычно днем он никогда домой не приезжал, а, экономя время, обедал в Кремле. Я встретил машину у ворот. Отец сунул мне в руки свой черный портфель и не сказал, а выдохнул:

— Все... В отставке... Я сам написал заявление с просьбой освободить меня по состоянию здоровья... Сказал, что подчиняюсь дисциплине и выполняю все решения, которые примет Центральный Комитет. Еще сказал, что жить буду, где мне укажут: в Москве или в другом месте.

Что еще происходило на заседании, отец не сказал, а я не хотел травмировать его вопросами. Лишь спустя годы я узнал некоторые подробности.

Говорят, стенограмма заседаний Президиума ЦК от 13 и 14 октября 1964 года исчезла. Видимо, она была уничтожена во избежание ее изучения в будущем. Материалы же Пленума ЦК, состоявшегося в 18 часов 14 октября 1964 года, по-видимому, сохранились. К счастью, сохранились фрагменты записей Петра Ефимовича Шелеста, которые он вел по ходу заседания: «...Хрущев подавлен. Изолирован. Бессилен что-либо предпринять и все же нашел в себе силы и мужество сказать:

— Я благодарю за то, что все же кое-что сказали положительного о моей деятельности. Рад за Президиум в целом за его зрелость. В формировании этой зрелости есть и крупинка моей работы.

И это говорит человек, выдержавший два дня чудовишных обвинений, человек, находящийся в тяжелейшем моральном и физическом состоянии».

— Всех нас и меня в том числе воспитала партия,— говорил, по свидетельству Шелеста, в своем последнем выступлении отец.— У нас с вами одна политическая и идеологическая основа, и против вас я бороться не могу. Я уйду и драться не буду. Еще раз прошу извинения, если когда-то нанес кому-то обиду, допустил грубость. В работе все могло быть. Однако хочу сказать, что ряд предъявленных мне обвинений я категорически отвергаю. Не могу сейчас все обвинения вспомнить и ответить на них. Скажу об одном: главный мой недостаток и слабость — это доброта и доверчивость, а может быть, еще и то, что я сам не замечал своих недостатков. Но и вы, все здесь присутствующие, открыто и честно мне о моих недостатках никогда не говорили, всегда поддакивали, поддерживали буквально все мои предложения. С вашей стороны отсутствовали принципиальность и смелость. Вы меня обвиняете в совмещении постов Первого секретаря ЦК и Председателя Совмина. Но будем объективны, этого совмещения я сам не добивался. Вспомните, вопрос решался коллективно, и многие из вас, в том числе и Брежнев, настаивали на таком совмещении. Возможно, было моей ошибкой то, что я не воспротивился этому решению, но вы все говорили, что так надо в интересах дела. Теперь же вы меня обвиняете в совмещении постов.

Да, я признаю, что допускал некоторую нетактичность по отношению к работникам искусства и науки, в частности, сюда можно отнести мои высказывания в адрес Академии наук. Но ведь не секрет, что наша наука по многим вопросам отстает от зарубежной науки и техники. Мы же в науку вкладываем огромные народные средства, создаем все условия для творчества и внедрения в народное хозяйство ее результатов. Надо заставлять, требовать от научных учреждений более активных действий, настоящей отдачи. Это ведь истина, от нее никуда не уйдешь.

Далее, пишет П. Е. Шелест, Хрущев аргументированно объяснил предпринятые в свое время меры в связи с событиями на Суэцком канале в 1956 году и в связи с Кабрибским кризисом. В частности, он сказал:

— Вы меня обвиняете в том, что мы увезли оттуда наши ракеты. А что же, мы должны были начать мировую войну? (Вывод ракет тоже ставился ему в вину, констатирует П. Е. Шелест.)

Почему же вы меня теперь хором обвиняете в какой-то авантюре по кубинскому вопросу, если все вопросы мы решали вместе?

Возьмем установку пограничной стены в Берлине. Тогда тоже решение вы все одобрили, а теперь обвиняете меня. В чем же? Говорить можно все. Но вот конкретно решить, что сделать, никто из вас не предлагал и навряд ли может сейчас предложить. Или наши взаимоотношения с руководством Китая. Они довольно сложны и они еще будут обостряться. Вы столкнетесь с большими трудностями и сложностями через четыре-пять лет. Не теряйте классового чутья, политической и тактической маневренности во всех взаимоотношениях, решении спорных вопросов.

Я понимаю, что это моя последняя политическая речь, как бы сказать, лебединая песня. На Пленуме я выступать не буду, но я хотел бы обратиться к Пленуму с просьбой...

«Не успел он договорить,— пишет П. Е. Шелест,— с какой просьбой хочет обратиться, как последовал категорический ответ Брежнева:

— Этого не будет!

Его поддержал Суслов.

У Никиты Сергеевича на глазах появились слезы, а затем он просто заплакал... Тяжко было смотреть... Я думаю,— предполагает П. Е. Шелест,— он хотел сказать:

— Товарищи, простите меня, если в чем виноват. Мы вместе работали, правда, не все сделали....

Думаю, другого он бы не сказал. Ведь он был в одиночестве и все было заранее предreshено.

Но Брежнев боялся, что Хрущеву могут на Пленуме задать вопросы, он на них ответит и разгорятся дебаты. Поэтому он принял решение: никаких вопросов.

Хрущев продолжил:

— Очевидно, теперь будет так, как вы считаете... Что ж, я заслужил то, что получил. Я готов ко всему. Вы знаете, я сам думал, что мне пора уходить, вопросов много, и в мои годы справиться с ними трудно. Надо двигать молодежь. Я понимаю, что кое у кого сегодня не хватает смелости и честности... Но речь сейчас идет не об этом. О том, что происходит сейчас, история когда-нибудь скажет свое веское, правдивое слово... А теперь я прошу написать заявление о моем уходе, о моей отставке, и я его подпишу. В этом вопросе полагаюсь на вас. Если вам нужно, я уеду из Москвы.

Кто-то подал голос:

— Зачем это делать?

Все поддержали...

Доклад для Пленума ЦК готовил Полянский. По идее должен был выступать Брежнев или, в крайнем случае, Подгорный. Брежнев просто сдрейфил. Подгорный, в свою очередь, тоже отказался:

— Я не могу выступать с этим докладом против Хрущева. Я с ним бок о бок проработал много лет. Как это будет понято? Не могу, и все! Я бы вышустил Шелепина, у него язык хорошо подвешен, но он слишком молод.

Тогда и решили:

— Давайте выпустим Михаила Андреевича, тем более он наш идеолог...

Другой, не менее важный свидетель, Семичастный, хотя и не мог по рангу быть на заседании Президиума ЦК, по-своему оценивает ситуацию вокруг второго дня заседания 14 октября: «Аджубей пишет что его (Хрущева) освободили «келейно». Как келейно? На Пленуме. Не было дискуссий, но такие вопросы на дискуссию не выносятся.

Я ему (Брежневу) во второй день (14 октября) позвонил, вызвал с Президиума и говорю: «Кончайте. Вторую ночь я не выдержу Леонид Ильич, вы дозаседаетесь до того, что или вас посадят или Хрущева. Мне этого не надо. Я за день наслушался и тех, и других. Одни переживают — хотят Хрущева спасти, другие призывают вас спасти. Третьи спрашивают, что же ты в ЦК сидишь, бездействуешь? А я делаю вид, что ничего не знаю.

Людей тогда под благовидными предложениями вызвали, чтобы они были под руками и можно было бы сразу Пленум провести. Они нервничают. Мне идут звонки со всех сторон.

Брежнев взмолился: «Товарищи дорогие, подождите еще. Я сейчас посоветуюсь». Мигнул через тридцать он мне звонит: «Слушай, успокой всех. Мы так условились: тем, кто не успел выступить, даем три-четыре минуты. Члены Президиума уже все выступили, остались кандидаты и секретари. Пусть каждый выскажет свое отношение. В шесть — Пленум».

— Меня устраивает. Могу объявлять?

— Давай объявляй.

Затем Владимир Ефимович кратко делится своими впечатлениями о Пленуме, участником которого он был:

«...Я даже не знал, что прений не будет... Я возмутился этим и потом и Шелепину, и Брежневу сказал. Я думаю, они не без царя в голове это сделали. Не знали, куда покатится, как бы не задело и других. Там мог быть разговор... я думаю, эти старики продумали все, и боясь за свои... кости, все сделали, чтобы не открывать прения на Пленуме. Не объяснили толком.

В зале такая кутерьма началась. Я сидел, наблюдал.

Самые рьяные подхалимы кричали:

— Исключить из партии! Отдать под суд!

Те, кто поспокойнее, сидели молча. Так что разговора серьезного, критического, аналитического, такого, чтобы почувствовалась власть ЦК, не было. Все за ЦК решил Президиум и решенное, готовое, жеваное-пережеванное выбросил. Голосуйте!»

Многое в приведенных свидетельствах, очевидно, субъективно, но, думаю, доверять им можно вполне.

Продолжение следует

Жорж Нива

Солженицын

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевел с французского С. Маркиш
в сотрудничестве с автором

Континенты реальности

1 января 1971 года в нью-йоркской газете «Новое Русское Слово» появилась статья историка-эмигранта Николая Ульянова «Загадка Солженицына». Перечислив все области «действительной жизни», в которых Солженицын обнаруживает удивительную осведомленность, Ульянов заключает: «Произведения Солженицына не написаны одним пером. Они носят на себе следы трудов многих лиц разного писательского вкуса и склада, разных интеллектуальных уровней и разных специальностей». Солженицын «сфабрикован» литературной мастерской КГБ «в целях выкачивания валюты». Один человек столько реальности вместить не способен!

Верно, Солженицын принадлежит к породе «реалистов», писателей, которые буквально одержимы действительностью, реальностью. Ему нужно видеть каждую мелочь в комнате, где дремлет угрюмый и дряхлый тиран из «Круга первого», каждый предмет в салон-вагоне Великого Князя Николая Николаевича («Август Четырнадцатого»), каждый горшок с цветами в жалкой избе колхозницы Матрены. Он разработал целую систему для картотеки, в которой расклассифицирован, приведен в строгий порядок материал его будущих сочинений — анекдотический, социологический и, в особенности, лингвистический. Если верить его первой жене, он разносил по карточкам даже собственную личную жизнь и личную жизнь своих друзей. Каждая встреча, каждое чувство, каждая крупница жизненного опыта каталогизируются и обобщаются, чтобы стать пищей для будущей работы. В 1964 году он возвращается в ташкентскую больницу — поглядеть со своими врачами, освежить свою топографическую память, свои знания медицинской техники. После этого пишется «Раковый корпус».

И сегодня, в вермонтском изгнании, для

О к о н ч а н и е. Начало см. «Дружба народов» № 4 за 1990 год.

работы над историческим романом Солженицыну нужно увидеть внутренним взором места действия — и он роется не только в гигантских кладовых своей памяти, но и в своей картотеке, пополняемой чтением и путешествиями, расспросами последних живых свидетелей и розысками в американских архивах.

В одном из интервью 1979 года он заявляет: «Для работы же над моей темой Запад, да, не может мне дать питающих впечатлений. Вот если б я сейчас жил на родине! да мог бы передвигаться без преследования, без надзора (как почти никогда не бывало), — я, конечно, жил бы не так, как сейчас, я много бы ездил! Там — каждое место, каждый говор, каждая встреча — это толчок и помощь замыслу. (...) два месяца я пешком искаживал весь город (Ленинград), изучал все места. А Февральская революция, она почти вся происходит в Петрограде, — и теперь я с закрытыми глазами любой уголок города отлично вижу, это здорово помогает. Ну, и карта старая есть, и много снимков».

Впервые Солженицын побывал в Ленинграде в июле 1959. Решетовская рассказывает в своих воспоминаниях: он еще не видел города, но уже знал его так хорошо, что мог бы водить экскурсии по Ленинграду.

В России он никогда не выходил из дому без записной книжки в кармане. Он заносил в нее фразы, красочные выражения, подслушанные на улице, записывал свои встречи, разговоры, споры с властями. У него есть целые тетради, заполненные пословицами и поговорками. Уже на шарашке его настольной книгой был Даль. Он читал сборники русских пословиц «как молитвенник».

В его книгах можно узнать его друзей, родственников, первую жену, товарищей по армии и по лагерю. Он испытывает потребность черпать из действительности, вплоть до того, что ищет имена для персонажей в

старых справочниках. Так, из «золотой книги» Рязанской гимназии за 1904 год он взял — рассказывает Решетовская — имена Варсонофьева и Ободовского (для «Августа Четырнадцатого») и немецкое имя Гангарт (для «Ракового корпуса»). Портреты друзей настолько правдоподобны, что Дмитрий Панин воспользовался для своих мемуаров именем, которое ему дал Солженицын («Записки Сологдина»). А Лев Копелев, Рубин из шарашки в «Круге первом» (на самом деле — известный германист и автор интересных воспоминаний), получил чуть ли не официальное письмо, в котором автор «Круга первого» оправдывает его от обвинений читателей, неспособных различить меж «прозой» и «действительностью», — обвинений в сотрудничестве с ГБ... Жизнь развела «трех мушкетеров», которые позируют на знаменитой фотографии «Двадцать лет спустя», но они навеки неразлучны в «троице» «Круга первого»: «Нержин—Сологдин—Рубин».

Бальзак — другой писатель, одержимый действительностью, — оживлял свою социальную вселенную тем, что прививал мужским персонажам великие, неукротимые страсти: отцовскую любовь, честолюбие... Солженицынская «реальность» — мужская почти на 100 процентов. Женские персонажи играют в ней символическую роль, важную, но «производную» от мужской судьбы, и немногие из солженицынских героинь убедительны полностью. Мужской мир Солженицына — это мир «испытания»; испытания тюрьмой, раком, войной. Все его ключевые персонажи поставлены в ситуацию отречения от самого себя и экзистенциального выбора. В «Архипелаге» Солженицын замечает, что «столыпин» [тюремный вагон образца 1908 года, первоначально сконструированный для переселенцев в восточные области страны] освобождает человека от всех человеческих привычек, от всех связей, которые устанавливает меж людьми обыденная жизнь. Это освобождение от повседневности — общий знаменатель всех ситуаций в солженицынском повествовании, и, разумеется, оно отражает личный опыт самого писателя. Не владейте ничем, не имейте ничего! — провозглашает автор «Архипелага», и эзк Бобынин не отступает перед сталинским министром Абакумовым, который выволакивает его из шарашки, чтобы спросить, скоро ли будет готова установка «клипированная речь»: «Человек, у которого вы отобрали всё — уже не подвластен вам. Он снова свободен».

В каком-то смысле Солженицын исходит из ситуации, о которой мечтал, но которой

никогда не смог достигнуть Толстой, если не считать его последнего бегства и смерти, да и то надо признаться, что само бегство это скорее смехотворно. Эта ситуация — отказ, отречение от самого себя. «Благословение тебе, тюрьма!» — возглашает Солженицын в Части четвертой «Архипелага»... «Тюрьма была ему так же необходима, как дождь иссохшей земле», — чуть иронизирует Дмитрий Панин. Но глубинный аскетизм, непереносимое условие существования всех его главных героев, не есть изначально результат свободного волеизъявления; это — обездоленность человека в условиях тоталитарного режима. «Человеческая комедия» Солженицына — не мир, устрояемый чудовищной, титанической волей персонажей, как у Бальзака, и не поиск самоотречения, организующий толстовскую вселенную. Дело идет о том, чтобы сообщить смысл и ценность ситуации невольного аскетизма, в которую загнан человек — крепостной ГУЛага; происходит, в некотором роде, «второе рождение» человека в ситуации абсолютной обездоленности. Человек может возродиться или выродиться, он **на распутье** (символическая ситуация, которую мы встречаем в каждом из солженицынских произведений).

Подобно многим писателям, Солженицын, задним числом, открывает в своем творчестве некий Великий Замысел. С 1936 года, объясняет он, с восемнадцатилетнего возраста, он носит в душе план работы всей своей жизни — большого историософского сочинения о русской революции в связи с судьбой его отца: офицер русской армии Исаакий Солженицын, сын богатого землевладельца из Области Войска Донского, умер в 1918 году от раны, полученной на охоте, оставив молодую жену беременной. Исаакий Солженицын поступил добровольцем в армию (как рассказано в «Августе Четырнадцатого»). Его сыну, капитану Александру Солженицыну, довелось, в свою очередь, сражаться теми же «прусскими ночами» в 1944 году, и на фронте же он будет арестован военной разведкой, оттуда отправлен в ГУЛАГ. В сердцевине солженицынского литературного начинания находится, таким образом, своеобразный семейный «анабасис» — восхождение во времени к неведомому отцу, трагически исчезнувшему в тот час, когда Россия попала в руки большевиков. Панин рассказывает: у Солженицына была ясная цель — объяснить катаклизм, который поразил нашу страну. Как все это произошло? Часть причин он видел в первых поражениях войны 1914—1918: этот период притягивал его не-

удержимо еще с университетских времен.

Не только Пруссия 1944 года приводит к Пруссии 1914-го, судьба сына — к судьбе исчезнувшего отца, но, как мы увидим, любая судьба внушает Солженицыну чувство чего-то «уже виденного», чувство узнавания мест и трагедий: за «судом Божиим» над капитаном Солженицыным вырисовывается — филигранью — «суд Божий» над Россией.

Вот где Единый Замысел его жизни (так полагает он сам), и сочинения с автобиографической канвой, книги о каторге — всего лишь отступления, скобки в этом Великом Замысле. О лагере повествуют поэма «Прусские ночи» и две первые пьесы драматической трилогии «1945 год» (третья, написанная в ссылке, в Кок-Тереке, в 1955 году, называется «Республика труда», но она более известна в «облегченной» для цензуры форме и под заглавием «Олень и шалашовка»; в этом варианте она чуть было не увидела сцены в московском театре «Современник» в 1962 году). Обе эти пьесы сочинены «на память» в Экибастузском лагере. Позже Солженицын припомнит их и запишет. Известно, что единственный экземпляр «Пира победителей» был захвачен КГБ в 1965 году, выпущен специальным изданием, предназначенным только для членов ЦК КПСС, и много лет служил доказательством солженицынского антисоветизма. Автор горячо протестовал против похищения рукописи. Он решился напечатать пьесу лишь в 1981 году, в 8-м томе Собрания Сочинений.

Эта драматическая трилогия, созданная в лагере и в ссылке и посвященная аресту и лагерю, открывает нам самое зарождение главного солженицынского плана. Персонажи и темы предвещают как «В Круге первом» (главное действующее лицо «Пира победителей» и «Республики труда» — Нержин), так и «Красное Колесо» (герой «Пленников» — Воротынцев). Пьеса «Пленники», о самом существовании которой стало известно только в 1981 году, была, по-видимому, тем горнилом, в котором Солженицын начал испытывать свою концепцию русской национальной судьбы. Первоначально она называлась «Декабристы без декабря». В ней Рубин-Копелев спорит не с Нержиним-Солженицыным, а с полковником Воротынцевым, т. е. с другим двойником автора, намного более придуманным, вымышленным. Рубин мечтает о новых декабристах (а ведь он правоверный марксист), Воротынцев — о восстании народа, преображенного ГУЛАгом (а ведь он воплощает идеи и ценности старого режима).

Н. Решеговская сообщает, что первые про-

бы солженицынского пера относятся к 1940 и 1941 годам и что ее муж даже представлял их на суд писателя Бориса Лавренева. Вероятно, сегодня Солженицын видит в них лишь юношеский лепет: он не включил их в план Собрания Сочинений, которое выходит в Париже. Собрание это открывается переработанным и полным вариантом «Круга первого», первым, после лагеря, большим произведением, начатым в кок-терекской ссылке (Кок-Терек — поселок в Казахстане, который в «Раковом корпусе» стал Уш-Тереком, где живут добрые и умные Кадмины, — настоящая их фамилия была Зубовы). Лето 1955 года, которое, после долгого пребывания в онкологической клинике в Ташкенте, Солженицын проводит в своем глинобитном домишке в Кок-Тереке, — первая передышка в жизни этого человека, столь дорожащего своим временем и правильным распределением своих творческих сил. Он пишет, пишет целыми днями — и, по мере написания, прячет написанное.

В Кок-Тереке смещение от театра к прозе приводит его к замыслу первого большого романа — «В Круге первом».

Если «Республика труда» — запись первых впечатлений Солженицына в ГУЛаге, то в «Круге первом» записаны его впечатления и опыт в тюрьме-лаборатории Марфино. Первоначально шарашка называлась Марфино (позже Марфино станет Мавриным). После недавней публикации полного варианта «Круга» математическая архитектура видна еще яснее. Опыт Солженицына передан намного обширнее, богаче. Ученичество (или посвящение) Нержина в «Круге» бесконечно сложнее, потому что оно выходит за рамки ГУЛага и распространяется на всю человеческую культуру и философию. Нержин-Данте, ведомый Сологдиным-Вергилием, пересекает века философской мысли человечества. Шарашка — как раз то место, где приобретается и осуществляется метафизическая свобода человека. За пределами ГУЛага лежит страна полного, беспросветного рабства — мир прокурора Макарыгина, дипломата Иннокентия, придворного писателя Галахова, ночной мир Сталина и его трепещущих подручных. Напряженно сатирические «внегулаговские» главы составляют как бы антиматерию романа. (Солженицын «угадывал» сцены из жизни советского «большого света».)

Что касается фабулы, то существует значительное различие между «Кругом 87», т. е. в восьмидесяти семи главах, и «Кругом 96» (в девяносто шести главах); этот последний писался в 1955—1958 годах,

сперва в Кок-Тереке, потом у Матрены и, наконец, в Рязани, но читатель знаком лишь с вариантом, переработанным в 1968 году. Различие бросается в глаза с первой же главы: Иннокентий звонит не доктору Доброумову, а в американское посольство. И не по поводу лекарства, а чтобы предупредить о выдаче планов атомной бомбы супругами Розенберг. Сразу же роман приобретает исторический размах и напряжение еще более колдовское: с первого шага мы вступаем в «холодную войну» через самый спорный, самый жгучий ее эпизод. Солженицын воскрешает здесь проблему, восходящую еще к античности. Обязан ли патриот подчиняться тирану? Поступок Иннокентия — это бунт против несправедливой власти. В главе 61 нового варианта поступок этот разъясняется. Иннокентий получает урок истории у своего старого дяди с материнской стороны, который живет отшельником в жалкой избе, охраняемый самим ничтожеством своего существования. Дядя преступно сохраняет комплекты газет, начиная с 1917 года: сталинская ложь разваливается при чтении этих пожелтевших страниц, с которых говорят Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев. И тот же старик-дядя задает решающий, «проклятый» вопрос, заимствованный у Герцена: «Где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое ее правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?» Дядя был в числе тех четырех или пяти тысяч демонстрантов, которые в январе 1918 года протестовали против разгона Учредительного собрания. А отец Володина был среди тех, кто прикладами, с грубыми издевками разгонял перепуганных представителей народа; впоследствии туповатый чекист женился на молодой девушке из аристократической семьи — матери Володина, чей дневник разбудит душу Иннокентия, приоткрыв ему Россию 1910—1917 годов с ее эстетической утонченностью, нарождающимся плюрализмом, многочисленными изданиями, бурным цветением культуры...

Тогда-то и возникает в Иннокентии потаенное желание смыть грех своего отца и, предавая деспотическое правительство, которому он служит в попугайной униформе дипломата, спасти подлинную Россию, душу России — России, которую он видел лишь мелком, с которой едва знаком; но он испытывает твердую уверенность, что, если хозяева этой России получат в свое распоряжение «абсолютную» бомбу, то рабству ее уже не будет конца никогда! Шарашка, где, в относительно «позолочен-

ной» тюрьме, бригада ученых-каторжников трудится не покладая рук над дешифратором человеческого голоса (он будет служить целям как контршпионажа, так и шпионажа), размещается в старинном здании восемнадцатого века с парком, где посажены липы, и с высоким забором вокруг; когда-то здесь была духовная семинария, прилежавшая к храму Троицы в Останкине, на севере Москвы. В ноябре 1961 года Солженицын был в Москве. Он остановился в гостинице в Останкине. И вот он снова бредет мимо того же забора, только теперь — с другой стороны, снаружи: «Он всё так же стоял, по тому же периметру обмыкал всё то же малое пространство, где когда-то стиснуто было столько выдающихся людей и кишели наши споры и замыслы».

Две высокие липы, пила дров по утрам, интриги в лаборатории, мимолетные интрижки с «вольняшками», ночные словозлияния эзков, стукачи, майор Шикнн, инженер Яконов и инженер Ройтман (у каждого — свой тайный порок: один — бывший эзк, другой — еврей), художник Кондрашев, дворник Спиридон — здесь все «правда», все взято из воспоминаний о тюрьме-семинарии. (Рассказ Солженицына подтверждается упоминавшимися выше мемуарами Льва Копелева.) После освобождения Солженицын встречается с несколькими из бывших марфинцев: с Паниным — Сологдиным романа (ясные голубые глаза, светлая сила; это он уговаривал Солженицына вместе вернуться в ГУЛаг и, тем самым, избавиться от «добровольного рабства» шарашки; иж «вышибли» с шарашки в лагерь в один день, 19 мая 1950), с Львом Копелевым — Рубиным (первоначально Левинным) романа, нераскавшимися марксистом и удивительным рассказчиком, с Ивашевым-Мусатовым, художником-философом шарашки (в романе он окрещен Кондрашевым-Ивановым). А эпизод с Надей, женой Нержина, не только прямо навеян историей Солженицына и его жены Натальи Решетовской, но и заимствован из личных записей этой последней. Вечер, который она проводит со Щаговым, драма измены после стольких лет разлуки, атмосфера студенческого общежития на Строминке, развод, которого добивается жена Панина, — все нашло свое место в романе. Что же до шикарной квартиры на Калужской заставе, где пирует семья прокурора Макарыгина, то она находится в доме, который в 1946—1947 годах строили эзк Солженицын и его товарищи по каторге...

В 96-главном варианте отчетливей об-

наруживается органическая связь между «Кругом первым» и Великим Замыслом. Так, в главе 27, когда Нержин и Сологдин отдыхают после пилки дров («Воздух будто проходил в самые затхлые уголки их нутра»), объявлено о главной идее Солженицына — написать историю революции:

«— Но если тебя сейчас отправят в лагерь», — спросил Сологдин, — как же будет с твоей работой по Новому Смутному Времени? (Это значило — по революции.)

— Да как? Ведь я не избалован и здесь. Хранение единой строки одинаково грозит мне казематом что там, что здесь. Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут. К архивам меня и до смерти, наверно, не подпустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту или сосновую кору найду я и в тайге. А преимущества моего никакими шмонами не отнять: горе, которое я испытал и вижу на других, может мне немало подсказать догадок об истории, а? Как ты думаешь?»

Нержин не только слышал со школьных своих лет «набат истории» — как и его прототип, Солженицын, он ощущает себя носителем особой миссии, миссии исследователя, которая приводит его на шарашку, в лагерь на «общие», к дворнику Спиридону, к Сологдину и Рубину. Так «реально» пережитое писателем еще теснее сопрягается в «вымышленной» версии с главным планом, т. е. с историософским замыслом, который Солженицын лелеет с тех пор, как стал взрослым: осмыслить русский «катаклизм». Конечно, пережитое в лагере остается первым и организующим элементом произведения. Но на него накладывается, смешивается с ним историософская мысль, существенно усложняя — по сравнению с пьесой — игру «правды» и «прозы».

Гипнотическое очарование, которому подпадает читатель, одним из истоков своих имеет обилие подлинного материала. Наряду с миром Лубянки, ее пустынными коридорами, где надзиратели, ведущие заключенного на допрос, издают на каждом повороте тихий клич (подобно венецианским гондольерам), чтобы не допустить встречи двух узников, наряду с системой «безопасности» в тюрьме-лаборатории, внезапными погружениями в одинокий мир самого страшного тирана на земле и его трясущихся от страха пособников мы встречаемся с несколькими культурными сферами, в частности — научной и философской. Научная сфера открывает нам Солженицына-математика, которому доступны ряды Фурье и Бесселевы уравнения, Солженицына-физика, досконально знакомого с проблемами крип-

тографии и фоноскопии. Сфера же философская соответствует скорее тому окружению, в котором находится Нержин: шарашка была Ликеем и Академией для молодого Солженицына. Гоббс, Ла Бозси, Эпикур и Дионисий Ареопагит, Лао-цзы и Конфуций — к ним апеллируют в своих раздумьях люди, насквозь пропитанные старой культурой и собранные волею деспота в этой новой «Академии». Богатство пережитого организуется здесь даром математика, романиста и философа — сочетание, которое во всем, что создано Солженицыным, нигде, возможно, не обнаруживает себя с такой очевидностью. Это самое вдохновенное его сочинение. Если оно погружает нас во мрак двадцатого века, то одновременно и возводит на борт ковчега каторжников-математиков, новых стойков, занятых разрешением древней, как сама античность, проблемы отношений меж мудрецом и тираном.

В 1959 году, прерывая работу над «Кругом», Солженицын за сорок дней пишет «Один день Ивана Денисовича». Это «отросток» от большой книги (Шухов повторяет Спиридона) или, скорее, сжатый, сгущенный, популярный вариант эзковской эпопеи. Точно так же «Правая кисть» будет «отростком» от «Ракового корлуса», «Ленин в Цюрихе» — от «Красного колеса».

Иван Денисович — заключенный номер ЦЦ-854 (первоначально повесть так и называлась: «ЦЦ-854») на угольной шахте в Северном Казахстане. И, как Солженицын, он сумел закрепить за собою в лагере одну профессию — каменщика. Бригадир Тюрин, капитан второго ранга Буйновский (в жизни — Бурковский) — все подлинные фигуры: только Иван Денисович сложен из солдата-артиллериста той батареи, которой командовал лейтенант Солженицын, и из лагерника Солженицына. Рассказ об этом дне был, по-видимому, задуман еще в лагере, зимою 1950—1951, но написан в один присест летом 1959. Бритая, беззубая, изнуренная и словно бы усохшая голова Шухова; побудка ударами молотка в рельс; точный план зоны с каменным БУРом, с вахтой, с санчастью, с бараками; придурки; счет и пересчет человеческого стада; всевластие бригадира; чувства при обыске, когда в рукавице припрятан кусок железа; очереди к раздаточным окошкам в столовой; разговоры перед сном с соседями по вагонке; драгоценная искривленная ложка с наколкой «Усть-Ижма», — имя лагеря, где Иван едва не умер от цинги в 1943 году, — после каждой еды Шухов заботливо прячет ее за голенище валенка: тут все челове-

ство ГУЛага под рубищем с номерами. Безумная лихорадка работы, когда мороз «схватывает» раствор, прежде чем каменщик успеет взять кирпич и решить, какую стороной его класть. И потом сладость затычки из «недокурка» (царский подарок менее обездоленного) и глубокая, благословенная радость — нащупать деснами тощий рыбий хребтик в теплоте баланды... «Один день» — антропологический этюд, «выжимка» из жизни зэка. Каждое чувство, взгляд, оценка, описание передано здесь через Ивана. И звездное небо, беспрерывно ослепляемое мощными прожекторами, — это небо зэка, непохожее на небо князя Андрея или небо влюбленных из давно минувших времен. Мир без женщин: «Не упомяну, какая она и баба», — говорит надзирателю Иван, моя пол на вахте. По поводу «эпизода со стеной», которую Иван кладет в каком-то размеренном опьянении, было пролито немало чернил. («Мастерком захватывает Шухов дымящийся раствор — и на то место бросает и запоминает, где прошел нижний шов: на тот шов серединой верхнего шлакоблока потом угодить».) Эрнст Фишер, Лукач и многие другие усмотрели в нем социалистическую «философию» повести: вопреки сталинскому рабству Иван избавляется от отчуждения, вновь становится субъектом истории благодаря труду, принимаемому не как подневольная мука, но как подвиг человека. («То, что он начинает по принуждению, он хочет завершить как свое собственное дело, сознательно идя на риск». Эрнст Фишер. «В поисках реальности».) Дмитрий Панин яростно упрекает Солженицына за эту сцену: на самом деле, рабы ГУЛага вредили своей работе, протестуют он. Солженицын оправдывается в Части третьей «Архипелага»: «Такова природа человека, что иногда даже горькая проклятая работа делается им с каким-то непонятным лихим азартом. Поработав два года и сам руками, я на себе испытал это странное свойство: вдруг увлечься работой самой по себе, независимо от того, что она рабская и ничего тебе не обещает. Эти странные минуты испытал я и на каменной кладке (иначе б не написал)...» Так Иван Денисович Шухов, простой каменщик, находчивый и наивный, великодушный и отважный, закаленный испытаниями этой жизни, поступком, действием говорит нам о том, что было главным открытием Солженицына в лагере: человек спасается своим человеческим достоинством. (Но Шаламов, автор страшных «Колымских рассказов», возражает: какие там еще кошки на вахте? в нормальном ИТЛ всех

кошек уже давно съели... И что это еще за ложка, сохраненная с Усть-Ижмы? на Усть-Ижме уже давно ни у кого не было ложки...)

В 1959 году в Рязани Солженицын задумает написать «Один день советского учителя», сразу же пишет повесть «Щ-854». Толстой сказал, что день мужика может составить предмет для такого же объемистого тома, как несколько веков истории. И этот толстовский метод наложения единицы авторского письма (повесть) на биологическую единицу (один день одного человека) соблазняет Солженицына-математика: день — математическая точка, через которую проходят все планы-плоскости жизни. Выходец из лагерей, он — с момента возвращения — наблюдает, как функционирует это советское общество, к которому он вновь принадлежит, старается постигнуть его законы, силу его тяготения. Этот «циvilный» опыт даст «Раковый корпус», рассказы, появившиеся в «Новом мире» в 1963 году («Матренин двор», «Для пользы дела»); три других рассказа — «Правая кисть», «Случай на станции Кочетовка», «Как жал!» — кладут начало историческим разысканиям. Вся эта группа произведений, задуманных и написанных в Рязани, представляет собою цикл разысканий о скудости советского человека, скудости моральной, психологической и социальной.

Действие «Матренин двор» происходит в 1956 году. Как и Иван Денисович, Матрена говорит распевно, по-рязански. Бывший зэк, а ныне школьный учитель и его квартирохозяйка, немногословная, улыбчивая, бескорыстная, сразу находят общий язык; в основании этого согласия — взаимное уважение и молчание. Жаждающий обрести приют в каком-нибудь мирном уголке России, Игнатич, рассказчик, разделяет скудость и внутренний мир Матрены. Здесь все «правда» — от колченогой кошки до пожелтевших плакатов. Но «связь и смысл её жизни, едва став мне видимыми, — в тех же днях пришли и в движение». У Матрены, «русской женщины» (вспомним Некрасова!), двойное призвание: она образец скромности, воздержности, и Солженицын видит в ней истинный смысл русской жизни, но вместе с тем она таит в себе трагедию. Трагично ее прошлое, исковерканное скотской грубостью мужчин. Трагичен ее конец: жадный деверь, который вырвал у нее «горницу, стоявшую без дела», и сделался, таким образом, косвенной причиной ее бессмысленной смерти на железнодорожном переезде, — это само вечное буйство, эгоизм, хищность, которые обезо-

браживают Россию и рушат «связи и смысл» Матрениной жизни. Солженицын сделал эту притчу-репортаж из подлинного происшествия, которому был свидетелем и потому пережил его с особенной остротой. Изможденное лицо хозяйки стало одним из тех «узлов» русской судьбы, которые он так страстно искал. Невозможно перевести все областные, крестьянские словечки и обороты этого репортажа, но даже в переводе читатель живо ощущает удивительную **подлинность** рассказа. Солженицын обращается к жанру очерка — тому же самому, которым воспользовался Тургенев в «Записках охотника». Словно бы сама жизнь подарила неизвестному Игнатичу, укрывшемуся в дальнем уголке русского пейзажа, этот образ русской судьбы, эту Матрену, бедную «благами», но прямо восходящую к Блаженствам Нагорной проповеди.

«**Раковый корпус**» выстроен, в первую голову, на опыте собственной болезни: биопсия, сделанная в лагере, две госпитализации в Ташкенте, куда приезжает «умирающий» ссыльный из Кок-Терека. Поездка в Ташкент весной 1964, чтобы освежить в памяти места, чтение медицинского учебника, упорное желание понять свой недуг, отказ подчиниться «врачебной власти», превращающей пациента в безвольный и бездушный предмет, обращение к знахарям и к «иссыккульскому корню» — здесь опять-таки все «правда», только два разных пребывания в Ташкентской больнице сведены воедино. «**Раковый корпус**» в клиниках Ташкентского мединститута действительно носит номер 13! Возвращение к жизни Олега Костоглотова, мелодия Четвертой симфонии Чайковского в конце главы 11, улыбка доктора Веры Гангарт, челка медсестры Зои, горе немки-экономки, тревожное и в чем-то симпатичное хамство шофера и бывшего лагерного охранника Поддуева, спесь и смятение аппаратчика Русанова, скромная жизнь, довлеющий себе рай Кадминых в Уш-Тереке, флирт с Зоей, немая любовь с Вегой — все взято из обжигающих еще воспоминаний о первых шагах ссыльного, которому, едва «освободившись», едва получив право ходить по той земле без конвоя, пришлось столкнуться с опухолью и с новым вариантом все того же главного вопроса: какую цену стоит платить за жизнь? Этот Олег Костоглотов, скандалист, упрямец, студент географического факультета Ленинградского университета в 1938 году, призванный в армию девятнадцати лет от роду, ставший землемером в своей уш-теркской

ссылке, — конечно же, снова сам Солженицын. Или, скорее, это новый этап его пути, его обучения жизни: научиться, как отказываются командовать (Нержин в «*Республике труда*»), научиться, как отказываются от призраков и привилегий знания (Нержин в «*Круге первом*»), и, наконец, как отказываются от любви, от сияния пола (Олег Костоглотов). Игнатиц из «*Матренина двора*» — это как бы венец обучения **искусству отказываться**: он — русский мудрец, сформированный тюрьмой, смертью и Востоком (мудрость узбеков — товарищей по болезни и по больнице).

17 ноября 1966, на обсуждении романа в Московском отделении Союза писателей, Солженицын объясняет, что сюжет был подсказан ему болезнью и что поэтому он изучил предмет почти профессионально. Он рассказывает еще, что статья Померанцева об искренности в литературе (одна из первых ласточек «оттепели»), действительно, переходила в палате из рук в руки и что Юра Маслов, ставший в романе Демкой, действительно, обращался к нему с расспросами по этому поводу. А 10-й том Толстого издания 1928 года не он, автор, принес для своих целей: книга, и в самом деле, была в палате, и Поддуев не мог не открыть в ней того, «чем люди живы». Можно не только составить точный план палаты, перевязочной, здания и парка. — можно «наложить» его на то же описание в «*Правой кисти*». Окно в комнате студенческого общежития, где живет Надя («*В круге первом*»), описано с той же точностью, что перевязочная. («Но так как он не должен был шевелиться, то осталось в его окоёме: стойка с приборами; ампула с коричневой кровью; светлые пузырьки; верхи солнечных окон; отражения шестиклеточных окон в матовом плафоне лампы; и весь просторный потолок с мерцающим слабо солнечным пятном».)

Эта страсть **видеть** составляет даже черту натуры Олега и, возможно, объясняется долгим зрительным воздержанием: микрокосм лагеря ограничивает взгляд, но и заостряет его, делает взыскательным. Вездесущий взгляд объясняет **лихорадочный реализм**, которым отмечены описания в этом тексте. И в социальной галерее «**Ракового корпуса**», от надутого доктринера-аппаратчика (через него мы заглядываем во все общество обеспеченных) до старого большевика Шулубина, который онемел от сознания своего морального вырождения, от бывшего лагерного охранника до спекулянта, — та же настойчивость зора, страсть увидеть каждого насквозь. С наслаждени-

ем поставив их перед судом рака, Солженицын наблюдает за ними с придиричивостью человека, у которого надолго отняли право наблюдать.

Выздоровливающий после лагеря, выздоравливающий после рака, выздоравливающий после длительной разлуки с Россией, ссыльный Солженицын широко раскрывает глаза, осмеливаясь с каждым днем видеть все лучше — мощь южного солнца, пышность урюка в цвету, взрывчатую синеву узбекского орнамента, жеребенка, незаконно пробравшегося в больничный парк и топчущего траву на лужайке. Как хорошо видеть мир!

Впрочем все тем же выздоравливающим написаны и «Крохотки» — стихотворения в прозе во славу бытия: аромат яблони, запахах трав, суета муравейника, чернота и молчание озера. Из Рязани Солженицын отправляется в странствия по России. Восток, как барельеф, помог ему понять выпуклую выразительность русского мира. На велосипеде, вместе с женой, или пешком он посещает район Оки — колыбель русского «реализма», Северный Кавказ — колыбель его собственного рода, леса Белоруссии, где он сражался еще недавно... Этот голод взгляда он утоляет методически и упорно. «Крохотки» рассказывают нам о его встречах с русской красотой, но также об упадке родины, о хищнической власти над нею новых хозяев, о всеобщем равнодушии, унижающем ее и опустошающем. При виде «старого ведра» нахлынули воспоминания о боях 1944 года; деревня, где родился Есенин, открывает ему щедрое изобилие русской красоты, «которую тысячу лет топчут и не замечают», — обветшалые колокольни, играющие в чехарду на широких изгибах равнины, покосившаяся, вся сквозная изба, гумно, почерневшие заборы... «Пока можно ещё дышать после дождя под яблоней — можно ещё и пожить!»

Солженицынская страсть «освоить всю реальность» — (Лукач) не наивный взгляд, обращенный к природе и покоящийся на ней. Эта страсть неотделима от «выздоровления» эзика и ракового больного, она — отвоевание непосредственности в мире, полностью «опосредствованном» лукавством идеологии. Рассказ «Для пользы дела» (Солженицын сообщает нам, что это единственная его вещь, написанная специально для публикации в советском журнале) посвящен этому отвоеванию правды у театра советской идеологии. И в высокопарных речах партийных инженеров (речах, за которыми прячется нужда и честолюбье), и

в непосредственности молодых энтузиастов, строящих школу, которую у них отнимут, всегда заметно то же желание — разглядеть получше механизмы действительности: пустословие в учительской, эгоизм аппаратчика, сталинский стиль крутого коммуниста, несостоявшиеся экономические реформы Хрущева, грубый, хищнический материализм всех и каждого. Все противостоят — из косности — усилиям Грачкова, гуманного, отзывчивого и неоспоримо русского («...лицо его было такое выразительно русское, что невозможно было переодеть его ни в какой чужестранный костюм или мундир, чтобы его тотчас же не признали за русака»).

Эта диалектика поверхностного и сокровенного, видимого и невидимого выстраивается — всегда! — вокруг идеи России, подлинной, но умышленно скрытой от глаз. Спрятанная, обезображенная, изуродованная — она все-таки существует: надо только увидеть, разглядеть ее!

Та же самая диалектика обнаружения действительности, раскапывания правды составляет внутреннюю пружину «Архипелага ГУЛаг». Архипелаг надо раскопать, выкопать, — как тритонов, которых оголодавшие эзики нашли во льду Колымы и тут же съели. Архипелаг и есть подлинная Россия, но она выходит на поверхность лишь изредка, то здесь, то там: эшелон на вокзале, арест друга, лицо с выражением укора и беспомощности, «подозрительный тип» на станции Кочетовка...

Хотя композиционно «Архипелаг» — это энциклопедия советской каторги (исторический очерк, судьба отдельно взятого каторжника, этнография ГУЛага, моральная роль каторги, хроника восстаний) и хотя, со своими семью частями, он представляет собою целую глыбу письма, он подчинен тому же неистовому желанию видеть, показать и вызвать в свидетели очевидцев.

Прежде всего, «Архипелаг» изобилует портретами — живыми, подлинными. «фотографическими», как, например, этот инженер сталинской закалки с карьерой, сверкнувшей подобно метеору, разном и хитрый, и разгульный, и наивный, и грубый, как бы «переиздание» русского купца минувших времен; или же мордастые лицемеры-придурки из лагеря в Новом Иерусалиме; или еще «начальница мокрого пресования» на кирпичном заводе, эта Ольга Петровна Матронева в неизменной красной косынке над «сухим темным профилем», которая загоняет работою насмерть; или «сука» Береговая в кожаной куртке, с сумкой через плечо, с глазами ведьмы и с не-

утолимою жестокостью. Лица, сотни лиц пытаиво разглядывает Солженицын глазами собственной памяти либо на фотографиях, которые ему доверили. Пересказывая судьбу, услышанную из чужих уст, Солженицын может быть и насмешливым, и едким, но это не настоящий Солженицын. Ему всегда нужно лицо, чтобы портрет, чтобы рассказ его ожил. Ему нужно лицо и, в особенности, глаза, через которые прощупывается душа.

Остов «Архипелага», скрытый его остов — это собственный опыт туземца Архипелага по имени Солженицын. Но признания и откровенности разбросаны по разным главам, подпирая их: солдатская жизнь, жизнь офицера, арест, изолятор и затем камера (№ 69) на Лубянке, встречи с людьми, весна 1945 года в тюрьме, физическое истощение, неудачный опыт бригадира, «юная святая» из смежного лагпункта, взывающая с мольбою к своему палачу, радость пламенной дружбы, стыд за искушения, хотя бы и преодоленные... Собирая отдельные страницы, можно восстановить биографию заключенного Солженицына в ГУЛаге.

Стремление приблизить портрет к подлиннику, подпорки из доверительных признаний, сопоставление разных свидетельств, поездки по местам действия (например, в 1966 году, заканчивая книгу, Солженицын отправился на Беломорско-Балтийский канал, вырытый рабами ГУЛага и воспетый Горьким *); летописец, портретист, репортер и этнограф Солженицын восстанавливает невидимый Архипелаг терпеливо и с удивительным разнообразием точек наблюдения. Вот, например, в главе 7 Книги третьей развертывается, как в кино, экран: «И ещё это должен увидеть русский экран: как доходяги, ревниво косясь на соперников, дежурят у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы и помойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбу голову, кость, овощные очистки. И как один доходяга гибнет в этой свалке убитый. И как потом эти отбросы они моют, варят и едят. (А любознательные операторы могут ещё продолжить съёмку и показать, как в 1947 в Долинке привезённые с воли бессарабские крестьянки бросаются с тем же замыслом на уже проверенную доходягами помойку.)» Доходяги, изъеденные цингой, ползающие в зоне на четвереньках, ноги отеки, раздулись, лица усыпаны «сине-черными горошинами с гнойными

головками», мертвое лицо соседа на нарах, по щекам расползаются вши: камера Солженицына не знает жалости.

«Архипелаг» — историческое исследование, исповедь, сборник свидетельских показаний, репортаж; он задуман как постепенное развертывание, как путешествие по следам эков, как некое посвящение. Быстрый, обобщающий рассказ чередуется с замедлениями, необходимыми для «аккомодации» глаза, которому предстоит увидеть ту или иную сцену. Ведь в основу солженицынского видения заложена недоверчивость эка, потребность все проверить на глаз. В двух словах — речь идет о технике ЗРЕНИЯ. Но также — о солидарности. Солженицынский взгляд хочет проверить себя во взглядах других. Нет ни **правды**, ни **реальности** в одиночку, для себя одного. Правда обнаруживает себя в доверительности, в доверии, в сопричастии. Все произведения Солженицына ведут к моменту напряженного «взаимопризнания» (между врачом и пациентом, палачом и жертвой, товарищами по заключению, случайными соседями и союзниками по камере или больничной палате). Мало того: можно сказать, что главное дело Солженицына — это привести к **Мы** вопреки тотальному террору, который крошит и дробит общество, одевает его страхом. «Сейчас ты увидишь впервые — не врагов. Сейчас ты увидишь впервые — других живых, кто тоже идет твоим путем и кого ты можешь объединить с собою радостным словом **мы**». Это **Мы** подлинной общности (в противоположность искусственному **Мы** решений и резолюций, принятых «единдушно») есть **Мы** настоящей и вновь обретенной социальности.

Вместе с «видением» эта вновь обретенная подлинная социальность становится у Солженицына цементом, скрепляющим все его творчество. Она требует от каждого покаяния в своих грехах. Сам Солженицын кается без всякого снисхождения к самому себе: было время, когда он мог стать палачом без малейших колебаний. В школе правды надо пройти через изолятор и одиночку, через науку читать в человеческом лице (в один-единственный миг нужно угадать, не «наседка» ли тот, кто входит в камеру), через обучение сомнению. Социалист Фастенко, ветеран тюрьмы, внушает молодому Солженицыну, что надо научиться сомневаться: Фастенко был его Пирроном. Английский канцлер Фрэнсис Бэкон учил недоверию к «идолам». Во второй части «Ракового корпуса» учение Бэкона вспоминает Шулубин, обращаясь к Олегу, упрямому эку, но все еще наивно-

* См. Михаил Геллер. «Концентрационный мир и советская литература». Лондон, 1974.

му ученику: «Фрэнсис Бэкон еще в шестнадцатом веке выдвинул такое учение — об идолах. Он говорил, что люди не склонны жить чистым опытом, им легче загрязнить его предрассудками. Вот эти предрассудки и есть идолы».

Так эмпиризм английского лорда-канцлера, автора «Нового Органона», посвящает молодого эзку в борьбу против «призраков рода, пещеры, театра». Можно представить себе изумление Солженицына, открывающего на шарашке этот язвительный список повреждений человеческого разума, составленный английским философом, сама жизнь которого ему близка: Бэкон был заключен в Тауэр, публично ошельмован, потом реабилитирован в 1624. «Из всех призраков, — пишет Бэкон, — самые стеснительные те, кто вкрались в разум ради согласия меж словами и идеями. Люди воображают, будто рассудок властвует над словами; но да будет им ведомо, что слова, обращаясь, так сказать, против разума, возвращают ему заблуждения, которыми он их наделил» («Новый Органон», I, LIX). Несмотря на отдаленность во времени этот лорд-канцлер, который предпочел темницу отречению, близок философу из эзков. В конце концов, что проповедует автор «Письма вождям Советского Союза», если не своего рода эмпиризм: вопреки идеологии, вопреки все более сложным, все более «отчуждающим» правилам и условиям жизни на нашей планете провести для самих себя черту, которую переступить нельзя. Некий эмпиризм в поисках правды: узкий круг пережитого ценнее, важнее, нежели широкий круг, очерченный идеологиями. Всегда смотреть собственными глазами, никогда — через «очки» идеологии.

В разговоре с товарищами по лагерю (речь шла об исторических романах Тынянова) Солженицын утверждал, что сам жанр исторического романа нежизнеспособен*. Историческое свидетельство хрупко; Солженицыну-историку нужен посредник — взгляд свидетеля. Так, в «Архипелаге», в «исторической» главе о Соловецкой каторге в 20-е годы, он вводит вымышленного свидетеля, «человека Серебряного Века», т. е. уцелевшего выхода из довоенной России, утонченной и почти процветающей. В глазах такого свидетеля тем страшнее позор нового варварства — заключенных, одетых в мешки (как актеры у Гротовско-

го), соловецких «кули», окрещенных словом «вредло — временно исполняющий должность лошади».

К такому же посредничеству прибегает Солженицын и в «Красном колесе» — чтобы оживить Россию 1914 — 1917: ему нужен взгляд свидетеля в центре. И чтобы этот взгляд «работал», Солженицын сосредоточивает его на нескольких «узлах». Дальше мы увидим математическое оправдание, обоснование этого выбора, а пока отметим чрезвычайное сгущение информации на временном отрезке в несколько дней. В «Августе Четырнадцатого» все действие собрано в девять дней — продолжительность битвы на Мазурских озерах и гибели Второй армии под командованием генерала Самсонова. Сперва Солженицын погружается в мемуары, документы, сочинения военных историков. Он читает по-немецки: общие работы (Гофман, фон Верт; книга последнего озаглавлена «Танненберг: август 14-го»), мемуары Гинденбурга, Людендорфа и, в особенности, генерала фон Франсуа (его забавное самодовольство и широкие тактические замыслы перейдут в роман). Но, в первую голову, он располагает многими сочинениями по-русски: общей работой генерала Головина, которая была напечатана в Праге в 1926 году и давала анализ поражения и его причин, мемуарами генералов Поставского и Мартоса (второго из них цитирует Головин), сочинением Свечина (он участвует в заключительной сцене «Августа Четырнадцатого» и появляется в «Архипелаге»), мемуарами о. Георгия Шавельского, последнего протопресвитера русской армии и флота (из них заимствованы почти буквальными цитатами для портрета Великого Князя Николая Николаевича; сам о. Георгий тоже участвует в «Августе»). Солженицын читал учебник истории крайнего монархиста генерала Нечволодова, появившийся в 1912 году, — чтобы лучше видеть этого недоверчивого генерала, чей разговор с полковником Смысловским происходит под усыпанным звездами небом Пруссии. Он изучает книгу бывшего подчиненного генерала Самсонова, полковника Богдановича, вышедшую в 1964 году в Буэнос-Айресе. Из нее взяты многие ситуации романа, и даже игра шрифтами — главы, набранные петитом, ключевые слова прописными буквами — кажутся взятыми прямо у Богдановича.

Самой хронологической сгущенностью (выразительно подчеркнутой в романе неуклонным подсчетом часов и непрерывной хроникой света и звезд) поражение Самсонова давало Солженицыну то соприкосно-

* В одном интервью (октябрь 1979) Сиянский злорадно напоминает об этом утверждении сегодняшнему Солженицыну, притязавшему на роль и звание историка ("New York Review of Books." XXVI. 18).

вение с реальностью, которое ему необходимо: он сличает мемуары, вчитывается в приказы и ежедневные сводки, вглядывается в схемы положения на местности, приводимые для каждого дня как немецкими, так и русскими авторами. Некоторые сцены заимствованы у этих авторов: сцена с амулетом — у фон Франсуа, сцена смерти полковника Кабанова, отбывающего у врага знамя, — у Богдановича, встреча Самсонова с Мартосом в разгар сражения — из неизданных мемуаров Мартоса, которые приводит Головин. Головин указывает на карте фронта «дыру» в которой решит остаться Воротынцев в надежде спасти положение. Но главные источники — все же советские публикации (доклад комиссии Пантелеева, Храмов, Евсеев). Эмигрантские источники Солженицын читал при правке основного текста.

Но нельзя не заметить, что Солженицын заостряет черты, утяжеляет осуждения, снимает колебания Головина, который не решается уличить безоговорочно какого-нибудь Ключева или Сирелиуса. И, чтобы добраться до **истины** в решающие мгновения, Солженицын неизменно **заглядывает в глаза**: глаза Сирелиуса не могут вынести горящего и испытующего взгляда черноглазой сестры милосердия. Блуждающий взгляд, нервно вытянутая, как у гуся, шея, голова, старающаяся ускользнуть от резкого света лампы (**Истины**), — Сирелиус застигнут в самый миг своего малодушия. Портрет Великого Князя — смесь тупого ханжества и надменного благородства — пришел прямо из мемуаров протопресвитера Шавельского. Но и в этом случае Солженицын «перегибает», выпячивает «предательский» жест. Рассказывая о героической смерти Кабанова, Солженицын сокрушается, что у него нет фотографии героя. Это сожаление симптоматично. Искать истину — это, разумеется, сличать документы, рыться в архивах, сомневаться над мемуарами и испытывать их внутренней критикой текста (и Солженицын-историк неутолим в этих занятиях), но прежде всего — это **видеть** лицо человека, **видеть** предметы, которые его окружают.

Подтверждение этой потребности вступить в непосредственный контакт с героем своего повествования нам дает «*Ленин в Цюрихе*». Едва обосновавшись в своем швейцарском изгнании, Солженицын принимается бродить по городу, листает старые альбомы, направляется в кантональную библиотеку. К кропотливому анализу ленинских текстов прибавляются извилистые, живописные улочки старого Цюриха, на-

бережные Лиммата, «обшлифованные» столы ресторана Штюссихоф, фронтоны с гербами и фонтаны со «знаменосцами». Город Цюрих служит катализатором для зрения и видения, и вот автор отделяет от будущих «узлов» ленинские главы, присоединяет к ним «пропущенную» главу из «*Августа*» и предлагает читателю этот портрет Ленина. Встреча с Цюрихом, прогулки по старому городу, соприкосновение с «ленинскими местами» насытили и пересытили исторический раствор.

Солженицын не сомневается, что истина существует — и в истории, и в жизни каждого из людей. Как испытание ГУЛАгом немолимо обнажает истинное лицо отдельного человека, так история обнажает истинное лицо нации. Правда для Солженицына неотделима от ценности. А ценность измеряется испытанием. Ибо истину заинтересованное лицо (будь то человек, будь то нация) познает лишь в час испытания — депортации, войны, революции. Правда существует изначально, но **открывается** лишь в огненной вспышке испытания. Можно было бы говорить о каком-то средневековом чувстве Божьего Суда: история для Солженицына — это ордалия.

Солженицынская система основана на **очевидности**: «истинное» и «справедливое» проступает в испытании само по себе. Но, как всякая мысль, основанная на критерии очевидности, солженицынская мысль натывается на препятствия **кажущегося**: учреждения, партии, идеологии представляются ему в облики необоримых речей. Тут эстафету принимает Солженицын-борец. Его главный метод — хитрость, обман: проникнуть в крючкотворство речи, усвоить тягучую, нудную манеру противника, под которую он прячется, маскируется, обложить изнутри и смущать эту речь сложной игрой физиологических замечаний, открывая противоречия между речью внешней, произносимой и внутренней, мыслимой, коротко говоря — заменить ложную идеологическую связь истинной биологической связью appetitov, отношений, вождений. Так вырисовывается Ленин — разочарованный, ожесточенный, не выносящий своих собственных приверженцев, чьи взоры жгут его, как купорос*; Милоков — честолюбивый, надзирательный, отважный лишь в тесных

* Солженицын признает даже, что глубина проникновения в Персонажа привела к частичной идентификации с ним. Он писал ленинские главы в 1970 году в Рязани; на улице, перед его окном «как раз и портрет Персонажа твердили (навечно)... и хорошо пошло!»

пределах, исключаящих любой настоящий риск, занятый только самим собой и равнодушный к России, Милуков ленивый, упорный и втихомолку поглядывающий то и дело назад...

Эти ловушки реальности, далеко не всегда «очевидные», как хотелось бы, раздражают Солженицына, заставляют его нагромождать главы, сарказмы и повторы. Бо-

рец, привыкший к «ясности» ГУЛага, он, видимо, теряет хладнокровие в бесконечных осадах, которые приходится вести против «идеологий», замешанных в исторический процесс. И тут он не защищен ни от утомительных длинот, ни от поражений: реалист выходит из себя от того, что «континенты реальности» часто оказываются такими хитрыми, непростыми...

Замки свода

Мир Солженицына одухотворен, «пневматичен» — он насквозь проникнут дыханием Прекрасного-Истинного-Доброго, иными словами, божественного. «Одно слово правды весь мир перетянет». В мире, где правит насилие, только искусство способно говорить «истину», потому что критерий «истины» есть в равной мере критерий «красоты» и «добра». Для Солженицына платоновское триединство действительно по определению. Он категорически отвергает искусство уродливое, чудовищное, бессмысленное или хотя бы двусмысленное. Искусство не может быть ничем иным, кроме как торжеством над ложью и злом. Этика и эстетика смешиваются неразрывно. Тем самым Солженицын продолжает русскую традицию, это совершенно очевидно. Однако «Нобелевская лекция» озадачивает читателя, знакомого с современным искусством: призыв к этой всеобщности Красоты-Истины-Добра не нашел ни отклика, ни отклика. Кажется, будто современное западное искусство живет на другой планете. Впрочем и сам Солженицын смог сослаться в своей «Лекции» лишь на одного западного «поручителя» — Альбера Камю. На Альбера Камю, агностика, который в 1957 году заявил в Стокгольме, что красота облегчает человеку бремя рабства, а иногда и полностью от него избавляет, и поставил перед писателем две задачи: «отказ от лжи и сопротивление гнету» (речь 19 декабря 1959). Солженицын принимает обе задачи без колебаний. Упорная сосредоточенность на реальности неотделима у Солженицына от поиска Истины, Красоты и Добра. В каждом крупном его произведении мы встречаемся с тонко рассчитанной архитектурой (не следует забывать, что этот архитектор — математик), увенчанной замком свода, от которого все исходит и к которому все сходится. К этой центральной точке ведет как сеть образов

и символов, так и чрезвычайно плотная организация времени. По мере того, как произведение разворачивается, по мере того, как оно раскрывается автором, солженицынская архитектура обнаруживается все яснее. Даже «Архипелаг ГУЛаг», хоть и написан в подполье, каждая часть — в другом «укрытии» (и, стало быть, автор ни разу не смог перечесть всю вещь полностью), тоже стягивается к такому незримому узлу. Подзаголовок «художественное исследование» подчеркивает не только невозможность писать историю нашего времени методами классической историографии (документы недоступны, свидетели погибли, нередко — до последнего, все умышленно искажено), но и необходимость обращения к искусству: иного пути, чтобы включить бесчеловечное в человеческое, апокалиптическую реальность века сего в конечность нашего разума, — нет. Благодаря чуду появления Солженицына жертвы Усть-Ижмы и Кенгира обрели своего Гомера, которого, как ни странно, нет у жертв Освенцима и Бухенвальда. Солженицын говорил о крайней внезапности, с какою рождались замыслы всех его произведений*. «Один день...» сверкнул в конце долгого каторжного дня, когда Солженицын тащил с напарником носилки. «Раковый корпус» возник вдруг, когда он шел по Ташкенту, направляясь в комендатуру МГБ. Потом план спит годами — и в какой-то миг просыпается, обогащенный, и тогда писание идет быстро. Солженицынский раствор схватывается мгновенно.

Это потому, что время у Солженицына предельно сконцентрировано. «Хронотоп» (если воспользоваться термином Михаила Бахтина) сжат до максимума: «Иван Денисович» — один день, «Круг первый» — три с половиной (как в «Божественной комедии»),

* Интервью с Никитой Струве от 22 февраля 1977.

первая часть *«Ракового корпуса»* — три, вторая — несколько недель, так требует ход лечения, *«Август Четырнадцатого»* — десятков дней. Пространственное и временное сжатие, отмечаемое всеми, кто пишет о Солженицыне. Это сжатие, это замыкание человека в микрокосм камеры, лагеря, больницы палаты или Грюнфлиссского леса не только созданы опытом каторжника («концентрация» человеческого материала навязана «концентрационным» веком); это своего рода органическая потребность писателя Солженицына. Мастер «малых форм» (его стихотворения в прозе, его рассказы), он и в «большие формы», требующие огромного охвата материала, перенес свою страсть все сжимать. Отсюда частота единиц повествования (коротких глав, малых лирических единиц) и скульптурность детали: микрopsихология, в которой лица схвачены, как под увеличительным стеклом.

«Мне не уютно, если у меня просторно слишком». Понятие «узла», главенствующее в концепции большого исторического романа, над которым работает сейчас Солженицын, идет из математики: «В кривой истории, т. е. в смысле математическом кривая линия истории — есть критические точки, их называют в математике особыми. Вот эти узловые точки — как узлы — я их беру в большой плотности, т. е. даю десять, двадцать дней непрерывного повествования... И эти десять, двадцать дней я даю плотно, подробно, а потом между узлами — перерыв, и следующий узел». Так, десять дней *«Августа Четырнадцатого»* занимают два тома, *«Октябрь Шестнадцатого»* — два тома, *«Март Семнадцатого»* — четыре тома. Лев Толстой, начав работать над романом о Петре Великом, тоже говорит об «узле жизни» (письмо Н. Страхову от 12 ноября 1872). Заметил ли это Солженицын?

Уплотнение времени стоит в очередной связи с отсутствием интриги. Солженицын совсем не романист. Даже большие его произведения — это повести (как *«Раковый корпус»*, который и носит такой подзаголовок) или «повествование в отмеренных сроках» (*«Красное колесо»*). Психологической протяженности в них нет. Предыстория человека играет малую роль. Она раскрывается случайно — либо в доверительном рассказе (десятичник Тюрин, бывший раскулаченный, в *«Иване Денисовиче»**), либо в угрызениях совести (шофер Поддубев), либо в кошмаре (Русанову, томимому жаждой, чудит-

ся, будто одна из его жертв, которую он довел до самоубийства, показывает ему на какое-то корыто с водой, но это вода ее смерти — она утопилась).

Воображение его — скорее математическое, чем литературное.

Солженицын заявил, что никогда не вышел бы в лагере, если бы не математика, — она его спасла*. Он имел в виду свое пребывание на шарашке в Марфино, но мы можем прибавить, что он никогда не стал бы писателем, если бы не был математиком. Сам метод его работы с картотекой, организующейся вокруг избранных «точек», — метод ученого. Ученому принадлежит и его отказ говорить о себе, ощутимый на всем протяжении его писательской карьеры: во-первых, — в отказах от интервью, в отвращении ко всякой доверительности, а в более общей форме — в подчиненности «я», в отдаче первенства отношениям социальным, межличностным, где «я» существует лишь применительно к «другому». Солженицынский человек всегда дан в известной ситуации, в каком-то положении.

Солженицын заимствует свою технику монтажа документов и глав-экранов у Дос Пассоса (1919), хотя и «перевортыкает» ее. В своих «полифонических» романах он старается заменить старинное понятие главного героя понятием встречи, столкновения множества героев, ни один из которых не обладает никакими преимуществами против другого. Каждый персонаж, говорил он Павлу Личко, становится центральным, как только вступает в поле действия. Понятие «полифонический роман» введено Бахтиным, который считает полифоничность специфической особенностью романов Достоевского. Я не хочу сказать, что солженицынские персонажи обладают полной «свободой», которую Бахтин приписывает персонажам Достоевского. К тому же у Солженицына нет и метафизической контрверзы *pro et contra*. Полифонично не столько слово, сколько целостное восприятие. Каждый из персонажей глядит на всех остальных и цедит сквозь зубы свой внутренний монолог, обращенный к ним. Лучший пример этому — палата *«Ракового корпуса»*, девять больных, которые разглядывают друг друга, награждают — про себя — друг друга кличками, плетут сложную сеть взаимоотношений, в которой соседствуют бывший эзк и бывший охранник, мальчик Дема и старик Мурсалимов, робкий немец Федерлау и надменный, полный презрения аппаратчик Ру-

* Следует отметить, что рассказ Тюрина своей бригаде в *«Иване Денисовиче»* «неполон». Солженицын «дополняет» его в *«Архипелаге ГУЛаг»* (VII, 2).

* Интервью с Павлом Личко в марте 1967. См. *«Kulturny Zivot»*, Bratislava. 1967. № 13.

санов. Но и шарашка в Марфино, и лагерь Ивана Денисовича, и школа в рассказе «Для пользы дела» — это тоже «узловые точки», через которые проходит множество «персонажей-плоскостей». В некотором смысле традиционный рассказчик заменен здесь слушателем, который чутко ловит каждый шепот, каждое бормотание... Или, скорее, не внешний голос здесь улавливается, а внутренняя речь каждого. Мы скользим от одной внутренней речи к другой, точнее — от одного восприятия к другому, от одного скрытого экрана к следующему. Главное здесь — взгляд. Можно назвать десятки сцен с таким скольжением от одного взгляда к другому, где известное поведение — в том виде, как оно воспринимается извне, — передано с детальностью этнологического описания. Вот Костоготов пристально смотрит на Шулубина: «Как Шулубин упорно молча на всех смотрел, так и Костоготов начал к нему присматриваться, а сейчас видел особенно близко и хорошо. Кто мог быть этот человек? с таким нерядовым лицом?.. Не глаза, а всю голову Шулубин повернул на Костоготова. Ещё посмотрел на него, не мигая. Продолжая смотреть, странно как-то обвёл кругообразно шеей, будто воротник его теснил, но никакой воротник ему не мешал...»

В «Круге первом» самый удивительный поединок взглядов тот, в котором сходятся Сологдин, только что уничтоживший свой проект абсолютного шифратора, и полковник Яконов, чья карьера целиком зависит от этого проекта. «Я уничтожу тебя!» — налились глаза полковника. — «Хомутай третий срок!» — кричали глаза арестанта». Говорят глаза, воспринимают слова экраны сетчатки: «Инженер-инженер! Как ты мог?!» — пытал взгляд полковника. Но и глаза Сологдина слепили блеском: «Арестант-арестант! Ты всё забыл!» Взглядом ненавистным и зачарованным, взглядом, видящим самого себя, каким не стал, они смотрели друг на друга и не могли расцепиться».

Слово обманывает, камуфлирует, лукавит; взгляд раскрывает самую суть человека. Стыки в солженицынском повествовании — это поединки взглядов или взаимные их приобщения: голубой кружок с черною дырочкой посредине, а там, за нею, — нечаянный мир, единственный, неповторимый.

«Ястребиные глаза лагерника» научаются все замечать и все решать в единый миг, «проскальзывать вмиг по разложенным вещам» в микрокосмосе камеры, но также — и угадывать, кто прячется за черною дырочкой каждого значка: предатель? трус? или же товарищ? Особая симпатия, кото-

рую питает Солженицын к «военной косточке», объясняется тою плотностью, какую обретает время в боевых действиях: минуты, мгновения даже — и решение принято, и человек всего себя, до конца, вложил в поступок, который может спасти, а может и погубить, и становление человека бьет из самых недр его существа. Так, «на току», где «гигантские цепи вымолачивают зёрнышки душ», встречаются глаза полковника Воротынцева и солдата Благодарева: «В беззвучном грохоте, от всего мира отъединенные, только двое они, одни на всей Земле живые, смотрели друг на друга человеческим, последним, может быть, взглядом».

Видеть и — еще того более — знать, что тебя видят! Все большие произведения стягиваются к встречам взглядов, к «межмозговым» обменам, в которых рождаются и ценности, и самая жизнь. Время тогда сжимается, как для Самсонова в тридцать первой главе «Августа», когда он вдруг вспоминает фразу из немецкой хрестоматии «Es war die höchste Zeit...» — было «высшее время» действовать, изменить положение, «будто время могло быть пиком, и на этом пике миг один, чтобы спастись».

Само собой разумеется, что такое предельное уплотнение времени становится возможным лишь благодаря строгой и точной — час за часом, а иногда и минута за минутой — хронологии. Действие «локализуется» даже с помощью астрономических указаний. Так, в «Августе Четырнадцатого» звездное небо появляется во многих сценах и служит для ориентирования в ночных передвижениях. Ночь 13-го августа буквально утопает в бое космических часов созвездий. Солнечное затмение, упоминаемое в главе четвертой («Как военное испытание России — так солнечное затмение»), находится в точном соответствии с астрономическим календарем. Одна французенка-математик, Люсьенн Феликс, показала, с помощью астрономического ежегодника, неукоснительную точность астрономических деталей у Солженицына в главе двадцать первой «Августа Четырнадцатого».

Это крайнее уплотнение времени, достигающее предела в воинском жертвоприношении, противопоставлено камуфляжу, идеологическим речам, нескончаемым внутренним речам персонажей, которые хитрят со временем, накапливая сведения для будущих доносов, лелея планы нескорой мести или неторопливых захватов. Таковы русановские бормотания сквозь зубы в «Раковом корпусе», долгий монолог Сталина в его кремлевской комнатке с наглухо зашторенным окном («В Круге первом») или

еще язвительный внутренний монолог Ленина, придирчиво оглядывающего своих соратников за столом в ресторане Штюсихоф в Цюрихе. Надо заметить, что солженицынский Ленин — персонаж удивительно двусмысленный, как бы шарнирный в художественной системе Солженицына. Педантичный и колючий идеолог, своего рода педагог от революции, ожесточенный вечными неудачами (вплоть до 1917), он ведет долгий монолог — плод внимательного, придирчивого чтения ленинских трудов, статей и писем, сведенных в «Полное собрание сочинений», — и эта бесконечная внутренняя воркотня есть сама модель идеологического действия, поведения. Но в то же самое время этот Ленин, который так и дрожит от нетерпения, которого все раздражают, такой сухой и едкий, — он какое-то подобие безработной пружины, он неуязвимый и несокрушимый дуэлянт, обладающий стремительным взглядом полководца: «Ленин пошёл на Скарца с пронизывающим косым взглядом (такой взгляд всегда пугал)». Скарц «опешил перед этим режущим взглядом щёлок глаз и недобрым изгибом бровей, усов, а всё остальное — как мяч футбольный, накативший ему в самое лицо».

Существует, считает Солженицын, как доброе, так и злое употребление человеческого времени. Кто тянет и откладывает, хитрит и лукавит, прячет свои способности или изъяны, тот употребляет время во зло. Кто хватает на лету невидимый мяч случая и риска, тот добрый потребитель человеческого времени. Вот в «Августе Четырнадцатого» изворотливый и бездарный Ключев лицом к лицу с горячим Первушиным: «...Ключев... сразу не полюбил Первушина, с неусыпаемой выставленной отвагой в его дерзко выпуклых глазах». Между человеком и временем возможно идеальное соответствие: ни лихорадочной спешки, ни мешканья. Таков Иван Денисович на стене, при 27 градусах мороза, когда раствор замерзает, если не успеешь вовремя положить кирпич: «Быстро — хорошо не бывает. Сейчас, как все за быстротой погнались, Шухов уж не гонит...» Таков и генерал Нечволодов: «А замечал он в жизни не раз, что с твёрдостью бываем мы у цели не позже, чем при быстроте, да шаткой, переключивой на несколько дорог». Таков и урок, который извлекает Олег Костоготов из своей встречи со старинной, азиатской частью Ташкента: «Усваивал Олег, вот и награда за неторопливость: никогда не рвись дальше, не посмотрев рядом».

Лучший критерий этого соответствия между человеком и временем — удачная, хорошо

сделанная работа. Творчество Солженицына все проведено моментами чистой радости, чистого освобождения души, даруемых трудом. На шарашке в «Круге первом» Сологдин берет на себя дополнительную физическую работу — пилит дрова по утрам. Занимается день — и «нерушимый покой» нисходит в его душу: «Глаза сверкали, как у юноши. Распахнутая на морозце грудь вздымалась от полноты бытия». Эта полнота противостоит дурной спешке «коммунистических обязательств» и роботов сталинского аппарата, в которых угодливая торопливость на глазах начальства смешана с циничным сибаритством, вступающим в права в тот самый миг, когда начальство отворачивается. Таким образом, почти в каждом произведении связь со временем, отношение к нему взвешены на весах человеческого труда.

В хаосе истории, пущенной под откос, когда ни один принцип старинного права или старинной мудрости более не соблюдается (прежде говорили: «один свидетель — не свидетель», теперь довольно одного доносчика, чтобы кому угодно скатиться в ад), в мире, где все слова, все человеческие связи извращены, люди вновь обретают полноту бытия в мимолетном соответствии со временем, мимолетном и неизменно жертвенном: в тяжком труде, в любви или в смерти.

День занимается, когда Сологдин испытывает острое наслаждение жизнью за пилкою дров. Солнце клонится к закату, когда Олег, в обществе медсестры Зои, вновь открывает для себя любовь. Творчество Солженицына насыщено всевозможными знаменами и знаками, музыкальными и световыми; ими отмечены миги полноты. «Молчали. Солнце проступило в полную ясность, и весь мир сразу повеселел и осветился». Золото заката зажигает голубую скатерть — символ мира и покоя — и торжественно поет «мелодию узнавания». Эпизод переливания крови, когда между Олегом и «Вега» устанавливается поэтический контакт влюбленности, тоже обозначен игрою света и молчания. «Всё в комнате было как-то празднично, и это белесосолнечное пятно на потолке особенно». И снова: главное выражается взглядом (а кругом молчание и свет!), когда «глаза как будто теряют защитную цветную оболочку, и всю правду выбрызгивают без слов, не могут её удерживать». Французская исследовательница Жаклин де Проайр справедливо заметила, что Зоя и «Вега» — это Эрос в двух своих аспектах, чувственном и духовном. Женские портреты у Солженицына могут ка-

ваться обедненными, нескладными даже, а иной раз и откровенно претенциозными. Правда, французский писатель Владимир Волков вспоминает в своем письме ко мне: «Я помню удовольствие, которое я испытал, читая «В Круге первом». Я говорил себе: вот мужчина, который любит женщин!» Как бы то ни было, в произведениях Солженицына мы не встречаем ни великих любовников, ни демонической леди Макбет. Его общество — это общество мужчин. Женщина здесь — всего лишь воспоминание, или утрызение совести, или гостья, или игра в любовь. Любовь на шарашке — это любовь-калека. Свидания каторжников с оставшимися на воле женами — это мучительные испытания: срок заключения беспоощажен к любви. А женщины чувственного типа у Солженицына — все сплошь кокетки или эгоистки, они и в счет не идут.

Его подлинные удачи — женщины, которых нет: Надя — жена Глеба, Агния — потерянная невеста Яконова. Или еще бессловесные страдалницы, которые проходят, словно тени: женщина, моющая лестницу в доме прокурора Макарыгина, санитарка Елизавета Анатольевна. Тайну женщины лучше всех выражает Агния. Это «Изольда с алмазной душой». Греческое ее имя обозначает чистоту, и она символизирует любовь, отрекающуюся от плоти. Воспоминание о ней всплывает в измученном сознании Яконова, когда «бездна зовет назад». Агния презирает плотскую любовь, «только и способную отвращать мужчину от великих поступков». В замечательно написанной сцене она приводит жениха на паперть церкви Никиты Мученика, что стоит над крутым берегом Москвы-реки. То же заходящее солнце, которое у Достоевского сопровождает идею человеческого счастья, «золотого века», ласкает церковь, в которой звучит канон Богородице. «Канон писал не бездушный церковный начетчик, а неизвестный большой поэт, полоненный монастырем; и был он подвижником не короткой мужской яростью к женскому телу, а тем высоким восхождением, какое способна извлечь из нас женщина». Эрос связан с красотой мира, со священной красотой, облаканный светом дня, который всегда есть «первый день Творения».

Но еще прочнее, чем с Эросом, связаны солженицынские герои с Танатосом, со Смертью. Самоотречение, которое, по Агнии, сопричастно любви, достигает полноты в принятии собственной смерти, в пересечении той черты, за которую биологический эгоизм уже не властен над нами. Каторжник, неисцелимый больной, солдат под

вражеским огнем — герой Солженицына всегда находится в ситуации, которая приводит его к этой черте и ставит перед выбором: переступить или отступить. Образцовую в этом отношении ситуацию создает война. Воин отказывается от самосохранения и ведет жизнь, полную напряжения, «со смертью впритирку». И каторжники Экибастуза — тоже: они «рвут цепи наощупь» («Архипелаг». Часть пятая, глава 11), они сразу, в восторге отчаяния обрасывают те жалкие пути, которые их опутывают еще, — будь то срок, подходящий к концу (лучше бы не ввязываться в восстание), будь то далекая семья, с которой уже не свидеться, будь то просто-напросто жизнь, которая даже в унижении, в муках, в голоде все-таки льнет к человеческой душе. Вдруг, безрассудно и незримо, ударила струя отречения, и это почти чудо в заморенных голодом существах. Ла Бозси, которого Солженицын читал на шарашке, в «Рассуждении о добровольном рабстве» утверждает, что «первая причина, по которой человек рабствует добровольно, есть то обстоятельство, что он рожден рабом и воспитывается как раб». Восставшие в Экибастузе были рабами до того момента, когда, загадочным образом, вдруг забила струя их свободы.

Этот прорыв, это «восхождение» и есть замок свода в исполнительской «саге о темницах», которая носит название «Архипелаг ГУЛаг». Летопись советской каторги, одиссея различных и бесчисленных «потоков» ссыльных, энциклопедия лагерного мира, учебник этнографии для изучения «нации эзков» — «Архипелаг» мог бы стать только мемориалом, как «Яд Нашему» в Израиле, где выстроились в ряды два миллиона имен. И, в каком-то смысле, «Архипелаг» — действительно, памятник числу, числу-отходу, -отбросу, как выразился Соллер, сплетение бессмыслицы, слоаса *taxima*, где надывается и гибнет целое человечество под бирками и номерами. «Архипелаг» мог бы стать также литературной свалкой бессмыслицы. Ибо о чем иным, как не о бессмыслице может идти речь, если религия общественного счастья устраивает, учреждает подполье ужаса, страдания, подполье для недочеловечества, где свирепствуют насилие, хитрость, бесстыдство, разврат... Это она, бессмыслица, гонит Русанова ползком по бетонной канаве его же собственного страха. Это она царит самовластно в мучительных «Колымских рассказах» Варлама Шаламова: люди-отбросы, люди-шакалы, мир колючей проволоки и пистолетов-пулеметов... детский рисунок, который рассказ-

чик находит в помойке, где он роется, вместе с другими, в поисках объедков, рисунков, изображающих сказочного героя Ивана-царевича в виде охранника с автоматом на фоне лагеря... весь мир превратился в ГУЛаг, и жалкие остатки памяти (вспоминать для лагерных теней — усилие непомерное, неподъемное) опутаны колючей проволокой... Шаламов не знает иной границы, кроме той, за которою человек — не человек уж более: «Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт — целиком отрицательный до единой минуты. Человек становится только хуже. И не может быть иначе. В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек. Но видеть дно жизни — это не самое страшное. Самое страшное — это когда это самое дно жизни человек начинает — навсегда — чувствовать в своей собственной...»

Знает эту границу и «Архипелаг» — приближается к ней, пытается описать моральное растение, «скотство» (впрочем, Солженицын отказывается от этого слова: ни один «скот» во всем творении не способен вести себя так, как человек), однако же — оговаривается: «Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле растлеваются, да отменней лагерников иногда». В этой второй главе Части четвертой ощущается постоянный диалог с Шаламовым: многие растлеваются, но иные держатся. Каким чудом? Конечно, душа опускается, покрывается «паршой», и к тому же Солженицын сам признается, что самого худшего он не изведal. «Получилась у меня только щель смотровая на Архипелаг, не обзор с башни». Щель — это «сумма» в 1600 страниц? эти семь частей, воскрешающие миллионы мертвых? Солженицын знает, что башни как раз-то и нет: было сделано все, чтобы скрыть, изгладить, не вестать... ГУЛаг выстроен на песке пропаганды.

«Архипелаг» мог бы стать ночью — как свидетельство Эли Визеля, ребенком вывезенного в Освенцим. В Судный День некоторые евреи, у которых еще хватает на это мужества, постятся, как того требует Закон. «Я не постился. Прежде всего — чтобы угодить отцу, который запретил мне поститься. Далее — в этом не было уже никакого смысла. Я уже более не принимал молчания Бога. Поглощая свою миску супа, я сам видел в этом акт бунта, протеста против Него» (Эли Визель. «Ночь»). Молчание Бога — здесь откровение, экзистенциальное, биологическое. Бог молчит, Бог умер, «Бог

любви, кротости и утешения» исчез навсегда. И тот же горький и бунтовской вывод у католички Женевиэвы Де Голль в статье о Равенсбрюке: «Пусть молятся те, у кого есть на то досуг, в тишине. А у меня уши и рот забиты криком отчаяния. Говорить, что это всего лишь испытание? Пусть говорят те, кто с удобством опускается на колени в своих церквях и храмах. Они не видели глаз затравленного зверя. На отчаяние не откликаются славословиями».

Опыт Солженицына приводит его к открытию противоположного свойства. Лагерь становится «прорывом к небесам». Человек-раб распрямляется, завоевывает внутреннюю свободу, ни с чем не сравнимую. Затем это открытие христианское, потому что рядом, открытие христианское, потому что «близкий» становится «ближним». Иссохшая душа орошается страданием. Тайнство стоящего перед человеком выбора меж Добром и Злом являет себя на гнилой тюремной подстилке. Примеры подлинной святости выходят на свет. Зэк, невинный, но «сопричастный злодеям», подобно Христу, в лагере может стать святым. Недаром первая глава Части четвертой завершается своего рода осанной: «Благословение тебе, тюрьма...»

Сияние Красоты достигает и «Архипелага». Она сияет в баптистах, крепких верою, в поэте Силине, который умиляется, наклоняясь над «редкою травкой, незаконно проросшей в бесплодной нашей зоне: — Как прекрасна земная трава! Но даже её отдал Творец в подстилку человеку. Значит, насколько же прекраснее должны быть мы!» Уже в «Огнем дне...» Алешка-баптист формулировал идею Солженицына, заимствованную у Святого Павла: «Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!» И, читая рассказ, ощущаешь, что Иван Денисович очень близок к Алешке, что в существовании его, тяжком, но честном, есть своя красота, что свет его души льется почти беспрепятственно и что его «малая вера» плеледами не заросла...

«Распрямленный» таким образом человек у Солженицына улавливает, в иные мгновения, отблески изначальной красоты вселенной. В этом ему помогает тюрьма, потому что она очищает душу, избавляет ее от «дурного приобретения», от всякого следа «хрематики», как сказал бы Аристотель*. В самом деле, Алешка показывает Ивану Денисовичу путь этого полного избавления, в конце которого человек не желает уже ничего, кроме «хлеба насущного» из молит-

* По-гречески «деньги» — *chrēma*.

вы Господней. Тюремная аскеза помогает солженицынскому человеку достигнуть **самоограничения**. Говорят, что у Солженицына обнаруживается известная слабость к тюремному заточению, — это верно. Но правильнее было бы говорить об этике заточения. Находясь в **ситуации** исторгнутости из повседневного существования, человек легче вырывает плевелы из своей души. Но нужно отречься от них добровольно. Только тогда переступишь порог пещеры и узришь платоновскую триаду Добра, Истины, Красоты. Так, Олег Костоголов, внутренне приняв сменяющие друг друга испытания — каторгу, рак, а потом и отказ от любви, бродит по старому городу в Ташкенте, и сперва ему открывается гармония между человеком и его жилищем (старые узбекские дома), затем — красота животного (антилопа в зоопарке, «чудо духовности», подобие библейской лани), и в особенности — дерево-цветок, урюк: «Он к самым перилам подошел и отсюда, сверху, смотрел, смотрел на сквозистое розовое чудо. Он дарил его себе — на день творения...» Чудо было задумано — и чудо нашлось. В *«Круге первом»* центральный символ — рыцари Грааля. Узники марфинской шараги, освобожденные тюрьмой, избавленные от всех связей и владений, которыми нас нагружает и награждает обыденная жизнь, плывут, как некий мистический корабль, по безбрежному океану. В день «протестантского Рождества» они, сойдясь за «сократическим пиром», говорят и высказываются вольно на все темы. Их застолье противопоставлено «ложному пиру» у прокурора Макарыгина. Тут — абсолютная бедность и абсолютная воля, там — изобилие, но сопряженное со страхом и «рабством». Центральная глава носит название «Замок святого Грааля»; это таинственный центр произведения, средоточие, сообщающее ему его смысл. На шараге работает художник Кондрашев: он составляет начальству лживые портреты и патриотические полотна. Но оторванный от современного искусства и даже от природы — намордниками на окнах, — он, в одиночестве, помимо заказных работ, ведет поиск Невидимого и Совершенного. Придя проститься с художником, Нержин рассматривает последнюю его картину — «Осенний ручей». Кондрашев — художник-«шекспирист» русской природы. Ничто не бесит его так, как Русь ласковая и пресная, введенная в моду Левитаном в прошлом веке. «Но не тут было главное, а — в глубине: густою грудью леса стояли оливково-черные ели, в первом же ряду их беззащитно светилась единственная берёза. От её жёл-

того нежного огня ещё мрачней и сплоченней стояла хвойная стража, поднимая острые пики в небо». Этот копьевидный лес на фоне медвяного неба — это страстно искомое Кондрашевым равновесие между силой и светом, это синтез («понимание, успокоение, всоединение»), которого он ищет и в стылой, спокойной воде этого «осеннего ручья» и в «изувеченном дубе», реминисценции из «Войны и мира», и в самой тайной из своих картин: Парсифаль впервые видит замок святого Грааля. Рыцарь поднимается по крутой тропе над бездной, по «клиновидной щели между двумя сдвинутыми горными обрывами» с «крайними деревьями леса — дремучего, первозданного». Верхняя часть полотна залита оранжевым светом, «исходящим то ли от Солнца, то ли от чего-то ещё чище Солнца, скрытого от нас замком». Этот замок, смутно видимый рыцарем, — «Образ Совершенства».

Солженицынские «рыцари» должны биться в одиночку, в одиночку выбирать свою дорогу на символическом распутье (как в русском народном эпосе об Илье Муромце). Их «подвиг» — в борьбе с порабощением и растлением души — требует от них полного отречения, какого в галантные средние века требовала от своего рыцаря дама. Но, выдержав испытание, искус, они достигают того перевала, с которого виден «Святой Грааль», иначе говоря — Совершенство, Божество Плотина. Достигнув перевала, рыцарь открывает сияние Вечности, как Шулубин в канун смерти («что во мне — это не всё я»), то есть своего рода образную Трансцендентность. Восхождение на такую высоту — удел мужественных и готовых на жертвы, оно выступает завершением пути, который скорее победа над самим собой, нежели поиск Грааля. Но тогда Существо, которое казалось столь безнадежно разодраным, испорченным, растлившимся, является взору в некоем Всеединстве, где все чистота: заходящее Солнце, первобытный лес. Агния любит уходить одна в чащу леса. «Она просто бродила там и сидела, своим умом изучая тайны леса». Поэзия новорожденного мира — это также поэзия *«Крохоток»* и *«Августа Четырнадцатого»*. В *«Августе»* по незапамятно древним Мазурским лесам бредут уцелевшие от военной катастрофы: Дон Кихот — Воротынцев в сопровождении своего верного Санчо Пансы — Благодарева, да еще остатки Дорогобужского полка, крестьяне из разных деревень, которые где-то в Пруссии, на просеке, составляют, по подобию пращуров, круг общинной Руси, Руси допетровской, христи-

анской, который, в полную силу легких, поет чин погребения. Полковника Кабанова погребают в нерукотворном кургане, в окружении тишины, и почетный караул несут сосны. И этот миг чистоты и народного **простодушия**, обретенных вновь,— вершина романа, в некотором роде апофеоз древней, богатырской Руси. «Раннее солнце уже теплilo столбы — и до позднего вечера весь обход не должно было уходить отсюда. Должны были белки любить это место, в весну — тянуться сюда зверьки на первые обсохи: здесь быстрее всего сходит снег, и никогда не стоит вода. А назад, откуда пришли они, гряда спадала просторным длинным склоном в просторную же впадину, и туда по чистым иглам между чистыми соснами хоть боком прокатывайся».

Почти что детский Эдем, где люди и животные снова обретают взаимное согласие, гармонию стародавних времен, гармонию рая, гармонию народных сказок и преданий. Лес незапамятный, принадлежащий не какому-нибудь народу, но Богу, лес невинный — в противоположность коварной болотистой чащобе, в которой гибнет армия Самсонова: «Какие-то места пошли здесь заклые: покинули они сухой высокий красный бор и ехали местностью низменной, закустаренной, вязкими песчаными просёлками и через многие неожиданные ручьи и канавы, канавы, перебирались только вброд». Речь идет о дурном лабиринте, налитом нечистой водой, где бродят обезумевшие кобылы, где раздуваются брюха впаших лошадей и чернеют скрюченные трупы бойцов.

Космическое чувство Творения, изначально прекрасного во всем, чувство той красоты, о которой говорит Книга Бытия, напитывает кульминационные эпизоды в любом произведении Солженицына. Мир — это, поистине, «нерукотворенный» образ. Зло объясняется грехопадением, то самое Зло, которое, как кажется при первом чтении, властвует в солженицынской вселенной безраздельно. Но Солженицын отклоняет всякое «истолкование» гностического или идеологического порядка: зло, он уверен, должно быть обозначено «персонально», в каждом случае оно проистекает из личного падения человека. Если Русанов ползет по трубе угрызений совести, захлебываясь страхом, так это потому, что **его собственная** душа не выдержала, пала. Никакой «абсурд» Камю или Кафки не приходит у Солженицына на помощь Злу, разве что в самой малой мере; а ведь он, пожалуй, самый мощный художник Зла во всей современной литературе. Наконец, чувство ис-

купления утверждает себя через посредство **совести**, этого подлинного мерила этики, о котором Солженицын говорит в ответе трем студентам ²¹. Здесь, однако, платоновская концепция Солженицына начинает хромать. Христа, по всей видимости, в его творчестве нет. Что это? «Знание», которое мы обнаруживаем у гностиков или же целомудренная стыдливость, столь очевидная у великих христиан, анафематствующих современность, таких, как Бернанос или Блауа? Спасение у Солженицына — это, по-видимому, запас Добра, который хранится в каждой душе. При рождении, говорит он, человек наделяется некоей Сущностью: это ядро человека, его «я». Никакие внешние условия не способны эту Сущность предопределить. Кроме того, каждый несет в себе Образ Совершенства, который иногда затмевается, но иногда вдруг просияет с необычайной силой. Мысли эти подтверждает «Молитва» — текст мало известный**.

МОЛИТВА

Как легко мне жить с Тобой, Господи!
Как легко мне верить в Тебя!

Когда расступается в недоумении или

сникает ум мой,

Когда умнейшие люди не видят дальше
сегодняшнего вечера

И не знают: что надо делать завтра,—

Ты снислаешь мне ясную уверенность,

Что Ты есть и что Ты позаботишься,
И б... б... б...

Чтобы не все пути добра были закрыты,
На работе добры будьте вы.

удивлением

На тот путь через безнадежность

слюга.

Откуда и я мог послать

Человечеству отблеск лучей Твоих.

И сколько надо будет, чтобы я их еще

отразил,— Ты дашь мне.

А сколько не успею — значит, Ты

определил это другим***.

Нельзя не отметить беспощадность суждения Солженицына об уголовниках в лагере: жестокие и алчные, они, кажется, навеки погрязли во зле. Ни одного примера искупления в этом случае нам не дано. Конечно, это определяется также и эпохой. Сталинские лагеря умышленно подстраивали внутреннюю борьбу не на живот, а на смерть. В более позднее время эта жестокость «урок» к «политикам» не только уменьшилась, но даже началось какое-то

* «Cahiers de l'Herne», c. 51.

** В «Теленке» Солженицын рассказывает о том, как он возник, но самый текст не приводит.

*** В 1976 г. Солженицын сообщил японскому профессору Г. Утимура, тоже бывшему заку, что эта молитва родилась случайно и не предназначалась для печати.

братание, о котором нам рассказывают книги Синявского и Эдуарда Кузнецова.

В пьесе «Свеча на ветру», где поставлены многие из проблем «Ракового корпуса», только в другой среде — научной и англосаксонской, — вывод такой же пессимистический: внутренний свет не угасает только в существах искалеченных, страдающих — в Альде, которую биокрибернетика не смогла превратить в робота, в старой и нищей тете Христине, в смертельно больном Тербольте... «Как в природе нигде никогда не идет процесс окисления без восстановления (одно окисляется, а другое в это самое время восстанавливается), так и в лагере (да и повсюду в жизни) не идет растление без восхождения. Они — рядом». Эти мучительные сомнения Солженицына, эти страшные и грозные доводы, которыми он пытается опровергнуть самого себя, составляют, впрочем, силу его творчества. Мгновения светлого, радостного созерцания — это, в целом, редкие «пики» в жизни человека. Чтобы подняться на них, нужна энергия, та внутренняя энергия, которая, в какой-то миг, изменяет генералу Самсонову: «Он хотел только хорошего, а совершилось — крайне худо, некуда хуже». Только богатыри достигают «места светлого и покойного», о котором поет чин погребения. Замок свода небес? Да, но это не значит, что и здесь, внизу, на распутьях, не надо вести битву самую напряженную. Ибо «растление» подстерегает человека.

«Нобелевская лекция» дает нам набросок философской системы писателя. Солженицын говорит в ней о назначении искусства. Исходя из платоновского принципа триединства Красоты, Истины, Добра, т. е. Совершенства, Солженицын задается вопросом об очевидных поражениях, которые терпят все три этих принципа: Зло часто побеждает Добро, и царства достаются нечестивым (говоря языком Блаженного Августина), ложь искажает и часто стирает Истину. Мир ГУЛага — еще в большей мере мир лжи, нежели Зла. Солженицын полагает, что в этих трех сферах — эстетической, эпистемологической и этической — человеку открыт непосредственный доступ к Совершенству. Доступ этот, однако, преграждает или даже наглухо закрывает свобода выбора, которой располагает человек, — свобода отвергнуть запас Добра ложью, саморастлением. Но искусству, как видится, дана при этом высшая эсхатологическая миссия. Напомнив, что Достоевский (в «Идиоте») «загадочно обронил однажды: «Мир спасет красота», Солженицын утверждает за искусством ценность непреходящую

и действующую: ложь и насилие могут исказить непосредственное восприятие Истины и Добра, заложенное в каждом, может случиться временное и частное «затмение» справедливости, но Красота затмений не знает. Она рождается от дара Божиего, которым наделена личность, она бывает и переменчива, и капризна. Но произведение живое и продажное дара красоты иметь не может: «Слова отзвучивают и утекают как вода — без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа». Красота, искусство оказывается основным критерием. Искусство не может лгать, не может служить насилию. Иными словами, Солженицын превращает искусство в главное орудие, которым Бог учредил на земле Царство Второго пришествия. Совершенно очевидно, что эта эсхатологическая миссия, приписываемая искусству (и подтвержденная, в глазах автора, действительностью «Архипелага ГУЛаг»), стоит в одном ряду с другими пророческими настроениями русской литературы — с провидениями Гоголя, Достоевского, Толстого. Толстой в статье «Что такое искусство?» диаметрально противоположен Солженицыну: с запальчивостью доказывает он, что красота не совпадает с Добром, что часто она вредна, лжива, ведома страстью. Тем не менее истинное искусство, безличное и народное, к которому взывает Толстой, несет ту же пророческую и эсхатологическую миссию, что у Солженицына. Эсхатологическая мечта живет в душе Солженицына, это несомненно. Это она ключ свода его соборов. Призыв к отказу от лжи связан у него с этой миссией искусства. Существует Красота истории (красота мучеников и святых), неотделимая как от красоты пророческого искусства, так и от Добра. Существует также и красота народов, но она обнаруживается лишь тогда, если народы не таят от самих себя свое назначение, свой истинный долг (для России это «самоограничение», к которому призывает ее прекрасная и суровая земля). Как только затмевается одна из трех составляющих платоновского триединства, темнеют и две другие. «Август Четырнадцатого», в центре которого стоит благородная и благостная фигура генерала Самсонова, показывает это в применении к старой России. Широкий лоб и величественная осанка этого «допетровского» человека сияют Красотой и Добром. Но Истины ему не достает. Не то, чтобы он лгал, но самые слова Истины утрачены им. Он разучился говорить со своими людьми. Вместе с ним сама старая Россия оказывается неспособной к истинной

речи: «Нет, слово — утеряно было, не находилось».

Так эстетика Солженицына приводит к эсхатологии. Бунтующий дух по преимуществу, гениальный обличитель, противопоставляющий «извращенной» реальности нашего времени прометеевское «нет», Солженицын несет в себе ту утопию Царства примирения, которая уже два тысячелетия вдохновляет людей. В мятеже и в жертвенности, в отказе и в согласии, щепка в водвороте истории и пророк метаистории Примирения, Солженицын есть некое равновесие (готовое вот-вот рухнуть и постоянно обретаемое вновь) между Борьбою текущей минуты и Неизменностью божественного Совершенства.

Бешеные и противоборствующие силы реальности всегда уравниваются в каком-то ключе свода. Поток истории проходит через эти озера созерцания. В рассказе

«Как жаль» этот миг полноты и созерцания приведен скромной каплей воды на одном из московских бульваров. В «малой» ли форме стихотворения в прозе, в «большой» ли — «повествования в отмеренных сроках» (тысячи страниц *«Красного колеса»*), любое произведение Солженицына скрывает в себе этот тайный порядок. Космология эта не так открыта взгляду, как дантова, но вдохновляется тою же самой неоплатоновской гармонией. Напомню в заключение терцину из «Божественной комедии»:

Но предо мной видение предстало
И к созерцанью так меня влекло,
Что речь забылась и не прозвучала.

(Пер. М. Лозинского)

Солженицын тоже укрощает, упорядочивает необъятный поток истории, чтобы привести нас к этим озерам света, где «прочитывается» строй всеединства.

Борец

Мы уже знаем, что визионерской фантазии Солженицына приходится сталкиваться с замутненностью реальности. И тогда он становится борцом, яростным сатириком, гениальным тактиком. Все начинается с бунта: «Он шел под бичом хозяина. Но вот он оборачивается — лицом к опасности» (Камю). Сперва глухой бунт против извращения всех смыслов, навязываемого идеологией. Нержин в «Круге первом» слышит «немой набат» истории — во время процесса «промпартии», одного из самых ранних великих псевдосудилищ, еще на заре 30-х годов. Этот «немой набат» Солженицын заимствует у Виктора Гюго, из «Девяносто третьего года»: маркиз де Лантенак, один из трех главных героев романа, видит, как раскачивается набатный колокол, но не слышит его рева, уносимого бурей. Возможно, что и самое трехфигурную схему «Круга первого» Солженицын заимствовал у того же Гюго, прославляющего три чистые и неукротимые души, разведенные политическим выбором, но соединяемые вновь честью и смертью. В каком-то смысле Сологдин — это маркиз де Лантенак, душа вандейского бунта, Рубин — Симурдэн, душа плебейской борьбы, а Нержин — Говэн, связанный и с тем и с другим, приемный сын одного, доверенный помощник другого. Как бы то ни было, но и образ «немого набата», и своеобразная поэтика борьбы взяты из «Девяносто третьего года».

Нержин понимает инстинктивно, что власть лжет. Это всего еще только замешательство перед обманной речью. «И одиночество ознобило его — взрослые мужчины, толпившиеся рядом, не понимали такой простой вещи!» Это замешательство, это одиночество не проходят бесследно ни для кого. Клара Макарыгина встречает враждебный взгляд заключенной, которая моет лестницу в доме МГБ, в том доме, где Кларин отец, прокурор, занимает роскошную квартиру. И эта единственная встреча превращается в навязчивый призрак, который она старательно обходит всякий раз, как подымается или спускается по той лестнице. Не всегда замешательство вырастает в бунт. Оно может и истлеть внутри, опустошая человека, как опустошило Шулубина, этого необычайного «филина»-молчуна из второй части «Ракового корпуса». Под конец жизни этот «филин» решается, наконец, признаться Олегу: «Вас арестовывали, а нас на собрания загоняли: прорабатывать вас. Вас казнили — а нас заставляли стоя хлопать оглашенным приговорам. Да не хлопать, а — требовать расстрела, требовать!» Безумный смех Шулубина сопровождает его признание в постепенной деградации. Пламенный большевик в 1918, травивший эсеров, рубавший крестьян-повстанцев, он становится блестящим преподавателем Тимирязевской академии, а потом начинает скатываться по наклонной плоско-

сти: он не лжет по собственной воле, но и не восстает против лжи. Хотя он почти не раскрывает рта, Русанов учивает в нем врага: «Не уважал Павел Николаевич таких людей, которые в жизни идут не вверх, а вниз». И вот он уже ассистент, вот библиотечкарь — «сует в печку генетику — левую эстетику! этику! кибернетику! арифметику!..» «Зачем нам костры на улицах, излишний этот драматизм? Мы — в тихом уголке, мы — в печку, от печечки тепло!..» Ложь ранила Шулубина и тысячи других, но они не взбунтовались. Рубин, честный марксист шарашки, ощутил эту рану, когда молодым комсомольцем «коллективизировал» украинские села, доведенные до чудовищного голода в 1932. Как в пушкинском «Пире во время чумы», возник смерти проезжал каждое утро и выкликал сначала: «— Покойники е? Выносьтэ.— А скоро и так: — Э? Чи тут е живы?» Это воспоминание «сейчас вжато в голову. Врезано калёной печатью. Жжет. И чудится иногда: раны тебе — за это! Тюрьма тебе — за это! Болези тебе — за это!»

Солженицын упорно спрашивает себя: откуда эта пассивность его сограждан? откуда его собственная пассивность? Проверка собственной совести — одна из главных слагающих «Архипелага». Но самое примечательное — то, что, несмотря на два три поклона в сторону Кестлера, Солженицын не дает никакой веры главному тезису «Спящей тьмы». Дialeктика революции, приводящая «под знаменем свободы к лагерям рабов» (это слова Камю), кажется ему ложью. Он объясняет проще сплетение обстоятельств, приводящее Бухарина к низкому отступничеству. Вглядываясь в самого себя, в свое офицерское прошлое, Солженицын вздыхает: «Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье». Ибо власть развращает: «Власть — это яд, известно тысячелетия! Да не приобрел бы никто и никогда материальной власти над другими!» Доступ к привилегиям портит человека с поразительной быстротой. Юный лейтенант Солженицын, получив, после суровой выучки в офицерской школе, погонны, круто разделяется с отцами семейства и даже с дедами, которые обязаны выполнять его приказы и обращаться к нему на «вы». «Вот что с человеком делают погонны! И куда те внушения бабушки перед иконкой! И — куда те пионерские грезы о будущем святом Равенстве!» Солженицын отвергает категорически кестлеровскую казуистику комиссара и обвиняемого. Для него существует только порок — насилие, эгоизм, гордыня, расизм, классовая ненависть (та

самая, которую проклинает Шулубин, пушкинский мельник-ворон). Раз угнездившись в человеке, порок разрастается. «Молча о пороке, вгоняя его в туловище, чтобы только не выпер наружу, — мы сеем его, и он еще тысячекратно взойдет в будущем». Это применимо как к «Бухарчику», игрушке неторопливого политического сатанизма Сталина, так и к миллионам «кроликов», молча подставлявших затылок под пулю палача.

Клод Лефор объяснил, «почему Солженицын обходит презрительным молчанием словопрение прокурора и обвиняемого». Солженицын приводит много примеров, когда коммунисты — жертвы сталинизма ровно ничего не изменяли в содержании своих дум и речей и только находили новое место для врага (например: враг засел в ГПУ).

Бунт начинается с «нет». «Архипелаг» — не только монументальная хроника насилия, но и мартиролог тех, кто сказал «нет». С помощью 227 «соавторов», чьих имен он не может пока открыть, Солженицын восстанавливает свидетельства этих героев сопротивления, которые противопоставили свое «нет» всей машине уничтожения. От коммуниста Власова, «заведующего РайПО» (районное потребительское общество), «кооператора-самородка», до тех, кого не было на «больших процессах» (раз их не было, стало быть, они отказались опорочить, испакостить себя), и, особенно, до святых, чьи портреты набросаны в эпилоге Четвертой книги. Это люди, которые не дают сломить свою душу вместе с телом. Но, за этими исключениями, человеческая натура развивается не быстрее, чем геологические процессы... Страх, доноительство, порок прочно живут в человеестве, и мы находим у Солженицына целую антропологию порока, от «живых трупов» — сытых доносчиков до обезьяноподобных уголовников, чинящих зверское насилие в тюремных вагонах, на этапе. «Границы» человека «непостижимы» — какверху, так и внизу...

Один из самых прекрасных бунтарей «Круга первого» — старый инженер Герасимович, который отталкивает приманку досрочного освобождения простым сарказмом: «— Это не по моей специальности,— пискнул он... — Я не ловец человеков»*. Бунтари должны вновь научиться искренности и правдивому слову с помощью иронии, юмора, неспровергающего смеха. «Литература смеха под сурдинку или «черного» смеха», как пишет французский исследователь Юлия Кристева. Персонажи Сол-

* Слова Христа из сцены «Призвание Симона и Андрея (от Матфея, IV, 48).

женицына — «скандалистка». Они научились сопротивляться в мелочах. Это особый «микрогероизм» (который мы открываем и в книгах Буковского или Эдуарда Кузнецова). Микрогероизм насмешки. Нержин добивается, чтобы ему возвратили томик Есенина, который он, однако, не имеет права взять с собой, покидая шарашку, и дарит слепому дворнику Спиридону. Из чистого удальства и без всякой пользы отвоевывает Нержин синюю книжицу «деревенского драчливого парня», который «нашел столько для красоты» в смиренной русской деревне, ту самую синюю растрепанную книжицу, с которой Солженицын не расставался в Марфине и которую отдал Копелеву, уходя на этап, в лагерь. Олег Костоглов затыкает рот Русанову, соглашаясь на переливание крови потому, что кровь была взята 5 марта (день смерти Сталина): «— Пятое марта — это нам очень подходит! — оживился Олег. — Это нам полезно; он дерется за свое право прожить остаток жизни так, как считает нужным».

Смех освобождает каторжников от их целей. Многие главы «*Круга первого*» представляют собою освободительное шутство, катарсис каторжного мира посредством насмешки. Так, в главе 55-й происходит суд над князем Игорем, который, по советским нормам 1947 года, признан виновным в измене Родине, диверсионной деятельности, шпионаже и сотрудничестве с иностранной державой, «то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1-6, 58-6, 58-9 и 58-11 УК РСФСР». Пародия на правосудие, разыгрываемая всею камерой, вызывает безудержный смех, потому что каждый из эзков обнаруживает свое собственное «дело» в процессе «Ольговича Игоря Святославовича, по специальности полководца». Другой пример освобождающего смеха — рассказ «*Улыбка Бугды*»: необычайные включения одной камеры в Бутырской тюрьме, камеры, выбранной «наугад» для показа госпоже Рузвельт (анекдот в духе и в традиции потемкинских деревень).

Эту разрушительную иронию Солженицын применяет везде и повсюду, направляя ее против монолита идеологии. Он яростный насмешник (хотя и отказывается это признать) и, в этом отношении, подлинный ученик Достоевского, автора «Бесов», мастера сарказма и разрушительной иронии. В самом деле, хотя Достоевский и предостерегает своим героем «полифоническую» свободу, он без конца иронизирует над ними, доходя до жестокости, когда речь идет о «либералах», плетущихся в хвосте у «радикалов» (как, например, Степан Тро-

фимович, прихлебатель генеральши Ставрогинной). Ирония Солженицына обращена против всех представителей идеологии — «мертвых душ», говорящих «деревянным языком». Часто она выражается в авторском комментарии, как бы между прочим накладывающемся на прямую речь. Автор судья выслеживает своих героев и ловит их за руку — уличает во лжи. Этот прием, достаточно заметный уже в «*Раковом корпусе*», приобретает самое широкое распространение в «*Ленине в Цюрихе*» и во многих главах «*Октября Шестнадцатого*». Кажется, будто, становясь историком, Солженицын неспособен хранить хладнокровие перед лицом исторического документа. Он рассказывает о заседании Думы 1 ноября 1916, цитирует парламентские стенограммы Таврического дворца, но — начинает свой рассказ саркастическими замечаниями. Это либо внутренние раздумья оратора, разоблачающие его трусость, тщеславие, двуличие, либо комментарии автора, указывающие читателю на всякие несообразности и шатания.

Сатирик — это борец, применяющий хитрость. Он не хочет раскрывать себя и свои планы до срока. Позиция Солженицына-сатирика претерпела удивительные изменения. В своих первых книгах он подкапывается под идеологическую ложь. Он выстраивает «*Круг первый*» и весь «*Архипелаг*» вокруг одного иронического сопоставления: ремесленное насилие былых времен — массовое производство насилия в двадцатом веке. Само название «*Архипелаг ГУЛаг*» (рифма в нем не случайна, но функциональна) — блестящая ироническая находка, отсылающая к Гомеру, только Цирцея, поставляющая жертвы промышленным свинофермам ГУЛага, фабрикам, перерабатывающим человека в отходы, Цирцея эта — безлика. «Розовоперстая Эос, так часто упоминаемая у Гомера, а у римлян названная Авророй, обласкала своими перстами и первое раннее утро Архипелага... Архипелаг родился под выстрелы «Авроры». Ирония — известна, скрепляющая эту исполинскую массу письма, она организует книгу и вносит в нее ритм, она прячется в примечаниях, проникает в скобки, неистовствует в шутовских пародиях и зловещих каламбурах. Исследование, посвященное «нации эзков» — пародия на антропологический трактат, где автор симулирует объективность и беспристрастность какого-нибудь Палласа или Линнея: «Автор... полагает, что настоящее исследование удалось, гипотеза вполне доказана; открыта в середине двадцатого века совершенно новая никому не известная

нация, этническим объемом во много миллионов человек».

Бесчисленные сравнения с прошлым дают нам масштаб для оценки того, что творится сегодня. Елизавета Вторая рвала преступникам ноздри, но во все ее царствование не было ни одной смертной казни. Декабристов сослали в Сибирь, но их жены получили высочайшее разрешение последовать за мужьями в ссылку. Помещики притесняли и тиранили крепостных, но пресловутая Салтычиха просидела в тюрьме одиннадцать лет. Где они, сегодняшние плачли, осужденные на одиннадцать лет тюремного заключения? Скрыто или открыто, употребляя старомодное «мы скромности» этнографа или саркастически атакуя Сартров и Расселов, автор «Архипелага» присутствует в своем повествовании неизменно. К своим главным врагам Солженицын применяет особый метод борьбы: он проникает в их внутреннюю речь, берет в осаду их «я». Этот метод объясняется характером подготовительной работы: Солженицын читает и испещряет пометками сочинения, речи, воспоминания, записные книжки своего героя до тех пор, пока не почувствует, как в нем самом начинает звучать скрытая мелодия чужого существования — Ленина, Сталина, Николая Второго... Четыре главы «Круга первого» о Сталине — парадигма и эталон солженицынского метода: стареющий полу-безумный деспот, закрывшийся в своем бункере, который защищает его от постылого солнца, тянет у нас перед глазами долгую канитель своих мыслей, в которой проходят и пресыщенность, отвращение ко всему, и презрение к пигмеям, которые его окружают, и воспоминания о семинарии, об охране, о Ленине, трусливом начетчике, которому была необходима грубая сталинская стойкость. Все прочие увязли в собственных химерах, в революционных талмудах, а он, Сталин, один прикрыл все их слабости: он спокойно подписывал списки осужденных на смерть, безмятежно принимал знаки поклонения всей планеты, множащиеся непрерывно... В конечном счете, новый Император сам выставляет напоказ свое многолетнее коварство. Воин Солженицын прячется под маской своего героя-врага и игрою скобок и вводных предложений кладет последние мазки на мастерский портрет этого верховного двуличия. Впрочем такое просачивание во вражеский тыл иногда приводит «лазутчика» Солженицына к поразительному слиянию с противником, слиянию, которое выглядит как сговор. Начинаясь думать, что этот снисходительный взгляд, которым смотрит на Ленина Сталин

(беаняга, он воображал, будто для кухарки может найтись другое место, кроме как у плиты!), принадлежит и самому Солженицыну... Слишком долгая осада может обернуться неуместной близостью с врагом..

Полная хроника солженицынской борьбы потребовала бы слишком много места. К тому же он написал ее сам — в «Богался теленок с губом», своем «тактическом» шедевре. Все его главные работы были «замаскированы» на случай советской публикации, и будущие исследователи напишут дипломные работы и диссертации об «облегченном» и полном варианте каждой из них. Кажется, что автор по собственному выбору определяет степень свирепости и лукавства для любого из своих произведений, так что в каждом свои, особые «мера и вес» агрессивности и запальчивости. Пример самый показательный — это «Круг первый», который, переходя от «варианта 87 глав» к «варианту 96 глав», меняет смысл кардинальным образом: монолог Сталина значительно удлиняется, становится воспоминаниями обо всей прожитой жизни, бунт Володина становится намного более глубинным и резким, высказывания «рыцарей» шарашки — еще более вольными. Солженицын без колебаний выносит свои приговоры по весьма и весьма спорным историческим вопросам: его Сталин состоит на тайном жаловании у царской охраны, его супруги Розенберг — изобличенные предатели, и дипломат Володин звонит в американское посольство именно для того, чтобы расстроить их умыслы. Иначе говоря, «восстановленный» вариант — намного более агрессивный, «антисоветский», чем «облегченный», где пружиной действия служит жалость, а не ненависть к режиму. Видимо, этот восстановленный вариант ближе к «Пиру победителей» и другим сатирически-антисоветским произведениям, «написанным» в лагере и недавно опубликованным. Да, необузданная запальчивость остается основой писательского темперамента Солженицына. И необходимость хитрить никогда не притупляла яростной остроты отрицания — неизменного, язвительного и категорического «нет» бывшего каторжника.

В связи с новым вариантом «Круга первого» возникает особый вопрос — об эволюции самого Солженицына и (косвенно с ним сопряженный) о пользе цензуры в России. Не входя в подробности*, достаточно

* Подробно я сопоставил два опубликованных варианта «Круга» в статье по-французски, появившейся в 1980 году в журнале «Коммандер».

будет отметить, что фабула романа прошла через три этапа. На первом двигателем развития сюжета была активная месть, **тираноубийство**: ради борьбы против тирана, Володин сознательно идет на измену своей стране, предупреждая американцев, что супруги Розенберг хотят выдать атомные секреты. Второй этап: чтобы обойти цензуру, автор заменяет двигатель ненависти двигателем жалости — теперь Володин звонит старому ученому, чтобы тот не попался в ловушку, которую приготовило для него МГБ. На третьем этапе (уже в изгнании) автор возвращается к первоначальной фабуле, т. е. к теме активного тираноубийства и (опираясь на Герцена) праведной измены. Это тройкое движение фабулы очень показательно. Только средний этап — вдохновляемый компромиссом с цензурой — основывается на сочувствии, а не на ненависти. Можно было бы утверждать, что он один подводит к действенному катарсису. Можно также утверждать, что он совпадает с тем периодом в карьере Солженицына, когда писатель занимал по отношению к режиму примирительную позицию. Равным образом можно отдать предпочтение этому варианту как в большей мере направленному на катарсис. До и после него перед нами борец-зэк или борец в изгнании. В третьем варианте, «вермонтском», но написанном в 1968, меняется также портрет Солодина-Панина, намечен отход, отдаление от рыцаря с лицом Христа. Нержин-Солженицын эмансипируется — освобождается от воздействия того, кто, в большей мере, чем Рубин-Копелев, был его наставником в мятеже. В любом случае, колебания фабулы между ненавистью и сочувствием означают нечто большее, чем простые уступки цензуре: вся структура мятежа сперва развивается в сторону катарсиса, отвечая временному ослаблению защиты «я», а потом, в американском изгнании, снова возвращается в зорко оберегаемую крепость мести...

Ярость воспета в Части пятой «Архипелага», где, в суровом и чистом воздухе восстания, проходит кенгирскою ночью средневековая армия, вооруженная пиками и дрекольем, как на сиенских «примитивах». Эта неукротимая ярость настолько бросается в глаза, что, перечитывая себя для американского издания, Солженицын счел необходимым если и не отказаться от сказанного прежде, то, по крайней мере, предупредить читателя против неверного истолкования Кенгира: «В лагерной среде, растленной по советскому образцу, пронизанной доносчиками, борьба начиналась — увы, не могла начаться иначе — с террора. Террор —

ужасное средство, но порожден он был несравненным сорокалетним советским государственным террором. Это яркий пример, как зло порождает зло». Таким образом, зная всю цену «просторам свободы и борьбы», которые он показывает в своей книге, апостол из Кавендиша в Вермонте хочет отмежеваться от западных металлщиков бомб. Но — косвенно — какое признание! Христианин предупреждает, а кенгирский каторжник ликует...

В известном смысле Солженицын — весь и всегда — дрожит в упоении борьбы. И может быть даже, что мстительный портрет Ленина-борца — лишь средство очищения, избавления от ярости, которая в нем клокочет. Каждая большая книга завершается беспощадным, разящим выпадом: ма-кака, ослепленная человеческой злобой, в «Раковом корпусе»; патриотическая телеграмма, возвещающая псевдопобеду под Львовом, в то время как русская армия потерпела сокрушительное поражение, в «Августе Четырнадцатого»; и, особенно, в «Круге первом», где корреспондент парижской газеты «Либерасьон» восхищается множеством фургонов, которые развозят мясо по Москве, а эти фургоны с надписями на многих языках перевозят только один сорт мяса — живую плоть зэков...

Этот вид иронии не исключает, однако, другой сферы смешного, а именно — юмора, остроумия, и к тому же — остроумия каторжного. В последних публикациях Солженицына юмора, вроде бы, нет, но «Круг первый» пропитан им насковзь: насмешливое остроумие «каторжной байки» формирует самый ритм книги. Оно образует остов «Архипелага», делает его «обитаемым» для читателя. Оно присутствует и в «Августе Четырнадцатого», где цветет животная метафора, заимствованная из народных сказок, из басен Крылова и, особенно, у Гоголя — из «Мертвых душ», из «Ревизора». Беспощадный сатирик старается сорвать маску с палаческой идеологии, тогда как рассказчик, мастер народного юмора, вновь выводит на сцену исчезнувшие было «русские добродетели».

«Делу Солженицына» посвящено уже немалое число книг. Но оно все еще не закрыто: «кавендишский отшельник», которому теперь помогает его жена, Наталья Светлова, не отказался от борьбы. Если попробовать разобраться, как обыкновенно протекает эта борьба, мы увидим, что главное тактическое преимущество «воина» Солженицына — это умение выжидать, хранить молчание, выступить лишь в тот момент, который выберет он сам, а не вра-

ги или же обстоятельства. Когда намеки делаются все более ядовитыми и официальные идеологи мало-помалу добиваются реванша за публикацию «Ивана Денисовича», тактика Солженицына состоит, прежде всего, в том, чтобы принимать и толковать все слова буквально. Почему Союз писателей не защищает своих членов? Вы хотите, чтобы я осудил «спекуляции заграницы» на моих произведениях? Но я никакой «заграницы» знать не знаю, для советского писателя «заграницы» не существует! Письмо Четвертому съезду писателей (22—27 мая 1967) — первая лобовая атака. Она яростна, но искусна, потому что замыкается в рамках литературы. Называя вещи своими именами, письмо разоблачает и изобличает цензуру, излагает ее историю и заканчивается сдержанным, почти скупым заявлением: «Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть». Это заявление, эта незыблемая опора, найденная в добровольно принимаемой смерти, сообщают всей дальнейшей стратегии Солженицына особое качество. До самого дня изгнания писателя в поединке, который он ведет, заключен, в качестве негласного постулата, небывалый вызов: писатель бросил на весы собственную смерть. Мы увидим, что и самый стиль Солженицына будет отмечен неизгладимо этой призванностью к жертве. Праведный библейский гнев внушает ему великолепные укоризны. На Секретариате Союза писателей он бросает своим «судьям»: «Слепые поводыри слепых!» — и продолжает: «Расползаются ваши дебелие статьи, вяло шевелится ваше безмыслие».

В распре с московскими, а потом с рязанскими «товарищами по перу» (последним было поручено исключить его из Союза писателей) Солженицын пускает в ход два мощных оружия попеременно — тактическую мобильность и неприступность защиты. В те странные «годы ничьей земли», которые проводит в СССР бунтарь, отовсюду исключенный, но не лишенный права на существование впредь до особого решения властей, он использует — с безукоризненной военной точностью и мастерством — все возможности встреч с западной прессой: борется против инсинуаций, распускаемых на закрытых собраниях и подхватываемых некоторыми изданиями на Западе (статья в журнале «Штерн» от 18 ноября 1971), против фальсифицированных западных публикаций его книг и даже против малодушшия шведского посла в Москве. Единственный его секрет в том, чтобы все обнажить, дойти до самой сути

вещей — и так ошеломить противника. Надеялись загнать его в тупик, отказав в московской прописке, на площади новой жены? Он идет в контратаку, обличая новое «крепостное право». Грозят смертью в анонимных письмах уполномоченных на то «бандитов»? Он отвечает завещанием, отосланным в Швейцарию: его арест вызовет немедленную публикацию «Архипелага». Солженицын остается за рамками диссидентского движения: он не хочет попусту растрачивать ни свое время, ни свой авторитет. Но в интервью от 23 августа 1973 года он дает внушительную картину тогдашнего диссидентства и моральных позиций, которые из него вырастают.

Перечитывая всю публицистику Солженицына, дивисься его необычайной последовательности. От письма Четвертому съезду писателей до Гарвардской речи темы — одни и те же, но раскрываются медленно, понемногу, и все подчинено **моральному критерию**. Отсюда подчиненность демократии нравственным целям жизни, ощущаемая уже в «Письме вождям Советского Союза» и гремевшая оглушительно в Гарварде в 1978; отсюда и первенство нации перед идеологией — линия, начатая в сборнике «Из-под глыб» и завершающаяся резким осуждением русских либералов в феврале 1917 (в интервью от февраля 1979); и отрицание морального права на эмиграцию для тех, кто считает себя русским, появляющееся впервые в телеинтервью компании СиБиЭс (июнь 1974), уточняемое в открытом письме Павлу Литвинову (январь 1975) и, наконец, выливающееся в яростную обвинительную речь («Радиоинтервью компании БиБиСи», февраль 1979); и сожаление, что Запад вступил в союз со Сталиным ради победы над Гитлером, высказанное в Нью-Йорке в июле 1975 и разъяренное недвусмысленно в мае 1978. Солженицын берет слово только по своему собственному решению и никогда — в ответ на вызовы средств массовой информации. И в каждом интервью он бьет еще одним, новым доводом — полемизируя с газетой «Ле Монд», сообщившей (ложно) о его поездке в Чили, к Пиночету; навлекая на себя брань испанской левой прессы в марте 1976; вызывая многочисленные возражения своими гарвардскими тезисами. В апреле 1978 он отправляет в Париж свою жену — для публичной защиты Гинзбурга и других распорядителей Русского общественного фонда...

В этих выступлениях публициста различима очень твердая манихейская позиция, но не такая, как подумает невнимательный

читатель. Все определяется точной исторической концепцией: Зло идет от гуманизма, от антропоцентризма, рожденных в эпоху Ренессанса и занесенных в Россию при Петре Великом. Этой концепцией пронизана и его публицистическая деятельность, и его пророческие взгляды, она объясняет его причуды (похвала еврею, когда он живет в Израиле — государстве «религиозном»), его ошибочные прогнозы (Португалия не попала под «коммунистическое иго», но для Солженицына светлая демократия способна только все развалить), равно как и предсказания, которые сбылись (о Вьетнаме после ухода американцев). Многие западные умы он возмущает, но он умеет и находить союзников: его выступления перед американскими профсоюзными деятелями, его обращения к американскому Сенату, его ссылки на «истинно» западного человека, который пренебрегает массовой информацией и не знает ее и от которого идут в Вермонт «потoki писем», — не просто ловкие ходы; это политические акции, с которыми приходится считаться. И Солженицын отдает себе в этом отчет, когда саркастически отклоняет запоздалое приглашение американского президента, Джералда Форда. Носитель неколебимых убеждений, он умеет передавать их другим малыми дозами и лишь тогда, когда сам признает нужным.

Но в 1978 году в этом прирожденном борце какая-то усталость вдруг обнаруживает себя. Эту усталость выдает последнее дополнение к «Теленку», написанное в Кавендише в сентябре 1978 и озаглавленное «Сквозь чагу». Не то чтобы Солженицын смирился — он отбивается с обычным задором; на этот раз он отвечает на пасквиль некоего Томаша Ржезача, чешского журналиста, эмигрировавшего в Швейцарию, позже перебравшегося в СССР. Книга Ржезача «Спираль измены Солженицына» была издана советским агентством печати «Новости» (как до того книга Решетовской). Автор доказывает, что Солженицын всегда, еще со школьной скамьи, был трусом и двурушником... Он пользуется заявлениями двух друзей детства и юности Солженицына — Николая Виткевича («Коки») и Кирилла Симоняна. Больше всего ранило Солженицына, по-видимому, предательство Симоняна, который, тем временем, скончался, и Солженицын патетически обращается к потустороннему уже другу. Шаг за шагом он оправдывается перед другом, вспоминая, между прочим, как приходил к нему в 1968 году в Москве: Симонян, обиженный или перепуганный, не открыл

тогда дверь, к которой он прильнул изнутри, затавив дыхание, но гость узнал его шаги. Солженицын восстанавливает истину в том, что касается его предков, твердо, но тактично отвечает первой жене, перед Симоняном, однако же, «стусевывается». Очевидным образом он уязвлен обвинением, будто бросил свою роту в окружении.

За всем тем ни обвинения в патологической трусости, в измене, в бандитской наследственности, ни фальсификация армейской карьеры капитана Солженицына не выбивают автора «Теленка» из седла. Что его ранит по-настоящему, так это попытки испачкать его мать, замазать все общее прошлое в Ростове-на-Дону. Кирочка, товарищ детства и одноклассник, разделявший с ним мечты и раздумья отрочества, попал в клоаку ненависти и клеветы: сделался соавтором презренного наемника! Но старый боец быстро приходит в себя: «Что могли — все сделали. Всесоюзным приказом сожгли «Ивана Денисовича» с «Матреной». И одежду мою, отплеываясь, сожгли в лефортовской печи. И выргнули уже которую книжонку — мне в анафему. Но как в пещеру к Воронянской* неотвратимо вкрались они душить — так и в их охороненные палаты, хоромы, райкомы — вступил мертвяк Архипелаг, без рукавиц, в обутке ЧТЗ. И — заматались». Мрачное и пронзительное олицетворение из Архипелага! Одна из самых сильных и самых сильных страниц «Теленка». К этой удивительной книге есть и другие дополнения, еще не изданные, которые автор пока придерживает, чтобы опубликовать позже. Как бомба замедленного действия, «Теленок» еще не взорвался до конца. Бывший артиллерист Солженицын умеет прикрывать свои войска и хранить боеприпасы...

И все же упорный отказ Солженицына угождать средствам массовой информации, забота о том, чтобы никогда не повторяться (в его глазах, именно это отличает настоящего писателя от ненастоящего), бесспорно ослабили его позиции на Западе в споре с прессой, радио и телевидением. В этом есть некий вызов, брошенный журналистам и обесценению информации, связи, и подлинный акт веры в слово — истинное и единое.

* Елизавета Воронянская перепечатывала рукопись «Архипелага» и хранила у себя один экземпляр. Она была арестована КГБ, ее вынудили выдать свой тайник; после возвращения с допроса ее нашли мертвой в ее комнате. Эти события заставили Солженицына решиться на немедленную публикацию книги на Западе.

Воин божий

«О, дай мне, Господи, не переломиться
при ударах! Не выпасть из руки Твоей!»

(«Бодался теленок с дубом»)

«Теленка» не понять, не проникнув в смысл его названия. Это первая половина русской пословицы «Бодался теленок с дубом, да рога запропастил». Солженицын отдает себя под защиту народной мудрости, но лукаво недоговаривает, оставляя «мораль» невысказанной. На самом деле, бодаясь с дубом, маленький теленок скорее отрацивает рога... Эта книга, как и все солженицынское творчество, стоит под знаком русской пословицы и народного лукавства или народной же оглячивости: хорошо смеется тот, кто смеется последний; маленький, да удаленький; счастью не верь, беды не пугайся; людям тын да помеха, а нам смех да потеха; подранок бывает опасен; хвали день по вечеру, а жизнь по смерти... Юмор, лукавство, мудрость, эпический размах — здесь все народное: плечом к плечу со своим литературным двойником, мужиком Иваном Денисовичем, благодаря «ответственному мужику» Твардовскому и «верховному мужику» Хрущеву, Солженицын расшатывает основы «деревянного языка» идеологии и возвращает силу «свету, который в нас». Но ответственный мужик с трудом понимает теленка, «ибо не мыслил он претензий от теленка к корове».

Первоначальное ядро книги было написано в апреле 1967. После того, как КГБ наложило руку на архив, и непосредственно перед письмом Четвертому съезду писателей СССР. «Или шея напроцъ, или петля пополам». Писатель уже давно бьется с поднятым забралом. Это уже не бывший эзк, мастер скрываться и хорониться, теперь это поборник и подвижник Бога, глашатай теней ГУЛага, пророк, чья жизнь принадлежит не ему: «Я — не я, и моя литературная судьба — не моя, а всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дошептал, не дохрипел своей тюремной судьбы, своих лагерных открытий». Укрывшись в деревушке Рождество-на-Истье, Солженицын решил записать историю своего неповиновения советской власти. Тем самым он обходит два препятствия: одно — интеллектуального порядка, — литература о литературе есть интеллигентский грех, он, Солженицын не знает иной литературы, кроме **первичной**, творческой; облачающей, пророче-

ской, толкования пусть остаются другому веку, более мирному; и второе — порядка морального, — ибо говорить о себе значит, хотя бы отчасти, предавать дело, а Александр Исаевич испытывает отвращение к «дряблему» жанру мемуаров («липучее тесто»), где критерий истинности неуловим, а самолюбование почти неизбежно...

И вот сомнения и неприязнь рассеиваются: книга будет не мемуарной, она будет книгой борьбы, книгой одной борьбы. И, как повсюду у Солженицына, военные метафоры в изобилии (как, впрочем, и у Святого Павла). Итак, ядром «Теленка» будет хроника **появления и окапывания** Солженицына. Вот он выходит из тени, из мрака, в руках только маленькая праща, а перед ним — несокрушимый Голиаф власти.

В центре четырех глав «ядра» — необыкновенная встреча с глазу на глаз: Твардовский — Солженицын. Твардовский (1910—1971), поэт из крестьян, self-made man советского режима, крестьянское происхождение, врожденная честность и немного удачи уберегли его от самых тягостных, самых компрометирующих уступок — несмотря на его близость к власти. Его большая поэма «Страна Муравия» (1936) — крестьянская хроника из эпохи «великого перелома»; многие, в том числе Василий Гроссман, видели в ней предательство по отношению к отцу поэта, жертве «раскулачивания». Солженицын видит в авторе «Страны Муравии» обыкновенного «курилычика лжи». «Василий Теркин», народная эпопея в четырехстопных хорях (размер, напоминающий народные песни), был простою и сильною хроникой страданий русского пехотинца во время Великой Отечественной войны. Эта часть поэзии Твардовского, насмешливая, смачная, полная простонародной грубости, нравилась Солженицыну. «Не имея свободы сказать полную правду о войне, Твардовский оставался однако перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не переступил, нигде!..» Солженицын читал сатирическую аллегорию «Теркин на том свете», которая тогда ходила по рукам и казалась безумно дерзкой — «по всеобщей робости».

Недаром так долго ждала она цензурно-

го разрешения (ее сыграли на сцене в 1966). Что сделало возможным встречу Солженицына с Твардовским? Ответ совершенно ясен: та же любовь к русскому крестьянину, то же прославление его качеств. «Этой деликатности под огрубелой необразованностью крестьян и в тяжком их быту я не могу перестать изумляться». Иван Денисович, который еще спал в солженицынских тайниках, был братом Василия Теркина: оба огрубелые и простые, но чистые! Вдобавок эра Твардовского началась незадолго до того в «Новом мире»: главный редактор либерального журнала, коммунист Твардовский расширил до предела границы того, что можно было высказать, показать и даже почувствовать... Портрет Твардовского у Солженицына вызвал ожесточенные споры.

Портрет Твардовского проступает, прорисовывается в беге страниц: автор «раскрывает» его лишь мало-помалу, по мере разногласий, поначалу почти незаметных, а позже капитальных, разделяющих писателя либерального, но коммуниста и писателя, освободившегося от обязательств верноподданного. Лицом к лицу с собеседником, который обнаруживает в себе некую силу и даже некую миссию от Бога, Твардовский остается неподвижным, оплетенный, как Гулливер, тысячами невидимых нитей. Один остается на берегу, другой уже вышел в плавание в поисках нового континента.

Твардовский представлен хорошим, но неловким мужиком; неловкость оттого, что он оторвался от земли и поднялся слишком близко к трону. Он ведет добрую борьбу, но тропа его слишком исхожена. Он сохранил полностью свой здравый смысл, сберег крестьянский юмор (который делает таким забавным «Теркина на том свете» и смешит Хрущева, когда читают ему эту все еще запрещенную поэму в Пицунде, в 1963), он очарован моральной стойкостью Солженицына, его силой, его равнодушием к славе, но вынужден без конца лавировать между правдой Партии и нагою правдой. «Как воздух, нужно было ему, чтоб эти две правды не раздваивались, а сливались». Главные темы Солженицына — это его темы: крестьянский народ, деревенский праведник. Он «пережевывает» печальные истины «Матренина двора»: материальное и, особенно, моральное убожество советской деревни, утрата фольклора, утрата самого языка, настоящего, певучего, народного языка. Твардовский даже исправляет кое-какие языковые детали в «Матренином

дворе»: как же — Солженицын ведь не крестьянин! Но выводов Солженицына принять не хочет или, по меньшей мере, хотел бы их притупить: что понятие Добра исчезло, что само это слово потеряло свой нравственный смысл, — с этим он не согласен, и он делает крупн, как корова вокруг кола, к которому привязана.

В целом, все выстраивается по схеме басни, скажем — басни о городской и полевой мыши. Твардовский — городская мышь, сбита с толку почестями и привилегиями, которые, неприметно для нее самой, ее порабощают. Этот великий либерал принимает как должное культ личности, которым он окружен в «Новом мире»; перед решением он мешкает и увильчивает, как то и обычно для кругов, облеченных властью («они лениво живут и не привыкли спешить ковать ускользающую историю — потому ли, что никуда она не уйдет? потому ли, что не ими, собственно, куется?»). Твардовскому не надо навестывать восемь погубленных лет, за спиной его не стоит мир замученных и запятанных, осаждающих память и требующих освобождения и искупления через литературу... Он кумир и важная шишка, хотя бы и вопреки собственной воле. Он может оказывать покровительство, но не может понять доподлинно и на равных своего собеседника Солженицына, эту полевую мышь, скверно одетую, бородастую, непричесанную (Солженицын даже культивирует, если можно так выразиться, свой неприглядный вид). Он верит, что «сотворил» Солженицына, и возмущается, видя, как его Пигмалион бунтует. Осень 1962 — пора дружбы между ними, искренней, но мимолевой («медовый месяц»). Затем портрет в «Теленке» обрастает страницами записей, в которых звучит досада. Твардовский пьет, Солженицын — принципиальный трезвенник. Твардовский приветает в своем журнале лучших прозаиков, но хороших поэтов, по-видимому, отвергает. Из принципа или из зависти? Солженицын предлагает ему стихотворения в прозе Шаламова, Твардовский уклоняется от ответа. Главный редактор «Нового мира» предъявляет на Солженицына право тиранической монополии и находит это вполне естественным. Он ведет себя как сюзерен. Солженицын не вассал, он сделан из другого теста. Опубликовав «Один день Ивана Денисовича», Твардовский считает, что открыл Трою. Но Троя существовала до Шлимана, немца, который раскопал ее в девятнадцатом веке. ГУЛаг существовал и существует помимо Твардовского, кото-

рый даже не знает разницы между Особлагом («Иван Денисович») и ИТА («Олень и шалашистка»)! Когда Солженицын дал ему прочитать эту пьесу, Твардовский сказал, что она плохая (не без оснований), но довод его был тот, что не надо, мол, «перепаживать тот же лагерный материал»: для Твардовского тема ГУЛага исчерпана. Для Солженицына это только начало, впереди — «Архипелаг»!.. Хуже того: Твардовский чувствует себя оскорбленным. Читая рассказ «Случай на станции Кочетовка», он находит неправдоподобным образ Тверитинова, который «не любит Сталина из одной только тонкости вкуса», еще не пострадав сам. Как можно было не любить Сталина? А если Солженицын не любил, не означает ли это осуждения его, Твардовского?

Тайные эти раны обнаруживаются постепенно. Задним числом автор «Теленки» считает, что делал Твардовскому слишком много уступок, страдал непомерным чувством долга по отношению к сюзеру, который водил его на детских помочах. До сада, что его провели, надули, перегружают портрет злобой, неуловимой, но вполне реальной.

Твардовский, этот сибарит, которому собственное сибаритство и невдомек, разъезжает по заграницам, успокаивает западную прессу насчет судьбы Солженицына, участвует во всех «спектаклях» культурной жизни, каковая, в глазах бывшего лагерника, есть не что иное, как ложь. Да, впрямую он не лжет. Он всегда останавливается в этом пресловутом миллиметре от лжи, и ради этого миллиметра Солженицын любит и уважает Александра Твардовского, поэта, увенчанного и делеемого властью. Но он его судит. И, прежде всего, он его **видит**. Остальные лгут, боятся, курят фимиам. Солженицын **видит** его — одинокого, лишенного настоящих друзей, трагического, одним словом. Видит его добродушным и простым, по-детски чистым, но связанным, взятым в кольцо, обращенным в средство для чужих и чуждых целей. «Мы подобны были двум математическим кривым со своими особыми уравнениями».

В общем замысле и построении книги Твардовский играет роль первостепенную и незаменимую. Кажется, будто маленький теленок не столько обращает рога против громадного дуба, сколько против этого собеседника и посредника, который его напечатал, который ввел его в ненавистный «большой свет» и который **искусил** его. Да, есть в этом сочинении эле-

менты, приоткрывающие нам тайную историю искушения. Искушения власти и властью. Искушения, напоминающего другое искушение, о котором рассказывается в «Архипелаге». Зерно сталиниста еще прозябало в душе. И резкость рассказчика в «Теленке», быть может, этим и объясняется (конечно — а *contrario*). Твардовский, в какой-то мере, оказывается невольным орудием спасения для Солженицына. Искушение — это слава, почести, московская квартира и отречение от **правды**. В самом лучшем случае Солженицын остановится в одном миллиметре (тот самый решающий миллиметр!) и откажется переступить через него... Один раз он получит право обличить лагеря, в другой раз — нищету советской деревни, в третий — осквернение русского пейзажа. Постепенно и он окажется связанным. Есть еще искушение малыми делами: бороться против хамства здесь, против взяточничества там, против мелкой несправедливости. Но «главного крика» тогда уже не испустить. И вот Солженицын предпочитает обмануть, обидеть, уязвить ближних и дальних, но от этого главного крика не отрекается. Любопытно, что он отмечает совпадение важных для него событий с большими православными праздниками. Три пасхальных дня в 1964 году Твардовский провел у него в Рязани за чтением рукописи «Круга первого», и пил, чтобы отогнать, унять боль, этим вызванную (но Твардовский и не заметил, что на дворе Пасха, он забыл христианский ход времени). На православную Троицу в июле 1968 года он узнал, что «Круг» вышел, наконец, в Америке, и в тот же день была завершена «миниатюризация» «Архипелага» («отснят, плёнка свернута в капсюлю»).

Постепенно проступает филигранью: борьба советского писателя Солженицына, охраняемого поэтом-мужиком в фаворе Твардовским, превращается в битву поборника Божия. Битву в духе Ветхого, не Нового Завета. Вспыхивает неодолимая уверенность в том, что стал десницею Бога. Пришло «иное время». «Иная голова» вела борьбу, «иной щит» прикрывал. Твардовский — да что он такое перед лицом этой силы, которая поднялась дабы свидетельствовать? В тоне «Теленки» звучит сострадание («Бедный Трифоныч! Он со мной — открыто, а я — никогда не имею права», потому что нельзя ему доверить все тайны — слишком болатлив, слишком невосдержан!»).

«Мораль» портрета Твардовского дана в конце главы «*Подранок*»: «Советский ре-

дактор и русский прозаик, мы не могли дальше прилегать локтями, потому что круто и необратимо разбежались наши литературы». Снова мысль Солженицына организована выбором и образом **перепутья**. Богатырь на скрещении дорог. Кто выбирает добрый путь, кто худой. Мы сами решаем свою судьбу...

Однако к ядру прибавляются дополнения — и портрет Твардовского развивается. Солженицын следит за кривой температуры выздоравливающего. Вот, приободрившись в начале 1968, главный редактор даже посылает в набор восемь глав *«Ракового корпуса»*, а Солженицын еще иронизирует: само имя его означает твердость, дал бы Бог, чтобы он оказывал себя твердым всю жизнь. Впрочем «весь 1968 год... был годом быстрого развития Твардовского, неожиданного расширения и углубления его взглядов и даже принципов...» Барин от литературы и мужик с тростью (аристократическая трость выдает лже-мужика) целиком ушел в чтение самиздата, в слушание БиБиСи — вот чем он занимается теперь в своем поместье, на своей даче; и, видя, как он бежит к приемнику, несмотря на свою телесность, восклицает рассказчик. «Именно от этого порыва я почувствовал его близким как никогда, как никогда! Еще б нам несколько верст бок-о-бок, и могла б между нами потечь окровавленная, не таящая дружба». Но если «частный» Твардовский распрямляется и отказывается подписывать позорные обращения и резолюции, которые ему приносят бесстыдно на другой день после 21 августа 1968, то журнал позорит себя — печатает в точности то же, что и вся советская пресса... И Солженицын показывает нам Твардовского загнанного, затравленного в собственном журнале. Чтобы сопротивляться, ему нужна была твердость в испытаниях огнем, но такой твердости нельзя научиться нигде, кроме как в эковском Архипелаге. Подспудный труд распрямления, совершающийся в Твардовском, приводит его к поэме о своей семье «По праву памяти». Но сын реабилитирует только отца — не всю бесчисленную толпу «раскулаченных»; он чернит Сталина, но по-прежнему верит в Партию и преклоняет колена перед Лениным:

«Всегда, казалось, рядом был...
Тот, кто оаций не любил...
Чей образ вечным и живым...
Кого учителем своим
Именовал О т е ц смиренно...»

Он все еще марксист, все еще исповедует «Единственно-Верное Учение», и потому, когда вспыхивает мини-полемика

между советскими журналами по поводу выступлений «компатриотов» (во времена сменовеховства говорили: национал-большевики), он встает на защиту чистого ленинизма: «В а м я прощаю. А мы — отстаиваем ленинизм. В нашем положении это уже очень много. Чистый марксизм-ленинизм — очень опасное учение (!!), его не допускают».

4 ноября 1969 Солженицын исключен из Союза писателей своими рязанскими «собратьями по перу». Борьба обостряется. И снова то же расхождение, тот же диссонанс. Один остается верен благоразумию, нажитому в сталинский век, другой только о том и грезит, чтобы открыть новый «фронт», прорвать вражеский строй. Вот они снова «на качелях» решений. Один устремляется вперед изо всех сил, другой тормозит... Но теперь это лишь различье в оценках: разговаривают они **на равных**. И, пожалуй, на самые большие жертвы идет теперь Твардовский: ведь душат журнал, душат его самого, душат втихомолку, бесшумно.

И это самые прекрасные страницы в «Теленке» из тех, что посвящены Твардовскому. Уже давно упомянут в книге исторический роман «Август Четырнадцатого», первый из двадцати «узлов» о русской революции. Этот узел первый собран вокруг катастрофы Самсонова: сама честность, доброта, духовность и даже какое-то высшее моральное превосходство воплощены в этом храбром и благочестивом генерале, который, однако, сам того не зная, — и повинуюсь бездарям и карьеристам из Ставки. — ведет свою армию на убой. Твардовский читал эти страницы и был в восторге. Нравственная высота взгляда и тона, набатный гуд, трагический, но сдержанный, достойный печать жертвенности на широком лбу командующего, «семипудового агнца» — все ему нравилось. Но вот что обнаруживается все очевиднее от страницы к странице: командующий, обреченный в жертву, отождествляется с поэтом, гонимым властью, которой он не смеет отвергнуть. Один персонаж питает другого. Романический вымысел применяется к реальной опале. История одного поражения объясняет историю одной литературной расправы Твардовский, упорствующий, побежденный, достойно переносящий обиду, но все же несущий ответственность за случившееся, и все же чистый в своем поражении, — это старый Самсонов, блуждающий в лабиринте-тисках прусских лесов. И когда настает конец, когда Твардовский совершает обход старого до-

ма «Нового мира», где в течение шестнадцати лет делалась советская литература, прощальный обход, достопамятный, медленный и достойный, — это прощальный обход Самсонова. «Поглядывая чуть выше, чуть выше себя, он так и ждал себе сверху большой дубины в свой выкаченный подставленный лоб. Всю жизнь, может быть, ждал, сам не зная, а в сии минуты уже был вполне представлен». А вот — в примечании к «Теленку»: «Мне рассказали об этой сцене в тех днях, когда я готовился описывать прощание Самсонова с войсками — и сходство этих сцен, а сразу и сильное сходство характеров открылось мне! — тот же психологический и национальный тип, те же внутреннее величие, крупность, чистота — и практическая беспомощность, и неспешанье за веком. Еще и — аристократичность, естественная в Самсонове, противоречивая в Твардовском. Стал я себе объяснять Самсонова через Твардовского и наоборот — и лучше понял каждого из них».

Солженицынская ирония сопряжена теснейшими внутренними связями с трагическим началом на тех страницах, где он показывает агонию поэта: непрерывные проволочки «наверху», непроницаемый занавес молчания, опущенный властями, раболепие развенчанного журнала, его осиротевшей редакции. Жалость оттенена сарказмом, уважение умеряется жесткостью приговора. Как Самсонов, пораженный раком Твардовский умирает побежденным, но чистым. Парализованный, «с полутнятой речью», живой труп, он следит со своей больничной койки за «нобелианой» и кричит сестрам и нянечкам: «Браво! Браво! Победа!».

Так уходит из книги убитый поэт, а борьба разгорается еще жарче и навсегда уводит Солженицына с той мели компромиссов и дерзновений в наморднике, на которой держался журнал поэта. С поэтом же, отныне скованным навсегда, умирающим от рака, происходит то же самое, что с Самсоновым: «Кончились все смутные неопределенные движения. И с ясностью предстал мир нынешний и всех прошлых лет». Жалкий, как Самсонов, «на своём природном лесном пониженном троне», Твардовский, как и Самсонов, «хотел только хорошего, а совершилось — крайне худо...»

Со своими голубыми глазами, в которых струится жаркий, «есенинский» свет *

поступью медленной и величественной, со своею наивностью, добротою и слепотою, Твардовский был для Солженицына тем же, что Самсонов для Воротынцева, то же, что Русь крестьянская — для Руси «пламенных душ»: сопротивлением злу слишком примитивным, чтобы зло одолеть, морально чистотой, затемненной неисцелимою слепотою. Это блоковская Россия, чистая в самой нечистоте своей, пастернаковская Россия — пленница дракона. 24 ноября 1967 Солженицын смотрит, как Твардовский бредет по своему дачному участку, «очень похожий на мужика, ну, может быть, мал-мало грамотного. Он снял фуражку, и снег падал на его маловолосую светлую крупную, тоже мужицкую, голову. Но лицо было бледным, болезненным. Защемило... Он так и стоял под снегом, мужик с палкой». Эта неподвижность, эта бледность-белизна, этот застой — все это черты России. Приходит на ум другой бездействующий персонаж, другое воплощение жизни не задавшейся, ускользнувшей (но превратившейся в искусство) — пастернаковский Живаго, умирающий безымянно в духоте трамвая...

Твардовский у Солженицына — существо чистое, тип поэта униженного и укрощенного. Этот портрет не просто занимает центральное место в композиции книги — в нем столько трагической объемности, что Твардовский остается навсегда возвышенным, возвеличенным. Не так однако поняли это его дочь и некоторые друзья. Уязвленные «оскорблением величества», которое позволил себе Солженицын, Владимир Лакшин, Валентина Твардовская, Ефим Эткинд протестовали против того, что они сочли неблагодарностью и мелочным сведением счетов. Лакшин обвиняет Солженицына в том, что он весь проникнут лагерным духом, сталинским по своей сути, — духом бессовестности, жестокости, лжи. Я думаю, что это обвинение в «зараженности» необоснованно, хотя Солженицын и должен был в лагере оборонять, укреплять свое «я» против концентриционного насилия. Непонимание, обнаруживаемое близкими Твардовского и его бывшими сотрудниками, лишь подтверждает солженицынский диагноз. Никто не ставит под сомнение богатство «Нового мира» под руководством Твардовского, но журнал вписывался в сферу дозволенного, он не переступал той последней черты, за которой начинается полное освобождение. Непонимание это даже приводит Лакшина, тонкого критика первых напечатанных ве-

* То же говорится о Володине в «Круге» (глава 44 нового варианта).

щей Солженицына, к слепоте при чтении «Теленка»*.

При всем том смерть Твардовского завершила раскрепощение Солженицына. Как только исчезает двойственный его покровитель, «воин», которого никто и ничто более не удерживает, дает себе полную волю, его меч разит отныне без передышки. Это уже не рожки теленка, это Божья секира...

Нет сомнений, что перед нами религиозный и даже мистический опыт. На пути, изображенном в книге, в самом процессе писания этой книги жизни Солженицыну открывается ослепительный свет: в жизни своей он ведом и поспешествуем, как некогда Исаия, как Данииил, как Лютер или Аввакум! И эта **завершенность в незавершенном** сообщает книге блеск, совершенно ни с чем не схожий. Тяжелое дыхание битвы веет в ней, и все же она пишется словно бы под взглядом Предвечного, в Его присутствии. Одним словом, это одна из книг человечества, которые дают нам увидеть Провидение в действии. Недаром поведал нам автор, что уверен в Его присутствии в каждой человеческой жизни, в собственной его жизни и в жизни целых народов...

Эпилог к «Третьему дополнению», написанный в декабре 73, накануне решающих событий, возвещает, наконец, окончательное освобождение пророка. Он бросается в последнюю атаку, очертя голову, но «ещё во многом поправит меня Вышшая Рука». Он — в Его руке. Он — меч, стиснутый этой рукою.

Чем дальше углубляешься в «Теленка», тем больше захватывает властный ритм хронологии. Лихорадка битвы правит всем. Текст полностью организуется военными метафорами, которые выступают повсюду. Теленок удваивает удары, но, вопреки пословице, рогов не теряет...

«Первое дополнение», написанное в ноябре 1967 года в Рязани, — это письмо Четвертому съезду писателей о цензуре. Первая победа. Дуб ранен. «Второе дополнение», написанное в феврале 1971 года в поселке Жуковка у Ростроповича, стоит под знаком Бородина: кто победитель — неизвестно. Но битва — неслыханная. Два романа вышли за границу, и рукопись «Ар-

хипелага» тайно переправлена на Запад — тайное оружие, обладание которым выполняет автора радостью: «Свобода! Лёгкости! Весь мир — обойми!» Это — «прорыв», но «душат» Твардовского, который «душимый, сам душит»... «Третье дополнение», написанное в декабре 1973 года в Переделкине у Чуковского, — самое сердце книги. Это — «нобелиана», тайное заветание, укоризны патриарху Пимену, партизанская война против «органов», захват «Архипелага» в Луге и самоубийство Воронянской, распоряжение печатать «Архипелаг» в Париже. Полная тайна и полная внезапность. Ощущение легкости, которое приходит в канун решающей схватки. «Бирнамский лес пойдёт!» Писание этой хроники борьбы облегчает душу бойца. Он распрямился, он бросает неслыханной дерзости вызов! Твардовского больше нет. Его место занимает Сахаров. Но никакие узы, порождаемые осадой, не связывают его с Солженицыным. Сахаров — «союзник», Сахаров — чудо обращения к жертвенности человека, вышедшего из «сонмища подкупной, продажной, беспринципной технической интеллигенции».

И, наконец, «Четвертое дополнение», написанное после изгнания из СССР в июне 1974 года в Цюрихе, — оно завершает сказание об этой битве. Место Твардовского и Сахарова заступает Шафаревиц — соратник идеологический. С ним будет обдумываться проект подпольного журнала «Из-под глыб», основания новой славянофильской мысли. И вот странные лирические ноты проскальзывают в эту книгу войны. «Пассивное защитное состояние» овладевает командным пунктом. Главное — выполнено. Он ждет ответного удара. Он мечтает о том, что, как Нечволодов, в тюрьме напишет «историю России в кратких рассказах для детей, прозрачным языком, неукрашенным сюжетом». Этот эпилог повествования, хотя и сотрясаемый грозными толчками поединка теленка с дубом, повернут теперь к русскому минувшему-будущему.

И вот — арест 12 февраля 1974. Как в Страстях Господних — исполнение того, что было возведено и избрано добровольно. Наплыв воспоминаний о первом аресте в 1945 году. Вот снова камера, кормушка. Они не знают что все предусмотрено: «Теперь сама собой откроется автоматическая программа». Публикация за публикацией, бумеранг. Писатель спокоен в своей камере, он знает, что его перо за него отомстит. Происходит странное раздвоение между заключенным на тюремной койке, под неугасающей ни днем, ни ночью электрической

* Пр процитирую для примера следующий отрывок: «Громко отрицающий всякое насилие, в особенности революционное, автор «Теленка» сам не замечает, что культивирует идею смертельной борьбы, смешно сходясь со своими антагонистами даже в привычной для них военной фразеологии» (Солженицын, Твардовский и «Новый мир» в: «Двадцатый век». № 2. Лондон, 1977).

лампой, и писателем, который видит и судит себя со стороны. Книга заканчивается — как средневековые моралите — спором между телом и душою. И душа говорит, обращаясь к себе самой: за все, что успела исполнить, — Богу слава! Дуб попятился, теленок не потерял своих рожек. И приходят на память бывшего эка строки из «Дороженьки», воспоминание об ином спокойствии:

На тело мне, на кости мне
Спускается спокойствие,
Спокойствие ведомых под обух.

Хроника яростного поединка, летопись инакомыслия, фаблю, сотрясаемое гомерическим смехом, военный дневник, пронизанный молитвами к Богу Воинств, «Бодался теленок с дубом» выходит далеко за пределы писаний бойца — это письмо, само ведающее бой.

Быть русским!

С юных лет Солженицын чувствовал, что на него возложена особая миссия — написать историю русской революции, которую столько искажали, фальсифицировали, скрывали. Ведь история революции не менее важна, чем история ГУЛага: без одной не понять другую.

Как Сизиф, который одолел свой первый камень, Солженицын взялся за второй, еще более тяжелый. Он все еще вкатывает этот камень. Вот уже свыше десяти лет он работает над гигантской эпопеей, настоящий герой которой — единственный герой — это Россия, Россия больная, почти стертая с лица земли интернационалистами, которые ее ненавидят. В «Архипелаге», размышляя над судьбой генерала Власова, Солженицын обронил, что самая горькая участь на свете — быть русским.

Сначала Солженицын задумывал эпопею в четырнадцать или даже в двадцати «узлах». Сегодня, по-видимому, он не заглядывает дальше первых четырех «узлов» в восьми томах. В зависимости от времени, которое Бог уделит писателю, эпилог придется на 1917 или 1945 год (последний — срок смерти Воротынцева, который наворожил ему китаец). Сотни персонажей, тщательно «разнесенных по карточкам». Но есть у автора и намерения, почти что напрямую дидактические. Главы-обзоры, чередующиеся с монтажами газетных материалов (техника, заимствованная у Дос Пассоса) и с главами-размышлениями (по толстовскому образцу) должны обеспечить педагогический эффект. Отрывки из народных песен и официальных гимнов составляют музыкальное сопровождение текста — как в «Капитанской дочке» Пушкина.

Другая особенность этой исполинской эпопеи — ее географическая «центростремительность». Конечно, будут и эпизоды, происходящие в столицах. Но главные действия

развернутся в других местах. Начало «Августа Четырнадцатого» протекает в Ростове-на-Дону, на Кубани, в юго-восточной России, колонизированной казаками и крестьянами из среднерусских краев. Саня Лаженицын любит эту новую Россию, трудолюбивую, просторную, степную, резко пахнущую травами и зноем. «Но за последние годы его привязанность раздвоилась, с тех пор, как Саня узнал и коренную, лесную, настоящую Россию — ту, что начинается только от Воронежа». Ибо из-под Воронежа пришел пращур Солженицына, согнанный со своих мест при Петре Великом и поселившийся в диких степях за Кумой, на русском «Дальнем Западе», где каждый жил на свой вкус и лад, отдаленный от соседей обилием земли. Эта степная Россия — страна русского человека непокорного, независимого, предприимчивого. Солженицын делает из нее колыбель для своей книги. «Тихий Дон» — это те же края, только у казаков. Солженицын влюблен в книгу Шолохова, потому что его собственная эпопея «соседствует» с нею. Впрочем, как известно, Солженицын обвиняет Шолохова, что тот «украл» «Тихий Дон» у казачьего писателя Крюкова*, который вероятно появится в одном из «узлов» (автор признался в этом в минуты откровенности, чрезвычайно у него редкие).

Россия Солженицына — это его родной Юго-Восток, западный фронт во время войны и северная Сибирь. Центральная Россия для него — мифическая колыбель нации; это Россия, о которой мечтает Олег Костоглов, которую с сыновним почтением открывает рассказчик в «Матренином дворе», средняя Россия, умиротворяющий пейзаж, в котором церкви, «царевны белые и красные»,

* D+. Стремя «Тихого Дона» (Загадки романа). Paris, YMCA-Press, 1974.

избегают на пригорки, «поднимаясь над соломой и тёмовой повседневностью». Но эта нутряная Россия — оскверненное царство: церкви превращены в лесопилни, сияющие колокольни выпотрошены. «Крохотки» воспевают эту Россию-Мать, как былины воспевают Китеж, проглоченный водами город. Восхищаясь озером Сегден, Солженицын пишет: «Вот тут бы и поселиться навсегда... Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли». Но озеро захвачено «лютым князем» — местной важной шишкой — и его «злodenятами». Так Солженицын приходит к старой теме России, плененной драконом; тему эту уже использовали символисты, а после них Пастернак в «Докторе Живаго». Итак, она недоступна, недосыгаема, эта срединная Россия, разом и пленница и миф, Россия лесная, которую символизирует Агния в «Круге первом», которую он никогда не упускает из виду в сердце, и память сердца привязывает все его творчество к изначальной стихии — к матери-лесу. Но театром действий мифическая Россия не будет.

Поиск истины, поиски Святого Грааля получают смысл вполне точный: это поиски России. Замаскированные в «Иване Денисовиче», этнографические в «Матренином дворе», нравственные и философские в «Круге первом», поиски эти становятся главной темой в «Августе Четырнадцатого», а затем неотвязной и даже навязчивой идеей интервью и выступлений Солженицына, который основывает в Вермонте Библиотеку русской памяти (в ней он собирает неизданные мемуары современников).

Из всех поэтических описаний России у Солженицына самое трогательное — это деревня Рождество-на-Истье, на границе между Московской и Калужской областями, где он жила летами в годы 1965—1973. Глава 44 нового варианта «Круга первого» изображает со щемяющим лиризмом красоту того «ничто», которого никогда не узнают швейцарцы*, — «простора такого объёмного, что никак его нельзя было в два глаза убирать»; эта беспредельность «обмыкается» вдали зубчатым лесом. «...Во все стороны было видно. И... дышалось легко!» В середине простора — березовая роша: кладбище, настоящее русское кладбище, заброшенное, но привольное и прекрасное в этой своей заброшенности. А чуть подальше ис-

каленная, жалкая деревня — почти гоголевская — открывает двум гуляющим (Володину и его свояченице Кларе) скорбное зрелище изуродованной, превращенной в склад церкви: церкви Рождества. Этот позор, пятнающий такую красу, и есть чудо России, крестьянской, христианской, «есенинской», резанной неверным. Кларе кажется даже, что ее зять похож на Есенина: возвращается из Европы в растерянности и встречает Россию, потерявшую свой облик и свою русскость... И все же эта неузнаваемая Россия, отданная на поругание захватчикам и «лютым князьям», возвращает Иннокентию Володину нравственное сознание и сообщает смысл его жертве.

Эта заброшенная церковь Рождества на широком, вольном окоеме, замыкающемся лесом и светом, — русское Рождество, смиренное и обезображенное, в его противостоянии Рождеству западному, избильному, коммерческому, какое знает дипломат Володин. Так начинается для Володина познание истинной Руси, тут же дополняемое пониманием бесполезных жертв, которые ей были навязаны: обелиск напоминает о «воинах Четвёртой дивизии народного ополчения», беднягах, брошенных на фронт с одной винтовкой на четверых или пятерых... Самая горькая участь на свете — быть русским; но в ответ на это — в «Теленке» — жить можно только в России!

Таким образом, двигатель исторического замысла Солженицына — это загадка России: обессиленной и могучей, чистой и замаранной, рабски подражающей чужому и распаивающей новь грядущего... В самом деле, не утверждал ли он в Гарвардской речи, что русская натура, пройдя сквозь испытания, к которым принудил ее дракон, стала сегодня чище и мужественнее западной? И эти два лика русской судьбы для Солженицына нераздельны: падение и восхождение душ грязь и чистота. Старинный парадокс славянофилов, который автор «Архипелага» сумел показать лучше, чем его предшественники в девятнадцатом веке...

Символ, знаменующий разрушение русской отчизны, — колесо или жернов; он возвращается часто и становится заглавием солженицынской эпопеи: «Красное колесо». То это жернова, на которых «перемалывается наша душа» («Архипелаг ГУЛАГ», Часть первая, гл. 4), то «кручение большого колеса», решающее судьбу смертников (там же, гл. 11). В «Августе Четырнадцатого» появляется настоящее колесо огня — горящие крылья ветряной мельницы, которые вспыхивают в самый миг встречи двух героев

* Не мелочная ли месть стране, где он чувствовал себя взысканной и где налоговые власти кантона Цюрих чинили ему неприятности?..

романа — крестьянина Арсения Благодарова и офицера Георгия Воротынцева. Огонь касается крыльев, лижет их своими пурпурными языками, и вот уже вертится огненное колесо. Странное вращение, напоминающее огненные колеса у пророка Иезекииля, с ободьями полными глаз, преследующих живых. Дальше, в главе 30, обезумевшее колесо лазаретной линейки

«— катится, озаренное пожаром!
— самостоятельное!
неудержимое!
всё давящее!
КОЛЕСО!!!»

И то же колесо, только на этот раз небесное, когда Самсонов принимает решение отступить и всё шатается, колеблется.

Обращаясь к древнему библейскому символу колеса, Солженицын выводит на Страшный Суд Россию века сего. В старинной византийской базилике в Торчелло, на венецианской лагуне, где сохранились самые первые христианские мозаики, под Христом-Вседержителем, над ангелами, взвешивающими души, — красное колесо...

Помещенная под этим огненным зодиаком, солженицынская Россия обречена на судьбу, которая будет решающей для всего мира. Станным образом, Солженицын вкладывает это убеждение в уста не только защитников России, но и ее врагов. «Ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России» — это мысль Парвуса из «Ленина в Цюрихе». А вот что заявляет сам Солженицын журналисту Сапизту: «Вся орбита земной жизни изменится, когда произойдут изменения в советском режиме. Это сейчас — узел всей человеческой истории». Можно найти и другие параллельные высказывания. Например, в «Круге первом» Сталин в своем нескончаемом ворчливом монологе говорит, что не доверяет сытым; Солженицын без усталости обличает сытых и пресытившихся, начиная с «Матрёны» и до «Из-под глыб», и в русской традиции поста усматривает истинное призвание России. Возможно, этот удивительный параллелизм объясняется тайной и дьявольской идеей двойственной одержимости. Враг заимствует у настоящих рыцарей их оружие и их язык (Сталин вспоминает язык литургии, слова молитв, некогда выученных в семинарии). И Ленин: он толкует о неистощимом терпении русского народа и отчаивается, он радуется русским потерям, очеркивая ногтем сообщения в газете, и скорбит об утрате русского огня, пылавшего в восстаниях Разина и Пугачева. Но этот огонь русской души Солженицын и почитает и воскрешает. Русь восставшая — это для него Рос-

сия старообрядцев, упорных хранителей старой веры, которые умирали от рук петровских солдат или приносили себя в жертву в массовых самосожжениях.

Вообще старообрядцы — пробный камень русского патриотизма. Кто пренебрегает ими, осуждает их, насмехается над ними, у того не может быть русского сердца. Это применимо не только к нетерпимым православным, высказывающимся на страницах «Вестника русского христианского движения», но и к советскому поэту Вознесенскому, который в одном стихотворении сравнивает американских самоубийц в Гайане с раскольниками: «...В этом изуверском саморазложении, гниении, якобы увидел — самосожжение старообрядцев, — а? Старообрядцы погибли, чтобы не изменить своей вере, чтоб их пытками не вгоняли в чужую! — этих марксистов никто не трогал, никуда не вгонял, весь их конфликт с Америкой выдуманный. Вот как он унизил старообрядчество — чтобы держаться в моде, потому что американские газетчики так сравнивают. Деревянное сердце, деревянное ухо». Дважды, обращаясь к своим православным единоверцам, призывал Солженицын прославить национальный дух, сохраненный старообрядцами. Посетив старообрядческую общину, в Орегоне он восклицает: «Видеть, как сохранился их национальный облик, народный нрав и слышать их сохранённую исконную русскую речь. Нигде на всём Западе и далеко не везде в Советском Союзе почувствуешь себя настолько в России, как среди них».

Русь восставшую обнаруживает художник Кондрашев в русском пейзаже — Русь крестьянских бунтов, Русь народовольцев, но также и Русь Ленина (впрочем, упоминание Ленина среди огненных душ исчезает в «полном» варианте «Круга первого»). Не Ленина-идеолога и книжника, но Ленина неистового, хотя и обуздывающего свои страсти, упрямого, сурового, неимущего. По мере того, как появляются отрывки из последующих «узлов», начинает казаться, что подлинный противник Солженицына, доподлинно ответственный за катастрофу 1917 года, — не столько большевик, сколько русский либерал. Только Ленин, задыхающийся от нетерпения, обстоятельствами прикованный к лилипутской Швейцарии, способен фыркать: «И что же можно вымесить из российского кислого теста! И зачем он родился в этой рогожной стране?! Из-за того, что четверть крови в тебе русская, из-за этой четвертушки привязала судьба к дряной российской колымаге!»

Но «либерал», произносящий прочувство-

ванные речи о родине и одновременно действующий против нее, как настоящий диверсант, — это «теплый», о котором говорит «Апокалипсис» и которого Солженицын извергает из уст своих. Одна книга сыграла, по-видимому, известную роль в формировании исторических взглядов автора «*Красного колеса*», — это «*Russia 1917*» Джорджа Каткова, английского историка (и русского эмигранта). Катков исследовал, в частности, ожесточенную кампанию, которую русские либеральные круги (франкмасоны, кадеты и другие) вели против самодержавия, роль Союза городов и иных организаций, которые резко и непрерывно критиковали власть. Катков исследовал и германскую политику помощи русским революционерам («пломбированный вагон» был лишь незначительной деталью этой политики), и роли тех, кто служил ее орудием, проводником. Кстати, авторы биографии Парвуса, на которую Солженицын с благодарностью ссылается в приложении к «*Ленину в Цюрихе*»*, были учениками Джорджа Каткова. Главы 56 и 63 «узла второго» открывают всю ярость солженицынского осуждения либералов: никогда его ирония не была более весомой, а вражда к парламентаризму — более открытой. Парламентский цирк обнаруживает настоящую цену комедиантам вроде Чхеидзе или Керенского и клеветникам России вроде Милюкова. Солженицын-рассказчик не отстает ни на шаг от лидера «прогрессивного блока»: поднимается вместе с ним на трибуну, саркастически прерывает его цветистые периоды, восстанавливает в кратких репликах в сторону простую психологическую истину, уличает его на месте преступления в клевете, злорадно подчеркивает его смешные галлицизмы... И не то, чтобы Солженицын не видел слабости или недееспособности царской власти, напротив, но он скорбит о ней: после смерти Александра Третьего энергия династии иссякла, не к трезвым голосам стали прислушиваться, а к шепоту льстецов и остроловию краснобаев, да и сами разучились говорить в полный голос. «*Этюд о монархе*», глава, прибавленная к «*Августу Четырнадцатого*», — бесконечный монолог Николая Второго, из которого явствует и добрая воля императора, и его неспособность решать что бы то ни было. (Писатель использовал «Дневник Николая Романова», опубликованный в 20-е годы «Красным архивом».) Николай Второй — кроткая душа, он влюблен в древнюю Русь (любимый его монарх —

благочестивый Алексей Михайлович), но он неспособен различить ту единственно верную линию, которая ведома Провидению и скрыта от простых смертных. Этот солженицынский Николай Второй знает корень русского зла — враждебность, даже ненависть русского образованного класса, интеллигенции к родине. Солженицын доходит до того, что приписывает ему свой план развития России в восточном направлении, но он признает недостатки его характера, какое-то буржуазное малодушие, которого нельзя не осудить в самодержавном всероссийском, оказавшемся в безнадежном, безрасудном кольце. Себя же Солженицын отождествляет лишь с немногими умеренными монархистами, например — с октябристом Шиповым, поборником идеи нового Земского собора, вроде тех, что созывали когда-то Великие князья московские...

Густо насыщенный фактами и намеками, этот долгий монолог, долгое и пристальное вглядывание в прошлое, показывает историческую технику Солженицына, «тяжелую» технику, требующую необыкновенного накопления всевозможных сведений, и прежде всего — зрительных. Эта тяжело нагруженная история склонна перегружать себя еще больше, когда рассказчик-судья сам не решается вынести свой приговор. Если ни нежность (к Самсонову), ни ненависть (к Парвусу), ни презрение (к Милюкову) не одушевляет его, Солженицын как бы и сам теряет ту единственно верную нить, которая, как он утверждает, рассуживает людей и их историю. Трудности и медленность, с какими создавались первые «узлы» «*Красного колеса*», подчеркивают двусмысленность той двойной роли, которую он на себя берет, — романиста и историка. Большинство авторов исторических романов заимствует, по мере надобности, из мемуаров современников и из объяснений историков. Солженицын от этого отказывается категорически. Он читает, делает заметки, разносит по карточкам все доступные ему тексты — Ленина, Милюкова, Маклакова, многочисленных авторов из первой эмиграции; он обращается ко всем еще живым свидетелям; он едет сам побеседовать с тем или иным ветераном белого движения или с дочерью министра Временного правительства. Но его главная идея — в том, чтобы опровергнуть ошибочные тезисы и положения, принятые повсюду. Эту работу вполне можно сопоставить по намерениям с трудом Мишле, пересматривавшего все взгляды на французский народ на всем протяжении его истории. В соединении с физиологической потребностью все увидеть,

* Winfried Scharlau, Zhynek Zeman. «Freibeuter der Revolution». Köln, 1964.

ощупать, услышать, вернуть «узлам», вынутым из материала истории, их неисчерпаемую плотность, эта главная идея, которая, собственно говоря, по плечу скорее Богу, чем человеку, делает солженицынский план поистине титаническим. Автор и сам, имея в виду размах чисто материальной, физической задачи, которую он себе задал, нередко говорит о своего рода спортивной гонке со смертью.

Солженицынские выступления в мае 1978 и феврале 1979 ясно показывают, к какому выводу привели его исторические разыскания, — к осуждению февральской революции 1917 года, «либеральной» революции. («Вот это и есть — одна из центральных легенд. Если вникнуть в повседневное течение февральских дней, в каждую мелочь и во всю реальную обстановку, то сразу становится ясно: никуда, кроме анархии, она не шла. Она заключала противоречие в каждом своем пункте. Поразительная история 17-го года — это история самопадения Февраля. Либерально-социалистические тогдашние правители промотали Россию в полгода до полного упадка».) Чем дальше продвигается Солженицын в своей работе, тем больше он убеждается, что все было извращено. Западные историки плетутся в хвосте у советских идеологов... Все подделано, истолковано вкривь и вкось, а то и прямо вывернуто наизнанку. Солженицын восстанавливает значение Столыпина * и его земельной реформы 1906—1910; поддерживает утверждение, будто Сталин в молодости был на жаловании у охранки; разрушает миф о корниловском мятеже, искусственно раздутый в «Тихом Доне» (согласно D+, этот эпизод представляет собою очевидную «вставку»). Русская «модель» трагически предвещает будущее: Запад 1978-го года — это Россия 1880-го, с ее террористами, сбившейся с пути интеллигенцией и тем патологическим нежеланием смотреть в глаза «действительности», которое обличали Бердяев и его соавторы в знаменитом сборнике «Вехи» в 1909 году. Самоуничтожение наших либералов и социалистов перед лицом коммунизма, объясняет Солженицын, повторилось в мировом масштабе, только растянулось на несколько десятилетий; происходит грандиозное повторение того же процесса самоослабления и капитуляции. Теперь уже не Мюнхен, а Февраль становится прообра-

зом капитуляции либерального типа... В «Круге первом» мы находим такое «математическое» описание русской судьбы: «Для математика в истории 17 года нет ничего неожиданного. Ведь тангенс при девяноста градусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится в пропасть минус бесконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний». Истинный виновник, «либерал», «теплый» из «Апокалипсиса» («болтун» Ленина, «бородач» у Сталина) еще не названы. В 1979 он — главная цель.

Этому злокачественному процессу Солженицын противопоставляет свое видение России — потаенной и возрождающей себя и весь мир, России, которую можно определить как «славянофильскую». Каждое произведение Солженицына — еще один шаг на пути отвоения подлинной русскости. В «Одном дне Ивана Денисовича» инородец Цезарь Маркович (еврей? грек?), придурок и заблудившийся интеллигент, противостоит мужику Ивану, неутомимому труженику, «залежному» христианину, который, может быть, и забыл, какою рукою крестится, но сохранил внутренний свет, и Алёшка-баптист *, сосед по вагонке, ему это растолковывает. В «Матренином дворе» мерзкому, эгоистичному, очерствевшему колхозному начальству противостоит простая женщина, в которой воплощена абсолютная самоотверженность, «русская женщина», которая «не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни... не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фукусы...»

Тема отказа от «укоренения» в вещах и в жизни выступает — фоном — и в «Раковом корпусе». Русские, сосланные на Восток, в Казахстан, самопроизвольно, инстинктивно усваивают урок воздержности и аскетизма, который этот Восток им преподает. Чета Кадминых в поселке Уш-Терек служит Олегу примером: «Как это удивительно, что русский, какими-то лентами душевными припеленатый к русским перелескам и полям, к тихой замкнутости среднерусской природы, а сюда присланный помимо воли и навсегда, — вот он уже привязался к этой бедной открытости, то слишком жаркой, то слишком продуваемой, где тихий пасмурный день ощущается как

* Из симпатии к Столыпину он переименовывает тюремные вагоны, называвшиеся с 1910 года «столыпинскими» в «вагон-заки», возвращая им их сегодняшнее официальное наименование. О Столыпине Солженицын говорит уже в «Письме вождям».

* Конечно же, Алеша и Иван вызывают в памяти двух братьев Карамазовых, обсуждающих в русском трактате проблему существования Божия: pro et contra.

отдых, а Дождь — как праздник, и вполне уже, кажется, смирился, что будет жить здесь до смерти».

В 1976 году, в интервью японскому телевидению, которое вел Госуке Утимура, тоже бывший советский зэк, а ныне профессор университета «София» в Токио. Солженицын рассказал, что на шарашке он заинтересовался дальневосточной философией, и в частности мыслью Ямага Соко: «...Я находил там поразительные вещи. Ну, например, утверждение, что тот, кто не умеет экономить одну минуту, для того пропадет и вечность. Я сам всегда так живу. И потом: каждую минуту жить так, как если бы тотчас и умрёшь». В своих воспоминаниях о Солженицыне Лев Копелев рассказывает, что в 1948 году, в Марфине, он разносил по карточкам афоризмы Лао-цзы и Конфуция. Значит ли это, что в солженицынской мысли есть элемент «евразийства»? Во всяком случае, есть точка соприкосновения между духовной Россией, Россией самоограничения, и дзен-буддистской Японией или Китаем Лао-цзы. Благодаря лагерю русский «ориентализм» смог процвести: «В лагере нас с Вами насильно поставили в это положение. Что ж у нас осталось как не Душой заняться? Но в лагере нас заставили решёткой. А смысл в том, чтобы человек сам себя ограничил, духом».

В «Круге первом» дракону бюрократии противостоит ковш рыцарей шарашки, «банкету» сытых (у Макарыгиных) — почти что нематериальный «банкет» розенкрейцеров, «новых декабристов» (Абрамсон читает отрывки из десятой главы «Евгения Онегина», неоконченной и зашифрованной). Перед этими избранниками, аристократами Ауха открывается — хотя и совсем в иных масштабах, нежели в 1825, — судьба декабристов: чистая жертвенность в противопоставлении власти, которая кажется безграничной.

Наконец, главная тема «Августа Четырнадцатого» — русский человек. России придворной (генералы Ставки), России ханжеской (великий князь), России ура-патриотической противопоставляется Россия жертвенная, благочестивая, древняя, Россия Самсонова («Эта обнажённая голова с возвышенной печалью; это опознаваемо-русское, несмешанно-русское волосатое лицо, чернедь густой бороды, простые крупные уши и нос: эти плечи богатыря, придавленные невидимой тяжестью; этот проезд медленный, царский, допетровский, — не подвержены были проклятью») и русских мужиков, которые на страшном «току» первого в двадцатом веке великого сражения сами,

без вмешательства «властей», возрождают старинный русский «собор» — крестьянский «мир» возрождается в глубине прусских лесов (мы уже видели, что для рассказа об этом Солженицын обращается к структуре русской былины).

Как и Лев Толстой (на шарашке у него был том Толстого, испещренный бесчисленными пометками), Солженицын питает особое расположение к военным подвигам: русский человек — настоящий воин, потому что он полностью забывает себя перед лицом смерти. Восстанавливается союз крестьянского люда, символизируемый, с одной стороны, Арсением Благодаревым, Агафоном Огуменником, Мефодием Перепелятником или еще силачом Качкиным, а с другой — рыцарями, «новыми декабристами», «богатырями», такими как Нечволодов (настоящий монархист, искренний), Крымов, Кабанов. Они — прирожденные командиры, а мужик — прирожденный воин, созданный для военной аскезы.

Так вырисовывается «другая» Россия, допетровская, где народ и «рыцари» ладят без видимой субординации. Но эту Россию передают честолобивые Жилинские, трусливые Ключевы и, в особенности, «западники» (которых, словно троянского коня, привели «либералы» *), символизируемые живчиком Ноксом, который путается в ногах у Самсонова и следит за тем, чтобы неподготовленные русские армии были отправлены на бойню как можно скорее...

Это ожесточение Солженицына против русских либералов восходит, возможно, к оригинальному и страстному мыслителю конца девятнадцатого века Константину Леонтьеву. Леонтьев наиболее остро сформулировал разрыв между народом и космополитской элитой (противопоставление, уже выдвинутое Иваном Киреевским, но в более сглаженной форме: народ — публика); если пренебречь оттенками, говорит он, то русское общество можно разделить на две половины — народную, которой не ведомо ничего, кроме русского, и космополитическую, которая не знает ничего русского. У Леонтьева мы находим, с одной стороны, мысль, что либерализм, по сути своей, враждебен национальным традициям, и повсюду разлагает нацию, медленно и сообразно законам, но наверняка, а с другой — что «прогресс» может быть попятным движением во всех планах (идея, которую Солженицын подхватит и разовьет, присовоку-

* По Солженицыну, этот противоестественный союз был навязан монархии Витте и другими «либералами».

пив к ней знаменитый отчет Римского клуба и апологию нулевого роста). Историсофия Леонтьева отличается от солженицынской своей повернутостью к Византии: развитие России она предвидит в южном и юго-восточном направлении («проливы» и Константинополь). Солженицын отвергает средиземноморскую направленность русского будущего и, отказываясь от лстивых соблазнов эллинской цивилизации, выступает защитником русского Северо-Востока, грубой и суровой северной Руси, где умер в ссылке протопоп Аввакум, Сибири — всего того, что он называет «наш Север — издавнее хранилище русского духа и, предвидимо, самое верное русское будущее» (*«Письмо Патриарху»*). Поразительно, что и Леонтьев, несмотря на свой византийский эстетизм, признавал в старообрядцах один из самых спасительных и надежных тормозов прогресса. Солженицын подхватывает эту похвалу старой вере, неизменной бунтовщице, символу русского духа твердости, аскетизма, самоограничения. Леонтьев был сторонником культурного разрыва с Европой: русской мысли не бывать до тех пор, пока мы не перестанем быть европейцами, говорил он. Он обличал своеобразное русское самоненавистничество, существующее с давних времен (Курбский в шестнадцатом веке, Котошихин в семнадцатом), но обретающее самую широкую известность в девятнадцатом столетии — у Чаадаева. в его «Философических письмах»; отменно резюмируется оно в четверостишии русского иезуита Печерина:

Как сладостно отчизну ненавиделы
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

«Славянофильство» Солженицына начинается с неразрушимой связи со страной, какова бы ни была ее участь. Муравейник, охваченный огнем, — не бросают! Чтобы объяснить подъем русских людей, возвращающихся в Москву после пожара 1812 года, Толстой в «Войне и мире» вспоминает разоренную и тут же заново отстраиваемую «муравьиную кочку»: «...Разорено все, кроме чего-то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кочки...» Солженицын подхватывает этот образ в одной из «Крохоток»: «Но странно: они (муравьи) не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились и — какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие такие, кто опять избегали на горящее брѣвнышко, метались по нему и погибали там...» И не частицу своего собственного раздражения вкладыв-

вает Солженицын в слова Ленина-эмигранта: «Эмиграция — это злое гнездо, которое все время шевелится и шипит»? Изнутри России, из ее недр должен, по Солженицыну, просиять «духовный свет» нации. Он не только берет под защиту славянофилов девятнадцатого века, этих «ретроградов» и «простофиль», но и выступает в поддержку их идей: сохранить проселочные дороги, маленькие фабрички. одноэтажные дома, навоз и т. п. Все это представляется ему вполне злободневным, он предлагает даже восстановить заставы при въезде в города, чтобы закрыть доступ автомобилям...

Мы находим у Солженицына и другие славянофильские оппозиции: казаться — быть, разум — рассудок (первый — духовный и животворящий, второй — схематический и иссушающий; оппозиция эта заимствована у Шеллинга). Россия не знает красноречия, словесных ухищрений, юридических тонкостей *. Богослов Федотов писал в одной из статей 20-х годов, собранных посмертно в книге «Новый град» (вышла в Нью-Йорке в 1952), что Россия всегда была повернута скорее к «софии» (мудрости Божией, являемой в Творении), нежели к «логосу». Россия, пишет Федотов, подобна немой, которая видит неземными глазами множество тайнств, но поведать о них может только знаками. Солженицын усваивает мысль о полярной двойственности русской природы (она проходит через «Круг первый»), о парадоксальном слиянии кротости с насилием (идея «Братьев Карамазовых» Достоевского) и, как Федотов, видит синтез, снимающий противоречие, в русской призванности к жертве. Он повторяет также оппозицию интеллигенция — народ (первая — податлива, второй — непоколебим). По Солженицыну, русская интеллигенция (некий орден, религий которого было Дело) выродилась в образованщину, советскую лжеинтеллигенцию (более, чем податливую, готовую на любую капитуляцию).

Определяя нацию и ее русскость, Солженицын сталкивается с проблемой скрещивания культур. Его собственное представление о русскости как о сочетании твердости с кротостью побуждает его к отказу от русского православия, слишком часто смирявшегося перед властью. Этому русскому «ви-

* Американский историк Ричард Пайпс нашел в интервью, которое вел Сапиэтс, буквальные заимствования у Победоносцева, знаменитого обер-прокурора Святейшего Синода, друга Достоевского под конец его жизни и теоретика исторического иррационализма. Это от него идет отстаиваемая Солженицыным мысль о непомерном могуществе демократической прессы.

зантийству» он, очевидным образом, предпочитает старую веру, старообрядцев За-волжья*, трудолюбивых и неуступчивых, готовых на жертвы и склонных к «самоограничению», добровольно всходивших на костер в восемнадцатом столетии, честных и богобоязненных купцов — в девятнадцатом. «А мысль об общественном самоограничении — не нова. Вот мы находим её столетие назад у таких последовательных христиан, как русские старообрядцы». Призыв к мученичеству, высокая оценка личной жертвы склоняют Солженицына к религии менее греческой и более русской, согласной с «лесными тайнами» Агии. «Но начиная от бездушных реформ Никона и Петра, когда началось вытравление и подавление русского национального духа, началось и выветривание покаяния, высушивание этой способности нашей» («Раскаianie и самоограничение как категории национальной жизни»).

Иноземный вклад в русскую историю — также предмет постоянных его раздумий. Его концепция русской революции, в целом, противоположна бердяевской. Бердяев в «Русской идее» приписывает разрушительную ярость большевистского режима русской традиции максимализма, утверждает, что в Петре есть черты сходства с большевиками. Что касается Солженицына, то он развивает тезис об инородности революции — привозного учения, охранявшегося латышами и венграми, навязанного народу, который в двадцатом веке пострадал больше всех других народов**. «Ленин в Цюрихе» уточнил позицию Солженицына. Он настаивает, что раскрыл в этой книге события, которые определили ход истории в на-

шем веке, но оставались тщательно скрытыми от глаз историков, причем линия, взятая Западом, лишь способствовала такому невниманию. Неоспоримо, что Солженицын вкладывает частицу самого себя в этого противника, которого он называет своим главным героем и от которого не отходит ни на шаг. Не оттого ли, что, парадоксальным образом, ленинское презрение к «либералу» близко ему самому? А иначе — зачем это, вроде бы незаметное, сравнение Ленина с великими реформаторами, с Цвингли, на статую которого перед церковью в Цюрихе Ленин бросает одобряющий взгляд? Не разделяет ли он даже ленинской ненависти к Плеханову, нанимающему богатую виллу в Женеве, и его «освежающей» ярости, когда этот крупный буржуа от большевизма выпроваживает его ни с чем, — буржуа, по видимому, ни в чем не разделяющий жизненного опыта Солженицына, который, как и Ленин, окружен обывателями и «пигмеями»?..

Борис Суварин, посвятивший всю жизнь исследованию большевизма (а прежде того — сам большевик), написал для журнала «Эст-Уэст» (1 апреля 1976) подробную и гневную рецензию на «Ленина в Цюрихе». Бывший коммунист и суровый эрудит в одном лице, он обнаруживает у Солженицына бесчисленные ошибки. Вот некоторые из них: личная жизнь «товарищей» для тогдашних социалистов не существовала (стало быть, упоминание об Инессе Арманд непристойно); Ленин всегда старался не подавать ни малейших поводов к обвинениям, стало быть, он не мог соблазниться шарлатанством Парвуса; «пломбированный вагон» не был запломбирован; находясь, вопреки собственному желанию, под воздействием советской историографии, Солженицын неверно оценивает значение ленинской группы в Циммервальде. В целом, Суварин упрекает Солженицына в том, что он гальванизирует миф, милый сердцу «ленинофобов». Но действительно ли Солженицын такой ленинофоб, каким он представляется с первого взгляда? С Ленина, кипучего, полностью преданного Делу (и в романе с Инессой Арманд — тоже), Солженицын пишет портрет, если можно так выразиться, с двойным дном. Ибо за спиной Ленина в повести стоит вдвойне дьявольская фигура — еврейско-русско-немецкий социалист Парвус (собственно — Гельфанд), преуспевающий делец, из которого Солженицын делает тайного, сатанинского подстрекателя двух русских революций: в 1905 он был правой рукой Троцкого. Борис Суварин доказывает, что Солженицын без всяких оснований пре-

* Монументальные романы Мельникова-Печерского определенно оказали влияние на Солженицына.

** Во втором томе «Архипелага ГУЛаг» Солженицын называет число жертв революции и сталинской диктатуры: 66 миллионов. Эта страшная цифра взята из трудов демографа И. А. Курганова, который, объясняя «дыры» в демографической статистике СССР, определил потери населения между 1917-м и 1959-м годами в 110 миллионов и больше половины их отнес за счет политических событий. Статья Курганова, послужившая источником для Солженицына, была опубликована сначала по-русски в Нью-Йорке в 1964, а затем по-французски в журнале «Эст-Уэст» в мае 1977. В более новом и лучше аргументированном исследовании другой демограф, на сей раз советский, напечатанный на Западе под псевдонимом Максудов, приходит к цифре 42 миллиона жертв. («Cahiers du monde russe et soviétique». Vol. XVIII—III, 1977).

увеличивает роль Парвуса в 1905-м году. Совет никогда не был делом рук Парвуса (а у Солженицына он заявляет: «Мои Советы уже постепенно становились властью»...) Парвус словно «заряжен» грехом ненависти к русскому народу, и, конечно, не случайно, что он еврей на все сто процентов (Ленин — только на четверть...) Парвус предлагает Ленину свои услуги, искушает Ленина. Странная сцена, в которой, сидя на железной, спартанской кровати Ульянова, Парвус «показывает ему все царства мира и славу их». Оба одержимы ненавистью к России: взбунтовать всех инородцев, побить солдат, чтобы перерезали офицеров, направить германский империализм против русского... «Бегемотский», чудовищный. похотливый, в жилах, казалось, не кровь, а вода, зеленая, как его кожа. Парвус — Искуситель. Из малодушия, из расслабленности подпольщика, боящегося снять маску, Ленин отказывается наполовину от предложения Искусителя, однако уступает ему одного из своих сообщников, Ганецкого. Многие комментаторы отметили странность этой сцены, где на первый план выведен безродный еврей, алчный и чудовищный.

Использует ли здесь Солженицын — сознательно или бессознательно — старинную антисемитскую «модель»? Скажем скорее, что он ищет воплощения своему тезису об инородности революции. Он отрицает «русскость» революции, он должен, следовательно, изгнать ее, как изгоняют беса. Парвус — фигура не столько еврейская, сколько «сатанинская», «бегемотская»: такое бескорыстие в продажности, такая энергия в организации хаоса кажутся Солженицыну поистине демоническими. Парвус рядом с Лениным — это Петр Верховенский рядом со Ставрогиным. Смешение культур и историй представляется Солженицыну чем-то совершенно нестерпимым. И он пытается заклать его.

Ради очищения русской нации Солженицын готов вернуть Россию в ее «внутренние покои» — к суровой необъятности Севера и Северо-Востока, старинных колоний средневековой Новгородской республики. «Северо-Восток — это напоминание, что мы, Россия, — северо-восток планеты, и наш океан — Ледовитый, а не Индийский, мы — не средиземное море, не Африка и делать нам там нечего!» Этот уход к трудной жизни будет одновременно и географическим отступлением, и укреплением духа. Вся солженицынская похвала отступлению противостоит традиции конца девятнадцатого века — притязаниям на Константинополь. Достоевский, который много содействовал рас-

цвету мифа о завоевании «Второго Рима» «Третьим», в последнем «Дневнике писателя» меняет точку зрения совершенно и ратует за противоположное направление — сибирское, северо-восточное, о котором говорит Солженицын. Наоборот, осрамившиеся «либералы», тот же Милюков, в 1917 году преступно затягивали войну ради прекрасных глаз союзников, демагогически эксплуатируя старые притязания.

Солженицын вдыхает новую жизнь в старинное начало, в котором славянофилы девятнадцатого века видели своеобразие русской натуры, — в крестьянскую общину. Конечно, к «миру», каким он был прежде, возврата нет, но раз «праведник, без которого, по пословице, не стоит село», вышел жив из всех испытаний русской деревни, значит, нравственные основания сохранились. Есть у Солженицына и анархические мечтания; так, он ссылается в «Раковом корпусе» на «Взаимную помощь как фактор эволюции» Кропоткина (1907). Но утопические мечты имеют у него религиозную основу, они связаны с ожиданием царства Божия.

Солженицын скрещивает оружие с теми, кто утверждает, будто русский народ культурно мертв, в частности — будто умерла крестьянская форма его культуры. В интервью 1979 года он цитирует эмигранта Янова и ведет скрытый спор с Андреем Синявским и его журналом «Синтаксис». Говоря, что нынешняя русская эмиграция — не более, чем хвостик еврейской, он спорит с русскоязычными израильскими журналами, где, например, жестоко высмеивается «деревенская проза», самое живое из течений в сегодняшней советской литературе*. Полемика, ограниченная крайне узким эмигрантским кружком, представляется — в ложной перспективе лингвистического гетто этой же самой эмиграции — настоящей «травлей» России! Подлинный язык, подлинный русский физический тип («чистые, как озера», глаза олонечких мужиков), русская музыка, русские нравы — всё идет от Руси крестьянской! И, как это ни парадоксально, «почвенничество» Солженицына приводит его к совершенно искренней апологии крестьянской ветви современной советской литературы.

* См. журнал «Время и мы». В январском номере 1978 года, к примеру, помещена язвительная статья против сборника «Изпод глыб» и еще одна статья, о «деревенской литературе», зло нападающая на Федора Абрамова.

Уже в 1972 году он громко приветствовал Шукшина, Можая, Тендрякова, Белова, Солоухина, Юрия Казакова. В февральском интервью 1979 года он идет еще дальше — заявляет, что пять или шесть советских писателей (имен он не называет, чтобы им не повредить) представляют собою сегодня «замечательные удачи на русском фоне» (Солженицын в письме к автору). Можно биться о заклад, что в числе этих избранных — Распутин, Белов, Астафьев, Залыгин, Можаяев. Солженицын решительно подчеркивает то обстоятельство, что впервые слово берут крестьянские писатели. Толстой раз или два записал рассказы крестьян, но он всегда оставался барин, помещиком. А Белов и Распутин — настоящие крестьяне, живут на родине (один — на европейском Севере, другой — в Сибири), пишут тем свободным от всякого «европеизма» языком, которым грезит Солженицын. Хотя они и советские писатели, хоть их и печатают в СССР, они насквозь проникнуты этическими и религиозными ценностями русского крестьянского мира. Настоящая крестьянская литература, возрождение кучки интеллигенции, готовой на жертвы, на тюрьму и лагерь, — этого довольно, чтобы поддержать оптимизм Солженицына. Свет сегодня — из России.

В конечном счете, нация для Солженицына — это личность. Как у любого человека, у нации есть лицо и совесть. Именно эта мысль и спасает Солженицына от греха национализма*. Странный националист, который требует ухода с нерусских земель, отступления на самую суровую и неблагоприятную часть национальной территории, отказа от всякого империализма, всенародного раскаяния за грехи, совершенные против других народов! А дело все в том, что, в конечном счете, ничего нельзя понять ни в русских славянофилах, ни в Солженицыне, если не видеть религиозного источника их славянофильства. Солженицын не мог не читать страстного предупреждения философа Владимира Соловьева против «поклонения своему народу» (в работе «Славянофильство и его вырождение»; вошла в сборник «Национальный вопрос», выпуск второй). Для Соловьева стать частицей своего народа означает стать деятелем царства Божия, частицей иконы-нации; и первым к тому условием, как для нации, так и для личности, служит исповедание грехов. Есть нечто

чрезвычайно важное в той настойчивости, с какою Солженицын напоминает о «даре раскаяния», отличавшем русскую жизнь, о «прощенном воскресении», о «волнах раскаяния», набегавших регулярно и оздоравливавших русскую жизнь (Александр Герцен каялся в русской вине за подавление польского восстания 1863 года). «В дальнем прошлом (до семнадцатого века) Россия так богата была движениями покаяния, что оно выступало среди ведущих русских национальных черт». Хомяков и русские славянофилы тоже призывали своих современников к покаянию.

Не говорите: «То былое,
Нет! этот грех — он вечно с вами,
То старина, то грех отцов,
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов».
Он в вас, он в жилах и крови,
Он сросся с вашими сердцами —
Сердцами, мертвыми к любви.
Молитесь, кайтесь, к небу длани!

Этот призыв Хомякова, обращенный в 1844 к молодой России и зовущий ее покаяться в крепостном праве, Солженицын бросает сегодня Советскому Союзу, повинному в ГУЛаге. Если национализм Солженицына и не свободен от пороков, их исправляет это первоначало нравственности, выметает его дуновение. Всякая власть развращает. Солженицын, как и славянофилы, противопоставляет власть видимую и нечистую невидимую и нравственному владычеству народа. С тою же мощью бойца, с какою он бросается в сражение, предается Солженицын и раскаянию, принимая свою долю вины за «волчью ненависть», которую строился ГУЛаг. Он даже восхваляет поражения и скорбит о Полтавской победе, которая потянула Россию к югу... Уже Константин Аксаков писал, что смысл русской истории — во всеобщем покаянии.

Солженицынское представление об истории тоже взято у славянофилов. Резкие перемены, о которых говорит Гегель, — только поверхность вещей. Подлинная история — трудна, достоверна и незрима. Трудна, потому что в основании имеет волю «мыслящих личностей», как говорил апостол народничества Михайловский. Достоверна, потому что органична, не отделена от других планов жизни (биологического, экономического, духовного). Незрима, потому что она есть само таинство связи меж человеком и Богом. Когда наступит последнее просветление, радостный свет, возмещаемый пасхальным тропарем, тогда единство нации обнаружится воочию. В Солженицыне живо видение Бого-Человечества, от которого сам Соловьев, возможно, отрекся под

* Заметим — в доказательство нелогичности истории, — что после выхода «Августа Четырнадцатого» Солженицына обвиняли также в прогерманизме, поражечестве, антинационализме.

конец жизни. Быть русским — значит подготавливать Его пришествие. Солженицын не способен избежать давнего недостатка русской мысли — поклонения народу, который тем более свят, чем более замаран, осквернен. Один из персонажей «Августа Четырнадцатого» говорит: «Вы широко всё... А я шире России не умею». Но нельзя упускать из виду, что эта Россия сегодня — арена борьбы прошлого с будущим, добра со злом. Солженицын ощущает это с интенсивностью физиологической и, я бы сказал, тотальной. Его Россия никого не исключает — ни палачей, ни жертв, ни людей, ни животных. Эта Россия верна памяти лагерных трудяг, чутко прислушивается к уцелевшим, открывается в гаме и гуле «вагонзаков», где путешествуют неимущие Архипелага; это она открывается молодому Эри-

ку Арвиду Андерсену, который прилип к переборке своей камеры-купе, а по другую сторону, в трех сантиметрах, молодая русская девушка, которой он не видит, шепчет ему тайну России: «И слитно с этой невидимой (и наверно, и конечно, и обязательно прекрасной) девушкой он впервые стал разгадывать Россию, и голос России всю ночь ему рассказывал правду. Можно и так узнать страну в первый раз... (Утром ещё предстояло ему увидеть через окно её тёмные соломенные кровли — под печальный шёпот затаённого экскурсовода)». Незримый лик, нерукотворный образ, следы райской красоты, павшей на землю, красоты, которую ищут уже тысячу лет и не находят у себя под ногами, — все это Россия. Или, скорее, видеть все это — и значит: быть русским...

«С того берега»

«...Странная судьба русских — видеть дальше соседей. Видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение, — русских, этих «немых», как говорил Мишле».

(Александр Герцен, введение к книге «С того берега». 1855)

Все началось с горстки «новых декабристов», которые в тюрьме-лаборатории, в московском пригороде, основали новую «Академию» свободных людей. В этом «ковчеге» мужской дружбы и мужского обмена мыслями родилась судьба и сила Солженицына. Сила, которая сделает его одним из самых значительных писателей нашего времени. Показывая миру ужасный комбинат рабства, он вновь утвердил литературу на моральных основаниях, без которых она не может быть всеобщей. Пророческая роль не умаляет в нем писателя. Бетховенская мощь его искусства, его видения, особой плотности его текста — очевидна. Богатство тоналностей, жестокость иронии, жар полемиста поднимают его над всю прозой его страны. Но что всего больше приближает его к великим мастерам «на все времена», таким как Гете или Толстой, — это, пожалуй, вновь обретенное могучее чувство земли, насыщенности и чистоты земного. Это оно придает необычайную действенность его яростным обличениям насилия и грязи на этой земле. Памфлетист и обвинитель в нем всегда в связи с чем-то неодолимо «стихийным», что нагружает его поэтику и дает ей остойчивость. Можно сказать, что низости

человеческой истории пишутся на неприступном и недостижимом космическом фоне (у Шаламова исчезают и космос, и земля, и, конечно же, всякий след той травки, о которой Толстой говорил, что, вопреки людям, она всегда пробивается среди тюремных булыжников). «Без нас поднялись эти острова из моря, без нас налились двумястами рыбными озёрами, без нас заселились глухарями, зайцами, оленями, а лисиц, волков и другого хищного зверя не было тут никогда. Приходили ледники и уходили, гранитные валуны натеснялись вокруг озёр; озёра замерзали соловецкою зимнею ночью, ревело море от ветра; ...подрастали и толщали ели, квохтали и кликали птицы, трубили молодые олени — кружилась планета со всей мировой историей, царства падали и возникали, — а здесь всё не было хищных зверей и не было человека». Так пишет Солженицын о Соловках.

Творчество Солженицына купается в этом мире, но — мире, найденном заново после ГУЛАговского катаклизма, примирения после истребления. «До чего было тихо! Поверить нельзя, как только что гремело здесь. Да вообще в войну поверить. Военные таились, скрывали свои движения

и звуки, а обычных мирных — не было, и огней не было, вымерло всё. Густо-чёрная неразличимая мёртвая земля лежала под живым, переливчатым небом, где всё было на месте, всё знало себе предел и закон».

Это примирение было сильнее страха, ненависти, гипноза тоталитаризма. Правда самые первые воспоминания Солженицына — он рассказал об этом Жоржу Сюферу — связаны с террором: «Мне было шесть лет. Мы с матерью в Ростове-на-Дону поселились в конце почти безлюдного тупика. Одна сторона его — стена, огромная стена. И я прожил там десять лет. Каждый день, возвращаясь из школы, я шёл вдоль этой стены и проходил мимо длинной очереди женщин, которые ждали на холоде часами. В шесть лет я уже знал. Да все это знали. Это была задняя стена двора ГПУ. Женщины были жёнами заключённых, они ждали в очереди с передачами».

Не будь земля чиста и невинна, солженицынские проклятия не имели бы своей настоящей силы. Невинность земли сообщает его творчеству безмятежную ясность — вопреки зверствам и мукам, которые оно изобличает. Широчайший диапазон его восприимчивости, опирающейся на поэтическую силу, на иронию, на необыкновенную свободу письма, отличает Солженицына от всей остальной современной русской словесности. Конечно, он не единственный и даже не лучший наблюдатель нынешних русских нравов. Другие тоже сумели и освоить и передать ускользающий от передачи опыт одинокого сопротивления тоталитаризму. Солженицын не обладает богатством культурной «подпочвы» Юрия Домбровского, автора «Факультета ненужных вещей», которому удалось перевести невероятность угнетения в целом на язык индивидуальных мифов и фантазмагорий, пожалуй, более мощных, чем у Солженицына. Андрей Сняжковский с большим эстетизмом живописует культурное и космогоническое выживание заключённого в хилом космосе лагерной зоны. Но только Солженицын сумел в такой степени слить лиризм собственного страдания и раскаяния с «поток» истории, сокрушительным потоком насилия, в котором человек-волк соразмеряется как с минувшим, так и с грядущим. Бесчисленные, как в математической теории, «номера»-жертвы заполняют солженицынское пространство, нестройно звучат их голоса, но мистический хорал поднимается над этим человеческим лесом.

Армия призраков, нашла бы она когда-нибудь доступ в человеческое, свидетельствующее пространство без этого одержи-

мого, этого математика с цепкою памятью, этого прирожденного тактика, который вступил в бунт, как поступают в монашеский орден? Да, кое-что в нем раздражает, например — рвение прозелита, манихейство, опасно обнаруживающее себя в ненависти к Западу, который, однако же, спас его своими печатными станками. Но его сверхъестественное сопротивление, его убежденность, что память — единственное средство исцеления для нации, его наивная и свежая вера в действия Праведника не просто благотворны, они совершенно ничем не заменимы в нашей сегодняшней духовной жизни. Во многом они связаны с его религиозностью, набожным детством. Он вспоминает о долгих часах за богослужением, о том отпечатке, который они наложили и которого не смогли стереть ни жернова жизни, ни мудрствующие лукаво теории. Его вера напоминает пуританскую веру кальвинистов, янсенистов, старообрядцев. Есть что-то глубинно пуританское и в его религиозной любви к труду, соединяющейся с личным аскетизмом. Его вражда к богатству и изобилию, постоянное восхваление поста, недоверие к «чужим красотам» европейского искусства Санкт-Петербурга, порицание комфорта и всяческого «укоренения» в жизни (что, впрочем, не исключает любви к инженерному делу, к хорошо налаженному хозяйству) — все эти черты характерны для парадокса пуританизма; Макс Вебер точно подметил, что добродетель, которую пуританизм проповедует, создает богатства, которых он гнушается.

Сегодня уже нет сомнений, что его вражда к тоталитарному режиму вписывается в более широкий контекст, а именно — в отказ от материалистической западной цивилизации. Глядя на «европейскую» индустриальную цивилизацию в ее третьем поколении, Солженицын осуждает всеобщую и смертоносную «гонку материальных благ» как на Востоке, так и на Западе, насмехается над евроцентризмом, предполагающим, что у всех человеческих культур — только один путь: непомерная индустриализация и правовая демократия (развитие индивидуума ограничивается лишь крайними пределами его прав). Образ Матрены, этот символ самоограничения, выживания нетронутой и потаенной народной культуры, — образец для Запада в той же мере, что для Востока. Но много ли Матрен в сегодняшней России, вступившей, как бы то ни было, в эту гонку, в погоню за материальными благами? Солженицын отвергает «западную модель», и Запад отвечает ему все более запальчиво и раздраженно. Редакция

ная статья «Нью-Йоркера» от 12 февраля 1979 сопоставляет его с аятоллой Хомейни, подчеркивая, что оба поворачиваются спиной к безбожному Западу. Но было бы справедливее отметить, что редкостная прозорливость Солженицына позволила ему осмыслить многие события наших дней (в том числе — и переворот в Иране). Глубоко убежденный, что культуры, сопротивляющиеся Западу, ему и не уступят, он помещает среди них, рядом с исламом, Индией и Китаем — Россию, скрытую под идеологическим гримом. Это старая идея Шпенглера, но продуманная заново после катастрофы человеческого существования, которой Шпенглер и его современники не могли себе представить. Величие Солженицына в том, что избранный им самая общая точка зрения, склонность его к теократии, тревожный призыв к самоограничению, обращенный ко всем нациям, — все сопряжено с человеческой личностью. На нижнем, мирском уровне он вызывает к чести. Честь состоит в том, чтобы не марать своей души, быть лучше жертвою, чем палачом; к чести вызывает и полковник Воротынец в «*Августе Четырнадцатого*»; честь требует от нас «жить не по лжи». Но на высшем, положительном уровне — это призыв к жертве. Честь сближает героев Солженицына с героями античной древности — со стойками и со средневековыми рыцарями. Жертва направляет их к христианской святости. Солженицын — не политик; вся его энергия обращена к «автономной» личности, а не к группе, служащей орудием политической стратегии. Каждое его произведение, каждое публичное выступление — урок автономии человеческой личности в «век колючей проволоки» или размышление об этой автономии. От природной автономии крестьянина Благодарева, который думает укрыться в Грюнфлиссском лесу, питаясь кореньями трав, до высшей автономии тех святых в ГУЛаге, чьи портреты он написал.

Этому манихею нужен открытый враг. Сделавшись историком, вступил в состязание со смертью, чтобы завершить «узлы» своего исследования русской революции, сумеет ли Солженицын-историк уберечься от искушения «свести счеты» с ненавистным либерализмом? Ненавидеть может герой сопротивления, но не историк. Возможно, он ошибся, начав исследование с 1914 года (с оглядом на 1911) — даты слишком поздней, когда игра была уже окончена. Было бы вернее судить русский либерализм в пору его подъема, в России земских учреждений, школ, Чехова, вечерних университетов, Россия без пышного фасада, но поднимавшейся

мало-помалу к цивилизации действенной и более справедливой. Заблуждается он, видимо, и в своем презрении к правовым формам гражданского общества, принимая на душу старый грех славянофилов и, в еще большей степени, их ложных наследников, типа Победоносцева.

Но каждое из его выступлений дышит глубочайшей убежденностью и, тем самым, приносит пользу миру. Около ста лет назад старец Зосима отправил своего ученика Алешу «в мир». Мир этот принял ужасное волчье обличье; Солженицын испытал это на себе, нас же — заставил увидеть. Как и в душе Алеши, в его душе соседствуют пыл битвы и внутренний свет, тот мирный свет, к которому он приводит героев «*Августа Четырнадцатого*».

Не он один показал ГУЛаг, размышлял о нем. Он сам упоминает целую армию диссидентов. Спор его с Сахаровым уже давно стал главным спором. Его предмет — ценность демократии. В начале 80-х Сахаров более или менее разделял позицию Солженицына: «демократическое движение» уже не казалось реальным решением. На смену борцам и поэтам вроде Галанскова пришли скептики, молодое поколение, закалившееся в диссидентских схватках и вынесшее из них трезвость взгляда, новую для истории русской мысли: Амальрик, Буковский.... Их мысль принимает иногда антирусское направление; искушение прибежищем славянофильства им совершенно незнакомо. Бок о бок с ними оказались представители старших поколений, часто — резко противоположные друг другу: Варлам Шаламов, оставшийся в СССР и заплативший за спокойствие верноподданническим заявлением; Виктор Некрасов, улыбчивый, скептический, акварелист и литератор, единственный, кто попросту наблюдает Запад; Владимир Максимов, терзающийся, осаждаемый, писатель разом и простонародный, и вычурный; Андрей Синявский, парадоксалист и эстет, поэт ГУЛаговского микрокосма, памфлетист розановского направления; Надежда Мандельштам, чей замечательный анализ феномена тоталитаризма весь целиком вышел из поэтической и трагичной прозрачности Осипа Мандельштама; Евгения Гинзбург...

И затем — один из последних новых эмигрантов философ-сатирик Александр Зиновьев. Его «Зияющие высоты» — жестокая сага о диссидентских деяниях и даже «сума» всех человеческих деяний в условиях тоталитарного режима, зловещая фантазматическая, с выводами которой Солженицын согласился в февральском интервью 1979 го-

да: коммунизм построен, утопия осуществилась, она есть не что иное, как диктатура посредственности. Зиновьев предлагает нам достигнутое будущее, в котором невозможны ни героизм, ни совершенство, где единственное спасение человека — в социальной мимикрии и в нравственной деградации. О Солженицыне, которого они называют Правдецом, герои «Зияющих высот» судят подчас сверху вниз: «Не надо его осуждать... Формируется человек в одиночку. Пишет так, чтобы никто об этом не догадывался. Если критика — пристрастный несправедливый погром. Если сочувствие — пристрастные некритичные дифирамбы... Правдец есть жертва обстоятельств, хотя и играет роль пророка. Потому и претендует на роль наставника и судьи». Зиновьев — ученый, специалист по многозначной логике. Рядом с его миром мир Солженицына кажется вполне «эвклидовским». Меж ними пролегает невидимый рубеж судьбы: один пострадал от сталинизма, другой пользовался его благодеяниями. Но рубеж еще более глубокий пролег между логиком и моралистом. Логиком, который исходит из «системы» и идет к неумолимому пессимизму. Моралистом, который вышел из ГУЛага и направляется к Царству Избранных.

Неоспоримое величие Солженицына в том, что он приступил к титанической **мелиорации** истории нашего века. Не только выставляя на всеобщее обозрение бесчисленные «каналы», питавшие невидимые острова Архипелага ГУЛаг, но и осушая болота наших душ. Он — пламенный, яростный, саркастический, жестокий ответ на нашу робкую неповоротливость перед лицом тоталитарного Левиафана и на расспросы «взбунтовавшегося человека» (по формуле Камю). После него все стало яснее, все поздоровело. Этому дренированию нечистоты века и человеческой нечистоты он дал могучую поэтическую форму, лирическую и ироническую разом, подняв на дыбы русский язык, чтобы вернуть ему народную энергию и пророческий смысл. Он живое доказательство того, что пути письма еще нужны истории. Потому что только письмо способно собрать и организовать гомерическую массу чувства, негодования, крика и молитвы, массу, без которой мысль не может объять век гулагов. Ни первый русский писатель тюрьмы, ни единственный писатель тюрьмы сегодня, Солженицын входит, в конечном счете, в долгую традицию, включающую не только Сильвио Пеллико или Достоевского, но и Святого Павла. От современников своих он отличается тем, что отвергает категорически тюремное устрой-

ство, которое у Шаламова и Синявского начинает мало-помалу править и внутренним и внешним мирами (и малой и большой зонами, говоря языком эзков) и, в конце концов, оцепляет злобещий мир логика Зиновьева, хотя тот и не изведal ГУЛага на собственной шкуре. В самой сердцевине своего лагерного опыта Солженицын открыл не мрак абсурда, но сияние смысла. Там выковался окончательно его характер; там родился его взыскательный голос, одинаково раздражающий и Запад и Восток. Тюрьма для него не метастаз, от которого нет избавления и который захватывает весь организм нашего века, но «первая любовь» и рождение свободы.

Европейская литература до лагерей была «литературой тюрьмы». Тюрьма, романтическая метафора, крепость, обороняющая «я», местопребывание мятежного духа, место кошмаров и спасительных видений — она была одной из самых сильных литературных тем. Фабрицио Стендала, Пьер Безухов Толстого, Митя Карамазов Достоевского нуждаются в тюрьме, чтобы «выработать» самих себя. После Освенцима и после Колымы тюрьма, превратившаяся в концентрационный лагерь, перестает быть возвышенным местом раздумий, становится местом разложения, распада всего человеческого. Варлам Шаламов был, на мой взгляд, самым могучим истолкователем этого разложения человека в лагере. Мост между Освенцимом и Колымой, объясняющий связь двух тоталитаризмов, был переброшен Василием Гроссманом в его поразительном, вышедшем посмертно романе «Жизнь и судьба».

Какое место в этой тематике занимает Солженицын? Освенцима в его раздумьях нет вовсе, и это понятно. Как раз тогда, когда Гроссман собирал материалы для «Черной книги» (запрещенной впоследствии), Солженицын отправился прямо с фронта в ГУЛаг. Лагерь, разрушитель человеческого в человеке, — Солженицын знает его, изучает, не обходит ни единого из проявлений его ужасающей разрушительной силы. Но мы показали, что все его усилия, все порывы направлены к преодолению лагеря и лагерной деградации человеческого. Показательно и то, что «Круг первый» восстанавливает метафору тюрьмы как замка, оберегающего «я», где вырастает и крепнет душевный покой. Замок Грааля мистически накладывается на злое концентрационное место. Пространство и человек разгибаются, выпрямляются, вновь обретают вертикаль: «Картина задумана была по высоте в два раза больше, чем по горизонтали. Это была

клиновидная щель между двумя сдвинутыми горными обрывами. На обоих обрывах, справа и слева, чуть вступали в картину крайние деревья леса — дремучего, первозданного». Этот взгляд, уходящий ввысь в мистическом восхождении, — основа основ солженицынского видения, душа, поднимающаяся вопреки горизонтальной империи зла, триумф «тюрьмы» над «лагерем»...

Сегодня на ристалище остаются два Солженицына. Первый — публицист поневоле, человек, питающий отвращение к политическим ролям, но сделавшийся политическим рупором, писатель, питающий отвращение к иронии, но ведущий борьбу на разрушение с помощью веры и иронии. Это Солженицын в изгнании; из своего американского уединения в Вермонте он пророчествует о «посте» во вселенских масштабах; он отживает великий мир сего, который хотел бы прибрать его к рукам, и иногда отправляется с «государственным визитом» (или почти с «государственным») — проповедовать новую веру самоограничения, национального возрождения, борьбы против коммунизма и за возвращение западному миру его утраченной мужественности. К этому Солженицыну все меньше прислушиваются западная пресса, радио, телевидение; его все больше ненавидят и поносят, все больше завидуют ему в русской эмиграции. Этот изгнанник вкушает от герценовского одиночества; прибывший на Запад и еще не так давно получивший от американского Сената предложение принять почетное гражданство Соединенных Штатов *, Солженицын, как великий эмигрант девятнадцатого века Герцен, отчаивается в Западе, которому он сулит «февраль 17-го», и отчаянно цепляется за славянофильское видение России, чтобы не впасть в исторический пессимизм. Скажем прямо: у этого Солженицына все меньше шансов быть услышанным. По крайней мере — пока общее положение не ухудшается. Возможно, впрочем, что в глубинах публики его воздействие гораздо более значительно, чем можно подумать, судя по откликам западной интеллигенции. Возможно также, что он совершил роковую ошибку, составив себе представление о Западе лишь по некоторым внешним знакам упадка. Как бы то ни было, в области политики Солженицын — «мономан», а к мономанам прислушиваются только тогда, когда их правоту подтверждает катастрофа. Можно сколько угодно доказывать несправедливость и даже лживость кампании, ко-

торую без передышки ведут против него «демократы» из русской эмиграции, можно сколько угодно высмеивать «запугивание русским национализмом», которое свирепствует вокруг него, — поделаться ничем нельзя: изгнанник попался в сети изгнания. Но разве главное уже не достигнуто? Разве пророческий голос Солженицына — наряду с другими голосами — уже не распрямил души?

С одной стороны, Анна Ахматова поверяет Лидии Чуковской 30 октября 1962: «Светоносец! Свежий, подтянутый, молодой, счастливый! Мы и забыли, что такие люди бывают. Глаза, как драгоценные камни. Строгий, слышит, что говорит».

С другой стороны, Н. Лепин (Л. Пинский) в замечательно умных и острых «Парафразах и памятованиях» иронизирует: «Пророческий дар от Исайи до Исаича, увы, неизвестно деградировал!»

Но остается и второй Солженицын, тот, кто, «откатив» глыбу «Архипелага» и романов о человеческом существовании в концентрационном мире, взялся за «Красное колесо», огромное «повествование в отмеренных сроках», из которого нам известны лишь первые тома «действия первого». Это «действие» названо «Революция» и включает «Август Четырнадцатого», удвоившийся в объеме (2 тома), «Октябрь Шестнадцатого» и «Март Семнадцатого» (всего восемь томов). Когда автор «откатит» эту вторую исполинскую глыбу первого действия, останутся ли у него еще силы и время, чтобы приняться за третье?

Из того, что мы знаем о «Красном колесе», прежде всего поражает упорство в исполнении замысла: задуманная в отрочестве эпопея вобрала главы, написанные автором в восемнадцатилетнем возрасте, в Ростове-на-Дону, непрерывная работа началась, едва завершён был «Архипелаг», кавендишский отшельник проводит над нею дни и ночи в своем кабинете, укрытом в северных лесах Вермонта. «Почему-то знал уже с девятилетнего возраста, что буду писателем. Я задумал мою большую книгу о революции («Август Четырнадцатого» и последующие узлы), когда мне было 18 лет. И потом никогда от этого замысла не пришлось отказываться. Я начал воплощать его в 1938-39. Потом пошел на войну, потом тюрьма, лагерь. Когда же вернулся из ссылки и перечитал почти забытые мною главы — то кое-какие почти и не пришлось изменять. Они заняли сразу же место, на которое были предназначены».

Солженицын объяснил, что пишет свой

* Это было в 1974. Палата Представителей этому предложению воспротивилась.

роман-эпопею тем же методом, какой применялся в «Архипелаге»: собирание материала в гигантских масштабах, измельчение всей этой информации в «мозаику», сплачивание «мозаики» по принципу узлов. Каменщик в первую голову (как его герой Иван Денисович), Солженицын постоянно тревожится об **уплотнении**. Построение узлов, концентрация исторического действия, даже уплотненность синтаксиса — все способствует борьбе против смерти, против исчезновения пережитой человеком истории. Автор настаивает больше, чем нужно, на своей личной связи с событиями — через воспоминания детства, через свидетелей, которых он знал лично. Эта потребность в прямой связи — основная в поэтике Солженицына, поэтике «прямой передачи», «быстросхватывающегося раствора».

Всего более озабочен Солженицын оживлением пережитого, установлением прямых, непосредственных (как непосредственный взгляд) отношений с ним. Ритм — решающий элемент в его художественном построении. Отсюда и странный подзаголовок — «повествование в отмеренных сроках», отсюда и перемены ритма, подчиняющиеся точному метроному, который знает, что должен стучать на протяжении более чем шести тысяч страниц. Медленный ритм начала «Августа Четырнадцатого», «замедлено сознательно»: это ритм отправления в путь, неторопливого, семейного, старинного, ритм, который уже не повторится, потому что разрушительное колесо катится все скорее. Главы дидактические с медленным ироническим ходом, главы-монологи (монолог Монарха, в котором взгляд приносится к врожденной нерешительности), механизм монтажа убийства Столыпина в киевском Большом театре, то летящий во весь дух, то притормаживаемый, короткие зримые стихотворения глав-экранов, долгие и тяжеловесные психологические объяснения, в которых автор разглядывает своих героев под увеличительным стеклом, раздробленность и возбужденность моментальных фотографий улицы — гигантское произведение Солженицына не будет ни «Войной и миром», ни «Человеческой комедией», ни «Ругон-Маккарами». Солженицын сумел преодолеть старую семейную схему и найти новую архитектуру, основанную на эпизодах действия, поданных крупным планом. Классический персонаж исчезает, не служит более **связующим звеном**. Связь обеспечивается

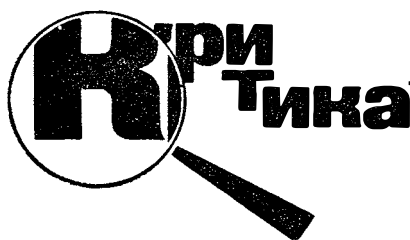
не временем завоевания (как у Бальзака), не биологическим временем (как у Толстого), не временем припоминания (как у Пруста), но устремленностью времени к будущему. Длинноты, крупные планы, я бы сказал даже — умышленная наивность Солженицына суть, раньше и прежде всего, средства сопротивления этому ускорению ритма жизни. Ведь, вообще-то говоря, как во всех великих и спасительных литературных трудах, так и здесь: цель — это овладеть временем.

Конечно, еще слишком рано судить о «Красном колесе». Мы еще слишком далеко от намеченных двадцати узлов, от восьми «видов повествования». Эпопея только набирает ритм. Но уже ритм «Августа Четырнадцатого» — с его царственной неспешностью погребения старой Руси, со скопированными и синкопированными главами о разгроме, с глубоким и ясным дыханием в созерцаниях космоса, со вспышками другой мудрости мира, мудрости народа, открывающейся в его пословицах, которые приносят суждение со стороны, — позволяет нам разглядеть в рождающейся эпопее Солженицына произведение, идущее против течения (в глубоком смысле слова), течения, которое расшатывает старинную культуру, произведение, которое хочет понять и хочет простить.

Великий поэт-сатирик, гнушающийся сатирой, политик, испытывающий омерзение к политике, радатель об «уплотненности» в искусстве и писатель с «экономией средств», требующий безмерных пространств письма, великий христианский поэт, который, однако, как и иные хулители современной христианской литературы (Леон Блуа, Жорж Бернанос), категорически не согласен вмешивать Христа в мерзости мира, пророк ограничения и взаимного прощения, выдыхающий, однако, в свое слово энергию, а случается, и неистовый запал, которые могут быть (казаться) несправедливыми и непомерными. Солженицын — парадоксальный русский писатель. Лучше всего, пожалуй, предоставить здесь слово ему самому:

«Я слова «возврат» всегда избегаю... Потому что какой же возврат, мы всё время идём куда-то вперёд. Я мечтал бы о наибольшей лаконичности. Но как в современном мире, нагруженном понятиями, какими действиями, как этой лаконичности достичь, не обеднив содержания, вот вопрос».

Писательский союз, или Перестройка Вавилонской башни?



Ни для кого не секрет, что СП переживает сложные времена. Публикуем мнения ряда известных писателей, руководителей республиканских союзов и новых «неформальных» творческих объединений: И. АУЗИНЯ, председателя правления СП Латвии, И. ДЕДКОВА, секретаря правления СП СССР, С. ДУБОВЦА, одного из организаторов

объединения молодых белорусских писателей «Тутэйшыя», СТ. КУНЯЕВА, секретаря правления СП РСФСР, В. МАТИНКУСА, председателя правления СП Литвы, А. ПРИСТАВКИНА, сопредседателя Совета ассоциации «Апрель» (писатели в поддержку перестройки), М. ЧИМПОЯ, секретаря СП Молдовы. Материалы подготовлены в апреле—мае.

Игорь Дедков (Москва)

С точки зрения здравого смысла: что нужно литератору?

Возможность писать и возможность печататься: в газетах, журналах, издательствах. (Подразумевается, что, с одной стороны, налицо дар писательства и профессионального письма, с другой — со стороны редакций — тоже профессионализм оценки, отбора и т. п.)

На линии этих отношений есть ли место Союзу писателей?

Места нет, но он его находил, поддерживая начинающих и помогая им стать на ноги, что было для многих благом и нередко — благом для литературы.

Места нет, но оно было ему твердо указано, уготовано государством, да и сам он проявлял непомерное усердие, более полувека осуществляя идеологический контроль за всем, что писалось-издавалось, и это было несомненным злом как для отдельных, строптивых и не очень строптивых писателей, так и для всей литературы, ее уровня и судьбы.

Места нет, но, занимаясь выращиванием «молодняка», а более всего идеологической опекой, контролем и внедрением политического единомыслия, начиная с областного уровня, Союз разрастался и разросся до размеров Важного Общегосударственного Учреждения, иерархически и централистски организованного, со своей служебной дисциплиной, отчетами о проделанной работе, платными должностями и должностными привилегиями.

По примеру партии основной руководящей единицей стал «секретарь».

А там, где табель о рангах всегда открывается возможность карьеры, а карьера в литературном учреждении увеличивает возможность печататься.

«Путь наверх» — в идеальном виде — мог бы выглядеть так: ответственный секретарь областной или краевой писательской организации — секретарь правления республиканской организации — секретарь правления Союза писателей СССР. От съезда к съезду число секретарей вырастало, число платных должностей — тоже. Какая уважающая себя контора добровольно перестанет расти и совершенствоваться?

Не забудем также, что каждому из должностных уровней, особенно платных, соответствовала определенная степень как бы общественного признания (член или кандидат в члены обкома партии, член или кандидат в члены Центрального комитета компартии республики или ЦК КПСС, депутат того или иного Совета).

Подразумевалось, что иерархия должностей, званий, общественного положения, числа изданий и тиражей соответствует иерархии чисто литературной. Простодушный читатель так и считал: кто выше и виднее, тот и лучше как писатель.

Оглянемся: а часто ли было так на самом деле?

Оглянемся: к каким сияющим высотам какого искусства вела эта иерархическая лестница секретарей? Кем они были и, наверное, еще есть: посредниками между партийно-государственной властью и писателями? Или защитниками интересов писателей перед местной и центральной властью?

Кто-то скажет: и тем, и этим, и всем понемногу. Но история напоминает: защитниками — в наименьшей, практически ускользающей степени.

Так вот, возникает вопрос, не восстановить ли нормальную, общепринятую систему отношений. пишущий пишет, издающий издает и ничто, никакие литературные конторы со своими рекомендациями, планами и советами в них не встраивают.

Давным-давно (1859) возникло «Общество для пособия нуждающимся литераторам», позднее ставшее Литературным фондом. Вот организация, чье место в жизни и чьи задачи неоспоримы. Недаром Борис Пастернак умер членом Литфонда: то был знак его принадлежности к племени русских литераторов-профессионалов. Звание же члена Союза писателей СССР оказалось возможным отбирать у живого и возвращать мертвому, словно какое-то идеологическое удостоверение, не относящееся к существу дела, которым он занимался.

Я понимаю литовских писателей: они сохранили свой независимый республиканский Союз, потому что он им сегодня нужен — в условиях борьбы за государственную самостоятельность они предпочитают выступать единым духовным и общественно-политическим сообществом.

Наверное, и нам в России в пору резких общественных, трудно предсказуемых перемен нужны сообщества литераторов, близких идейно и эстетически. Но если это действительно так, то единый общероссийский Союз сегодня невозможен. После чтения газеты «Литературная Россия» и родственных ей изданий понимаешь, что находиться в одной организации с авторами многих публикуемых там текстов становится невозможно. Тем более что именно в этих органах печати отстаивается, в сущности, старая идея Союза писателей как жесткой иерархической системы, то есть идея проталинская, но с относительно новой и опять-таки обязательной идеологической начинкой, насыщенной нетерпимостью. Пожалуй, такой Союз не только не уступит место на линии «пишущий — издающий», а постарается — и старается уже! — расположиться, раскинуться там повольготнее, чтобы регулировать и сортировать, вводить в рамки этот отбившийся от рук литературный процесс...

Может быть, лучше, чем консолидировать неконсолидируемое, сшивать несшиваемое, сращивать несрачиваемое, собраться на съезд да распустить прежний Союз, получив вместо него по всей стране новые творческие объединения, основанные на близости политических и эстетических идей и группирующиеся вокруг журналов, газет, альманахов. А придет время согласия и лучшего взаимопонимания, образуются какие-нибудь федерации и ассоциации — на здоровье! Лишь бы не на старом месте и без старых прав и обязанностей. Лишь бы вернулся в литературную жизнь здравый смысл и вспомнили бы, что литература — дело индивидуальное, дело одиночек и, как бы ни был громок и пронзителен хор пленумов и прочих больших собраний, литература там не завязывается и не прорастает...

Витаутас Мартинкус (Вильнюс)

Два события, одно из которых произошло уже год назад, а второе — в начале марта, не позволяют мне на равных с другими участниками обсуждать будущее СП СССР. Начну со второго события: изменение политической ситуации в Литве и вокруг нее. Как известно, 11 марта Верховный Совет республики принял целый ряд

постановлений, в результате которых восстанавливается реализация суверенных прав Литовского государства. (К сожалению, III съезд народных депутатов СССР предложил «отменить» наши литовские юридические опыты. Я верю в писательское стремление к свободе и правде, убежден, что никто из писателей — народных депутатов СССР не голосовал против воли Литвы к самоопределению.) Сегодня ситуация остается сверхсложной — и в Вильнюсе, и здесь, в Москве. Думаю, избрание Президента СССР не решает автоматически ни одной из серьезных политических проблем. В Литве выбор сделан, поверьте мне, свидетелю и скромному участнику политической жизни республики. Выбор сделан, и вопрос только в том, каков будет темп дальнейших политических шагов — очень скорый, поспешный или нормальный.

Разумеется, принцип суверенности касается и всех общественных организаций Литвы. В новом политическом контексте отношения между СП СССР и СП Литвы становятся как бы на новую ступень, это отношения между творческими организациями разных государств. Такие взаимоотношения не могут сложиться вдруг — сразу и окончательно. Хорошо, когда заранее и продуманно обе стороны готовятся к такому новому типу отношений. Поэтому скажу теперь о первом событии из упомянутых мною: это акт подготовки и принятия Устава СП Литвы на внеочередном съезде писателей республики 7 июля 1989 года. Уже год писательская организация Литвы руководствуется только своим уставом, является независимой. Но это не значит, что мы оборвали все связи: 4 ноября 1989 года был подписан договор между СП Литвы и СП СССР. Его пункты и являются связующими нитями. Наша жизнь стала и проще и сложнее; например, нет никаких «вертикальных» директивных указаний, мы сами определяем направления своей деятельности. Вместе с тем непросто собственными силами решать вопросы организационного порядка или материального обеспечения...

Но все-таки, разрабатывая проект нового Устава, мы думали прежде всего о творческой жизни нашего союза, особенно о защите профессиональных прав писателя. Сразу же включили в этот правовой документ статью о том, что СП Литвы защищает своего члена, если писатель в этом нуждается — скажем, цензура или какие-то другие политические силы препятствуют свободе его творчества. Уже тогда включили в Устав и статью, согласно которой можем принимать в свой Союз членов вне зависимости от их места жительства; мы имели в виду прежде всего литовских писателей-эмигрантов, которых сравнительно много... Ведь после установления в 1940 году Советской власти с первыми репрессиями 1941 года не по своей воле покинули родину некоторые крупные наши писатели. Одни уехали на Запад, другие на Восток — одни стали эмигрантами, другие ссыльными. Когда фронт второй мировой еще раз прошел через территорию Литвы, поднялась очень высокая волна эмиграции. В результате после войны в Литве создалась ситуация, которую можно назвать литературным вакуумом. Да, этот вакуум постепенно заполнился, нашлись новые люди. Но тогда уже главным критерием был не талант, не самостоятельность мышления, уникальность видения мира, а политические убеждения и трудолюбие писателя, скажем так. Писатели послевоенного поколения что-то создали в литературе, надо отдать им должное, но, я повторяю, литература наша как бы раскололась на до- и послевоенную. Плюс эмиграция. До перестройки, говоря о литовской литературе, мы не могли о ней упомянуть (кстати, даже в энциклопедиях справки о творчестве писателей, оказавшихся за рубежом, заканчивались сороковым годом). Надо ли говорить, какой это ущерб для культуры? Новый устав позволяет нам включать эмиграционные силы в сегодняшний процесс, переоценивать наши собственные достижения, возвращать имена маститых литераторов... Например, в прошлом году впервые после 45-летней эмиграции на родине гостил поэт Бернардас Браздженис. В Литве изданы его избранные сочинения. Чтобы было совсем ясно, скажу, что раньше только за хранение книг этого автора в СССР человек мог получить срок и десять, и пятнадцать лет. Или другой писатель-прозаик, которого, к сожалению, уже нет в живых: Антанас Шкема. Его роман «Белый саван» был первым на литовском языке произведением, где автор с первой до последней строки мастерски использовал технику «потока сознания». Этот роман создан в начале пятидесятых годов в эмиграции в США, гораздо раньше, чем романы М. Слуцкиса, А. Беляускаса, которые также написаны с использованием приема внутреннего монолога. Шкема же многим читателям был вовсе неизвестен: зарубежные издания до Литвы с трудом доходили, лишь в прошлом году опубликовали у нас его роман в периодике, теперь будем издавать. Валтгянтас умер в Литве

еще до войны, но лучшая часть его публицистики никогда у нас не переиздавалась. Список авторов, живых и мертвых, которых мы возвращаем в свою литературу, можно продолжить...

Кстати, это одна из причин наших организационных трудностей — слишком много неотложных, первоочередных «рукописей». Вместе с тем издательские возможности невелики, и, отдавая чему-то приоритет, от чего-то приходится отказываться. В прошлом и в этом году приоритеты отдачи «эмиграционной» литературе и национальной классике (до сих пор мы имели только полное академическое собрание сочинений К. Донелайтиса, у других сочинения выходили с купюрами, некоторые произведения вовсе не включались в собрания сочинений по идеологическим мотивам — так, например, было с Кудиркой, Майронисом). Имея это в виду, я не согласен с утверждением, будто мы стремимся скорее оборвать межнациональные, в том числе и культурные связи. Да, некоторые переводные книги исключены из издательских планов, но о главных причинах я уже сказал. От этого пострадали не только многие авторы — наши друзья из Латвии, Белоруссии, России и более дальних стран, но и мы сами, литовские писатели. Будем пытаться создать свое писательское издательство; надеюсь, договор с СП СССР позволит нам какие-то книги издавать в «Советском писателе». Нам очень хотелось бы печататься и в «Дружбе народов», и в других журналах, то есть сохранить интерес русскоязычного читателя.

Скажу еще об одном принципиальном моменте — идеологии, которой до недавнего времени у нас были пронизаны буквально все государственные и общественные структуры. Уже утверждая свой Устав год тому назад, мы предвидели, что в литовской писательской организации начнется «деидеологизация». Глориялизм (а этот принцип заложен в Уставе) означает, что появятся различные писательские группы по эстетическим установкам, по убеждениям, по партийности и, если сам СП будет идеологизован и политизирован, как было раньше, мы сразу придем к «энтропии», к расколу. (Отмечу в скобках, что уже в предвыборной кампании в Литве активно приняли участие 6 политических партий.) Выход видится в изменении роли самого СП, роли, которая будет сводиться к поощрению творческой активности.

В «битве» с идеологией и политикой, то есть догмами, опекаемыми государством и его бюрократией, схоластическими схемами, псевдоценностями, наши писатели утратили профессиональную уверенность в своих литературных способностях.

Почему так редко в литовских книгах звучал исторический мотив? Ответ прост. Слишком фальшивым должно было стать слово писателя, чтобы исторические романы или повести были допущены к публикации. «Обмануть» цензуру можно было только иносказанием, подтекстом, образом-метафорой.

Сегодня в Литве цензура как таковая отсутствует. Действует Закон о печати, и только этим законом регулируется «свобода» писательского слова. Правда, правда и только она одна — правда. Вот главный критерий для любого текста. Может быть, поэтому СП Литвы пришлось повысить свое внимание к «литературе ссыльных», к воспоминаниям, эссе, повестям и стихам авторов, которые по воле несправедливой судьбы очутились в ссылке — у моря Лаптевых, в Караганде, Инте, Воркуте... Непрофессиональность таких вещей компенсировалась непосредственностью выражения опыта, правдивостью. Среди таких авторов были, как я уже сказал, и писатели «профессионалы». Надо отдать им должное. Сегодня в процессе возвращения литературы к самой себе, к нормальному своему руслу, с нормальными «берегами» идеологии и политики творчество таких писателей тоже исключительно поучительное явление.

Скажем, наш поэт Антанас Мишкинис. В Мордовии в лагерях он писал поэму, или, по словам В. Кубилоса, «летопись народного мученичества», к которой никак не подходят традиционные литературные критерии. Глубина и художественность этой «летописи», написанной, кстати, на клочках мешков от упаковки цемента, потрясает читателя. Эскизы выучивали наизусть эти строки, переписывали в свои дневники.

Думаю, что только через примеры подобного творческого успеха можно взглянуть на тайну свободы творчества, на тайну пространства и времени такой свободы. В письме от 21.4.56 года своему брату Мотеюсу поэт А. Мишкинис так охарактеризовал свое самочувствие: «Недавно, по случаю юбилея, прочитал в местной газете о Достоевском. Здесь, в этом краю, он находился на каторге, и здесь им были написаны «Записки из Мертвого дома». Тюрьма, кажется, та же самая сохранилась, только нам пришлось в ней очутиться. Но пишет, что он здесь, на Иртыше, трудился на выгрузке барж. В прошлом году, в июне месяце и меня на один день отправили туда на такую же ра-

боту. Река — Хмуры! Да ведь это было по-своему и честь для меня... Ах, иногда легко на сердце, пока не почувствуешь себя побежденным как человек, пока еще самой скверной улыбкой — улыбкой побежденного человека — не заулыбаешься. Ведь и раб неужели тот, которому кандалы надели да голову привязали, а не тот, который стал «целовать эти кандалы...».

Да, «не целовать кандалы» в любой ситуации — сказано хорошо и просто, но не так-то просто по такому принципу жить не только на каторжном пайке, но и сегодня — при «перестройке» и «гласности».

Разумеется, не в силах СП Литвы создавать исключительные условия — «оазисы свободы» для писателей. Установка такова, что только в условиях настоящей индивидуальной творческой свободы возможны положительные сдвиги по направлению от ремесленнических мастерских (там «инженеры человеческих душ») к святилищу литературы (там слышно: «de profundis»). СП Литвы намерен сделать все возможное для того, чтобы писатели шли на творческий риск, скажем, даже на творческую авантюру, эксперимент — и это было бы гораздо плодотворнее, нежели идеологические или политические салто-мортале, конъюнктурное, конформистское приспособленческое перо.

Даже самые осторожные шаги, например, к переоценке всей послевоенной литовской литературы, обогащение ее эмигрантской литовской литературой, прощание с «соцреализмом» сопровождаются недовольством, обидами... Да, это болезненный процесс, особенно для работающих писателей. Но мы должны решиться на эту боль. Она лечит. Кстати, мы готовимся к первой конференции, в которой будут участвовать как наши писатели, проживающие в Литве, так и те, которые по воле судьбы оказались в разных и далеких странах. (Вне территории республики проживают и сейчас занимаются литературной деятельностью свыше двухсот литовских писателей.)

Да, разумеется, в поле внимания СП Литвы остаются вопросы по улучшению писательского быта, охраны здоровья и т. д.

Что же касается общих организационных связей, мы намерены сохранить некоторые из сложившихся форм сотрудничества и искать новые, проводить общие мероприятия с СП СССР и республиканскими организациями по освещению некоторых обоюдоинтересных творческих проблем, продолжить взаимопользную издательскую деятельность. Говорю об этом со всей ответственностью, чтобы избежать новых кризисов, которые появляются всегда из-за дефицита информации. Договор о сотрудничестве между писательскими организациями Литвы и СССР действует до 1 января 1991 года, а потом, если потребует корректировка, я думаю, ее внесет сама жизнь.

Анатолий Приставкин (Москва)

По моему убеждению, острый кризис, который переживает сейчас Союз писателей, — явление глубоко закономерное, и избежать его можно было бы разве что в том фантастическом случае, если бы История повернула вспять и в стране снова воцарились бы времена сталинщины или застоя.

У Войновича в «Иванькиаде» есть эпизод: автору снится белая кастрюля для молока и он мучительно решает вопрос, можно ли ее считать писателем. В конце концов он приходит к выводу: считать писателем, пожалуй, и нельзя, а принять в СП можно. И дальше вспоминаются слова, которые, подтверждаю, не раз звучали в стенах СП: «Книгу, которую представил товарищ Такой-то, не назовешь, конечно, талантливей. Да, она серая книга, но у нас же не союз т а л а н т л и в ы х писателей, а союз с о в е т с к и х писателей».

Вот в этом все и дело. Отсюда как говорится и ножки растут.

Истоки нынешних культурным языком говоря, противоречий следует искать не в сегодняшнем дне нашего «творческого союза», обвиняя то одну (чаще все-таки одну), то другую группу писателей в раскольнической деятельности, а в тех временах, когда создавался СП, и в тех целях, служить которым он был предназначен.

Главной же целью создаваемого Союза было превратить неоприходованного и Бог знает зачем существующего писателя в подлинного слугу государства и проводника руководящих идей. Из этого вытекали и другие, не менее существенные задачи: контроль, надзор, репрессии, поощрения. В общем, плодом оргуслий должно было явиться «на все сто» государственное учреждение («Комитет Государственной Беллетристики», как изящно определил историк и публицист А. Баткин), запрограммированное ра-

ботать на тоталитарную систему. Этой функции, как показало время, СП соответствовал идеально. Не было ни одной позорной кампании, в которой Союз не принял бы активнейшего участия, и не было ни одного неугодного властям писателя, к травле которого не присоединился бы его родной Союз. Актow защиты таких писателей на счету Союза не числится.

Как идеологическое учреждение Союз писателей должен был способствовать «введению единомыслия в России». Принцип единомыслия пронизывал всю структуру, собственно, во имя него она и была создана. Спинки руководящих кресел были сработаны так, чтобы отпугивать художников и манить исполнителей-функционеров.

И вот настал плюрализм. Заговорили о праве писателей на разномыслие. Спрашивается: может ли структура, созданная для подавления плюрализма, вдруг взять да и начать работать в противоположную сторону? На мирное сосуществование писателей (или групп писателей) разных, подчас полярных мировоззрений, направлений, идеологий? Не думаю, да и непохоже. Терпимость этой структуре противоречит. «Левые» ля, «правые», «радикалы», «демократы», «патриоты», «апрелевцы» — в принципе, ей безразлично, кому служить, лишь бы кому-то одному. Она ждет своего вождя.

Созданная по образу и подобию командной системы и являясь ее органической частью, эта структура и в условиях демократии будет без конца провоцировать на борьбу за монопольную власть.

Единственный выход — кардинальная реорганизация Союза. Именно к этому призывает и за это борется «Апрель». В «Платформе» нашей ассоциации (она опубликована в 1 номере пресс-бюллетеня «Апрель-информ» от 22 марта нынешнего года) прямо сказано, что мы выступаем за упразднение иерархической, «пирамидальной» структуры СП, за прямые, равные, демократические выборы во все органы самоуправления будущего Союза. Таким образом, «Апрель» сознательно не участвует в драке за власть в нынешнем Союзе, ибо его структура противопоставлена нормальной творческой организации. Чего не понимает (или не хочет понять) наше писательское начальство, вот и навешивает заскорузлые ярлыки: «жажда власти», «дешевая популярность», «линия на раскол»... Будто время уже давным-давно не смело, не развеяло миф о монолитном единстве советской литературы.

Не проходит такая демагогия — что ж, в ход идет другая: «антипатриоты!» «русофобы!» «юдофилы!».. Или еще такая: «Посвягая на имярек, вы посягаете не на него, а на высшие ценности русского народа!» Или — вдруг, елейно: «Вам с нами не по пути? Что ж, на здоровье — выходите из Союза, создавайте собственную организацию». Последнее очень уж напоминает не столь давние призывы к инакомыслящим убираться за границу, тем более что само собой подразумевается: монополия на владение материальной и издательской базой остается в прежних руках.

Ситуация в Союзе писателей, по сути, отнюдь не уникальна. Перед нами все тот же конфликт, который сотрясает сегодня всю страну: конфликт между новыми идеями, принципами и так далее — и старыми, непригодными, но укоренившимися структурами. Казалось бы: или — или. Или рыночная экономика — или Госплан. Или независимая печать — или «орган того-то и того-то»... На деле же происходит нечто с нормальной точки зрения невероятное: новые, соответствующие новым идеям структуры не должны «посягать» на прежние, а должны самоорганизовываться где-то в их недрах и при их «руководящей роли».

Судьба «Апреля» в этом плане мало чем отличается от судьбы других неформальных объединений, разве что в силу специфики писательского существования предана большей гласности. И проблемы у нас те же: необходимо свое, независимое издательство, свои газеты, журналы, альманахи — все это «пробивается» с невероятным трудом. И противник — если взглянуть глубоко в корень — тоже общий.

Какова позитивная программа «Апреля»? В области идейно-эстетической — это ориентация на полную свободу художественных исканий, включенность в мировой литературный процесс, отсутствие любого творческого монополизма и нормативных предписаний в области мировоззрения и поисков художественных форм. В организационно-творческой сфере — это курс на «разгосударствление» СП, на превращение его в федерацию, объединяющую разные писательские ассоциации. По мере демократизации жизни нашего Союза, я думаю, и сам «Апрель» перестанет существовать как единое целое, разобьется на какие-то самостоятельные ассоциации.

Впрочем, посмотрим. Недавно «Апрель» стал всесоюзной ассоциацией. Это прекрасно. Но вот вопрос, который меня, честно говоря, тревожит: а достаточно ли мы —

каждый из нас — крепки в своем демократизме? Хватит ли его на то, чтобы, ставши всесоюзным, «Апрель» мало-помалу не уподобился нынешнему СП? Не слишком ли силен в нас заквас тоталитаризма?.. Нужна, конечно, очень продуманная система противовесов или даже контрмер. Скажем, я думаю, самостоятельность московского «Апреля» поможет ему сохранить «неформальность», свободолюбие.

Часто приходится слышать: а что все эти преобразования дадут собственно литературе? Разрушатся устоявшиеся связи и зависимости, а дальше что?

Думаю, что подлинные творческие связи — ни между писателями, ни между литературами — не зависят от того, в каких формальных отношениях будут друг с другом состоять республиканские объединения писателей.

Писатель — по природе своей — существо независимое. Им нельзя руководить — в том числе и Союзу писателей. Поэтому надо приложить все усилия, чтобы наш Союз превратился действительно в творческий, а его «руководящие органы» — в органы помощи и защиты писателей от государственного насилия, от бедности и нищеты.

Борьба, как всегда, идет за свободу. Хотя мы и не знаем, что это такое.

Михай Чимпой (Кишинев)

Увы, оказалось, что служенье муз как раз терпит суету.

В наше бурное время, идущее под знаком Протея, то есть смутного прогрессирующего непостоянства, парадоксы никак не удивляют. Наоборот: мы стали привыкать к ним и считать их необходимостью, нормой. Таким образом, высказывание Ницше о том, что в новейшую эпоху Арлекнио (как символ Человека, надевающего на себя маску и отвергающего все святое) был поставлен рядом с Богом, кажется нам несколько устаревшим, ибо дела пошли намного дальше. Несовместимое стало абсолютно совместимым, и знак равенства мы теперь ставим там, где обычно не усматривалась какая-то предпосылка существования уравниения.

Один из этих ключевых парадоксов — это сплошная политизация муз. Политею и Поэзис, политику и литературу стали программно отождествлять. Больше того: нам не до литературы.

Конечно, мы прекрасно понимаем, что в нашем поляризованном веке писатель вне политики — это, можно сказать, литератор, обреченный с самого начала на неизвестность и неуспех. Проблема занимала и Оруэлла, очень читаемого сейчас писателя; нельзя никак убежать от политики, но, с другой стороны, писателю необходимо бескорыстное, не искривленное пристрастиями партий воззрение на действительность. Существует постоянный риск не сказать правду до конца именно из-за этой страстной увлеченности сиюминутной политикой. Единственное спасение в таланте, ибо только присутствие такового предупреждает от крайностей.

Точка зрения Оруэлла, высказанная еще в 1947 году в статье «Писатель и Левинафан», звучит очень актуально для нас, свидетелей и участников перестройки мышления.

Весна 1987 года была в Молдавии поистине литературной весной. Ветры перемен никак не касались израненного историей края, который одно время не уставали изображать как «солнечный», и потому молдавские писатели решили ультимативно требовать радикального обновления состояния дел в литературной жизни, в культуре, в экономике, в обществе в целом. Это движение, которое только сейчас принесло определенные плоды, расценивалось то как «массовый психоз», то как борьба за власть, то как экстремистские выходки. Но в действительности то был крик души, долго сковавшей косностью и несвободой, и мощь, с которой он прозвучал на долгих-долгих дневных и ночных собраниях, ломала все препятствия. Зря старались функционеры разного ранга успокоить страсти, зря уговаривал специально командированный союзным СП секретарь (Юрий Грибов) «любить своих секретарей» (не помогло и признание того, что он любит мамалыгу, вино и... молдавский язык). Состав правления был почти полностью обновлен, а литературная жизнь радикально демократизирована.

Май 1987 года полностью превратил молдавского писателя в политика, экономиста, социолога, эколога. Его безоговорочное включение в процессы обновления стало категорическим императивом времени. Писательская профессия претерпела абсолютную

универсализацию. Об этом можно судить по неимоверно большому числу писателей, ставших народными депутатами СССР и МССР: если раньше в Советы выдвигались 1-2 писателя, как правило, представляющие и другие творческие союзы, сейчас их аж 19! (Союзными депутатами стали Ион Друцэ, Ион Константин Чобану, Григоре Виеру, Леонида Лари, Думитру Матковски, Николае Дабижа, Ион Хадыркэ и автор настоящего выступления, а членами республиканского парламента были избраны Владимир Шеклягэ, Ион Ватаману, Лида Истрати, Валериу Матей, Николае Дабижа, Ион Хадыркэ, Валентин Мындыкану, Тудор Цопа, Андрей Цуркану, Михай Штефан, Василе Неделчиу. Как видим, некоторые литераторы отважились работать сразу в двух парламентах!)

Подоплека такого обострения писательского сознания очевидна: в нашей национальной культуре образовалось слишком много пустот и надо было торопиться заполнять их содержанием, язык деградировал до того, что требовал безотлагательной защиты, в общественной жизни мистификация так сильно укоренилась, что правду надо было срочно восстанавливать во всех областях (достаточно привести один аргумент: в «Философском словаре», изданном в Кишиневе в начале восьмидесятых годов, самым крупным мыслителем мира оказался не Гегель, Сократ или Маркс, а И. И. Бодюл, бывший первый секретарь ЦК КПМ); природа «солнечного» края так беспардонно была отравлена, что надо было вызывать: «SOS!»

Боязнь пустот — вот психологический фактор универсального вовлечения писателя во все и вся. Остро отточенные писательские сабли были направлены на гордые узел первоочередных проблем. «Целиться» здорово мешали, поэтому немало интеллектуальной и физической энергии было растрчено на долгую-предолгую аргументацию: почти два года ушло на кампанию, искусственно растягиваемую бюрократическим аппаратом, по решению языковых проблем, на борьбу за экономическую независимость республики уходит уже третий год, попытка организовать широкое экологическое движение еще потребует немало сил. К этому надо добавить энергию, потраченную на подготовку монументального плана по изданию летописей классиков и писателей, подвергшихся остракизму: вышли представительные сборники произведений Алеку Руссо, издававшегося до сих пор в усеченном виде, Георге В. Мадана, писателя, совсем забытого, а также первые тома эпопеи крупного прозаика и эссеиста Константина Стере, писателя со сложной судьбой, сторонника народничества. Запланировано полное собрание сочинений Михая Эминеску, классика мировой литературы, творчество которого было беспощадно искажено пролеткультовскими, вульгарно-социологическими и другими интерпретациями.

Вообще Дом писателей Молдавии превратился в своего рода Мекку, куда начали стекаться люди обиженные и оскорбленные, люди, ищущие правду и столь нужные в наши времена чуткость и милосердие. Ни в одном официальном здании Кишинева не бывает, пожалуй, такого наплыва самых разных посетителей.

Ну, а каким образом проявляет себя чрезвычайно политизированное и универсализированное писательское сознание в самой литературе?

Я бы сказал, что изменился и статус литературы, которую нельзя никак мыслить сейчас как искусство слова в чистом виде. Происходит (это можно уловить невооруженным глазом) не только выдвижение публицистики на первый план, но и создание самой литературы в режиме усиленной публицистичности. Самый большой риск, который подстерегает писателя при этом, — скороспелая эстетическая трактовка, фрагментарность, мозаичность, ибо ставка делается не на объективное освещение факта, а на остроочувственную индивидуальную реакцию на него. Эмоциональный документ замещает психологическую и социальную полноту изображения. Источниками вдохновения поэтов (даже таких, как Григоре Виеру, Николае Дабижа, Леонида Лари) стали обыденные события, тревожащие, однако, душу. Абсолютно все, что происходит, становится объектом поэзии. Даже некоторые похождения поэтов во время предвыборных кампаний побудили их написать стихотворения с сатирической окраской. (Пафос таких произведений направлен, как правило, против альтернативных конкурентов.)

И, наконец, что происходит в самом Союзе писателей Молдавии? Большинство его членов консолидировались на основе общих высоких целей: спасти душу, правду, язык, природу, способствовать возрождению национальной культуры. Для деятельности каких-либо группировок или, как мы говорим, «церквушек» почвы нет. Сейчас все чувствуют необходимость превратить СП в настоящий творческий союз, достичь само-

стоятельности, жить на собственные средства, сотрудничать с Центром на договорной основе, выйти на прямые контакты с союзами писателей стран романского ареала.

Центр (СП СССР) окостенел и окоснел. Вспоминаю с болью в душе, как наши секретари, члены союзного правления, поспешно вызывались на «творческие» обсуждения произведений Пастернака, редакторской деятельности Твардовского, критических статей Лакшина. Да и я сам заслушался на систематических заседаниях Совета по критике унылых разговоров о методе социалистического реализма и... методологии литературной критики. Не помню, чтобы кто-то говорил о мастерстве критика, о критике как о литературе.

Итак, писатель и Левиафан. Нет у современного молдавского литератора ни малейшей тени боязни перед этим чудовищем, символизирующим (как у Гоббса) само Государство.

Освобождение от комплекса дорого обходится: писатель сознательно жертвует собой как художником. Иначе темпы движения вперед замедлятся.

Станислав Куняев (Москва)

Ни мне, ни Распутину, ни Вознесенскому, ни Окуджаве, ни Анатолию Рыбакову, я думаю, Союз писателей не нужен. Книги у нас издаются, быт налажен, связи с различными культурными и прочими структурами определены. Но ведь так было не всегда! Помню молодое, полуголодное, полное надежды и лишений существование наше в начале 60-х годов. Нищего Рубцова, одинокого Передреева, никому не известного Белова. Сколько раз за соломинку мы хватались — за творческую командировку, за денежное пособие какое-нибудь, за участие в совещании молодых писателей. С каким трудом налаживали дружеские душевные связи друг с другом. И, ей-Богу, грешно не признаться, что без Союза писателей, без его, пусть казенной, но весомой опеки наша жизнь и начало нашего пути в литературу было бы куда тягостнее и болезненнее.

И сегодня с высоты своего стабильного положения грешно было бы нам не думать о тех, еще неизвестных, робеющих перед нашей страшной действительностью талантах, которые хотят и должны войти в литературу.

Меценатство не подымет их, наши меценаты за малыми исключениями — большие эгоисты.

А подумаем еще вот о чем: метры литературы бросаются сейчас во все организующиеся на их глазах руководящие системы литературной жизни. В «Апрель», в «Пен-клуб» и т. д. Но разве «Пен-клуб» сможет распахнуть двери перед не известным никому именем? Не верю. А «Апрель» — лидеры которого преследуют лишь личные интересы? — не верю в «Апрель». Верю в надежную отработанную систему помощи молодым Союзу писателей. Старый конь глубоко не вспашет, но и борозды не испортит...

Одно удивительно: почему некоторые секретари СП СССР одновременно входят в руководящие органы «Апреля», «Пен-клуба» и т. д. На всякий случай, на тот, если развалится Союз — чтобы все-таки удержать хоть какие-то рычаги управления литературной жизнью? Наверное, так...

Сергей Дубовец (Минск)

Вы спрашиваете: нужен ли СП? И что такое наши *Тутэйшыя*?

Есть структура и есть стихия. Вот стихия, рожденная в структуре (в пробирке, в желудке кобылы), — Человек, который смеется; белорусская советская литература; СП. А вот структура, которую лишь временами можно различить в неограниченной нищете стихии, — *Тутэйшыя*. Сначала была попытка назвать их «обществом молодых литераторов при СП БССР». Но ровно настолько, насколько *Тутэйшыя* были «обществом», они занимались исключительно организационной, общественной работой: митингами, собраниями, саморегистрацией... И ровно настолько не занимались л и т е р а т у р о й.

Теперь «общества» уже нет. Но существуют *Тутэйшыя*. Национальную литерату-

ру не создают оргработники, секретари и председатели с заместителями. Ее создаю я. И время.

Сразу же после образования *Тутэйшых* три года назад их потянуло в структуро-творчество, ибо возникли они как альтернатива официальным догмам и собственному названию («тутэйшы» — это провинциальный эквивалент национальной принадлежности — белорус), как альтернатива СП. Но уже через год выяснилось, что противостоять можно чем угодно, только не собственно литературой. Можно приравнять к штыку перо, но нельзя к штыку приравнять эстетику. Нельзя воевать или доказывать что-то интимным. Выскочившие, словно та моська, *Тутэйшыя* вдруг задумались: а кто же тут слон?.. И тогда перестала существовать альтернатива. Но появились произведения, книги, периодика...

Вот та мерцающая структура, та единственная необходимая и всегда разная форма, с помощью которой мы выходим. В официальных журналах и в собственном самиздатском, который называется «Літаратура».

По переписи 1987 года, *Тутэйшых* было, кажется, около шестидесяти. Сейчас их намного больше. Потому что сейчас *Тутэйшыя* — это уже не только литераторы, но и художники, и журналисты, и фотомастера, и издатели-предприниматели, и барды, и рокеры, и филологи с историками и философами, и политологи... *Тутэйшыя* — это городская белорусская культура. И городская литература. Прежняя белорусская литература несколько десятилетий коренилась в деревне, на эмоциональной почве. У *Тутэйшых* же в основе — рациональное.

Вполне прагматические написаны детективы, эротические схемы, эссе, по манере близкие к «панку». Прагматически и потому, что интересно. И потому, что этого навалом в жизни, но до сих пор совершенно не было в литературе.

И группируются и расходятся *Тутэйшыя* стихийно. Вдруг появляется и вдруг исчезает мерцающая структура.

Мне кажется, мы переросли этот вопрос: нужен ли СП? Это дело каких-то людей из СП и кураторов этой организации. Лично мне он не нужен. Я мог бы критиковать его (союз-сталинист, монополист и т. п.), но зачем? Все ясно и так.

Когда-то я думал, что нужно сделать из СП чистый и беспристрастный профсоюз. Или оставить только Литфонд. Чтобы квартиры давал, помогал, выручал... А сейчас я думаю, что в будущей независимой демократической Белоруссии эти убогие провинциальные копии московских традиций будут выглядеть уродливым анахронизмом. Ведь помощь (кого и кому?) — это дело чисто персональное. И, если я хочу кому-то помочь, я приду к Глобусу и скажу: давай выпустим популярную книжечку, а деньги от нее отдадим голодающему Сысу. Вот и все. Но Сус не голодает. Он только попусту растрчивает свои способности. И я не знаю, чем ему помочь.

Имант Аузинь (Рига)

Профсоюз писателей и работников печати возник в Латвии в 20-х годах. Этот союз впоследствии был слит с другим — Обществом печати, так оно называлось после переворота 1934 года, в результате которого к власти пришел К. Ульманис. В 1940 году, с установлением Советской власти, был создан СП Латвии, первый съезд которого состоялся в 1941-м. Такова предыстория.

В публикациях о Союзе писателей легко проследить две тенденции оценок: одна апологетическая (СП — великолепная организация, которая столько сделала для литературы); другая критическая — по-видимому, особенно молодежь нередко считает, что СП всегда был косным и сейчас тем более не соответствует общественной ситуации. Мы решили исследовать этот вопрос: на очередном съезде СП Латвии два докладчика сделают обзоры — один, литературовед И. Берсонс, о послевоенных годах, другой, поэт Марис Чаклайс, о новейшем времени¹.

Не хочу предварять их выводы. буду говорить только о том, что знаю и помню сам — я член писательской организации с 1960 года. Из истории мы знаем, с какой

¹ Съезд состоялся в мае 1990 года, когда номер был уже сверстан.

целью создавался СП СССР, об этом недвусмысленно говорит стенограмма Первого съезда писателей. Действительно организация, которая должна была обеспечить единомыслие, идеологический «отбор» художников слова. Но та организация, которая задумывалась ее основателями, все-таки довольно бурно менялась — в Латвии во всяком случае. С середины пятидесятых годов в СП принималось все больше новых талантливых поэтов, прозаиков, критиков... Можно сказать, что лучшие писатели Латвии никак не поддерживали известной кампании 1963 года по борьбе с абстракционистами и прочим «буржуазным» искусством. А как организация наш СП очень изменился на съезде в 1965 году, было избрано новое правление... С тех пор Союз писателей нередко был тем, чем и должен быть: наша организация защищала талантливых писателей, помогала им и пользовалась в обществе немалым авторитетом. Можно привести целый ряд примеров, хотя, к сожалению, были и досадные исключения. Еще двадцать лет назад СП Латвии требовал издания «спорной» поэмы Александра Чака «Осенние вечностью», содержащей неканонический взгляд на судьбы латышских стрелков (поэма опубликована уже после апреля 1985-го); как мог, способствовал публикации романов А. Бэла, В. Ламса, В. Спаре, «сложной» поэзии Визмы Белшевиц, Ояра Вацетиса, Кнута Скуениекса, Улдиса Берзиньша и других. Некоторые литераторы не были исключены из СП именно потому, что союз все-таки защищал писателей, хотя были трудные моменты в отношениях с «властями предрежащими»... К апрелю 1985 года мы пришли достаточно едиными. Хотя причины этого единства едва ли не трагические: надо немножко знать послевоенную историю Латвии, знать, скажем, тот факт, что в 1959 году около тысячи латышей — руководящих работников были отстранены от своих должностей, исключены из партии, сосланы и т. п.; надо знать, скажем, то, в каком катастрофическом состоянии находится сегодня природа Латвии — грязная Даугава, море, в котором нельзя купаться...

Искусственно раздувалась малоэффективная промышленность, многими новыми руководителями всячески поощрялась никак не оправданная миграция в Латвию. Латышский народ приближался к той черте, за которой он станет меньшинством на своей исторической территории. Таким образом, под угрозу было поставлено само существование народа. Литература все эти годы была формой национального духовного сопротивления — в этом определении, данном самими писателями, и заключается ответ на вопрос. И недаром на девятом съезде писателей Латвии, это было в 1986 году, на двух пленумах творческих союзов потом и было положено начало тем огромным переменам в жизни нашего народа, которые сегодня известны уже во всем мире. Союз писателей стоял и у колыбели Народного фронта Латвии. Другое дело, что наши писатели занимаются политикой, может быть, меньше, чем в других республиках, но они существенно влияют на политику разных партий — в том числе и «зеленых», и социал-демократов; среди парламентариев разных уровней тоже есть писатели, литераторы... Словом, латышские писатели — свыше двухсот человек — остались свободными людьми, сохранили свои идеалы.

Работая над новым Уставом писательской организации, мы долго и трудно искали. Конечно, изучали опыт СП Эстонии и Литвы, поскольку задача стояла схожая — обретение самостоятельности. В документе три основных момента. Во-первых, мы готовы объединить всех латышских писателей независимо от места проживания — из Америки, Канады, Швеции. Желающие вступить уже есть... Во-вторых, это определенная деполитизация, что ли. Мы намеренно отказались от публицистических формулировок, хотя были предложены очень увлекательные, очень современные... но мы решили, что в Уставе должно быть место тем основам, на которых мы будем строить свою работу. В итоге он суховат, пожалуй, лаконичнее, чем писательские уставы соседних республик... И, наконец, третьим важным моментом является то, что мы готовы сотрудничать с СП СССР, принимать участие в его работе с другими писательскими организациями, участвовать в международных контактах. Мы сотрудничаем на основе договора. На последнем пленуме СП СССР латышские писатели внесли предложение: в основу нового Устава положить принцип конфедерации писательских организаций, в Совет СП СССР от всех организаций делегировать одинаковое количество представителей, так как это уже будет не руководящий, а координационный центр, совещательный орган... Причем латышский писатель может одновременно быть членом нескольких писательских организаций. Скажем, он может вступить в Пен-клуб; латышские литераторы проявляют большой интерес к работе такой ассоциации, как «Апрель», есть много близких идей, и,

я думаю, будут желающие вступить. Кроме того, в нашей организации, возможно, оформится каким-то образом группа молодых, они уже сейчас собраны вокруг двуязычного молодежного журнала «Авотс» — «Родник». Или возникнут иные формы. Возраст членов СП, кстати, серьезная проблема. Мы десятилетиями твердили о высоких критериях приема в Союз, а в результате критика обычно можем принять где-то к пятидесяти годам, переводчика — ближе к пенсионному возрасту... Такие «критерии» привели к тому, что из 240 примерно членов СП у нас 126 пенсионеров. Некоторые хорошие писатели умерли, так и не став членами Союза — особый долг у нас перед людьми со сложными биографиями, теми, кто был сослан в Сибирь, теми, кто опубликовал что-то критическое... Скажем, Янис Сартс, автор романа о событиях сорокового — сорок первого годов. Или Аниита Лиета, автор романа «Эксгумация» — о гибели в сталинских лагерях ядра Латвийской народной армии. Она всю жизнь собирала материалы, поскольку ее отчим был молодым офицером. Это сильная книга, кстати, не первая ее книга, но она до сих пор не член Союза¹, хотя никаких проблем запрета уже нет. Вот-вот выйдут еще два ее романа об эмиграции, где она была недолгое послевоенное время.

Самостоятельность СП Латвии скажется и на наших литературных связях, и, я думаю, если определять этот процесс кратко, то это возвращение к нормам литературной жизни. Печатайте те или иные книги потому, что они нужны читающей публике, а не для того, чтобы поучаствовать в разрядке «дружбы литератур», и любые мероприятия проводить, исходя из реальной потребности в них, а не по другим соображениям.

Но я никак не могу сказать, что в последнее время отношения с «западом» бурно расцвели, а с «востоком» ухудшились. Действительно, долгое время со скандинавами, со странами Балтики мы не имели достаточных контактов, хотя книги переводились и интерес большой — и в читательской, и в профессиональной среде — существовал всегда. Сейчас, например, на основе договора создается центр датской культуры в Риге — это инициатива СП, Яниса Петерса. Это нормально, ненормально то, что этого не было. Еще в 70-е годы были хорошие переводы шведской поэзии, ею занимались Кнут Скуениекс и другие. Мы, возможно, первыми как Союз писателей поддержали Вацлава Гавела, когда он был в заключении — в прошлом году наше правление направило официальный протест чешскому правительству. Когда в Румынии не печатали Ану Бландиану, поэт Леонс Бриедис перевел ее книгу — она вышла буквально за месяц до румынских событий... Эти связи созрели, они не случайные, они крепки между людьми, которые играют активную роль в новых процессах. Но они развиваются ни в коем случае не «за счет» наших связей, скажем, с Белоруссией или Украиной. Иван Драч, Дмитрий Павлычко, Юстинас Марцинкявичюс, Григоре Виеру... впрочем, можно назвать много блестящих имен наших друзей. Отказываясь от издания третьестепенных книг, из литовской, украинской, русской литературы мы пытались отобрать для перевода то, что сейчас будет читаться. Например, о чернобыльской трагедии — тема, которая актуальна и для нас. И ведь в национальных литературах тоже поднимаются целые пласты ранее не известного. Скажем, я прочел дневники В. Винниченко в декабрьском номере вашего журнала за прошлый год... Это великолепно, написано будто для нас. В Риге сегодня выходят или переводятся прекрасные книги русских писателей — «Жизнь и судьба» Гроссмана, «Доктор Живаго» Пастернака, «Ночевала тучка золотая...» Приставкина, словом, произведения, о которых и в Москве говорят. Кстати, о самой Москве — об отношениях с «центром». Диктата со стороны СП СССР мы в последние годы не испытывали, нам пытались помогать организационно, а в творческие дела не вмешивались (были годы более сложные, но я тогда не работал). А вообще не стоит смешивать дела, скажем, Союза писателей и республиканского ЦК, у которого опять же начало было в Москве. Должен сказать, что «центр» не является для меня неким пугалом; большинство нашей интеллигенции все застойные годы были читателями, скажем, «Нового мира», «Дружбы народов» и других изданий, которые много давали и уму и сердцу. Издавалась классика, современные писатели... кого назвать — Абрамова? Трифонова? Самойлова? Потому «центр» для нас — и прекрасные писатели других народов, и не в последнюю очередь писатели, живущие в Москве.

Со связями, я читаю — дай бог дальше так. На латышский осуществляется прямой перевод более чем с сорока языков, и мы ищем пути, чтобы расширить наши возможности. Этому, в частности, способствуют литературные журналы Латвии. Очень вырос тираж у «Даугавы», теперь он составляет примерно сто тысяч экземпляров. «Ка-

¹ Принята в СП Латвии 20 июня 1990 года.

рогс», наш литературный журнал, тоже многое делает, представляя латышскую культуру в контексте мировой. Но особенно наглядно эта тенденция проявляется в новом журнале «Грамата» («Книга») — его редактор Леонс Бриедис сделал многое для того, чтобы в маленьком журнале богато представить культуру многих времен и многих народов.

Вернемся к проблемам нашего Союза писателей. Я не верю в возможность консолидации, поскольку речь идет о творческих индивидуальностях. Но есть вещи, которые надо делать вместе — то, что группа творческих людей может сделать на благо народа, общества, человечества, как ни громко это звучит... И в политику приходится вмешиваться, как показывает недавний опыт, и культуре это необходимо. Тут единомыслие, конечно, надо всячески поддерживать, но оно подготавливается долгими годами общей работы, труда, противоречий, если не становится спекуляцией каких-либо групп. А второе — вопрос материального обеспечения: хотя работа писателя и не требует особенно многого, ручкой и бумагой не обойдешься. Нужно социальное обеспечение, командировки... И потому, когда в очередной раз на нашем собрании возник вопрос — не поделить ли СП на союзы переводчиков, критиков и так далее, — я сказал то, чем и хочу закончить: все равно на следующий день мы будем искать пути, чтобы создать организацию для защиты общих интересов — и народа, и своих профессиональных. Это и будет новой формой Союза писателей.

Письма комментирует Игорь Захорошко

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ

В последнее время увеличилось число поступающих в редакцию писем, в разных аспектах затрагивающих проблемы, связанные с обострением в нашей стране межнациональных и национальных отношений.

Журнал все больше места отводит этой первостепенной для нас сегодня теме. Мы посвящаем ей сессии созданного при редакции Совета по межнациональным отношениям¹, организуем заочные конференции, «круглые столы», анкеты, обзоры писем, диалоги. В них принимают участие ученые, общественные деятели, писатели, работники культуры и искусства, журналисты...

В дискуссию включается широкий круг читателей. Нам пишут самые разные люди, и почти все они с болью и тревогой задают одни и те же вопросы: «Отчего так обострились отношения между народами? Как мы дошли до жизни такой? Куда идем? Что нас ждет в будущем?» И еще один закономерный вопрос, объединяющий все остальные: «Кто виноват во всем этом?»

Одни винят нашу систему, строй, Коммунистическую партию и правительство, другие — конкретных людей, извративших ленинские идеи и социалистические принципы: Сталина, Хрущева, Брежнева и их сподвижников, третьи — рядовых исполнителей, покорные низы... Четвертые же обвиняют нынешних руководителей страны.

Но почти все сходятся на том, что сегодня в межнациональных вопросах мы пожинаем отравленные плоды деятельности бывшего народного комиссара по национальным делам Сталина, который по своему усмотрению перекраивал карту страны, произвольно проводил границы между этническими образованиями, насильственно переселял одни народы на исконные земли других.

Судя по почте, назрела острая необходимость в коренной реформе советской федерации, о чем, кстати, говорится и в Постановлении сентябрьского Пленума ЦК КПСС. В письмах, в частности, высказываются различные предложения, начиная с умеренных и кончая радикальными. Вот что, например, по этому поводу пишет старший научный сотрудник института США и Канады АН СССР, кандидат юридических наук Г. И. Никеров:

«Посылаю вам для публикации альтернативный (для обсуждения) проект реформы Советской федерации. В нем предлагается создать федерацию на иной, не на национальной основе. Создание такой федерации может оказаться более легким выходом из сложного положения, в котором мы оказались. Следование по тому пути, на который мы встали, осуществление принципа о праве всех наций и народов на самоопределение и создание своих национально-территориальных образований очень трудно, чревато дальнейшими межнациональными конфликтами. Если буквально придерживаться этого принципа, то каждое национальное село (или даже дом) в окружении других народов вправе требовать для себя создания союзной республики. Население страны бесконечно перемешивается, и проводить новые межнациональные границы будет с каждым годом все труднее!

В первые 20 лет Советской власти, — пишет он, — причем, в основном, в сталинский период произошло фактически национально-территориальное размежевание бывшей Российской империи. В эти годы для наций и народностей, расселенных более или менее компактно, были созданы свои национально-территориальные образования.

Национальное размежевание первых двадцати лет позволило поднять уровень развития отсталых национальных окраин. Но дальнейшее сохранение разделения страны по национальному признаку, разведение народов по их «национальным квартирам» может отрицательно сказаться на судьбе Союза. Существующее национальное размежевание усиливает во многих случаях позиции отдельных народов в ущерб другим.

Строго говоря, каждая нация, даже самая маленькая, насчитывающая несколько

¹ В конце января на сессии Совета обсуждалась тема: «Русская культура на перекрестке мнений». Материалы сессии будут опубликованы в ближайших номерах.

сот человек, в соответствии с ленинским лозунгом о праве наций на самоопределение и с принципом равноправия больших и малых народов вправе потребовать создания союзной республики или даже выхода из Союза и образования отдельного государства. Теоретически это возможно, но трудно осуществимо на практике. Возможно ли провести новые национальные границы в нашей исключительно перемешанной в национальном отношении стране? Сложился единый хозяйственный рынок и другие общности, которые нужно сохранять и совершенствовать.

Как показала практика, создание экономических районов, совнархозов и т. д. себя не оправдывает, так как возникают многочисленные проблемы согласований между региональными и административно-территориальными органами. Для улучшения территориального управления страной необходима радикальная мера. Такой мерой может стать разделение страны на несколько новых крупных по населению или территории республик, относительно более равных по своим размерам. При этом раздел следует провести не на национальной, а на экономико-географической основе.

В конце своего трактата Г. Никеров подробно рассматривает, как на практике осуществить свою идею.

Свой альтернативный проект государственного устройства СССР прислал нам из Одессы Л. А. Срибнер. В отличие от Никерова он предлагает создать Союз федеративных республик, в состав которого входили бы национальные образования, совпадающие с экономическими районами. Однако главенствовать здесь должен национальный признак.

Есть и другие письма читателей, поднимающих вопрос о необходимости радикального преобразования советской федерации. У них свои конкретные предложения. Мы благодарим авторов писем за их участие в наших дискуссиях, в откликах на наши публикации. Учитывая важность вопроса и пожелания читателей, Совет по межнациональным отношениям принял решение ближайшую свою сессию посвятить проблемам государственного устройства СССР.

Одним из важных аспектов национального вопроса является язык. Журнал много писал о проблемах языка в республиках и национальных округах и областях. Отклики на эти публикации продолжают поступать.

О состоянии дел с украинским языком на Херсонщине нам сообщает ветеран Вооруженных Сил, инженер-майор в отставке Д. Куцак. Он, в частности, пишет:

«Русификаторы доконали Украину. Украинский язык почти уничтожен, гибнет нация. Во всех учреждениях делопроизводство ведется на русском языке. В воинских высших и средних учебных заведениях преподавание ведется на русском языке. В Херсоне 51 школа русская и 6 украинских. Учебников украинского языка в магазинах нет. Нужно срочно исправлять положение...»

Вот такое по-боевому резкое письмо пришло от военного. Хотелось бы получить ответ от руководителей области о принятых мерах, поскольку факты, приведенные Д. Куцаком, заслуживают внимания.

А вот что пишет из Красноводска (Туркменская ССР) Г. Ильин:

«Слишком часто приходится слышать, да и читать, что в республиках, автономных областях учат в школах и говорят на русском языке. В результате люди коренной национальности, особенно дети, молодые люди, стали забывать свой родной язык. Собственно, не русских надо винить, а самих себя. В республиках и автономных областях имеются школы, где преподают на языке коренной национальности. Если их мало, стройте или выделяйте из имеющихся и обучайте. Россия, русские очень много сделали хорошего для людей нерусской национальности, делали и делают часто больше, чем самим себе, ведь посмотрите и сопоставьте, насколько хуже живет русским, особенно в глубинке, и тогда поймете. Русский человек от природы доброжелательный и никогда не обидит человека другой национальности, а придет на помощь. Это доказано историей, а вот к русским некоторые стали относиться несправедливо, даже иногда проявляют агрессивность. Я русский, много повидавший, так что обидно слышать все это».

И еще одно письмо, а вернее, статью о языке передал нам Глеб Поспелов, искусствовед, старший научный сотрудник ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР. Его написала американка Гольди Бланков-Скарр, председатель Общества Бельгия — Грузия и назвала «Изучение языков — добровольное дело». Предлагаем ее читателям:

«Чтобы советскому читателю стало понятно, почему я рискую высказываться по вопросам языковой политики в Советском Союзе, расскажу о собственной практике в освоении иностранных языков. По происхождению я американка, и мой первый язык английский, я много лет живу в Брюсселе и свободно говорю по-французски, как славист — выпускница Гарвардского университета — я уже много лет преподаю русский язык в одном из брюссельских институтов. В качестве профессионала меня интересует языковая практика в СССР, и я стараюсь помогать, чем могу. Несколько лет, как я активно изучаю грузинский язык, и моя цель — составить совместно с моими грузинскими коллегами современный курс грузинского языка для негрузин.

Народы Советского Союза будут и дальше жить на одной земле, а потому надо искать достойный выход из сложившихся противоречий. Надеяться на эвакуацию русских из Прибалтики, татар или немцев из Узбекистана — абсолютнейшая утопия, причем не в духе развития современных цивилизаций. Никому не удастся ни в нашу, ни в будущие эпохи огородить свои национальные территории и жить по старинке в патриархальном неведении о жизни соседей. Единственный выход — многоязычие каждого человека. Русские в Эстонии или в Молдавии должны говорить не только по-русски, но и по-эстонски, и по-молдавски, и то же надо сказать о молдавском языке гагаузов или молдавских болгар. Когда в 1920-е годы сотни тысяч русских людей оказались во Франции, они, а тем более их дети, овладели французским языком и постепенно влились во французскую культуру. С другой стороны, современные образованные французы, бельгийцы, голландцы в массе своей знают английский язык как язык мирового межнационального общения. В Голландии, например, преподавание и в школах, и в университетах проходит на голландском языке, но если голландские или датские ученые хотят, чтобы их работы читали в различных странах, они напишут свою статью по-английски, не испытывая ни малейшего комплекса национальной неполноценности.

Хочу воспользоваться своим опытом человека, владеющего несколькими языками, чтобы сказать о благотворности дву- или многоязычия и для каждой отдельной личности. Изученный человеком иностранный язык — это не зряшная трата сил, а огромное внутреннее обогащение. Каждый язык — это особый мир, это неповторимый способ воспринимать и осмысливать окружающую жизнь и это, наконец, многовековая культурная традиция со всеми ее уникальными красками. Можно сказать, как ни горько это прозвучит для многих, одноязычный человек на современном этапе развития — во многом калека, и уже тем более это справедливо по отношению к образованным людям. Живущий в Эстонии русский, выучивший эстонский язык, окажется приобщенным к прекрасной древней культуре, с другой стороны, и для эстонца, хорошо изучившего русский язык, откроются сокровища русской литературы, поэзии или науки, а если сверх того он овладеет английским, то это будет достойный образованный человек современной эпохи. Случаи не только дву-, но и трехязычия очень часты в современном многоязычном мире. Они неизбежны и важны и для советской страны. Представители малых народов, населяющих автономные территории в пределах нерусских союзных республик, должны будут знать и родной язык, и язык основного населения своей республики, и уж, конечно, русский язык, без которого на обширных просторах Советского Союза никому не ступить ни шага.

Но теперь-то я и подошла к основной своей мысли, ради которой я и пишу эти строки. Изучение чужих языков может быть исключительно добровольным. Только за малых детей решение учить тот или иной новый язык должны принимать родители или педагоги. И дети воспримут это не как насилие, но как интересное и новое занятие. Заставлять же взрослого человека учить язык, к которому он не чувствует расположения, заведомо безнадежное дело. Новый язык из великолепного и красочного, я бы сказала, волшебного мира немедленно превратится в язык чужой, способный вызвать к себе не только отчуждение, но даже враждебность. Можно стимулировать, помогать в изучении языков, но ни в коем случае не заставлять. Известно, что изучение языка это сложный процесс, включающий в себя всю психологию человека, его умственные силы, стремления, вплоть до чувства самосохранения как личности. Можно привести немало горьких примеров из давней или недавней истории. Таковы были, например, попытки прививок французского или английского языков в Канаде, фламандского или французского в Брюсселе. И таковы же известные ситуации в некоторых странах восточной Европы или республиках Советского Союза, где русский в школах является

обязательным. Раздражение, обращаемое иной раз против русских или русского языка, определяется как раз тем, что необходимость его изучения расценивается людьми как посягательство на ту интимную эмоциональную сферу, какой является языковая практика. Известно, что антирусские настроения в иных местах уже заставили некоторых русских людей покинуть республики, а ведь это потеря и для нерусских республик и для тех, кто не сумел интегрироваться в общество той страны, куда переселился.

Я убеждена, что изучение русского языка в нерусских республиках Советского Союза может быть только факультативным. Чем более добровольным будет для местного населения изучение этого языка, тем более охотно будут за него приниматься. Надо, чтобы к освоению русского обращали не те или иные распоряжения, но всеми понимаемая жизненная польза и интерес. Осуществляя свободный выбор того или иного языка для изучения, человек по-настоящему ощущает себя как свободная личность.

И то же можно сказать и об изучении местного языка представителями пришлого населения. Бесплезно заставлять 60-летнего русского инженера в Эстонии насильно изучать эстонский язык, разумеется, если речь идет о настоящем изучении, а не о двух-трех десятках слов, нужных для магазина или трамвая. Никто не заставляет современных малые народы Европы — голландцев, скандинавов, финнов — изучать английский язык, которым владеют 90 человек из 100. Заставляет сама жизнь с ее повседневными интересами.

Ключ для решения этих напряженных вопросов — начальная школа, начальное образование. Я убеждена, что обучение в школах каждой из автономных или союзных республик должно вестись на языке преобладающего населения независимо от того, принадлежат ли дети к местному или приезжему населению. Все предметы или программы в детских садах или школах в Молдавии или Эстонии, Грузии или Абхазии должны проходить на молдавском, эстонском, грузинском и абхазском языках, точно так, например, как все многоязычное население Соединенных Штатов, столетиями стекающееся в эту страну, не раздумывая, отдает своих детей в англоязычные американские школы.

Официальная языковая политика в Советском Союзе декларирует право каждого ребенка получить образование на родном языке. На деле это, конечно, неосуществимо. В Советском Союзе более ста языков, из которых только семьдесят имеют письменность. Малые языки неумолимо исчезают не только в СССР, но и во всем мире. Это трагедия современной культуры, и нужно бороться буквально за каждый язык, подобно тому как мы боремся за каждый из исчезающих видов животных или растений. Исчезновение каждого языка — потеря не только уникального духовного мира, но и неповторимого языкового гено типа, невозможного так же, как исчезающие гено типы животных, озн ачен ных в Красных книгах. Но одновременно необходимо осознавать и горькую неизбежность мирового процесса сокращения числа языков.

Но те языки, на которых говорят и пишут большие массы людей, должны быть полностью сохранены. Надо бороться за сохранение малых языков путем настойчивого поддержания их традиций в семьях, а при наличии достаточного числа родителей, желающих обучать своих детей на этом языке, — путем факультативного изучения в школах или же дома у специально приглашенного учителя.

Основные же языки автономных и союзных республик должны быть непременно основой образования в начальной школе. Известно, что хороших преподавателей мало, и многие предпочитают отдавать детей в русскоязычные школы именно потому, что уровень преподавания в них выше. Но это должно с годами преодоле ваться, и начинать необходимо сегодня же. Пусть в 1990 году хороших педагогов хватает только на первый, начальный класс (те дети, которые уже начали обучаться на русском языке, пусть дальше и продолжают). Тогда в 1991 году надо будет найти хороших учителей для второго класса, в следующем году — для третьего и т. д. Дело примет, таким образом, постепенный характер. И достаточно будет одного поколения, чтобы приезжее, например, русскоязычное население Прибалтики, Молдавии и т. п., проведя своих детей через местные школы, хорошо овладело языком республик. Тем самым будут преодолены те языковые, а отсюда и этнические напряженности, которые мы наблюдаем в настоящее время.

Надо только, чтобы разные этносы проявляли при этом терпение и культуру. Языковые и этнические противоречия не решаются за один или за два дня. Разумные чело-

веческие решения существуют, надо только признать, что цели достаточно далеки и что достичь их можно через динамичный, но постепенный процесс, требующий и дипломатии и прагматизма.

Когда готовился к печати этот комментарий к письмам, в Закавказье из тлеющего вновь вспыхнул и разгорелся междоусобный пожар, потрясший все цивилизованное человечество, снова после Сумгаита пролилась кровь ни в чем не повинных людей: женщин, детей, стариков... В Баку прокатилась волна жестоких погромов, усилились сражения между азербайджанскими и армянскими боевиками.

Нет необходимости перечислять все ужасы этих трагических событий, акты вандализма, количество жертв — все это в памяти. С полным основанием все происшедшее можно назвать нравственным землетрясением.

С 20 января Указом Верховного Совета СССР на территории Нагорного Карабаха и некоторых других районов Азербайджана было введено чрезвычайное положение.

Мера печальная, но вынужденная. Однако, думается, запоздалая, так как уже задолго до этого обстановка в Закавказье была крайне напряжена — от рук боевиков гибли гражданские и военные люди, захватывались заложники, создавалась блокада, варварски разрушалась государственная граница. По сути, шла гражданская война! И в письмах снова задаются вопросы, вопросы, вопросы... Неужели нельзя было предотвратить кровопролитие? Почему события вышли из-под контроля властей Азербайджана и Центра? Какова во всем этом роль интеллигенции?

В конце июня 1989 года состоялась первая сессия нашего Совета, на которой обсуждалась роль интеллигенции в межнациональных конфликтах. На сессии выступил известный азербайджанский писатель и общественный деятель Максуд Ибрагимбеков, который, в частности, сказал, что нельзя отождествлять азербайджанский народ с экстремистами и ультранационалистическими организациями и тем более видеть в происходящем религиозную окраску. Его выступление среди других было опубликовано в номере 11 журнала «Дружба народов».

За несколько недель до событий один из идеологов Народного фронта Азербайджана, сотрудник Института литературы АН республики Гамид Херисчи заявил в беседе с корреспондентом литовской газеты «Согласие» (орган «Саюдиса»):

«Народный фронт Азербайджана рассматривает СССР как дуалистическое государство: мусульмано-христианское или, точнее, тюркско-славянское. Поэтому у нас совершенно иная тактика, нежели у прибалтийских народов. Мы не рассматриваем даже возможности выхода из СССР, так как для нас это был бы выход и из тюркского единства. А вот возможный выход Прибалтийских республик был бы нам выгоден: на три европейских христианских народа будет меньше. Это усилит мусульманское движение в Советском Союзе. Исходя из этого, мы должны с пониманием относиться к вашим усилиям...

16 августа интеллигенция обратилась к народу с призывом собрать все силы и политические, и духовные в единый кулак. И Народный фронт добился этого. Да, в нашей борьбе есть элементы джихада (война за веру, предписанная Кораном.— *Прим. ред.:* всем миром собраться, покаяться, что будем стоять до конца, что если мы проиграем, то лучше нам и не жить на свете. Но это русским кажется, что азербайджанцы вот-вот объявят джихад. Нет пока надобности в таком мощном оружии, когда все от мала до велика, и женщины тоже, идут на бой, а погибнув, по нашей вере, попадают в рай...

Идея общеевропейского дома потерпит фиаско, так как этот дом даст трещину в СССР. Без трагедии не обойдется. А что касается междоусобиц в мусульманском мире, то они способствуют единению тюркских народов, утверждению ислама».

Степень бестактности этих откровений усугубляется еще и тем, что они напечатаны в литовской газете. Но надо представить себе, как эти проповеди действовали на людей! «Без трагедии не обойдется...» И это пишет ученый, претендующий быть идеологом. Без трагедии и не обошлось — в Сумгаите, в Фергане, в Баку — еще и потому, что представители интеллигенции вместо того, чтобы искать путей разрешения конфликта, всемерно разжигали страсти, провоцировали людей. Мы цитируем откровения Гамида Херисчи, чтобы наши читатели знали, какого рода идеи пускаются в оборот под маркой Народного фронта, этим идеям надо противостоять, и не «вообще», не провозглашая интернационализм в принципе, а понимая дьявольскую игру, которая ведется на чувствах людей, в том числе и на религиозных.

Наши читатели много горьких слов адресуют властям — и центральной, и республиканской, — которые не сумели предотвратить конфликт.

Для того чтобы удержать два враждующих народа от кровопролития, нужны были коллективный разум и своевременные кардинальные решения. Слишком далеко, за опасную черту зашла линия компромисса, не помогли и половинчатые меры властей. Верховный Совет СССР не проявил должной активности, даже не собрался на Сессию (хотя бы его Совет национальностей), когда в Закавказье разгорелся междоусобный огонь, появились беженцы и человеческие жертвы.

Думается, что недопустимо медленно разрешаются межнациональные проблемы и в других болевых точках страны. Верховный Совет принял решение о полной реабилитации репрессированных в годы сталинщины народов и ликвидации последствий геноцида. А советские немцы, крымские татары и представители других народов до сих пор не могут определить своего будущего.

Вполне понятно, что в таких делах нужна всесторонняя продуманность и взвешенность, но, когда начинает литься кровь, взвешивать что-либо становится уже поздно.

Взвешивать нужно сейчас, сегодня, каждую секунду, каждое слово, каждую мысль, каждый поворот мысли, когда дело касается национальных чувств и конфликтов. Иначе начинают говорить автоматы. Чтобы они молчали, должны говорить люди, и по-человечески, разумно, взвешенно.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ОЛЬГА ПОСТНИКОВА	Четыре стихотворения	3
ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ	Девочки и дамочки. Повесть	5
АБДУЛЛА АРИПОВ	Путь. Стихи. С узбекского. Перевод И. Бяльского	77
АНАТОЛЬ КУДРАВЕЦ	Пахахутики. Рассказ. С белорусского. Перевод И. Киреенко	79
НОРА ПФЕФФЕР	Из былого. Стихи. С немецкого. Перевод и вступительное слово Б. Дубровина	99
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН	Март Семнадцатого. Узел III. Главы из повествования в отмеренных сроках «Красное колесо». Вступительное слово В. Борисова	102
ВАДИМ ДЕЛОНЕ	Хоть полслова родного еще услышать... Стихи. Вступительное слово В. Некрасова	147

ПУБЛИЦИСТИКА

М. ЛОГИНОВ	Прокопьевск. Стачка. От частного к общему	152
------------	---	-----

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

С. ХРУЩЕВ	Пенсионер союзного значения	164
ЖОРЖ НИВА	Солженицын. Главы из книги. Перевел с французского С. Маркиш в сотрудничестве с автором. Окончание	203

КРИТИКА

Писательский союз, или Перестройка Вавилонской башни?

В беседе приняли участие:

ИГОРЬ ДЕДКОВ, ВИТАУТАС МАРТИНКУС, АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН, МИХАЙ ЧИМПОЙ, СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ, СЕРГЕЙ ДУБОВЕЦ, ИМАНТ АУЗИНЬ

252

НАЦИЯ И МИР

К НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

ИДА ОЦХЕЛИ

Многоголосый Тоидзе
Из произведений народного художника Грузии
Гиви Тоидзе

97

НА ОБЛОЖКЕ:

на второй и третьей
страницах —

Э. НАСИБУЛИН. Из иллюстраций
к произведениям **А. С. Пушкина**

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в
типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.



Уголок Мтацмиды.

НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК ГРУЗИИ ГИВИ ТОИДЗЕ



Портрет сына.



Старый Тбилиси.



Зима в Кахетии.

НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК ГРУЗИИ ГИВИ ТОИДЗЕ



Индюшки.



Осень в Кахетии.

ЭНГЕЛЬ НАСИБУЛИН



Сегодня мы репродуцируем работы ленинградского графика Энгеля Насибулина. Обновляя традиции рубрики, предоставляем слово самому художнику: «Я родился в 1934 году в селе Толбазы в Башкирии. Детство прошло в Богом забытых местах. В школу ходил в соседнюю деревню за семь километров. Деревня называлась Калиновка, и жили там переселенцы из Украины. Преподавали на русском языке. Мне повезло — я приобщился к русской и украинской бытовой культуре с самого детства. А дорога в школу по полям и оврагам. Это самые счастливые, беззаботные дни.

Учился в Московском художественном училище «Памяти 1905 года». Потом в Ленинграде в Академии художеств. Занимаюсь книжной графикой, иллюстрациями к русской, западной классической литературе. Основная работа к изданиям А. С. Пушкина, над этим тружусь вот уже больше двадцати лет. Иллюстрировал лирику, «Евгения Онегина», «Русалку», «Бориса Годунова», «Болдинскую осень»...»



Из иллюстраций к произведениям А. С. Пушкина.

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ!

Во второй половине 1990 года
читайте в нашем журнале

Романы и повести:

А. РЫБАКОВ.	ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ И ДРУГИЕ ГОДЫ (книга вторая).
С. АЛЕКСИЕВИЧ.	ЦИНКОВЫЕ МАЛЬЧИКИ.
Г. БАКЛАНОВ.	СВОЙ ЧЕЛОВЕК.
М. АЛДАНОВ.	ИСТОКИ.
Р. МЕДВЕДЕВ.	Л. БРЕЖНЕВ. Политическая хроника.
Й. МИКЕЛИНСКАС.	СТРАНА ЧЕРНЫХ ЕЛЕЙ.